УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ
ВУЗОВ

3

Я. РОЗАНОВ

ЕГ165
Р742

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Государственное Издательство РСФСР

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на 1926 год
НА
СОВЕТСКОЕ ПРАВО

ЖУРНАЛ ИНСТИТУТА СОВЕТСКОГО ПРАВА

Выходит раз в 2 месяца

Журнал редактируется коллегией Института Советского Права в составе:

директора Института **В. И. Яхонтова** и членов коллегии: **И. С. Войтинского, Г. С. Гурвича, Д. А. Магеровского, Е. Б. Пашуканиса, Н. И. Челяпова и А. Я. Эстрина.**

„СОВЕТСКОЕ ПРАВО“ ставит себе задачей научное освещение проблем советского правового строительства, теоретическое содействие советской судебной практике, изучение и обобщение опыта работы суда и критическое освещение современного буржуазного права. В программу журнала входят теоретические статьи, обзоры законодательства, обзоры судебной практики и библиография.

„СОВЕТСКОЕ ПРАВО“ стремится быть проводником марксистско-ленинской научной мысли в области права.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—**7 р. 50 к.**, на 6 мес.—**3 р. 75 к.**

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

ПЕРИОДСЕКТОРОМ ГОСИЗДАТА — Москва, Воздвиженка, 10/2, Ленинград, проспект 25 Октября, 28 и всеми магазинами, отделениями, конторами и уполномоченными Периодсектора Госиздата, снабженными соответствующими удостоверениями.

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВУЗОВ

Я. РОЗАНОВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

ХРЕСТОМАТИЯ

Научно-политической секцией Государственного Ученого Совета допущено в качестве учебного пособия для В.У.З.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1926 ☆ ЛЕНИНГРАД

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008

ЕГ165
Р742 Р

Библиотека
Института Ленина
при Ц.К. Р.К.П. (б.)
(501
26) 5486с.1
9759

1052501

Главлит № 50242. Гиз 14385. Тираж 5.000 экз.

Типография Госиздата „Красный Пролетарий". Москва, Пименовская, 16.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. Идеология права и государства.

Стр.

§ 1. Сущность идеологического метода и его критика . . 1

Ф. Энгельс. Письмо к Мерингу. Маркс и Энгельс. „Письма". Его же. „Анти-Дюринг".

§ 2. Специфически-буржуазный характер юридической идеологии 3

Ф. Энгельс и К. Каутский. „Юридический социализм". „Под знаменем марксизма", 1923, № 1. Стр. 52—55.
К. Маркс. „Критика Готской программы". Гиз 1923. Стр. 54—57.

§ 3. О так называемом „юридическом социализме" 8

Ф. Энгельс и К. Каутский. „Юридический социализм". „Под знаменем марксизма", 1923. Стр. 69—70.

§ 4. Социализм и право 9

Ф. Энгельс и К. Каутский. „Юридический Социализм". Там же, стр. 71.

§ 5. О так называемых „простых законах права" . . . . —

Маркс. Письмо к Энгельсу от 4 ноября 1864 г. Маркс и Энгельс. „Письма".

§ 6. Существуют ли вечные правовые идеи? 11

Маркс. „Нищета философии". Гиз 1920. Стр. 100.
Маркс и Энгельс. „Коммунистический Манифест". Гиз 1924. Стр. 86—87.
Энгельс. „Жилищный вопрос". Гиз 1922. Стр. 14—15.
Маркс. „Капитал". Гиз 1923. Т. I, стр. 52.

§ 7. Что такое закон и как к нему относятся различные классы? 15

Маркс и Энгельс. „Коммунистический Манифест". Гиз 1924. Стр. 83.
Энгельс. „Положение рабочего класса в Англии". Стр. 254—255.

§ 8. О „правовой идее революции". 16

Ф. Энгельс. „Жилищный вопрос". Гиз 1922. Стр. 52—57.

Стр.

§ 9. О некоторых правовых иллюзиях (свободном договоре и общечеловеческом равенстве) 22

Плеханов. „Экономическая теория Родбертуса-Ягецова". Сочинения. Гиз 1925. Т. I, стр. 277—278.
Маркс. „Капитал". Гиз 1923. Т. I, стр. 275—276, 375—376, 604.
Энгельс. „Анти-Дюринг".

§ 10. Право и сила 29

Плеханов. „Экономическая теория Родбертуса-Ягецова". Сочинения. Гиз 1925. Т. I, стр. 339—340.
Его же. „Белинский". Гиз 1923. Стр. 15—17.

§ 11. Идеология государства 31

Маркс и Энгельс. „Фейербах". Архив Маркса и Энгельса. Гиз 1924. Кн. I, стр. 222, 230—233, 243, 252.
Ф. Энгельс. „Л. Фейербах". Гиз 1922. Стр. 57—59.
Его же. Введение к „Гражданской войне во Франции" К. Маркса. Изд. ВЦИК Советов Р. С. К. и К. Депутатов. Москва 1919. Стр. 12.

II. Из истории правовой мысли.

§ 1. Государственно-правовые воззрения Канта в оценке Маркса и Энгельса 38

Маркс и Энгельс. „Святой Макс". Гиз 1920. Страницы 158—162.

§ 2. Кантова теория права и государства 41

Деборин. „Диалектика у Канта". Архив Маркса и Энгельса. Т. I, стр. 73—75.

§ 3. Об исторической школе права 43

Ф. Мерinг. „О Гражданском Уложении". „Neue Zeit". XIV Beitrg. I Bd.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Гиз 1923. Т. I, стр. 367, 519—520.

§ 4. Критика Гегелевской философии права 46

Маркс. Там же, стр. 371—373.
Ф. Мерinг. Примечания к „Литературному наследию Маркса и Энгельса".

§ 5. Фихте и его правовое обоснование революции 50

А. Деборин. „Фихте и Великая французская революция". „Под знаменем марксизма". 1924. № 10—11. Стр. 8—12.
Л. Аксельрод. „Иоганн Готлиб Фихте". Сборник „Против идеализма". Гиз 1924. Стр. 86—89.

§ 6. Возрождение Естественного права и его реакционное значение 58

Л. Аксельрод. „О проблемах идеализма". Сборник „Против идеализма". Гиз 1924. Стр. 21—24.
Ее же. „Два течения". Сборник „На рубеже", 1909 г. Стр. 246—247.

Стр.

§ 7. Философско-правовые воззрения Ф. Лассаля 61

Мерінг. „Главный труд Лассаля по философии права". „История Германской Социал-Демократии". Гиз 1923. Т. II, стр. 247—263.
Энгельс. Письмо к Марксу от 2 декабря 1861 г. Маркс и Энгельс. „Письма".
Маркс. Письмо к Энгельсу от 9 декабря 1861. Там же.
Мерінг. Примечания к „Письмам Лассаля к Марксу и Энгельсу".

III. Происхождение права.

§ 1. Происхождение обычая и закона 82

Энгельс. „Жилищный вопрос". Гиз 1922. Стр. 57—58.
Маркс. „Капитал". Гиз 1923. Т. III, ч. 2-я, стр. 329—330.
Лафарг. „Происхождение справедливости". „Экономический детерминизм К. Маркса".

§ 2. Критика исторической школы права и обоснование материалистической теории 87

Плеханов. „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю". Сочинения, Гиз 1925. Т. VII, стр. 173—202.
Его же. „О материалистическом понимании истории". Сочинения. Гиз 1923. Т. VIII, стр. 260—267.

IV. Право и экономика.

§ 1. Классическая формулировка взгляда на право, как на надстройку над экономикой 110

Маркс. Предисловие к „Критике политической экономии".

§ 2. Содержание юридического отношения дано экономическим отношением 112

Маркс. „Капитал". Гиз 1923. Т. I, стр. 52, 255—256. Т. III, ч. 1-я, стр. 324.

§ 3. Развитие права обусловливается потребностями народного хозяйства 113

Ф. Энгельс. „Сила и экономика в образовании Германской империи". Изд. „Красная Новь" 1923. Стр. 17—20, 80—82.
Его же. „Людвиг Фейербах". Гиз 1923. Стр. 58.

§ 4. Правовые учреждения страны соответствуют господствующему в ней способу производства 117

Плеханов. „В защиту экономического материализма". Сочинения. Гиз 1923. Т. VIII, стр. 198—202.

§ 5. Что такое имущественные отношения? 122

Плеханов. „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю". Сочинения. Гиз 1923. Т. VII, стр. 77—78.

Стр.

§ 6. Процесс приспособления правовой системы к изменившимся экономическим отношениям 123
Энгельс. „О материализме".

§ 7. Об обратном воздействии правовой надстройки на экономику 124
Энгельс. Письмо к Шмидту от 27/X 1890. Маркс и Энгельс. „Письма".
Его же. Письмо к Штаркенбургу от 25/I 1894. Там же.
Плеханов. Предисловие к „Коммунистическому Манифесту" Маркса и Энгельса. Сочинения. Гиз 1925. Т. XI, стр. 315.
Его же. „Экономическая теория Родбертуса-Ягецова". Сочинения. Гиз 1924. Т. I, стр. 244—245.

§ 8. Как Струве исказил взгляды Маркса на взаимоотношения между правом и экономикой 127
Плеханов. „Господин Струве в роли критика марксовой теории общественного развития". Сочинения. Гиз 1925. Т. XI, стр. 144—158.

V. Проблема собственности.

§ 1. Историческое развитие форм собственности 141
Маркс и Энгельс. „Фейербах". Архив Маркса и Энгельса. Гиз 1924. Кн. I, стр. 251—253.
Маркс. „Капитал". Гиз 1923, Т. I, стр. 568, 755, 756—757.

§ 2. Происхождение собственности и насилие 146
Энгельс. „Анти-Дюринг".

§ 3. Сущность частной собственности не в индивидуальном обладании, а в общественно-экономической функции . —
Маркс и Энгельс. „Святой Макс". Гиз 1920. Страницы 194—195.

§ 4. Конкретные формы собственности и обусловленное ими политическое господство 149
Маркс. „Морализующая критика и критикующая мораль". „Под знаменем марксизма". 1923. № 4—5. Стр. 25—29.

§ 5. Метафизическое понятие собственности 154
Маркс. „Нищета философии". Гиз 1920. Стр. 32—33, 142.

§ 6. Против богдановской „ревизии" марксова понимания права частной собственности 155
Л. Аксельрод. „Новая разновидность ревизионизма". Сборник „Философские очерки". Гиз 1924. Стр. 183—184.

§ 7. Задача коммунизма—уничтожение буржуазной собственности 156
Маркс и Энгельс. „Коммунистический Манифест". Гиз 1924. Стр. 79—80, 83.

Стр.

VI. Происхождение государства и его сущность.

§ 1. Догосударственное состояние 159

Энгельс. „Происхождение семьи, частной собственности и государства".

§ 2. Возникновение государств . . . . . —

Энгельс. „Происхождение семьи, частной собственности и государства".

Маркс. „Капитал". Гиз 1923. Т. I, стр. 495. Примеч. 6-е.

§ 3. Социально-классовые основы государства, его разновидности и основные черты 187

Маркс и Энгельс. „Коммунистический Манифест". Гиз 1924. Стр. 64.

Энгельс. „Происхождение семьи, частной собственности и государства".

Его же. „Жилищный вопрос". Гиз 1922. Стр. 44.

§ 4. Абсолютная монархия и диалектика ее развития . . . 192

Маркс. „Морализующая критика и критикующая мораль". „Под знаменем марксизма". 1923. № 4—5. Стр. 31—33.

§ 5. Против одного марксистского искажения марксова понимания сущности государства 194

Ленин. „Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве". Собр. соч. Гиз 1925. Т. II, стр. 81—82.

VII. Государственная власть и экономическая жизнь.

§ 1. Взаимодействие между политической властью и экономическими отношениями 196

Плеханов. „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю". Сочинения. Гиз 1925. Т. VII, страницы 71—75, 191—196.

§ 2. Характер обратного воздействия государственной власти на экономическое развитие 204

Энгельс. Письмо к Шмидту от 27/X 1890. Маркс и Энгельс. „Письма".

§ 3. Как капиталисты используют государственную власть. 205

Маркс. „Капитал". Гиз 1923. Т. I, стр. 243.

§ 4. О классовой сущности так называемого правового государства и его роли в экономической борьбе 206

Плеханов. „Новое направление в области политической экономии". Сочинения. Гиз 1924. Т. I, стр. 191—195.

Стр.

§ 5. Критика анархо-синдикалистских взглядов на взаимоотношение политики и экономики 210

Энгельс. Письмо Куно от 24/I 1872. г. Маркс и Энгельс. „Письма".
Плеханов. „Критика теории и практики синдикализма". Маркс и Энгельс. „Письма".
Его же. „Критика теории и практики синдикализма". „От обороны к нападению". Стр. 376—377.
Ленин. „Государство и революция". Собрание сочинений. Гиз 1924. Т. XIV, ч. 2, стр. 345—348.

VIII. О буржуазной республике и формальной демократии.

§ 1. Буржуазная республика служит интересам капиталистических дельцов 218

Энгельс. Письмо к Зорге от 31/XII 1892 г. Маркс и Энгельс. „Письма".
Маркс. „Борьба классов во Франции 1848—1850 г. г.".
Энгельс. Введение к „Гражданской войне во Франции" Маркса.

§ 2. О возрастающей реакционности так называемых демократических республик 219

Каутский. „Республика и социализм во Франции".
Плеханов. „В Амстердаме". „Мысли и заметки о II Интернационале".

§ 3. Чистая демократия — лозунг, вокруг которого в момент революции группируются все реакционные силы . 222

Энгельс. Письмо к Бебелю от 11/XII 1884 г. Маркс и Энгельс. „Письма".

§ 4. Метафизика демократии и парламентский кретинизм . 223

Энгельс. „Революция и контр-революция в Германии".
Лафарг. „Парламентаризм и буланжизм". Соч. Гиз 1925. Т. I, стр. 88—92.
Троцкий. „Терроризм и коммунизм". Гиз 1920. Стр. 37—41.

§ 5. Классовые основы бонапартизма 231

Маркс. „Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта". Стр. 220—223.
Энгельс. Письмо к Марксу от 13/IV 1866 г. Маркс и Энгельс. „Письма".

§ 6. Под лозунгом абстрактной демократии скрывается конкретное капиталистическое рабство 235

Плеханов. „Столетие великой революции". Сочинения. Гиз 1923. Т. IV, стр. 65—66.
Ленин. „Об обмане народа лозунгами свободы и равенства". Собр. соч. Гиз 1925. Т. XVI, стр. 202—209.

§ 7. Коалиционная политика является для пролетариата политическим самоубийством 241

Каутский. „Путь к власти".

Стр.

§ 8. Участвовать ли в буржуазных парламентах? 242

Ленин. „Детская болезнь „левизны" в коммунизме". Собр. соч. Гиз 1925. Т. XVII, стр. 146—154.

§ 9. Уничтожение парламентаризма 249

Ленин. „Государство и революция". Собрание сочинений. Гиз 1924. Т. XIV, ч. 2, стр. 332—337.

IX. О всеобщем избирательном праве.

§ 1. Всеобщее избирательное право не обладает чудодейственной силой устранить основные противоречия в классовом обществе 254

Маркс. „Борьба классов во Франции 1848 — 1850 г. г.".

§ 2. Всеобщее избирательное право — основа буржуазного господства 255

Маркс. „Гражданская война во Франции".

§ 3. Всеобщее избирательное право может стать орудием угнетения масс . . . . . —

Энгельс. „Сила и экономика в образовании Германской империи". Изд. „Красная Новь" 1923. Стр. 24.

§ 4. В какой мере всеобщее избирательное право открывает возможность замены революционной тактики принципами легальной борьбы 256

Энгельс. Введение к „Классовой борьбе во Франции 1848—1850 г. г." Маркса.

§ 5. Отказался ли Энгельс на склоне лет от принципов революционной борьбы с капиталистической государственностью? 257

Каутский. „Путь к власти". Гиз 1923. Стр. 41.

Плеханов. Предисловие к „Коммунистическому Манифесту" Маркса и Энгельса. Сочинения. Гиз 1925. Т. XI, стр. 321—326.

Д. Рязанов. Введение Энгельса к „Классовой борьбе во Франции". Архив Маркса и Энгельса, 1924. Книга первая, стр. 257—261.

§ 6. Революционно-диалектическая оценка значения всеобщего избирательного права 269

Плеханов. Речь на II съезде РСДРП. Сочинения. Гиз. 1924. Т. XII, стр. 418—419.

X. Проблема насилия и его роль в создании и разрушении государства.

§ 1. Возникновение классового господства и теория насилия Е. Дюринга 270

Энгельс. „Анти-Дюринг".

Стр.

§ 2. Роль насилия в разрешении коренного противоречия между производительными силами и общественными отношениями 282

Маркс. Письмо к Анненкову.

§ 3. Об одной попытке (Каутского) лишить насилие роли повивальной бабки при рождении нового общества . . 284

Плеханов. „Несколько слов о последнем Парижском международном социалистическом конгрессе". Сочинения. Гиз 1924. Т. XII, стр. 108—111.

§ 4. О „внеэкономическом" насилии 286

Маркс. „Капитал". Гиз 1923. Т. I, стр. 730.

§ 5. Фетишизм правовой почвы и диалектика революционного действия . . . . . —

Маркс. Речь перед судом присяжных в Кельне. „Исторические работы". Стр. 355—360.

§ 6. Исключает ли демократическая конституция необходимость насилия? 291

Плеханов. Предисловие к „Коммунистическому Манифесту". Сочинения. Гиз 1925. Т. XI, стр. 319—321.

Его же. „Cant против Канта". Сочинения. Гиз 1925. Т. XI. Стр. 55—57.

XI. Обоснование диктатуры пролетариата.

§ 1. Зарождение идеи диктатуры пролетариата 295

Маркс. „Борьба классов во Франции 1848—1850 г. г.". „Исторические работы". Стр. 47—52, 107—109.

§ 2. Историческая роль Маркса в деле обоснования диктатуры пролетариата 301

Маркс. Письмо к Вейдемейру от 5/III 1852 г. Маркс и Энгельс. „Письма".

Каутский. „Путь к власти". Гиз 1923. Стр. 17—18.

§ 3. Парижская коммуна как первый опыт пролетарской диктатуры 302

Маркс. „Гражданская война во Франции". Гиз 1919. Стр. 52.

Энгельс. Введение к „Гражданской войне во Франции" Маркса. Гиз 1919. Стр. 14.

§ 4. Диктатура пролетариата—цель борьбы всякой истинно-пролетарской партии . . . . . —

Энгельс. „Жилищный вопрос". Гиз 1922. Стр. 51.

§ 5. Диктатура пролетариата как переходный этап к коммунистическому строю . . . . . —

Энгельс. „Жилищный вопрос". Гиз 1922. Стр. 50.

Маркс. „Политический индиферентизм". „Neue Zeit" 1913—1914, год 32, т. I, стр. 40. Цит. по Ленину: „Государство и революция". Собрание сочинений. Гиз 1924. Т. XIV, стр. 345.

Его же. „Критика Готской программы". Гиз 1923. Стр. 67—71.

Стр.

§ 6. О бессмысленности понятия „свободное народное государство“ 306

Энгельс. Письма к Бебелю.
К. Маркс. „Критика Готской программы“. Гиз 1923. Стр. 88—90.

§ 7. О революционной диктатуре и „свободной, законной и милостивой республике“ 307

Плеханов. „Столетие Великой Революции“. Сочинения. Гиз 1923. Т. IV, стр. 58—64.

§ 8. Установление так наз. демократического режима не устраняет необходимости борьбы за диктатуру пролетариата 312

Плеханов. „Комментарии к проекту программы РСДРП“. Сочинения. Гиз 1924. Т. XII, стр. 226—228.

§ 9. Против бернштейновской „ревизии“ идеи диктатуры пролетариата 315

Плеханов. Предисловие к „Коммунистическому Манифесту“. Сочинения. Гиз 1925. Т. XI, стр. 317—319.
Каутский. „Анти-Бернштейн“.

§ 10. Критика каутскианской ревизии марксова учения о диктатуре пролетариата 318

Ленин. „Пролетарская революция и ренегат Каутский“. Собр. соч. Гиз 1925. Т. XV, стр. 415—424, 430—436.

§ 11. О так называемой „чистой демократии“ и пролетарской диктатуре 331

Ленин. „О демократии и диктатуре“. Собрание сочинений. Гиз 1925. Т. XV, стр. 564—567.
Его же. Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. Собрание сочинений. Гиз 1925. Т. XVI, стр. 36—46.

XII. Проблема уничтожения государства.

§ 1. Последний акт государственной власти 345

Маркс и Энгельс. „Коммунистический Манифест“. Гиз 1924. Стр. 87—88.
Энгельс. „Анти-Дюринг“.

§ 2. Конечная цель коммунистической партии — уничтожение всякого государства 346

Энгельс. Предисловие к его „Статьям 1871—1875 г. г.“.

§ 3. Буржуазное государство должно быть разрушено (опыт Парижской Коммуны) . . . . . —

Энгельс. Введение к „Гражданской войне во Франции“ Маркса. Изд. ВЦИК Советов Р. С. К. и К. Депутатов. Москва 1919. Стр. 11.

Стр.

Маркс. „Гражданская война во Франции 1871 г.“. Издание ВЦИК Советов Р. С. К. и К. Депутатов. Москва 1919. Стр. 41—48, 50—52.
Маркс. Письмо к Кугельману от 12/IV 1871 г. Маркс и Энгельс. „Письма“.
Маркс и Энгельс. Предисловие к нем. изд. „Коммунистического Манифеста“ 1872 г.
Энгельс. „Принципы авторитета“. Цит. по Ленину: „Государство и революция“. Собрание сочинений. Гиз 1924. Т. XIV, ч. 2, стр. 347.

§ 4. Пролетарское государство будет постепенно отмирать . 357
Энгельс. „Анти-Дюринг“.

§ 5. Экономические основы отмирания государства 358
Ленин. „Государство и революция“. Собрание сочинений. Гиз 1924. Т. XIV, ч. 2, стр. 364—374.

XIII. Борьба за советскую систему как современную форму пролетарской диктатуры.

§ 1. Советская система как новый тип государства 368
Ленин. „Задачи пролетариата в нашей революции“. Собрание сочинений. Гиз 1924. Т. XIV, ч. I, стр. 46—48.

§ 2. Разоблачение демократических иллюзий мелкобуржуазного социализма 369
Ленин. „О конституционных иллюзиях“. Собрание сочинений. Гиз 1924. Т. XIV, ч. 2, стр. 19—26.

§ 3. Формально-юридическая и революционно-диалектическая оценка учредительного собрания 376
Ленин. „Пролетарская революция и ренегат Каутский“. Собрание сочинений. Гиз 1925. Т. XV, стр. 446—449.
Его же. „Выборы в Учредительное Собрание и диктатура пролетариата“. Собрание сочинений. Гиз 1925. Т. XVI, стр. 445—450.

§ 4. Историческая неизбежность торжества Советской власти. 383
Ленин. „Удержат ли большевики государственную власть“. Собрание сочинений. Гиз 1924. Т. XIV, ч. 2, стр. 247—253.

I. ИДЕОЛОГИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА.

§ 1. СУЩНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА И ЕГО КРИТИКА.

Мы переносили и должны были переносить центр тяжести на то, чтобы выводить политические, правовые и прочие идеологические представления и действия, на которые эти представления влияли, из экономических основных фактов. При этом мы из-за содержания не обращали должного внимания на формальную сторону: каким образом эти представления и т. д. возникают. Это дало нашим противникам желанный повод для недоразумений, ярким примером этого является Пауль Барт.—Идеология, это—(мыслительный) процесс, который проделывает так называемый мыслящий человек хотя и с сознанием, но с сознанием неправильным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Человек создает себе, следовательно, представления о ложных или призрачных побудительных силах. Так как это процесс мысли, то человек и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления своих предшественников. Этот человек имеет дело исключительно с материалом мыслительным; без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением, и не занимается исследованием никакого другого процесса, более отдаленного и от мышления независимого. Такой подход к делу ему кажется само собою разумеющимся, так как для него всякое человеческое действие основано в последнем счете на мышлении, потому что совершается посредством мышления. У исторического идеолога (исторический—означает здесь понятие собирательное для понятий: политический, юридический, философский, теологический, словом, для всех областей, относящихся к обществу, а не просто к природе)—у исторического идеолога в области каждой науки имеется материал, который образовался самостоятельно из мышления прежних поколений и проделал ряд ступеней самостоятельного развития в мозгу этих, следовавших одно за другим, поколений. Конечно, на это развитие могли воздействовать в качестве сопутствующих причин и внешние факты, относящиеся к данной области или к другой, но факты эти, по молчаливому соглашению, считают опять-таки просто плодами мыслительного процесса, и таким образом мы все время продолжаем оставаться

в области чистой мысли, которая переварила счастливо самые твердые факты. Как раз этот призрак самостоятельной истории государственных конституций, правовых систем, идеологических представлений в любой области,—как раз это и ослепляет большинство людей.

(Ф. Энгельс. Письмо к Ф. Мерингу. Маркс и Энгельс. Письма.)

*
* *

Мы уже неоднократно знакомились с методом г. Дюринга. Он состоит в том, чтобы разлагать каждую группу объектов познания на их простейшие якобы элементы, применять к этим элементам столь же простые, якобы самоочевидные аксиомы, и оперировать дальше с добытыми таким образом результатами. Точно так же и всякий вопрос общественной жизни «должен быть решаем аксиоматически на отдельных простых, основных формах, как если бы дело шло о простых... основных формах математики». Таким образом применение математического метода к истории, нравственности и праву должно и в этих областях доставить нам математическую уверенность в истинности добытых результатов, должно придать им характер подлинных, неизменных истин.

Этот метод есть только видоизменение старого излюбленного идеологического метода, называемого также априорным, который познает свойства какого-либо предмета не из самого предмета, а выводит их дедуктивно из его понятия. Сначала из предмета делают понятие предмета, затем переворачивают копье и меряют предмет по его отражению, по понятию. Не понятие должно соответствовать предмету, а предмет понятию. У г. Дюринга вместо понятия фигурируют простейшие элементы, конечные абстракции, до которых он в состоянии дойти, но это не меняет сущности дела: простейшие элементы, в лучшем случае, носят чисто умозрительный характер. Таким образом философия действительности оказывается и здесь чистой идеологией, выведением действительности не из нее самой, а из представления.

Итак, если подобного рода идеолог конструирует нравственность и право не из действительных общественных отношений окружающих его людей, а из понятия или из так называемых простейших элементов «общества», то какой материал имеется в этом случае для возводимого им здания? Очевидно, двоякого рода: во-первых, те скудные остатки реального содержания, какие еще могут заключаться в его основных абстракциях, а, во-вторых, то содержание, которое наш идеолог привносит из своего собственного сознания. Но что находит он в своем сознании? Большею частью нравственные и правовые воззрения, которые в положительной или отрицательной форме, одобряя или осуждая,

более или менее точно выражают общественные и политические условия, среди которых он живет; далее, быть может, представления, заимствованные из соответствующей литературы; наконец, еще какие-нибудь личные причуды. Наш идеолог может вертеться, как ему угодно: историческая реальность, выброшенная им за дверь, влетает обратно через окно. Автор, воображавший, что он набрасывает нравственное и правовое учение для всех миров и времен, на самом деле дает искаженное, ибо оторванное от реальной почвы и поставленное вверх ногами, словно в вогнутом зеркале, отражение консервативных или революционных течений своего времени.

(Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг».)

§ 2. СПЕЦИФИЧЕСКИ-БУРЖУАЗНЫЙ ХАРАКТЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ.

Религиозное знамя развевалось в последний раз в Англии в XVII столетии, а меньше пятидесяти лет спустя выступило во Франции без всяких прикрас новое миросозерцание, которое должно было стать классическим миросозерцанием буржуазии, именно юридическое миросозерцание.

Оно представляло собой секуляризованное теологическое миросозерцание. Место догмы божественного права заняло человеческое право, место церкви заняло государство. Экономические и общественные отношения, которые раньше, так как они были санкционированы церковью, считались продуктом церкви и догмы, представлялись теперь основанными на праве созданиями государства. Обмен товаров в общественном масштабе приводит в своем наиболее развитом виде, именно благодаря практике задатков и кредита, к запутанным договорным взаимоотношениям и этим выдвигает потребность в общепризнанных правилах, которые могут быть установлены только общественным коллективом,—потребность в установленных государством правовых нормах. Это обстоятельство создало у представителей нового класса иллюзию, будто эти правовые нормы обязаны своим возникновением не экономическим отношениям, а формальной законодательной деятельности государства. А так как конкуренция—эта основная форма отношений товаропроизводителей — является величайшей уравнительницей, то равенство перед законом стало основным боевым кличем буржуазии. То обстоятельство, что борьба этого нового стремящегося к власти класса против феодалов и защищавшей их тогда абсолютной монархии, как всякая классовая борьба, должна была стать политической борьбой, борьбой за обладание государственной властью, то обстоятельство, что эта борьба должна была вестись за правовые требования, способствовало еще более упрочению юридического миросозерцания.

Но буржуазия породила своего отрицательного двойника,

пролетариат, а с ним и новую классовую борьбу, которая возгорелась еще раньше, чем буржуазия окончательно завоевала государственную власть. Подобно тому как буржуазия в свое время в борьбе против дворянства придерживалась долгое время по традиции теологического миросозерцания, и пролетариат вначале перенял от противника юридический способ мышления и искал в нем оружие против буржуазии. Первые пролетарские партийные образования и их теоретические представители оставались всецело на юридической почве, «почве права», только они себе сконструировали «правовую почву», отличную от «правовой почвы» буржуазии. С одной стороны, требование равенства было расширено в том смысле, что юридическое равенство должно быть дополнено общественным равенством. С другой стороны, из положения Адама Смита, что труд является источником всякого богатства, но что рабочий, однако, должен поделиться продуктом своего труда с землевладельцем и капиталистом, был сделан тот вывод, что эта система распределения несправедлива и должна быть или совершенно упразднена, или по крайней мере изменена к выгоде рабочего. Внутреннее чувство, однако, говорившее, что одно юридическое «правовое» решение вопроса не может устранить зла, созданного буржуазно-капиталистическим и, в частности, современным крупно-промышленным способом производства, побудило уже наиболее значительные умы из ранних социалистов—Сен-Симона, Фурье и Оуэна—покинуть совершенно юридически-политическую почву и объявить бесплодной всякую политическую борьбу.

Обе эти точки зрения были одинаково непригодны для того, чтобы служить адэкватным выражением и объединяющим синтезом вызванных экономическим положением освободительных стремлений рабочего класса. Требования равенства не меньше требований предоставления рабочему полного продукта его труда запутывались в неразрешимых противоречиях, как только делалась попытка дать им конкретную юридическую формулировку, при чем суть дела, именно изменение способа производства, оставалась более или менее незатронутой. Отрицание политической борьбы великими утопистами было одновременно отрицанием классовой борьбы, т.-е. единственно возможной формы активности того класса, интересы которого они собирались защищать. Обе точки зрения абстрагировали от тех исторических условий, которые их породили, обе апеллировали к чувству: одни—к чувству справедливости, другие—к чувству человечности. Обе облекали свои требования в форму благочестивых пожеланий, так что оставалось необъяснимым, почему эти требования должны быть осуществлены теперь, а не могли быть осуществлены тысячелетием раньше или позже.

Рабочий класс, который, благодаря переходу от феодального способа производства к капиталистическому, был лишен всякой собственности на средства производства, и для которого, благодаря

механизму капиталистического способа производства, это отсутствие собственности стало наследственным состоянием, в котором неизменно воспроизводится,—этот класс не может найти в юридической иллюзии буржуазии исчерпывающего выражения для своего исторического положения. Он может сам вполне осознать свое жизненное положение только в том случае, если он будет рассматривать вещи в их действительности, без юридических очков. Этому научил его Маркс своим материалистическим пониманием истории, доказавшим, что все юридические, политические, философские, религиозные и т. д. представления людей в последней инстанции обусловливаются их жизненными условиями, их способом производства и обмена продуктов. Этим было дано миросозерцание, соответствующее условиям жизни и борьбы рабочего класса. Отсутствию собственности у рабочих могло только соответствовать отсутствие иллюзии в их головах. И это пролетарское миросозерцание совершает теперь свое победное шествие по миру.

Борьба обоих миросозерцаний, само собой разумеется, еще продолжается, борьба эта идет не только между пролетариатом и буржуазией, но и между свободно мыслящими рабочими и рабочими, находящимися еще во власти традиций. В общем старое миросозерцание защищается обыкновенными политиками, обычными аргументами. Однако существуют еще так называемые ученые юристы, делающие из юриспруденции специальную профессию.

До сих пор эти господа считали ниже своего достоинства заниматься теоретической стороной рабочего движения. Мы должны быть поэтому особенно признательны, когда, наконец, действительный профессор права д-р Антон Менгер снисходит к тому, чтобы «догматически» подробнее осветить историю социализма с точки зрения философии права [1]).

В самом деле, социалисты до сих пор заблуждались. Они игнорировали как раз то, что является самым важным. «Только тогда, когда социалистические идеи будут очищены от бесконечных экономических и филантропических рассуждений и будут превращены в трезвые понятия права, только тогда, когда будут устранены все экономические «узоры», только тогда может быть предпринята юридическая разработка социализма—эта «важнейшая задача философии права наших дней».

Однако в «социалистических идеях» речь идет именно о народнохозяйственных отношениях, прежде всего об отношении между наемным трудом и капиталом, и тут экономические рассуждения как будто представляют собой нечто большее, чем «узоры», которые надо устранить. К тому же политическая экономия причисляется к так называемой науке и имеет большее пра-

---

[1]) А. Менгер. «Право на полный продукт труда». 1886. Русск. пер. Н. Рожкова. М. 1906, стр. 221 и др. изд.

во претендовать на это, чем философия права, ибо она занимается фактами, а не, как последняя, одними только представлениями. Но это для специалиста юриста совершенно безразлично. Экономические исследования имеют в его глазах одинаковую ценность с филантропическими декламациями.

Fiat justitia, pereat mundus.

Сверх того, «экономические узоры» у Маркса представляют собой—а это особенно не может переварить желудок нашего юриста—не только экономические исследования. Эти исследования носят по преимуществу исторический характер. Они показывают ход общественного развития от феодального способа производства средних веков до современного развитого капитализма, исчезновение прежних классов и классовых противоречий и образование новых классов с новыми противоположными интересами, которые, между прочим, находят свое выражение в новых правовых требованиях.

Слабое сознание этого как будто осеняет и нашего юриста, когда он на стр. 37 делает открытие, что «современная философия права... по существу есть только отражение исторически унаследованного правового уклада, что эту философию права можно было бы назвать «буржуазной философией права, рядом с которой в социализме возникает философия права неимущих классов». Но если это так, то чем это объясняется? Откуда появились эти «буржуа» и эти «неимущие классы», имеющие в зависимости от различия их классового положения различную философию права? Является ли причиной их возникновения право или экономическое развитие? А разве Маркс говорит что-либо иное, чем то, что правовые воззрения отдельных крупных общественных класов обусловливаются в каждой данный момент их классовым положением? Каким образом очутился Менгер среди марксистов?

(Энгельс и Каутский. «Юридический социализм».
«Под знаменем марксизма», 1893, № 1, стр. 52—55.)

*
* *

Поэтому здесь равное право—все еще по своему принципу буржуазное право, хотя принцип и практика и не ссорятся более, тогда как при товарном обмене обмен эквивалентов существует только в среднем, а не в каждом отдельном случае.

Несмотря на этот прогресс, равное право все еще заключено в буржуазные рамки. Право производителей пропорционально доставленному ими труду; равенство состоит в равенстве мерила—труда.

Но один человек превосходит другого физически или умственно, следовательно, доставляет за то же время больше тру-

да, или же может работать дольше; и труд, чтобы служить мерилом, должен определяться по протяженности или напряженности, иначе он перестал бы быть мерилом. Это равное право есть неравное право для неравного труда. Оно не признает никаких классовых различий, потому что каждый есть только рабочий, как и все прочие; но оно молча признает неравную индивидуальную одаренность и работоспособность за естественные привилегии. Поэтому оно по своему содержанию есть право неравенства, как и всякое право. По своей природе право может состоять только в применении общего мерила; но неравные индивиды (а они не были бы различными индивидами, если бы не были неравными) имеют общую мерку лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом, понимают только с одной стороны,—в данном случае, например, только как рабочих, и ничего больше, отвлекаясь от всего прочего. Далее, один рабочий женат, а другой нет, у одного больше детей, чем у другого, и проч., и проч. Поэтому при равной работоспособности, а значит, и равном уделе в общественном потребительном фонде, один получает фактически больше другого, является богаче другого и проч. Для устранения всех этих зол право должно бы быть вместо равного неравным.

Но этих зол нельзя избежать в первой фазе коммунистического общества, когда оно только что вышло из капиталистического общества после долгих мук родов. Право никогда не может быть выше экономической формы и обусловленного ею культурного развития общества.

Лишь на высшей стадии коммунистического общества, когда исчезнет холопская иерархия индивидов при разделении труда, а с нею противоречие между умственным и физическим трудом; когда самый труд станет первой жизненной потребностью, а не только средством к жизни; когда вместе с всесторонним развитием личности вырастут и производительные силы, и все родники общественного богатства изобильно потекут,—лишь тогда узкий буржуазный правовой кругозор будет совершенно покинут, и общество напишет на своем знамени: «С каждого по его способностям, каждому по его потребностям!».

Я останавливался так долго на «неурезанном доходе от труда», «равном праве» и «справедливом разделе», чтобы показать, как сильно грешат, желая снова навязать нашей партии в виде догматов представления, которые в свое время имели смысл, но теперь стали устарелою завалью, и искажая реалистическое понимание, доставшееся партии с таким трудом, но уже пустившее в ней корни, идеологическими правовыми и другими увертками, которые в таком ходу у демократов и французских социалистов.

(Маркс. «Критика Готской программы». Гиз 1923, стр. 54—57.)

§ 3. О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «ЮРИДИЧЕСКОМ СОЦИАЛИЗМЕ».

В предисловии господин Менгер заявляет, что он «в юридической разработке социализма» видит «важнейшую задачу нашего времени». «Ее правильное разрешение будет существенно содействовать тому, чтобы неизбежные сдвиги нашего правового строя совершались мирным путем. Только тогда, когда социалистические идеи будут превращены в трезвые понятия права, практические государственные люди будут в состоянии понять, в какой мере необходимо изменение существующего правового строя в интересах страдающих народных масс». Он хочет содействовать этой реформе путем приведения социализма в систему права.

А к чему сводится эта юридическая разработка социализма? В заключительных замечаниях говорится: «не подлежит никакому сомнению, что законченная разработка системы права, которая всецело руководствовалась бы этими фундаментальными правовыми идеями («Основное право» № 1 и 2), есть дело отдаленного будущего» (стр. 163). То, что в предисловии выступает как важнейшая задача «нашего времени», в заключении отодвигается в отдаленное будущее». «Необходимые изменения (существующего правового строя) последуют путем долгого исторического развития, подобно тому, как господствующий ныне общественный строй в течение веков так разложил и уничтожил феодальную систему, что, наконец, достаточно было толчка, чтобы ее окончательно устранить» (стр. 164). Очень хорошо сказано, но к чему тогда философия права, если историческое развитие общества само приведет к этим изменениям? По словам предисловия, именно юристы призваны указывать путь общественного развития; теперь же, когда юрист подходит к практическому выполнению своих широковещательных обещаний, ему изменяет храбрость, и он что-то бормочет об историческом развитии, которое все само устроит.

«Идет ли, однако, наше социальное развитие в направлении осуществления права на полный продукт труда или права на труд? Господин Менгер заявляет, что он этого не знает. Так позорно продает он теперь свои «социалистические основные права». Но если этими основными правами нельзя заманить и собаки, если они не в состоянии определить собой и осуществить социальное развитие, а, наоборот, сами определяются и осуществляются этим социальным развитием, то к чему тогда вела эта работа по совлечению с социализма его экономической и исторической оболочки, если мы вслед за этим должны узнать, что эта оболочка составляет его действительное содержание? Почему нам только в конце заявляют, что все это исследование не имеет никакого смысла, так как цель социалистического дви-

жения можно познать не путем превращения социалистических идей в трезвые понятия права, а только путем изучения социального развития и его двигательных сил?

(Энгельс и Каутский. «Юридический социализм». «Под знаменем марксизма», 1923, № 1, стр. 69—70.)

§ 4. СОЦИАЛИЗМ И ПРАВО.

Этим, конечно, не сказано, что социалисты откажутся выставить определенные требования правового характера. Активная социалистическая партия без таких требований невозможна, как вообще всякая политическая партия.

Притязания, вытекающие из общих интересов какого-нибудь класса, могут быть осуществлены только таким путем, что этот класс завоевывает государственную власть и придает своим притязаниям всеобщую значимость в форме законов. Каждый борющийся класс должен поэтому формулировать программно свои притязания в виде требований правового характера. Но притязания каждого класса меняются в ходе общественных политических изменений, они различны в каждой отдельной стране в зависимости от особенностей и уровня ее социального развития. Поэтому-то правовые требования отдельных партий при всей общности конечной цели, не во всякое время и не у всякого народа одинаковы. Они представляют собой переменный элемент и время от времени пересматриваются, как это можно наблюдать у социалистических партий отдельных стран.

При таких пересмотрах принимается в расчет фактическое отношение. Зато ни одной из существующих партий не приходило в голову сделать из своей программы новую философию права и никакой из них в будущем, конечно, не придет в голову.

(Энгельс и Каутский. «Юридический социализм». Там же, стр. 71.)

§ 5. О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ПРОСТЫХ ЗАКОНАХ ПРАВА».

В 1865 г. должен был быть созван общий съезд рабочих в Бельгии. На митинге был избран временный комитет, куда вошли Оджер, Кремер и многие другие, частью старые чартисты, старые оуэнисты и т. д.—от Англии; Майор Вольф, Фонтана и другие итальянцы—от Италии; Ле Любе и т. д.—от Франции; Эккариус и я—от Германии. Комитету предоставлено право привлекать сколько угодно новых членов. Прекрасно! Я присутствовал на первом заседании Комитета. Была выбрана подкомиссия (куда попал и я) для выработки предварительного положения и формулировки принципов. Болезнь помешала мне присутствовать на заседании подкомиссии и на бывшем вслед за этим заседании пленума Комитета.

В этих двух заседаниях,—подкомиссии и последовавшем за

ним заседании пленума Комитета,—на которых я не присутствовал, произошло следующее.

Майор Вольф представил для пользования нового общества свой устав (статуты) итальянских рабочих союзов (у них имеется центральная организация, но как это выяснилось позднее, они в сущности являются обществами помощи (Benefit societies). Я потом видел эту чепуху. Повидимому, это было стряпней Мадзини, и потому ты заранее можешь догадаться, в каком духе и в каких выражениях изображен был там действительный вопрос—рабочий вопрос; равным образом как были включены национальные вопросы.

Кроме того, представил программу, наполненную отчаянной путаницей и безграничным многословием старый оуэнист Вестон,—теперь сам фабрикант, очень милый и славный человек.

Следующее пленарное заседание Комитета поручило подкомиссии переработать программу Вестона, равным образом и статуты Вольфа. Сам Вольф уехал на съезд итальянского союза рабочих в Неаполе, чтобы присутствовать на нем и содействовать присоединению его к Лондонскому Центральному союзу.

На вторичном заседании подкомиссии я снова не присутствовал, так как меня уведомили о нем слишком поздно. Там оглашена была «декларация принципов» и переработанные Ле Любе статуты Вольфа,—подкомиссия приняла и то и другое для того, чтобы вынести на обсуждение пленума. Пленум заседал 18 октября. Так как Эккариус написал мне, что грозит periculum in mora, я явился. Я прямо испугался, когда при мне прочли совершенно незрелое введение доброго Ле Любе, имеющее претензию сойти за декларацию принципов—чрезвычайно фразистое, плохо написанное,—там на каждом шагу проглядывал Мадзини,—наполненное неопределеннейшими обрывками французского социализма. Кроме того, в общем был принят итальянский регламент, который, не говоря уже о других ошибках, имел целью нечто действительно уже невозможное, именно нечто вроде центрального правительства рабочих классов Европы, на заднем плане которого находился, конечно, Мадзини.

Я оказал легкое сопротивление, и после долгих толков и разговоров Эккариус предложил, чтобы эти вещи снова были проредактированы подкомиссией; «чувства» же, высказанные в декларации Ле Любе, были приняты. Два дня спустя, 20 октября, у меня на квартире собрались Кремер (от англичан), Фонтана (италия) и Ле Любе (Вестон не мог быть); у меня до сих пор не было в руках документов (Вольфа и Ле Любе), поэтому я ничего не смог приготовить заранее. Но я твердо решил не оставить без изменений ни одной строчки. Чтобы выиграть время, я предложил: прежде чем нам редактировать «введение»,—необходимо обсудить rules (положения). К этому и приступили. Только в 1 ч. ночи было закончено обсуждение первого пункта из 40, и он был принят. Кремер сказал (я этого как раз добивался): «У меня ничего нет,

что мы могли бы предложить комитету, который будет заседать 25 октября. Надо его отложить до 1 ноября. А подкомиссия может собраться 27 октября и сделать попытку достичь окончательного результата». Это предложение было принято и «документы» были «оставлены» мне для рассмотрения.

Я увидел, что нет никакой возможности сделать что-нибудь из этой чепухи. Чтобы оправдать несколько тот в высшей степени своеобразный способ, каким я собирался проредактировать уже «вотированные чувства» (votierte sentiments),—я написал обращение к рабочим классам (чего в первоначальном плане не было). Нечто вроде обзора судеб рабочих классов с 1845 (a sort of review of the adventures of the Working Classes since 1845). Под предлогом того, что в это обращение вошло уже все фактическое и что об одном и том же следует повторять по три раза, я изменил все «введение», выкинув «декларацию принципов», и вместо 40 положений оставил только 10. Поскольку в обращении речь идет о политике, я говорю о странах, а не о национальностях, и разоблачаю Россию, но не мелкие государства. Подкомиссия приняла все мои предложения. Меня только обязали во введении к уставу вставить две фразы, говорящие о «долге» и «праве» и точно так же об «истине, нравственности и справедливости». Но они помещены таким образом, что никакого вреда принести не могут.

В заседании генерального комитета (пленума) мое обращение было единогласно принято с большим энтузиазмом. Обсуждение вопроса, как его напечатать, будет происходить в ближайший вторник. Ле Любе получил копию для перевода на французский язык, а Фонтана—для перевода на итальянский. На первое время имеется один еженедельный листок под названием «Улей» (Beehive) под редакцией профессионалиста Поттера—род правительственного органа (Art Moniteur). Я сам должен перевести эту штуку на немецкий.

Было очень трудно так поставить дело, чтобы наши взгляды приняли такую форму, которая сделала бы их приемлемыми для теперешней точки зрения рабочего движения. Те же самые люди будут недели через две устраивать митинги с Кобденом и Брайтом по поводу избирательного права. Требуется время, пока вновь возродившееся движение сделает возможной старую смелость речи. Необходимо быть сильнее на деле и умереннее в форме.

(Маркс. Письмо к Энгельсу от 4 ноября 1864 г. Маркс и Энгельс. Письма.)

§ 6. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ВЕЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИДЕИ?

Экономисты употребляют очень странные приемы в своих рассуждениях. Для них существует только два рода учреждений: одни—естественные, другие—искусственные. Феодальные учреждения—искусственны, буржуазные—естественны. В этом слу-

чае экономисты похожи на теологов, которые также имеют два сорта религии. Всякая чужая религия есть, по их мнению, дело людей, тогда как их собственная религия—есть творение бога. Говоря, что существующие отношения—т.-е. отношения буржуазного производства—естественны, экономисты хотят этим сказать, что при этих отношениях производство богатства и развитие производственных сил совершается сообразно законам природы. Поэтому и сами названные отношения оказываются естественными законами, независимыми от влияния времени. Общество всегда должно находиться под влиянием этих вечных законов. Таким образом прежде была история, но теперь ее уже нет. История была,—потому что были феодальные учреждения и потому что в этих феодальных учреждениях мы находим такие отношения производства, которые совершенно не похожи на буржуазные, выдаваемые экономистами за естественные и потому вечные.

(Маркс. «Нищета философии». Гиз 1920, стр. 100.)

*
* *

— «Но,—скажут нам,—религиозные, нравственные, философские, политические, правовые и т. п. идеи менялись, конечно, в ходе исторического развития; однако религия, нравственность, философия, политика, право всегда сохранялись в этом беспрерывном изменении.

Существуют, кроме того, вечные истины: свобода, справедливость и т. п., которые одинаково принадлежат всем фазам общественного развития. Коммунизм же уничтожает общие истины, он уничтожает религию и нравственность вместо того, чтобы преобразить их; он противоречит, следовательно, всему ходу исторического развития».

К чему сводится это обвинение? История всех доныне существовавших обществ основывалась на противоположности классов, принимавшей в различные эпохи различные виды.

Но какую бы форму они ни принимали, эксплоатация одной части общества другою является фактом, общим всем прошлым столетиям. Неудивительно, поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря на все различия и на все разнообразие, вращалось до сих пор в известных общих формах, формах сознания, которые исчезнут совершенно лишь с полным уничтожением противоположности классов.

Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв с существующими имущественными отношениями, неудивительно, что она самым радикальным образом разрывает с традиционными идеями.

(Маркс и Энгельс. «Коммунистический манифест».
Гиз 1920, стр. 86—87.)

* * *

Прудон, который никогда не интересовался истинными фактическими условиями, при которых происходит какое-либо экономическое явление, не может себе, разумеется, объяснить, как это первоначальная цена издержек постройки дома может быть при известных обстоятельствах за 50 лет десятикратно уплачена в форме наемной платы. Вместо того, чтобы этот совсем нетрудный вопрос исследовать экономически и установить, действительно ли и каким образом этот факт противоречит экономическим законам, Прудон спасается одним прыжком из экономики в область юриспруденции: «однажды построенный дом служит вечным источником права» на определенный ежегодный платеж. Как это происходит, каким образом дом становится источником права—об этом Прудон умалчивает. А между тем именно это и следовало бы ему пояснить. Расследовав это, он нашел бы, что все источники прав на свете, как бы вечны они ни были, не могли бы наделить дом такой мощью, которая позволяла бы домовладельцу в течение пятидесяти лет 10 раз выручить цену своих издержек в виде наемной платы, и что только экономические условия (которые могут получить признание в обществе под видом юридических прав) в состоянии привести к подобным результатам. И таким образом прудонист в своем объяснении не подвинулся ни на шаг вперед.

Все учение Прудона покоится на этом спасительном прыжке из экономической действительности в юридическую фразеологию. Где только храбрый Прудон теряет из виду экономическую связь,—а это случается с ним при всяком серьезном вопросе,—он спасается бегством в область права и взывает к вечной справедливости.

«Прудон сперва черпает свой идеал вечной справедливости из соответствующих товарному производству правовых отношений, в чем, кстати сказать, и все мелкие буржуа могут видеть утешительное доказательство того, что форма товарного производства столь же необходима, как и справедливость. Затем он, наоборот, хочет действительное товарное производство и соответствующее ему действительное право преобразовать сообразно этому идеалу. Что можно бы подумать о химике, который, вместо изучения действительных законов обмена веществ и решения на основании этих законов данной проблемы, вздумал бы заменить обмен веществ «вечными идеями» «естественности и сродства». Большее ли понимание ростовщичества обнаруживают утверждения, что оно противоречит «вечной справедливости», «вечному правосудию», «вечной взаимности» и другим «вечным истинам», чем обнаруживали отцы церкви, утверждая, что ростовщичество противоречит «вечному милосердию», «вечной вере» и «вечной воле

божией» (Маркс. «Капитал», стр. 45, ср. русск. пер. под ред. Струве, прим. к стр. 45).

С нашим прудонистом дело обстоит не лучше, чем с его господином и повелителем. «Договор найма представляет собою один из той тысячи оборотов, которые столь же необходимы в жизни современного общества, как необходимо кровообращение в теле животного. Понятно, этому обществу было бы выгодно, чтобы все эти обороты проникнуты были правовой идеей, т.-е. проводились бы во всех отношениях согласно строгим требованиям справедливости. Одним словом, экономическая жизнь общества должна, как говорит Прудон, возвыситься до уровня экономического права. На самом деле, как известно, происходит как раз обратное».

Можно ли было предположить, что через пять лет после того, как Маркс так кратко и выразительно обрисовал прудонизм, именно с этой самой важной его стороны, возможно еще печатать подобную чепуху на немецком языке! Что означает эта галиматья? Ничего ровно, кроме того, что практические следствия экономических законов, управляющих современным обществом, оскорбляют правовое чувство автора, и что он имеет благочестивое желание, чтобы обстоятельства изменились к лучшему и зло было искоренено. Да, если бы у жаб были хвосты, они не были бы жабами! И разве капиталистический способ не «проникнут правовой идеей», а именно идеей права капиталистов на эксплоатацию рабочих? И что толку в заявлении автора, что не в этом его правовая идея?

(Энгельс. «Жилищный вопрос». Гиз 1922, стр. 14—15.)

*

* * *

Прудон черпает свой идеал вечной справедливости (justice eternelle) из юридических отношений, соответствующих товарному производству, чем дает, кстати сказать, столь утешительное для всех филистеров доказательство того, что форма товарного производства столь же вечна, как справедливость. Затем он старается, наоборот, преобразовать в соответствии с этим идеалом справедливости действительное товарное производство и соответствующее ему действительное право. Что мы сказали бы о химике, который вместо того, чтобы исследовать действительные законы обмена веществ и разрешать на почве их определенные задачи, захотел бы преобразовать обмен веществ сообразно «вечным идеям» и naturalite affinite (особенных свойств и «сродства»)? Когда нам говорят, что ростовщичество противоречит «justice éternelle» («вечной справедливости») equité éternelle», «mutualité éternelle» («вечной правде», «вечной взаимности») и другим «verités éternelles» («вечным истинам»), то разве мы узнаем о ростовщичестве что-нибудь больше по сравне-

нию с тем, что знали еще отцы церкви, когда они говорили, что ростовщичество противоречит «grâce éternelle», «foi éternelle» «volonte éternelle de dieu» («вечному милосердию», «вечной вере», «вечной воле божьей»).

(Маркс. «Капитал», т. I. Гиз 1923, стр. 52.)

§ 7. ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН И КАК К НЕМУ ОТНОСЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ?

Ваши идеи сами порождены буржуазными условиями производства и собственности, точно так же, как ваше право есть только возведенная в закон воля вашего класса,—воля, содержание которой определяется материальными условиями существования вашего класса.

(Маркс и Энгельс. «Коммунистический манифест». Гиз 1924, стр. 83.)

* * *

«Скажем тут же кстати несколько слов о том, как и кем свято чтится закон в Англии. Конечно, для буржуа закон свят: ведь он—плод его собственного могущества и издан с его согласия, для защиты его личности и его интересов. Он отлично знает, что если один какой-нибудь закон специально для него и оказывается вредным, зато в общем законодательство направлено к защите его интересов. Он знает прежде всего, что святость закона, неприкосновенность раз установленного законного порядка при активной воле одной части общества и пассивной воле другой—является самым прочным оплотом его социального положения. Для английского буржуа закон свят потому, что он в нем, как в своем божестве, находит себя самого. Вот почему палка полицейского, которая есть, ведь, в сущности, его собственная палка, имеет такое поразительно умиротворяющее действие на него. Но этого далеко нельзя сказать о рабочем. Рабочий слишком хорошо знает и слишком часто испытал на опыте, что закон для него—кнут, сплетенный буржуазией, и потому обращается к нему лишь в случаях крайней необходимости. Смешно утверждать, будто английский рабочий боится полиции, когда в Манчестере колотят полицию каждую неделю, а в прошлом году была даже сделана попытка взять штурмом полицейский участок, защищенный железной дверью и толстыми ставнями. Сила полиции во время стачки 1842 г. имела своей причиной, как уже сказано, лишь растерянность самих рабочих.

Итак, рабочие не могут уважать закона, а только подчиняются ему, когда они не в силах его изменить. Поэтому вполне естественно, что они хоть стараются вносить предложения об изменении закона, что они стремятся поставить на место буржуазного закона закон пролетарский».

(Энгельс. «Положение рабочего класса в Англии».)

§ 8. О ПРАВОВОЙ ИДЕЕ РЕВОЛЮЦИИ.

Я упрекал статьи Мюльбергера в том, что, по манере Прудона, в них экономические условия искажаются переводом на юридический язык. В качестве примера я взял следующее положение Мюльбергера:

«Построенный однажды дом служит вечным источником права на определенную долю общественного труда, хотя бы действительная стоимость дома давно уже была более чем в достаточной сумме уплачена владельцу в форме квартирной платы. Так-то выходит, что дом, построенный, например, 50 лет назад, в течение этого времени 2, 3, 5, 10 и т. д. раз покрывает выручкой от наемной платы первоначальную цену издержек».

Мюльбергер жалуется на это следующим образом:

«Это простое трезвое констатирование факта дает Энгельсу повод бранить меня за то, что я не объяснил, каким образом дом становится «источником права», что совершенно не входит в область моей задачи... Одно дело—изображение, другое дело—объяснение. Если я вслед за Прудоном говорю, что экономическая жизнь общества должна быть проникнута правовой идеей, то я изображаю этим самым общество, как такое, в котором отсутствует не всякая правовая идея, а правовая идея революции,—факт, с которым согласится сам Энгельс».

Остановимся, прежде всего, на построенном однажды доме. Дом, отданный в наем, приносит владельцу своему в виде наемной платы земельную ренту, издержки ремонта и проценты на затраченный строительный капитал, включая полученную с него прибыль, и, смотря по обстоятельствам, уплачиваемая периодически наемная плата может составить сумму, в два, три, пять, десять раз превышающую первоначальную цену издержек. Это, любезный Мюльбергер, «есть простое трезвое констатирование факта» в экономической области; и если мы хотим знать, «как это так выходит», что этот факт существует, то мы должны произвести исследование в экономической области. Присмотримся же к этому факту несколько ближе, так, чтобы он стал понятен каждому ребенку. Продажа товара состоит, как известно, в том, что владелец отдает его потребительную ценность и получает его меновую ценность. Потребительные ценности товаров различаются друг от друга, между прочим, и тем, что их потребление требует различных промежутков времени. Коровай хлеба съедается в день, пара брюк изнашивается в течение года, дом, скажем, в течение ста лет. Относительно товаров с продолжительным периодом изнашивания оказывается возможность продавать потребительную ценность по частям, каждый раз на определенный срок, т.-е. отдавать в наем. Частичная продажа реализует меновую ценность лишь постепенно; за эту отсрочку немедленной уплаты за-

траченного капитала и полученной с него прибыли продавец вознаграждается надбавкой к цене, процентным ростом, высота которого определяются отнюдь не произвольно, а законами политической экономии. По истечении ста лет дом разрушен, изношен, негоден для жилья. Если из совокупной суммы наемной платы вычтем: 1) земельную ренту, с тем повышением, которое она испытала за время существования дома, 2) текущие суммы, издержанные на ремонт,—то мы найдем, что остаток в среднем составляется: 1) из первоначального строительного капитала, 2) из прибыли с него и 3) из процентов с уплачиваемого по частям капитала и прибыли. Правда, в конце этого промежутка времени у нанимателя нет дома, но и у владельца тоже его нет. У него есть только участок земли (если он ему, понятно, принадлежит) и находящиеся на нем строительные материалы, которые уже перестали быть домом. И если дом за это время 5 или 10 раз окупил первоначальную цену издержек, то мы увидим, что это произошло исключительно благодаря росту земельной ренты; это очевидно для всех в таких местах, как Лондон, где домовладелец и землевладелец—два различных лица. Подобный колоссальный рост наемной платы замечается в быстро растущих городах, но никогда не происходит в земледельческих деревнях, где земельная рента с усадебных участков остается почти без изменения. Общеизвестно, что, за вычетом повышения земельной ренты, квартирная плата в среднем приносит домовладельцу ежегодно не свыше 7% вложенного капитала (включая прибыль), при чем в эту сумму входят еще издержки ремонта и т. п. Словом, наемный договор представляет самую обыкновенную товарную сделку, имеющую теоретически для рабочего не больший и не меньший интерес, чем всякая другая товарная сделка, за исключением той, где дело идет о купле-продаже рабочей силы; на практике договор квартирного найма представляет одну из тысячи форм буржуазного надувательства, о которых я говорю в начале настоящей брошюры, но и они тоже, как указано мною, подвержены известной экономической регулировке.

Мюльбергер, напротив, видит в договоре квартирного найма один только «произвол» (стр. 19 отдельного оттиска), а когда я доказываю ему обратное, он жалуется, что я говорю ему «все такие вещи, которые, к сожалению, он уже раньше знал».

Но все наши исследования касательно найма жилищ не приводят нас к заключению, будто отмена жилищного найма представляет «одно из плодотворнейших и величайших стремлений, возникающее в недрах революционной идеи». Для этого необходимо простой факт перевести из области трезвой экономии в область юриспруденции, гораздо более пропитанную идеологией. «Дом служит вечным источником права» на наемную плату,—«т а к-т о в ы х о д и т», что ценность дома может быть оплачена 2, 3, 5 и 10 раз. При исследовании вопроса, как это «так выходит», нас не подвинет ни на шаг «источник права», и потому-то я и говорил,

Институт им. Ленина 1052501 Ц.К. Р.К.П.(б)

что Мюльбергер лишь тогда может узнать, как это «так выходит», когда он расследует, каким образом дом становится источником права. Это мы узнаем лишь тогда, когда мы исследуем, что я и сделал, экономическую природу квартирной платы вместо того, чтобы возмущаться юридическим выражением, при помощи которого буржуазия ее закрепляет,—кто предлагает экономические меры для отмены жилищного найма, тот обязан иметь более ясное понятие о наемной плате, не удовлетворяясь тем, что «она представляет собою дань, уплачиваемую нанимателем вечным правам капитала». А Мюльбергер отвечает на это: «одно дело—изображение, другое дело—объяснение».

Таким образом дом, который никак не может быть вечным, превращен в вечный источник права на наемную плату. Как бы это ни «выходило», оказывается, что, в силу этого права, дом приносит в виде наемной платы доход, во много раз превышающий его ценность. Таким образом, благодаря переводу на юридический язык, мы благополучно удалились на такое далекое расстояние от экономии, что нам из прекрасного далека видно только еще явление, выражающееся в том, что общая сумма наемной платы мало-по-малу в состоянии многократно оплатить стоимость дома. Мысля юридически, мы прилагаем к этому явлению масштаб права, справедливости—и находим, что это явление несправедливо, что оно не соответствует «правовой идее революции» (а что это за штука, кстати сказать, догадаться трудно), и что, поэтому, источник права никуда не годится. Далее оказывается, что это относится и к приносящему проценты капиталу и к арендуемой пахотной земле, и поэтому можно по сему поводу выделить эти разряды собственности и посвятить им специальные заботы. Они сводятся к следующим требованиям: 1) лишить собственника права отказа от найма и права востребования своей собственности, 2) бесплатно предоставить нанимателю, должнику или арендатору пользование переданным ему, но не принадлежащим ему предметом и 3) собственнику же выплатить его достояние мелкими долями без процентов. И в этом отношении мы исчерпали прудоновские «принципы». Это-то и есть прудоновская «общественная ликвидация». Кстати, ясно, как день, что весь этот план реформы должен принести мелким буржуа и мелким крестьянам пользу, укрепляя их положение как мелких буржуа и мелких землевладельцев. Легендарный, по мнению Мюльбергера, образ «мелкого буржуа» Прудона принимает здесь вдруг весьма осязательное историческое существование.

Мюльбергер продолжает: «Говоря вслед за Прудоном, что экономическая жизнь должна быть проникнута правовой идеей, я тем самым изображаю нынешнее общество как такое, в котором отсутствует не какая бы то ни было, а правовая идея революции—факт, который признает сам Энгельс». К сожалению, я лишен возможности доставить г. Мюльбергеру это удовольствие.

Мюльбергер высказывает мнение, что общество должно быть проникнуто правовой идеей, и называет это изображением. Если суд посылает мне через судебного пристава повестку с требованием уплатить долг, то, по мнению Мюльбергера, суд просто изображает меня как человека, который не платит своих долгов! Одно дело—изображение, другое дело—требование. И в этом-то и состоит главное отличие немецкого научного социализма от Прудона. Мы изображаем—а всякое правильное изображение, вопреки мнению Мюльбергера, есть в то же время объяснение предмета—экономические отношения, как они развиваются, и, ничуть не уклоняясь от экономики, мы приводим доказательства, что это развитие есть в то же время развитие элементов социальной революции: развитие, с одной стороны, пролетариата, класса, условия жизни которого неизбежно влекут его к социальной революции, с другой—производительных сил, которые, разрастаясь за пределы рамок капиталистического общества, неизбежно должны разрушить его и в то же время представляют средства для устранения раз навсегда классовых противоречий в интересах самого общественного прогресса. Прудон, наоборот, предъявляет современному обществу требование преобразовать себя не по законам своего собственного экономического развития, а по предписаниям справедливости («правовая идея» принадлежит не ему, а Мюльбергеру). Там, где мы доказываем, там Прудон, а за ним и Мюльбергер—проповедуют и плачутся.

Что такое «правовая идея революции»—я никак не могу догадаться. Для Прудона революция вообще особого рода богиня, олицетворяющая и восстановляющая «справедливость», при чем он странным образом заблуждается, смешивая буржуазную революцию 1789—1794 г.г. и грядущую пролетарскую революцию. Это можно видеть во всех его произведениях, особенно после 1848 г.; в качестве примера я приведу хотя бы только «Idée générale da la Révolution», изд. 1868 г., стр. 39—40. Но ввиду того, что Мюльбергер отрекается от какой бы то ни было ответственности за Прудона, мне запрещено обращаться к Прудону за объяснением «правовой идеи революции», и я продолжаю пребывать во тьме египетской.

Далее Мюльбергер говорит:

«Но ни Прудон ни я не взываем к «вечной справедливости» для объяснения существующих несправедливых условий, ни тем менее, как приписывает мне Энгельс, ждем от этого воззвания к справедливости улучшения положения вещей».

Мюльбергер, очевидно, полагается на то, что «Прудон вообще почти вовсе неизвестен в Германии». Во всех своих сочинениях Прудон меряет все общественные, правовые, политические, религиозные установления на масштаб «справедливости» и отвергает или признает их, смотря по тому, согласуются ли или не согласуются они с тем, что он называет «справедливостью». В «Contra-

dictoires Economiques» эта справедливость называется еще «вечной справедливостью», justice éternelle. Впоследствии о вечности умалчивается, но в сущности она остается. Например, в «De la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise», изд. 1858 г., следующий отрывок выражает основную мысль всей трехтомной проповеди (том I, стр. 42):

«Каков основной, органический, управляющий, самодержавный принцип обществ, принцип, который, подчиняя себе все остальные, правит, защищает, оттесняет, наказывает, а в случае нужды даже подавляет все мятежные элементы? Религия ли это, идеал, интерес?.. Этот принцип, по моему мнению, справедливость. Что такое справедливость? Сущность самого человека. Чем она была во все время существования мира? Ничем. Чем она должна была бы быть? Всем».

Справедливость, которая составляет сущность самого человечества, что это такое, если не вечная справедливость? Справедливость, представляющая основной, органический, правящий, самодержавный принцип обществ, справедливость, которая до сих пор все-таки была ничем, но должна стать всем—что это, если не масштаб, по которому меряются все дела человеческие, к которой, как к высшему судье, надо взывать при всяком столкновении? А разве я утверждал что-либо, кроме того, что Прудон прикрывает свое экономическое невежество и свою беспомощность тем, что судит об экономических отношениях не по экономическим законам, а сообразно с тем, согласуются ли они с его представлением о вечной справедливости или нет? И чем отличается Мюльбергер от Прудона, требуя, чтобы «все обороты в жизни современного общества... были проникнуты правовой идеей, т.-е. проводились всесторонне, сообразно строгим требованиям справедливости»? Может быть, впрочем, я не умею читать, или Мюльбергер не умеет писать?

Далее Мюльбергер говорит:

«Прудон знает так же хорошо, как Маркс и Энгельс, что истинным двигателем современного общества служат экономические, а не юридические отношения, он знает также, что правовые идеи народа в каждую данную эпоху являются лишь выражением, отражением, продуктом экономических—в особенности производственных—отношений... Право для Прудона есть, одним словом, экономический продукт, ставший историческим».

Если Прудон все это (я не останавливаюсь на неясном способе выражения Мюльбергера и удовлетворюсь его благим намерением), если Прудон все это «знает так же хорошо, как Маркс и Энгельс»,—о чем же тогда спорить? Но в том-то и дело, что касательно знаний Прудона положение несколько иное. Экономические отношения каждого общества, прежде всего, представляются как интересы. А Прудон в только что цитированном главном произведении черным по белому пишет, что «основной, управляющий, органический, самодержавный принцип общества, подчиняющий себе все

остальные», это—не интерес, а справедливость. И он повторяет то же самое в главнейших местах всех своих сочинений. Но Мюльбергер, не смущаясь, продолжает:

«...идея экономического права, подвергнутая Прудоном самой глубокой разработке в «La guerre et la paix», совершенно совпадает с основными мыслями Лассаля, изложенными в предисловии к «Системе приобретенных прав».

«La guerre et la paix», пожалуй, самое ученическое из многих ученических произведений Прудона, и я никак не мог ожидать, что оно будет приведено в доказательство мнимого понимания Прудоном немецкого материалистического взгляда на историю, выводящего все исторические явления и представления, всю политику, философию, религию из материальных, экономических условий жизни данной исторической эпохи. В книге этой так мало материалистического, что для конструкции войны Прудон обращается за помощью даже к творцу: «между тем творец, избравший для нас этот образ жизни, имел свои цели» (т. II, стр. 100, изд. 1869 г.). Глубина исторического анализа автора книги видна из того, что в последней выражается вера в историческое существование золотого века: «Вначале, когда плотность человеческого населения на всем земном шаре была ничтожна, природа без труда удовлетворяла все потребности человека. Это был золотой век, век избытка и мира» (там же, стр. 102). Его экономическая точка зрения представляет собой самое грубое мальтузианство—«если удваивается производство, то тотчас же удвоится и население» (стр. 105). В чем же проявляется материализм этой книги? В том, что она утверждает, будто причиной войн, и в давние времена и ныне, является «пауперизм» (например, на стр. 143). Дядя Брезиг был не менее последовательным материалистом, когда в своей речи в 1848 г. произнес знаменательные слова: причина большой бедности—это большая pauvreté.

На «Системе приобретенных прав» Лассаля лежит отпечаток иллюзии не только юриста, но и старого гегелианца. Лассаль на стр. VII определенно заявляет, что в «экономическом отношении понятие приобретенного права представляет источник, приводящий в движение все дальнейшее развитие»; он хочет показать (стр. IX), что «право есть разумный организм, развивающийся «из самого себя» (значит, не из экономических условий); для него дело сводится к тому, чтобы вывести право не из экономических отношений, а «из самого понятия воли, только развитием и представлением которого является философия права» (стр. X). При чем тут книга? Различие между Прудоном и Лассалем в том, что Лассаль был действительно юристом и гегелианцем, а Прудон в юриспруденции и философии, как и во всем прочем, был не что иное, как дилетант.

(Энгельс. «Жилищный вопрос». Гиз 1922, стр. 52—57.)

§ 9. О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ИЛЛЮЗИЯХ (СВОБОДНОМ ДОГОВОРЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАВЕНСТВЕ).

Теперь мы имеем ясный и полный ответ на поставленный выше вопрос о происхождении ренты. Мы знаем, благодаря чему лица, не принимавшие никакого участия в производстве, получают свою, иногда львиную долю в распределении. Мы видели, что право на эту долю не имеет никакой причинной связи с теми или другими полезными занятиями, которым предаются иногда собственники. Экономическая возможность таких общественных отношений создается возрастанием производительности труда. Чтобы дать возможность существовать лицам нетрудящимся, рабочие должны производить более, чем нужно для поддержания их жизни и продолжения их рода. Но одного этого условия недостаточно. Нужны еще такие учреждения, которые вынуждали бы рабочих передавать оставшийся—за удовлетворениями их насущнейших потребностей—излишек в руки нетрудящихся членов общества. Нужны такие правовые нормы, при которых рабочие должны были бы

> Предоставить почтительно нам
> Погружаться в искусства, в науки,
> Предаваться мечтам и страстям.

И такие правовые учреждения не замедлили явиться тотчас же, как люди ознакомились с выгодами разделения труда. Сущность их сохранилась и до настоящего времени, несмотря на всевозможные формальные их изменения. «Как первоначально положительное право опиралось на силу,—говорит Родбертус,—так и теперь передача упомянутого излишка основывается на постоянном принуждении». Первоначально это принуждение достигалось путем рабства. Работники, создавшие своим трудом средства, сами представляли собою движимую собственность, «говорящие инструменты», как называет их Варрон. Господин их отдавал им то, что необходимо было для поддержания их жизни; все же, что оставалось затем из произведенного их трудом продукта, составляло его неотъемлемую собственность. В настоящее время цивилизованные нации не знают, конечно, не только рабского труда, но и крепостной зависимости. Но это не изменяет, по мнению Родбертуса, сущности дела.

Современные землевладельцы и капиталисты имеют в своем распоряжении прекрасное средство для отстаивания своих экономических интересов. Средство это очень простое и обыкновенное: оно носит громкое название свободного договора. Не имея ни земли ни капитала, современный пролетарий может трудиться только по найму у предпринимателя. Продукты производства составляют поэтому собственность предпринимателя, между тем как рабочий получает условную плату. При определении высоты этой платы и обнаруживаются все благодетельные свойства свободного договора. Побуждаемый голодом, рабочий «рад получить хоть

часть стоимости своего собственного продукта, чтобы поддержать свое существование, то-есть, чтобы иметь возможность снова взяться за работу». Эти реальные отношения нашли свое выражение в учении о необходимой заработной плате, высота которой должна определяться, по мнению экономистов, уровнем насущнейших потребностей рабочего. Таким-то образом «место приказания рабовладельца заступает в настоящее время договор рабочего с предпринимателем». Но договор этот «свободен только с формальной точки зрения, потому что голод вполне заменяет бич рабовладельца. То, что называлось прежде кормом раба, называется ныне заработной платой свободного рабочего». Соответственно этому и экономическая наука, со своим учением о «необходимой» заработной плате, как о последнем пределе законных требований рабочего, не перестает смотреть на пролетария, «как на раба, который нуждается в корме столько же, сколько машина в починке».

(Плеханов. Сочинения. Гиз 1925. Т. I, стр. 277—278. «Экономическая теория Родбертуса-Ягецова».)

*

* *

Приходится признать, что наш рабочий выходит из процесса производства иным, чем вступил в него. На рынке он противостоял владельцам других товаров как владелец товара «рабочая сила», т.-е. как товаро-владелец—товаро-владельцам. Договор, по которому он продавал капиталисту свою рабочую силу, так сказать, черным по белому демонстрировал, что он свободно распоряжается самим собою. По заключении сделки оказывается, что он вовсе не был «свободным агентом», что время, на которое он свободно продает свою рабочую силу, является временем, на которое ему приходится ее продавать, что в действительности пиявка не выпускает его до сих пор, пока еще «остается для высасывания хотя бы единый мускул, единая жилка, единая капля крови». Чтобы защитить себя от «змеи их мучений» (Генрих Гейне), рабочие должны объединиться и, как класс, вынудить государственный закон, мощное общественное препятствие, которое мешало бы им самим по добровольному контракту с капиталом продавать на смерть и рабство себя и свое потомство. На место пышного каталога ««неотчуждаемых прав человека» выступает скромная «magna charta» (основные права) ограниченного законом рабочего дня, которая, «наконец, выясняет, когда оканчивается время, которое рабочий продает, и когда начинается время, которое принадлежит ему самому». Quantum mutatus ab illo. (Какая огромная дистанция!)

(Маркс. «Капитал». Гиз 1923. Т. I, стр. 275—276.)

* * *

Вызванная машиной революция в юридическом отношении между покупателями и продавцом рабочей силы, лишившая всю эту сделку даже видимости договора между свободными лицами, впоследствии дала английскому парламенту юридическое основание, оправдывающее государственное вмешательство в фабричное дело. Каждый раз, когда фабричный закон ограничивает 6 часами детский труд в незатронутых до того времени отраслях промышленности, все снова и снова раздаются вопли фабрикантов: некоторые родители,—говорят они,—берут своих детей из постигнутой законом промышленности только затем, чтобы продать их в такие отрасли, в которых все еще господствует «свобода труда», т.-е. в которых дети моложе 13 лет вынуждены работать наравне с взрослыми и в которые, следовательно, их можно продать подороже. Но так как капитал по своей природе левеллер, т.-е. требует, как прирожденного права человека, равенства условий эксплоатации труда во всех отраслях производства, то законодательное ограничение детского труда в одной отрасли промышленности становится причиной его ограничения в другой отрасли.

(Маркс. «Капитал», т. I, стр. 375—376.)

* * *

Сэр F. M. Eden замечает в своем «Положении бедных, или истории рабочего класса в Англии», что те, «которые не сеют и не прядут», имеют, однако, в своем распоряжении продукты трудолюбия. Таким освобождением от труда они обязаны исключительно цивилизации и порядку; они—всецело творение гражданских учреждений [1]).

(Маркс. «Капитал», т. I, стр. 604.)

* * *

Но если мы и покончили с плоским и неумелым трактованием идеи равенства у г. Дюринга, то это еще не значит, что мы покончили с самой этой идеей, получившей важное значение в

---

1) Eden'у следовало бы поставить вопрос, чье же творение «гражданские учреждения»? Стоя на точке зрения юридических иллюзий, он видит не в законе продукт материальных отношений производства, а, наоборот, в отношениях производства продукт закона. Linguet всего одним словом опрокинул иллюзорный «Esprit des lois» (Дух законов) Монтескье: L'esprit des lois, c'est la propriété» (Дух законов, это—собственность).

области теории, в особенности благодаря Руссо оказывавшей большое влияние на практическую политику во время французской революции и после нее и продолжающей еще теперь играть важную агитационную роль в социалистическом движении всех почти стран. Выяснение научного содержания этого понятия определит и его ценность для пролетарской агитации.

Представление о том, что все люди, как люди, имеют между собой нечто общее и, насколько простирается это общее, равны также между собой,—это представление, разумеется, очень старо. Но от этого представления совершенно отлично современное требование равенства, которое из того общего свойства людей, что они люди, из равенства людей, как таковых, выводит право на равное социальное и политическое значение всех людей или, по крайней мере, всех граждан данного государства или всех членов данного общества. Для того, чтобы из первобытного представления об относительном равенстве был сделан вывод о равноправии в государстве и обществе, для того, чтобы этот вывод стал казаться чем-то естественным, самоочевидным, должны были пройти и действительно прошли целые тысячелетия. В древнейших, естественно выросших общинах речь могла итти в лучшем случае о равноправии членов общины; женщины, рабы, чужестранцы не входили в круг этих равноправных людей. У греков и римлян неравенства между людьми играли гораздо большую роль, чем равенство их в каком бы то ни было отношении. Мысль о том, что греки и варвары, свободные и рабы, полноправные граждане государства и лица, только пользующиеся его покровительством, римские граждане и римские подданные (употребляя последнее слово в широком смысле), что все они могут притязать на равное политическое значение,—такая мысль показалась бы древним безумной. Во время римской империи все эти различия мало-по-малу стерлись, за исключением различия между свободным и рабом; таким образом возникло, по крайней мере для свободных, то равенство частных людей, на почве которого развилось римское право, эта совершеннейшая форма права, покоящегося на частной собственности, какую мы только знаем. Но пока существовала противоположность между свободным и рабом, до тех пор не могло быть и речи о правах, как следствии общечеловеческого равенства; это мы еще недавно видели в рабовладельческих штатах Сев.-Американского Союза.

Христианство, в полном соответствии со своим характером религии рабов и угнетенных, знало только одно равенство для всех людей, а именно—равную греховность, унаследованную от прародителей. На-ряду с этим оно, в лучшем случае, признавало еще равенство избранных, которое подчеркивалось, однако, только в самом начальном периоде христианства. Следы общности имуществ, которые также можно отыскать в этом периоде, объясняются скорее необходимостью сплоченной жизни для людей гонимых, чем действительными представлениями о равенстве. Очень скоро,

впрочем, установление различия между священником и мирянином положило конец и этому зачатку христианского равенства.—Наводнение западной Европы германцами устранило на целые столетия всякие идеи равенства, создав постепенно социальную и политическую иерархию столь сложного типа, какой до тех пор еще не знали. Но втянув одновременно в историческое движение западную и среднюю Европу, оно способствовало тому, что здесь впервые образовалась компактная культурная область и что на этой территории впервые возник целый ряд преимущественно национальных государств, влияющих друг на друга и друг друга сдерживающих. Таким путем была подготовлена почва, на которой только и мог быть поставлен в последующее время вопрос о человеческом равноправии, о правах человека.

Феодальное средневековье воспитало, сверх того, в своем лоне тот класс, который призван был сделаться в своем дальнейшем развитии носителем современного требования равенства, а именно буржуазию. Будучи вначале сама феодальным сословием, буржуазия довела промышленность феодального общества, носившую преимущественно ремесленный характер, и его внутренний обмен продуктов до сравнительно высокой ступени развития, когда в конце XV столетия великие открытия на море открыли перед ней новое, более широкое поприще. Внеевропейская торговля, которая до тех пор велась только между Италией и Левантом, распространилась теперь на Америку и Индию и превысила скоро по своим оборотам как обмен отдельных европейских стран между собою, так и внутренний обмен каждой отдельной страны. Американское золото и серебро наводнили Европу и, как разлагающий элемент, проникли во все щели, трещины и поры феодального общества. Ремесленное производство перестало удовлетворять растущему спросу; в главных отраслях промышленности наиболее передовых стран оно было заменено мануфактурой.

Однако за этим громадным переворотом в условиях хозяйственной жизни общества последовало далеко не тотчас же соответствующее изменение его политического устройства. Государственный строй остался феодальным, тогда как общество становилось все более и более буржуазным. Торговля в крупном масштабе, следовательно, в особенности международная и еще более всемирная торговля, требует свободных, нестесненных в своих движениях товаровладельцев, равноправных, как таковые, ведущих между собою обмен на основе равного для них всех права,—равного, по крайней мере, в каждом данном месте. Переход от ремесла к мануфактуре имеет своей предпосылкой существование известного числа свободных рабочих,—свободных, с одной стороны, от цеховых пут, а с другой—от средств, необходимых для самостоятельного использования своей рабочей силы,—людей, которые могут договариваться с фабрикантом о найме их рабочей силы и, следовательно, противостоять ему как равноправная договаривающаяся сторона. И, наконец, равенство и равное значение

всех видов человеческого труда, поскольку и потому, что они являются человеческим трудом вообще, нашло свое бессознательное, но самое выпуклое выражение в законе ценности современной буржуазной экономии,—законе, согласно которому ценность какого-либо товара измеряется содержащимся в нем общественно-необходимым трудом [1]). Однако там, где экономические отношения требовали свободы и равноправия, политический строй противопоставлял им цеховые путы и сепаратные привилегии. Местные привилегии, дифференциальные пошлины и всякого рода исключительные законы стесняли торговлю не только чужестранца или жителя колоний, но довольно часто и целых категорий собственных подданных государства; цеховые привилегии везде и беспрестанно становились поперек пути развитию мануфактуры. Нигде поприще не было свободно, нигде не было равенства шансов для буржуазных конкурентов, а между тем это было первым и все более настоятельным требованием.

Как только требование об освобождении от феодальных оков и установлении равноправия путем устранения феодальных неравенств было поставлено на очередь экономическим прогрессом общества, оно должно было скоро принять широкий характер. Если его выставляли в интересах промышленности и торговли, то того же равноправия приходилось требовать для громадной массы крестьян, которая, находясь на всех ступенях несвободы, начиная от состояния полной закрепощенности, принуждена была наибольшую часть своего рабочего времени отдавать безвозмездно благородному феодалу и, сверх того, уплачивать еще бесчисленные оброки в пользу него и государства. С другой стороны, нельзя было не поставить требования об упразднении феодальных преимуществ, изъятия дворянства от податей, об отмене политических привилегий отдельных сословий. Но так как дело происходило не в мировой империи, вроде Римской, а в целой системе независимых государств, сносящихся между собой на равную ногу и стоящих на приблизительно одинаковой высоте гражданского развития, то само собою разумеется, что упомянутое требование приняло всеобщий, выходящий за пределы отдельного государства характер, что свобода и равенство были провозглашены правами человека. Специфически буржуазный характер этих прав человека как нельзя лучше иллюстрируется тем фактом, что американская конституция, которая первой признала права человека, одновременно с этим утвердила существовавшее в Америке рабство цветных людей: классовые привилегии были преданы анафеме, расовые же освящены законом.

Известно, однако, что когда буржуазия вылупливается из феодального бюргерства и превращается из средневекового сословия в современный класс, то ее всегда и неизбежно сопровождает,

---

[1]) Это объяснение современных представлений о равенстве из экономических условий буржуазного общества было дано впервые Марксом в «Капитале».

как тень, класс пролетариев. Точно так же буржуазные требования равенства сопровождаются обыкновенно пролетарскими требованиями равенства. С того момента, как выставляется буржуазное требование отмены классовых привилегий, выступает рядом с ним и пролетарское требование об упразднении самих классов, сначала—в религиозной форме, примыкая к первоначальному христианству, а потом—опираясь на буржуазные же теории равенства. Пролетарии ловят буржуазию на слове: равенство должно быть не только видимым, оно должно осуществляться не только в сфере государственных отношений, но и быть действительным, проводиться в общественной, экономической жизни. Особенно с тех пор, как французская буржуазия со времени великой революции выдвинула на первый план гражданское равенство,—французский пролетариат тотчас же ответил ей требованием социального, экономического равенства, и это требование стало боевым кличем специально французских рабочих.

Требование равенства в устах пролетариата имеет, таким образом, двоякое значение. Либо оно является—и это бывает особенно в самом начале, как мы видим, например, в крестьянской войне,—стихийной реакцией против вопиющих социальных неравенств, против контраста между богатыми и бедными, между господами и крепостными, кутилами и голодающими; как таковое оно является простым выражением революционного инстинкта и в этом, только в этом, находит свое оправдание. Либо же пролетарское требование возникает как реакция против буржуазного требования равенства, из которого оно выводит более широкие, более или менее правильные требования; оно служит тогда агитационным средством, чтобы при помощи утверждений самих капиталистов поднять против них рабочих, и в этом случае судьба его неразрывно связана с судьбою самого буржуазного равенства. В обоих случаях действительное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, заходящее дальше этого, необходимо впадает в абсурд. Мы уже привели примеры такого абсурда, и нам придется еще указать немалое число их, когда мы дойдем до фантазий г. Дюринга относительно будущего строя.

Таким образом представление о равенстве как в буржуазной, так и в пролетарской своей форме является само продуктом исторического процесса, для создания которого была необходима определенная историческая обстановка, предполагающая в свою очередь длинную предшествующую историю. Такое представление о равенстве есть все, что угодно, только не вечная истина. И если в настоящее время оно для широкой публики есть нечто само собой разумеющееся, в том или другом смысле, или, как выражается Маркс, «обладает уже прочностью народного предрассудка», то это объясняется не его аксиоматической истинностью, а лишь его всеобщим распространением и тем, что идеи XVIII века еще не утратили своего значения для нашего времени.

Таким образом, если г. Дюринг без дальних околичностей может позволить своим пресловутым двум индивидуумам хозяйничать на почве равенства, то это происходит оттого, что народному предрассудку это кажется вполне натуральным. И в самом деле, г. Дюринг называет свою философию естественной, так как она исходит все время из таких положений, которые ему кажутся естественными. Но почему они представляются ему естественными,—этим вопросом он, конечно, не задается.

(Энгельс. «Анти-Дюринг».)

§ 10. ПРАВО И СИЛА.

Чем же обусловливается это постоянное изменение общественной организации. Родбертус не дает удовлетворительного ответа на этот вопрос. В некоторых случаях он совершенно недвусмысленно заявляет, что «правовая идея издавна шла рука об руку с экономической необходимостью», и в сочинениях его рассыпано множество неопровержимых доказательств этого положения. Если бы он внимательно проследил влияние «экономической необходимости»; если бы для каждой из указанных им ступеней общественного развития он постарался найти связь между этой «необходимостью» и политическими учреждениями, то он поставил бы философию истории на совершенно реальную почву. К сожалению, он не всегда держался высказанной им светлой мысли. Общественный строй античного и «германского» периодов кажется ему результатом простого насилия; в решении рабочего вопроса он видит только «акт общественной справедливости». Мы видели уже в предыдущих статьях, что именно насилием, и только насилием, объясняет он возникновение рабства и частной собственности на землю и капиталы. «Как прежде правовая идея опиралась на силу, так и теперь она основывается на постоянном принуждении»,—вот все, что говорит он в объяснение современного общественно-экономического строя. Оставаясь на этой точке зрения, Родбертус не вышел еще из области той философии истории, которая в начале XIX столетия пыталась, в лице Огюстена Тьерри, объяснить весь ход английской истории тем обстоятельством, что «il y a une conquête là dessous, tout cela date d'une conquête».

Уже в сочинениях Тьерри можно заметить всю непоследовательность и несостоятельность такого взгляда. Сохраняя еще некоторое подобие вероятности, пока речь идет о «статике» данного общественного строя, теория насилия оказывается абсолютно неспособной выяснить ход его развития, открыть причины, видоизменяющие соотношение общественных сил. Не говоря об «Histoire du tiers-état», представляющий собою блестящее опровержение теории насилия, даже в статьях своих об «английских революциях» Тьерри вынужден апеллировать к экономическому прогрессу «третьего сословия», обусловившему постепенное его

возвышение. Еще более таких противоречий у Родбертуса, как писателя, несравненно более Тьерри обращавшего внимание на экономическую историю народов. «На той ступени развития производительности труда, на которой знают лишь ручную мельницу, необходимо должно существовать рабство»,—говорит он в одной статье, написанной им еще в 1837 году. Точно так же статья его о римском колонате указывает на экономические причины тех правовых изменений, которыми ознаменовался переход от рабства к крепостничеству. Его сочинение «Zur Erklärung der kreditnoth» изобилует примечаниями, которые самым остроумным образом раскрывают связь между правовыми учреждениями античного общества и экономическим его строем.

Наконец, приведенное выше мнение его об исторической роли акционерных обществ ясно доказывает, что соотношение сил различных классов современного общества находится в теснейшей связи с экономическим его строем. Конечно, в борьбе общественных классов за свое существование сила всегда являлась высшей инстанцией, к которой апеллировали спорящие стороны; в этом смысле сила имела огромное прогрессивное значение, так как она служила «повивальной бабкой старому обществу, беременному новым». Но, сказав, что в настоящее время данный класс общества сильнее всех других, мы не объясняем ровно ничего, потому что остается открытым вопрос как о происхождении силы этого класса, так и о способах пользования ею.

(Плеханов. Сочинения. Гиз 1925. Т. I, стр. 339—340. «Экономическая теория Родбертуса-Ягецова».)

* * *

На какие же вопросы должна была ответить «неистовому Виссариону» наука, ради которой он покидал политику. Это видно из следующих строк его письма к Станкевичу.

«Приезжаю в Москву с Кавказа, приезжает Бакунин... Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила,—нет, не описать тебе, с какими чувствами услышал я эти слова—это было освобождение. Я понял идею падения царства, законность завоевателей. Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности—и кончилась моя оценка над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде»... Вопросы, на которые должна была ответить Белинскому наука, были теми же самыми вопросами, за разрешением которых он прежде обращался к «политике». В них нет никакого «отвлечения»; это конкретные вопросы общественного развития: чем объясняется «падение царств?». Законны ли завоевания? на чем основывается владычество штыка и меча? Наконец,—и это самый важный и самый глубокий во-

прос,—неужели история человечества есть царство простой случайности? Тогдашняя радикальная политика и тогдашний социализм умели давать лишь отвлеченные ответы на эти конкретные вопросы: они осуждали известные, несимпатичные им исторические события,—например, завоевание одного народа другим,—но не объясняли их. Социализм еще не вышел тогда из своей утопической фазы. Наоборот, философия Гегеля дорожила только конкретными ответами на конкретные исторические вопросы, и она уже отчасти давала такие ответы, опираясь на историю. А в истории сила далеко не всегда противоречит праву. Известен ответ Сиэса защитникам старого порядка, утверждавшим, что права французского дворянства опирались на завоевания: «Только то. Мы, в свою очередь, станем завоевателями».

И третье сословие в самом деле «завоевало» себе новое положение в обществе. Всякий тот, кто не ослеплен аристократическим предрассудком, согласится, что «сила» этого сословия подкрепляла собою «право», а не отрицала его. Выходит, что вульгарное противопоставление права силе не выдерживает критики, так как сохраняет свой смысл лишь при особенных общественных положениях, с своей стороны объясняемых ходом исторического развития. Эта мысль, выраженная у Белинского словами: «сила есть право, и право есть сила», показалась ему откровением. Она в самом деле имеет колоссальное теоретическое значение, а в его глазах приобрела, кроме того, и огромную нравственную ценность: она утешала его, обещая осмыслить до-нельзя прекрасную русскую действительность. Поэтому он и увлекся ею, положив ее в основу своей знаменитой статьи о Бородинской битве («Отечественные Записки» 1839 г., кн. XII.).

(Плеханов. «Белинский». Гиз 1923, стр. 15—17)

§ 11. ИДЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА.

Далее, вместе с разделением труда дано в то же время противоречие между интересом отдельного индивида или отдельной семьи и совокупным (gemeinschaftlich) интересом всех индивидов, находящихся в сношениях друг с другом; к тому же этот совокупный интерес существует не просто в представлении, как «всеобщее», а прежде всего в действительности, как взаимная зависимость индивидов, между которыми разделен труд. Именно благодаря этому противоречию частного и общего интереса совокупный интерес, в виде государства, принимает самостоятельную форму, отличную от реальных, частных и совокупных интересов; это, собственно, иллюзорная совокупность, которая, однако, опирается всегда на реальную основу из имеющихся в каждом семейном или родовом конгломерате связей по крови, по языку, по разделению труда, в более крупном масштабе и по иным интересам,—в особенности, как мы увидим в дальнейшем,—интересам, вызванным уже разделением труда классов, которые

обособляются друг от друга в каждом подобном людском скоплении, и из которых один господствует над всеми другими. Отсюда следует, что всякая борьба внутри государства, борьба между аристократией, демократией и монархией, борьба за избирательное право и т. д., и т. д. не есть просто всеобщая иллюзорная форма совокупности, а представляет иллюзорные формы, в которых ведется реальная борьба различных классов друг с другом (о чем совершенно не догадываются немецкие теоретики, несмотря на то, что в «Немецко-Французских Летописях» и в «Святом Семействе» им дали достаточно соответствующих указаний), и далее, что каждый стремящийся к господству класс—если даже его господство означает, как в случае с пролетариатом, уничтожение всего старого общественного строя и господства—должен прежде всего завоевать себе политическую власть, чтобы, в свою очередь, представить (как он вынужден на первых порах) свой интерес в качестве всеобщего интереса.

(Маркс и Энгельс о Фейербахе. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Гиз 1924. Т. I, стр. 222.)

* *

Индивиды, представляющие господствующий класс, среди прочих вещей обладают и сознанием и, следовательно, мыслят; само собою разумеется, поэтому, что, поскольку они господствуют в качестве класса, и определяют содержание какой-нибудь исторической эпохи, они это делают существом, т.-е. господствуют, между прочим, в качестве мыслящих существ, в качестве производителей мыслей, регулируя производство и распределение мыслей своего времени, так что их мысли являются господствующими мыслями эпохи. Так, например, в какой-нибудь стране в эпоху, когда королевская власть, аристократия и буржуазия борются за господство, когда, следовательно, господство разделено, господствующей мыслью выступает учение о разделении властей, высказываемое в качестве «вечного закона»... Чтобы устранить мистический характер этого «само себя определяющего понятия», его превращают в некоторое лицо—«Самосознание»—или же, чтобы иметь совершенно материалистический вид, в ряд лиц, представляющих в истории «понятие»,—в «мыслящих», «философов», в идеологов, которых рассматривают опять-таки как фабрикантов истории, как «совет стражей», как господствующих. Таким путем удается устранить все материалистические моменты из истории, после чего можно, опустив поводья, дать волю своему спекулятивному коню.

Рукою Маркса: Этот исторический метод, господствующий преимущественно в Германии, должен быть выведен из связи с иллюзией идеологов вообще, например, из иллюзии юристов, политиков (а также практических государственных деятелей), из дог-

матических извращений этих молодцов, весьма просто объясняющихся практическим характером их деятельности и разделением труда.

(Там же, стр. 230—233.)

*
* * *

Только в коллективности получает индивид средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков, следовательно, только в коллективности возможна личная свобода. В имевшихся до сих пор суррогатах коллективности, в государстве и т. д., личная свобода существовала только для индивидов, принадлежащих к господствующему классу, и только постольку, поскольку они были индивидами этого класса. Мнимая коллективность, для которой объединялись до сих пор индивиды, всегда объективировалась, противоставляя себя им как нечто самостоятельное; так как она являлась объединением одного класса против другого, то она была для подчиненного класса не только совершенно иллюзорной коллективностью, но и новыми узами.

(Там же, стр. 243.)

*
* * *

Так как государство, это—та форма, в которой индивиды некоторого господствующего класса выявляют свои коллективные интересы и в которых концентрируется все гражданское общество некоторой эпохи, то отсюда следует, что все учреждения общего характера создаются государством, получая, благодаря этому, политическую форму. Этим объясняется иллюзия, будто закон основывается на в о л е, и притом на свободной, оторванной от своей реальной основы, воле. Точно так же и право сводят, в свою очередь, к закону.

(Там же, стр. 252.)

*
* * *

Итак, несомненно, что—по крайней мере, в новейшей истории—э к о н о м и ч е с к о е освобождение было центром, вокруг которого вращалась всякая борьба классов и все освободительные движения, неизбежно принимающие политическую форму, так как всякая классовая борьба есть борьба политическая. Несомненно, что—по крайней мере, в новейшей истории—государство, политический порядок, является подчинением, а гражданское общество, царство экономических отношений,—главным элементом. По старому взгляду на государство, разделявшемуся также и Гегелем, оно было, наоборот, определяющим элементом, а гражданское общество—подчиненным, от него зависящим.

Все, что побуждает к деятельности отдельного человека, неизбежно проходит через его голову, воздействуя на его волю. Точно так же и все потребности гражданского общества—независимо от того, какой класс господствует в данное время—необходимо должны пройти через волю государства, чтобы добиться законодательного признания. Это—формальная сторона дела, которая сама собою разумеется. Но, спрашивается, каково же содержание формальной воли,—все равно, отдельного лица или целого государства,—откуда оно берется, и почему воля направляется именно в ту, а не в другую сторону? Ища ответа на этот вопрос, мы находим, что в новейшей истории государственная воля определялась изменяющимися потребностями гражданского общества, преобладанием того или другого класса, а в последнем счете—развитием производительных сил и условий обмена.

Но если даже в новейшее время, с его могучими средствами производства и сообщения, государство не составляет самостоятельной области и не развивается самостоятельно, но и в существовании и в развитии своем зависит, в конце концов, от экономических условий общественной жизни, то тем несомненнее это по отношению к прежним временам, когда еще не было таких богатых вспомогательных средств для производства материальной жизни людей, и когда, следовательно, это производство необходимо должно было иметь на человечество гораздо более сильное влияние. Если даже теперь, в эпоху крупной промышленности и железных дорог, государство, говоря вообще, есть лишь более или менее сложное отражение экономических нужд класса, господствующего в области производства, то еще неизбежнее была для него такая роль в то время, когда всякое данное поколение людей должно было тратить гораздо большую часть приходящегося на его жизнь времени для удовлетворения своих материальных потребностей, и когда оно, стало быть, зависело от них гораздо больше, чем зависим мы теперь. История прежних времен убедительно доказывает это, как только она решается обратить серьезное внимание на эту сторону дела. Но, разумеется, здесь мы не можем пускаться в подобное исследование.

Государство и государственное право определяются экономическими отношениями. Само собой понятно, что то же приходится сказать и о гражданском праве, роль которого, в сущности, сводится к законодательному освящению существующих, при данных обстоятельствах нормальных, экономических отношений между отдельными лицами. Но форма, в которой происходит это освящение, может быть очень различна. Можно было, например, удержать большую часть форм старого феодального права, вместив в них буржуазное содержание и даже прямо придав буржуазный смысл феодальному имени, как это случилось в Англии, сообразно со всем ходом ее национального развития. Можно было так же, как это произошло в Западной Европе, принять за основу первое всемирное право общества, состоящего из товаропроизводи-

телей, т.-е. римское право, с его тончайшей разработкой всех существенных отношений простых товаровладельцев: купли и продажи, ссуды, долга, договора и прочих обязательств. При этом можно,—для пользы и блага мелкобуржуазного, еще полуфеодального общества,—или просто юридической практикой принизить это право до уровня этого общества, или даже юридически исказить его, с помощью, будто бы, просвещенных, сообразующихся с нравственными требованиями юристов, и переработать в особый свод законов, приспособленный к указанному общественному состоянию (прусское земское право). Можно, наконец, после великой буржуазной революции создать на основе все того же римского права такой образцовый свод законов буржуазного общества, как французский Code Civil. После этого понятно, что если гражданские правоопределения представляют собою лишь юридическое выражение экономических условий общественной жизни, то они, смотря по обстоятельствам, выражают их иногда хорошо, а иногда плохо.

Государство является первой идеологической силой, подчиняющей себе людей. Общество создает орган для защиты своих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть. Едва возникнув, она старается встать в независимое отношение к обществу и тем более успевает в этом, чем более она является органом одного какого-нибудь класса и чем более она поддерживает господство этого класса. Борьба угнетенного класса против класса угнетающего неизбежно становится, прежде всего, политической борьбой, борьбой против политического господства угнетателей. Сознание связи этой политической борьбы с ее экономической основой ослабевает, а иногда и пропадает совсем. Если же оно не совсем исчезает у борющихся, то почти всегда отсутствует у историков. Из древних историков, которые описывали борьбу, происходившую в недрах римской республики, только Аппиан говорит нам ясно и выразительно, из-за чего она велась: из-за землевладения.

Но, сделавшись силой, независимой от общества, государство немедленно порождает новую идеологию. У политиков по профессии, у теоретиков государственного права, у юристов, занимающихся гражданским правом, экономические отношения совсем исчезают из виду. Чтобы получить санкцию закона, экономические факты должны в каждом отдельном случае принять вид юридических отношений. При этом приходится, разумеется, считаться со всею системою уже существующего права. Вот почему юридическая форма кажется всем, экономическое содержание—ничем. Государственное и частное право рассматриваются как независимые области, которые имеют свое отдельное историческое развитие и которые должны и могут быть подвергаемы самостоятельной систематической разработке путем последовательного устранения всех внутренних противоречий.

(Энгельс. «Л. Фейербах». Гиз 1922, стр. 57—59.)

*
* * *

В чем состояла до сих пор характерная особенность государства? Простым разделением труда общество создало себе особые органы для защиты интересов. Но со временем эти органы и первый среди них—государственная власть, служа своим частным интересам, стали из слуг общества его повелителями. Такое явление происходит не только в наследственных монархиях, но и в демократических республиках. «Политики» нигде в мире не пользуются таким влиянием и нигде настолько не обособлены от прочего населения, как в Северной Америке. Там каждая из двух больших партий, сменяющих друг друга у кормила правления, управляется, в свою очередь, людьми, которые из политики сделали себе гешефт; они спекулируют на местах в законодательных собраниях союза или отдельных штатов, или живут агитацией в пользу своей партии и вознаграждаются какой-нибудь должностью после ее победы. Известно, сколько усилий в течение последних тридцати лет затратили американцы, чтобы свергнуть это ставшее невыносимым иго, и как, несмотря на это, они все более погружались в болото продажности. Именно в Америке всего лучше видно, как государственная власть становится независимой от того самого общества, орудием которого она, в сущности, является. Там нет ни династий ни постоянного войска, исключая кучки солдат, наблюдающих за индейцами, нет бюрократии с обеспеченными местами и пенсиями. И все же там мы видим, как две большие шайки политических спекулянтов попеременно владеют государственной властью и эксплоатируют ее самым грязным образом для самых грязных целей,—а нация стоит бессильной перед этими двумя большими союзами политиков, которые якобы находятся у нее на службе, а в действительности грабят ее и господствуют над нею.

В третьем отделе «Гражданской войны» подробно описывается это уничтожение старой государственной власти и замена ее новою, истинно демократическою. Но мы считали необходимым еще раз подчеркнуть здесь некоторые черты этого процесса, потому что именно в Германии суеверная вера в государство перешла из философии в число привычных идей буржуазии и даже многих рабочих. Германская философия представляет себе государство как «осуществление идей» или как переведенное на философский язык «царство божие на земле», как область, в которой осуществляется, или должна осуществляться вечная истина и справедливость. От этого происходит суеверное почтение к государству и ко всему более или менее связанному с государством; это почтение тем более сильно, что люди уже с колыбели проникаются убеждением, что невозможно вести общественные дела и отстаивать интересы всего общества иначе, чем это

делалось до сих пор, т.-е. при помощи государства и его хорошо оплачиваемых чиновников.

Нередко считают необыкновенно смелым шагом отказ от веры в наследственную монархию и принятие в свою программу демократической республики. В действительности же государство есть не что иное, как орудие угнетения одного класса другим; это относится и демократической республике не менее, чем к монархии. В лучшем случае государство есть зло, которое пролетариат, одержавший победу в борьбе за классовое господство, получит себе в наследство. Пролетариату неизбежно придется так же, как и Парижской Коммуне, немедленно урезать, насколько только возможно, худшие стороны этого зла, пока новое поколение, выросшее в новом, свободном общественном строе, окажется в силах отделаться от всего этого хлама каких бы то ни было государственных учреждений.

В последнее время немецкий филистер опять начинает испытывать спасительный ужас при словах диктатура пролетариата. Хотите ли знать, милостивые государи, что такое диктатура? Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это была диктатура пролетариата.

(Ф. Энгельс. «Введение к «Гражданской войне во Франции» К. Маркса». Изд. ВЦИК Советов Р. С. К. и К. Депутатов. Москва, 1919, стр. 11—13.)

II. ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ.

§ 1. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ КАНТА В ОЦЕНКЕ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА.

Состояние Германии в конце прошлого столетия вполне ясно отражается в кантовской критике практического разума. В то время, как французская буржуазия, благодаря колоссальнейшей в истории революции, поднялась до господства и завоевала материк Европы, а политически уже эмансипированная английская буржуазия революционировала производство и подчинила себе Индию политически и весь остальной мир—коммерчески, бессильные немецкие буржуа дошли только до «доброй воли». Кант удовлетворился этой чистой «доброй волей» даже тогда, когда она оставалась без результата, а о с у щ е с т в л е н и е этой «доброй воли», гармонию между нею и потребностями и наклонностями человека,—перенес в п о т у с т о р о н н и й м и р.

Эта добрая воля Канта вполне соответствует бессилию, подавленности и ничтожеству немецких буржуа, мелочные интересы которых никогда не были способны развиться до общих национальных интересов класса и которые, благодаря этому, постоянно эксплоатировались буржуазией всех остальных наций. Этим мелочным местным интересам соответствовали: с одной стороны, действительная местная и провинциальная ограниченность немецкого буржуа, с другой стороны—его чванство космополитизмом. Вообще со времени реформации немецкое развитие получило чисто мелкобуржуазный характер. Старое феодальное дворянство было большей частью уничтожено в крестьянских войнах; остались либо имперские князья двенадцатой величины, которые мало-по-малу создали себе порядочную независимость и подражали абсолютной монархии в маленьком и провинциальном масштабе, либо более мелкие землевладельцы, которые просаживали свое незначительное состояние при небольших дворах, а затем поступали на службу в маленькие армии и правительственные канцелярии, либо деревенские дворяне, ведшие такую жизнь, которой бы устыдился самый скромный английский сквайр или французский провинциальный барин. Земледелие велось способом, который не был ни парцелляцией ни большой культурой и который, несмотря на крепостную зависимость и барщину, не мог заставить крестьян добиваться освобождения, с одной стороны, вследствие того,

что этот способ производства сам не допускал образования активного революционного класса, с другой—вследствие отсутствия соответствующей такому классу крестьянства революционной буржуазии.

Что касается буржуазии, то мы здесь можем указать только на некоторые знаменательные моменты. Достойно внимания то, что полотняная промышленность, т.-е. тот род промышленности, который покоится на самопрялке и на ручных ткацких станках, достигла в Германии некоторого значения как раз тогда, когда в Англии эти неуклюжие инструменты были вытеснены машиной. Знаменательнее всего положение Германии по отношению к Голландии. Голландия—единственная часть Ганзы, достигшая торгового значения—оторвалась от нее, отрезала Германию, за исключением двух гаваней—Гамбурга и Бремена, от мировой торговли, и с того времени стала господствовать над всей немецкой торговлей. Немецкие буржуа были слишком бессильны, чтобы ограничить эксплоатацию голландцев. Буржуазия небольшой Голландии со своими развитыми классовыми интересами была могущественней, гораздо более многочисленней немецкой буржуазии с ее отсутствием всяких интересов и с ее раздробленными мелочными интересами. Раздроблению интересов соответствовало раздробление политических организаций—мелкие княжества и вольные города. Откуда могла появиться политическая концентрация в стране, где отсутствовали все необходимые для того экономические условия? Бессилие каждой отдельной области деятельности (здесь не может быть речи ни о сословиях ни о классах, а, в лучшем случае, о бывших сословиях и еще ненародившихся классах) не позволяло ни одной из них достигнуть исключительного господства.

Необходимым следствием этого явилось то, что в эпоху абсолютной монархии, которая проявилась в самой искаженной и полупатриархальной форме, та область деятельности, на долю которой, благодаря разделению труда, пришлось управление общественными интересами, приобрела неестественную независимость, еще более возросшую в современной бюрократии. Государство сделалось как будто самостоятельной силой, и в то время, как в других странах это положение было только переходной ступенью, Германия сохранила его до настоящего времени. Этим положением объясняется и так, как нигде, развитой, «честный» чиновничий образ мыслей, и все распространенные в Германии иллюзии о государстве, а также кажущаяся независимость теоретиков от буржуа—кажущееся противоречие между формой, в которой эти теоретики выражают интересы буржуа, и самими этими интересами.

Характерную форму, которую принял в Германии французский либерализм, опирающийся на действительные классовые интересы, мы встречаем опять у Канта. Он, как и немецкие буржуа, адвокатом которых он был, не замечал, что в основе этих теоретиче-

ских мыслей буржуа лежали материальные интересы и воля, определенная и обусловленная материальными и производственными отношениями; поэтому он отделил это теоретическое выражение интересов от самих интересов и превратил материально обусловленное направление воли французских буржуа в чистое самоопределение «свободной воли», воли самой по себе, как человеческой воли, превратив ее таким образом в чисто идеологическое, чисто логическое построение и постулат нравственности. Вот почему немецкая мелкая буржуазия отшатнулась от введения в жизнь этого энергичного буржуазного либерализма, как только он проявился в террористическом режиме и бесстыдной буржуазной наживе.

Под господством Наполеона немецкая буржуазия продолжала развивать свои мелкие дела и большие иллюзии. О господствовавшем тогда в Германии торгашеском духе санкт-Санчо может справиться, между прочим, у Жан Поля (назовем единственно доступные ему источники—беллетристические). Немецкая буржуазия, ругавшая Наполеона за то, что он заставил ее пить цикорий, нарушал мир ее страны рекрутским набором и солдатскими постоями, изливала всю свою моральную ненависть на нем, и все свое восхищение на Англии; однако Наполеон оказал ей величайшие услуги очисткой немецких авгиевых конюшен и установлением цивилизованных путей сообщений, а англичане только ждали удобного случая, чтобы ее эксплоатировать вдоль и поперек. Таким же мелкобуржуазным образом немецкие князья воображали, что борются за принцип законности против революции, в то время как они были не более, как оплачиваемыми наемниками английской буржуазии. При таком всеобщем господстве иллюзий было вполне в порядке вещей, что сословия, привилегия которых предаваться иллюзиям,—идеологи, школьные учителя, студенты, члены Тугендбунда,—давали тон интеллектуальной области и соответствующее преувеличенное выражение всеобщему фантазированию и отсутствию интересов.

Благодаря июльской революции (мы останавливаемся только на главных пунктах) политические формы, соответствующие развитой буржуазии, были навязаны немцам извне. Так как немецкие экономические отношения еще далеко не достигли той ступени развития, которой соответствовали бы эти политические формы, то немецкие бюргеры признали эти формы лишь как абстрактные идеи, как принципы, действительные в себе, как благочестивые желания и фразы, как кантовские самоопределения воли и человека, каким он должен быть. Они относились поэтому к этим новым формам гораздо благонравнее и бескорыстнее, чем другие нации, т.-е. они проявляли весьма своеобразную ограниченность, и все их стремления остались без успеха.

Наконец, все усиливающаяся конкуренция заграницы и международные сношения, втянувшие в свою сферу и Германию, соединили разрозненные местные интересы в известную общность.

Именно с 1840 года немецкие буржуа начали помышлять об обеспечении этих общих интересов, они сделались националистами и либералами и потребовали охранительных пошлин и конституции. Итак, теперь они почти на той ступени, на которой находилась французская буржуазия в 1789 году.

Если судить, подобно берлинским идеологам, о либерализме и государстве, не выходя из пределов местно-немецких иллюзий, или же ограничиться критикой немецко-бюргерских иллюзий о либерализме вместо того, чтобы понять его в связи с действительными интересами, из которых он произошел и в связи с которыми он единственно и может существовать, то, разумеется, должно притти к самым нелепым результатам в мире. Этот немецкий либерализм, как он выражался по сию пору, уже в своей популярной форме есть, как мы видели, не более чем м е ч т а н и е, идеология о д е й с т в и т е л ь н о м либерализме. Как же легко превратить его содержание целиком в философию, в чистое определение понятий, в «познание разума»!..

(К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. «Святой Макс». Гиз 1920, стр. 158—162.)

§ 2. КАНТОВА ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА.

Объективный исторический процесс (то, что Кант называет «природой»), происходящий за спиною человека, в силу внутренних антагонизмов ведет к осуществлению совершенного гражданского устройства при справедливых международных отношениях. Эта цель в то же время должна быть и нашим идеалом, т.-е. предметом сознательных наших действий и стремлений. Совершенное гражданское устройство имеет своим содержанием и д е ю п р а в а. Совершенное гражданское устройство есть таким образом не что иное, как «совершенный» п р а в о в о й с т р о й, п р а в о в о е г о с у д а р с т в о. В своем учении о праве (Rechtslehre, 1797 г.) Кант в известном смысле дает философское обоснование лозунгам французской революции. Молодой Маркс, как известно, выразился о кантовском учении, что оно представляет собою не что иное, как «немецкую теорию французской революции».

Буржуазная французская революция находит в сыне седельника, этого идеолога мелкой буржуазии на немецкой почве, своего восторженного поклонника и теоретика. «Свобода», «равенство» и «самостоятельность» граждан (вместо «братства») являются для Канта основными лозунгами и требованиями, разумеется, не данной исторической эпохи, а разума, вечной справедливости. Это— основные, можно сказать, априорные принципы р а з у м а.

Понятие разума сближает Канта с французскими просветителями, которые ведь свои лозунги также рассматривали, как безусловное требование разума. Политическое и юридическое равноправие граждан, т.-е. чисто формальная свобода и равенство, вполне совместимо, по учению Канта, с «наибольшим неравен-

ством имуществ». Этот «антагонизм», как мы видим, стоял перед Кантом, но он находит в порядке вещей, чтобы «благополучие» одних зависело от воли других, чтобы благосостояние бедных зависело от воли богатых, чтобы одни повиновались, как дети своим родителям или как жена мужу, и чтобы другие приказывали и т. д. И если Кант в другом месте своего сочинения говорит, что нет ничего отвратительнее рабства, что «человек, находящийся в зависимости от другого, теряет достоинство человека, перестает быть человеком», то тут нет никакого противоречия, ибо в последнем случае речь идет именно о формальной свободе, о формальном равенстве. Здесь Кант ведет борьбу в качестве идеолога буржуазии против крепостничества, против юридических привилегий помещиков, но за буржуазную частную собственность. В первом же случае речь идет о «неравенстве имуществ», об укреплении права частной собственности. И мы видим, что Кант во имя «прав человека и гражданина» находит совместимым, чтобы в области буржуазных экономических отношений человек был только средством, между тем как в области правовой он требует, чтобы человек был не только средством, но и самоцелью. Но мало того. Кто является «человеком»? Кто является «активным» гражданином? Кант дает на этот вопрос тот же самый ответ, какой дала французская буржуазия. Поденщики, прислуга, женщины, приказчики, словом, все экономически несамостоятельные элементы не являются членами государства, не являются гражданами. Стало быть, общество и государство, с точки зрения Канта и французской буржуазной революции, образуют экономически-самостоятельные граждане. Иначе говоря: Кант ратует за буржуазное общество и буржуазное государство, за права буржуазного человека и гражданина. Человек есть собственник, и только собственник—настоящий человек и гражданин. Пролетариат и женщины исключаются из буржуазного общества и государства: они не находят себе в нем места. Это значит, что буржуазное общество несовместимо с признанием «человеческих» и гражданских прав за пролетариатом. Конечно, в формальном смысле они совместимы, как это показало дальнейшее развитие буржуазной демократии; но в смысле материальном, в смысле «равенства имуществ», экономической независимости, они несовместимы.

Этот отрицательный результат имел положительное значение. Утверждение Канта, что свобода и равенство всех граждан перед законом совместимы с «наибольшим неравенством имущества», заключало в себе внутреннее противоречие, которое в дальнейшем развитии общественных отношений должно было обнаружиться с полной ясностью в ожесточенной борьбе классов. Это противоречие между формальной и материальной демократией может быть разрешено только социализмом. Но эта проблема, как мы видели, вовсе не существовала для Канта. Он обеими ногами стоит на почве буржуазного общества, бур-

жуазного права и буржуазного государства. И поэтому все попытки обоснования социализма на этическом формализме Канта не имеют под собой решительно никакой почвы. Кант является идеологом буржуазного общества, теоретиком правового государства. И его всемирно-гражданское общество есть не что иное, как всемирно-буржуазное общество. Каждому гражданину должно быть предоставлено самому заботиться о своем счастьи, как выражается Кант. Правительство не должно стеснять свободу хозяйственой деятельности, т.-е. свободу эксплоатации. Политическая свобода и экономическая зависимость бедных от богатых вполне совместимы по учению Канта.

Учение Канта, однако, вполне соответствовало интересам нарождавшейся в отсталой Германии буржуазии, но вместе с этим в «трезвом» учении Канта имеется и утопический элемент. Кант твердо надеялся, что на почве «гражданского» или буржуазного общества возможна федерация государств, возможен вечный мир. Он не понимал, что войны являются неизбежным следствием «гражданских» обществ, основанных на частной собственности.

(А. Деборин. «Диалектика у Канта». «Архив Маркса и Энгельса». Т. I, стр. 73—75.)

§ 3. ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ПРАВА.

Времена идеологических мечтаний ушли навсегда. Когда в 1814 г. Тибо был свидетелем того, как в Гейдельберге немецкое юношество с оружием в руках стремилось во Францию, ему становилось тепло на душе. «Многие друзья моего отечества разделяли вместе со мной мысль о возможности основательного улучшения нашего правового положения, и я от глубины души написал небольшую работу о необходимости общего гражданского права для Германии». Ответом на честные, сердечные излияния Тибо было сочинение Савиньи «О призвании нашего времени к законодательству и науке права». Как известно, Савиньи отвечал отрицательно на вопрос, призвано ли наше время к законодательству. Этим он доказал, что можно быть ученым человеком и не видеть, что творится пред глазами, что так называемая историческая школа, главой которой он был, может быть, многое и понимала на свете, но в истории она во всяком случае ничего не смыслила. Она малейшего понятия не имела в истории, с которой она и практически и теоретически плохо справлялась. Погруженная в романтическую красоту феодального средневековья, она не видела, что эта эпоха во Франции блестяще оправдала свое призвание к законодательству. Гегель считал произведение Савиньи величайшим оскорблением, которое когда-либо было нанесено немецкому народу, а криминалист Ансельм Фейербах, знаменитый отец знаменитого философа Людвига Фейербаха, насмехался над реакционными тенденциями исто-

рической школы, говоря, что она делает вид, будто требование гражданского уложения для Германии имеет в виду произвольное создание, которое должно быть навязано народу как ярмо на шею, или будто при этом имеется в виду рожденное от одного из богов дитя, созданное разумом и идеалами, которое, вычеркнув из книги истории века прошедшие, делает смелый скачок через современность в века будущие.

Савиньи победил Тибо, потому что после Ватерлоо феодальной реакции удалось стать хозяином положения. Германия не только не получила гражданского уложения, но были уничтожены даже те зачатки гражданского права, которые были даны непосредственно французской оккупацией или благодаря ее влиянию. Известно, каким образом восточно-эльбские юнкера изуродовали законодательство Штейна-Гарденберга, которое даже с буржуазной точки зрения не могло считаться достойным похвалы. Но был один пункт, где феодальное законодательство встретило сопротивление со стороны экономического развития. В сороковых годах начала развиваться крупная промышленность, которая до этого на германской почве была лишь спорадически рассеяна. Ее могущественные удары потрясли твердыни феодально-цехового права, и, вследствие иронии судьбы, защита этого права выпала на долю Савиньи. В сороковых годах он был прусским министром по законодательным делам и в этой должности доказал на смех всему миру, что, если не наша эпоха, то во всяком случае историческая школа лишена всякого призвания к законодательству. Особенно смешны были его реакционные попытки затруднить развод. В браке, который до этого времени покоился на ремесленном производстве, с развитием крупной промышленности произошла известная революция: в буржуазной семье жена стала чем-то вроде роскошной мебели, в семье пролетария—главой семьи. Под этот великий ход исторического развития Савиньи подкапывался, создавая затруднения для развода, которые, впрочем, не в более умной форме имеются и в настоящем проекте гражданского уложения. Брак вырастает из своей буржуазной формы, и буржуазное право, которое стремится вернуться к пережитым формам, вынуждено прибегать к приемам не столь опасным, сколь смешным.

Германская революция удалила Савиньи и ему подобных с государственной арены, но ей не удалось создать гражданского права, а тем более кодифицировать его. Первая чистка феодальных авгиевых конюшен, которую французское национальное собрание произвело в знаменитую августовскую ночь, прусскому национальному собранию не удалась за семь месяцев. Виной этому была трусость и близорукость немецкой буржуазии, которая охотнее шла на компромиссы с абсолютизмом и феодализмом, чем на честный союз с пролетариатом. Страх, вызываемый нечистой совестью, заставлял ее бояться рабочего класса, хотя он был тогда еще очень слабо развит. Она оттолкнула руку,

которую в революционные годы ей протягивали вожди рабочих для борьбы с общим врагом, и охотнее давала давить себя тем, преодоление и уничтожение которых было ее исторической задачей. Во всех решительных стадиях немецкой истории в течение пятидесяти лет постоянно повторялась одна и та же тактика буржуазии; этот трагикомический класс осмеливался срывать плоды, которые готовило ему экономическое развитие, только при вежливых поклонах в сторону абсолютизма и феодализма и злобных взглядах в сторону пролетариата.

(Ф. Меринг. «О Гражданском Уложении».
«Neue Zeit» XIV Beitrg. I Bd.)

*
* *

Школа, узаконяющая подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашнего; школа, объявляющая мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только это кнут старый и прирожденный, исторический кнут; школа, которой история показывает, как бог Израиля своему слуге Моисею, только свое a posteriori,—эта историческая школа права изобрела бы немецкую историю, если бы она не была изобретением немецкой истории. Она, этот Шейлок [1]), но Шейлок,—лакей, клянется в каждом фунте мяса, вырезанном из народного сердца, ее векселем, ее историческим векселем, ее христианско-германским векселем.

(Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Гиз 1923. Т. I, стр. 367.)

*
* *

Философский манифест исторической школы права. Эта статья напечатана в приложении к «Рейнской Газете» № 221, от 9 августа. Она воспроизведена Рингом без всяких урезков: вытравлены только по обыкновению курсивы.

Но статья была написана совершенно по другому поводу, чем думает Меринг, связывающий ее с чествованием Гуго по поводу пятидесятилетия со времени получения им докторского диплома 10 мая 1842 г. Событие это имело место 10 мая 1838 г., и статья Савиньи по этому поводу, на которую ссылается Маркс, была напечатана не в 1842 г., как пишет Меринг, а в 1838 г. (Она перепечатана в 1888 г., стр. 195—208.)

---

[1]) Шейлок исторической школы права, это — Шталь, крещеный еврей, размахивающий христианско-германским векселем, выдвигающий против принципов вольнодумного французского либерализма христиано-германский принцип государственности. *Примеч. Д. Рязанова.* См. Маркс и Энгельс. Собр. соч., т. I, стр. 545.

Наоборот, Маркс использовал эту статью по совершенно другому поводу. Den Sack schlägt man, den Esel meint man. Она направлена не против Гуго, а против Савиньи. 28 февраля 1842 г. знаменитый юрист и наиболее авторитетный представитель исторической школы права назначен был министром юстиции, что вызвало всеобщее ликование. Автор известного ответа представителю либерального направления в юриспруденции, Тибо: «О призвании нашего времени к законодательству и науке права» был теперь сам призван к делу законодательства. Основательны ли были возлагавшиеся на него надежды, действительно ли он призван творить новое законодательство? И Маркс, используя признание Савиньи в статье, посвященной Гуго,—«Никто не повлиял на меня так сильно, как Гуго, никакие сочинения не подействовали на меня так поучительно и не толкали меня по пути самостоятельного мышления и исследования, как сочинения Гуго»,—показывает на примере сочинений последнего, как неосновательны были надежды, которые были возбуждены назначением Савиньи. По его мнению, извлечения, сделанные им из сочинений Гуго, вполне достаточны, чтобы решить, имеют ли такие преемники Гуго, как Савиньи, «призвание быть законодателями нашего времени». Деятельность Савиньи, оставшегося министром до революции 1848 г., прогнавшей его, как и других реакционных министров, показала, что Маркс был вполне прав в своем скептицизме. Будучи студентом берлинского университета, Маркс слушал лекции Савиньи и Эдуарда Ганса (1797 — 1839 г.г.), гегельянца и противника исторической школы права.

«Там же, т. I, стр. 519—520.)

§ 4. КРИТИКА ГЕГЕЛЕВСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА.

«Немецкая философия права и государства»—единственная немецкая история, стоящая на уровне официальной новой современности. Немецкий народ должен, поэтому присоединить эту свою историю в мечтах к существующим у него порядкам и подвергнуть критике не только эти существующие порядки, но и их абстрактное продолжение. Его будущее не может ограничиться ни непосредственным отрицанием своих реальных государственно-правовых порядков, ибо в своих идеальных порядках народ имеет непосредственное отрицание своих реальных порядков, а непосредственное осуществление своих идеальных порядков он почти уже пережил, наблюдая за соседними народами. Поэтому практическая политическая партия в Германии справедливо требует отрицания философии. Ошибка ее заключается не в требовании, которого оно серьезно не выполняет, да и выполнить не может. Она полагает осуществить это отрицание философии тем, что поворачивается к ней спиною и, отвернувши голову, бормочет про нее несколько сердитых и банальных фраз. Благодаря своему ограниченному кругозору она не причисляет даже

философии к кругу немецкой действительности, или воображает, что философия стоит даже ниже германской практики и обслуживающих ее теорий. Вы хотите сообразоваться с действительными зародышами жизни, но забываете, что действительный зародыш жизни немецкого народа до сих пор размножался только под его черепом. Одним словом: вы не можете упразднить философию, не осуществив ее в действительности. Ту же ошибку, но при обратных условиях, делает и теоретическая, ведущая свое происхождение от философии, политическая партия.

Она увидела в нынешней борьбе только критическую борьбу философии с немецким миром, она не подумала о том, что крайняя философия сама принадлежит к этому миру и является его, хотя бы и идеальным, завершением. Критически настроенная по отношению к своему противнику, она относилась некритически к себе самой, ибо исходила из предпосылок философии и или останавливалась на вытекавших из нее результатах, или выдавала требования и результаты, добытые другим путем, за непосредственные требования и результаты философии, хотя последние, если допустить их правильность, могли быть получены, напротив, только посредством отрицания унаследованной философии, философии, как философии. Мы сохраняем за собой право вернуться к более подробному описанию этой партии. Основную ее ошибку можно свести к следующему: она верила, что можно превратить философию в действительность, не упразднив самой философии.

Критика немецкой государственно-правовой философии, получившей через Гегеля свою самую последовательную, самую содержательную и законченную формулировку, есть и то и другое— как критический анализ современного государства и связанной с ним действительности, так и самое решительное отрицание всей доныне существующей формы немецкого политического и правового сознания, самым благородным, универсальным, до степени науки возвысившимся выражением которого есть именно сама спекулятивная философия права. Если в Германии была возможна только спекулятивная философия права, это абстрактное, не знающее меры мышление нового государства, действительность которого остается потусторонним миром, хотя бы потусторонний мир лежал лишь по ту сторону Рейна, то, наоборот, и немецкий образ современного государства, абстрагирующий от действительного человека, был лишь возможен потому и постольку, почему и поскольку само современное государство абстрагирует от действительного человека, или удовлетворяет всего человека лишь мнимым образом. Немцы размышляли в политике о том, что другие народы делали. Германия была их теоретической совестью. Абстракция и высокомерие ее мышления шли всегда параллельно с односторонностью и низменностью ее действительности. Если, таким образом, status quo германской государственности выражает завершение старого порядка, завершение «жала в плоти современного государства, то status quo немецкого государствоведения выражает

незаконченность современного государства, поврежденность самой плоти. Уже как решительный противник прежней формы немецкого политического сознания, критика спекулятивной философии протекает не в себе самой, а в задачах, для разрешения которых имеется одно только средство—практика».

(Там же, стр. 371—373.)

* * *

До октября 1842 года Карл Маркс сотрудничал в «Рейнской Газете» из Бонна, а начиная с половины октября до половины марта следующего года, он был ее редактором, поселившись ради этого в Кельне.

Маркс сам говорил про себя впоследствии, что он только в исключительных случаях сотрудничал в газетах. Но, на наш взгляд, он на первых же порах проявил первоклассный публицистический талант и при освещении злободневных вопросов. В способности и искусстве улавливать исторический пульс быстро сменяющихся событий, которые вообще только и облагораживают газетное дело, он был незаменим. Не подлежит сомнению, что бурный темперамент, без которого немыслим ни один великий борец, иногда затемнял его суждение о настоящем и перспективы будущего. Указывать на отсутствие у него этой непогрешимости есть удел бездарных профессоров, которые никогда не знали того горячего стремления к истине и уверенного в победе энтузиазма разума, о которых Маркс говорит в своей статье о свободе печати. Но никто ни до ни после Маркса не умел так хорошо находить красную нить исторического развития. Перед решительной силой вопросов, которые он умел ставить, раскрывались тайны времен.

Уже первый дебют его в качестве сотрудника большой ежедневной газеты показал в нем мастера. Он подверг всесторонней критике прения рейнского ландтага, и под его ярким пером отжившие общественные формы как бы оживали. Трудно было найти более энергичное средство пробудить нацию из ее сна, чем показав ей, насколько отстало от ее умственного развития даже ее самое развитое политическое учреждение. Маркс был вполне гегелианцем, видевшим в государстве воплощение нравственности и разума. Но именно поэтому он не восхвалял существующего государства подобно тем, которые преклонялись перед буквой Гегеля, а указывал, как мало общего между этим государством и философским идеалом государства. Он чрезвычайно серьезно относился к историческому принципу Гегеля, к принципу непрерывного развития, и вместе с тем обрушился со всей силой своей критики против исторической школы права, которая, неправильно поняв Канта защищала все созданное историей, даже,—а может быть, именно—неразумное. В «Рейнской Газете» Маркс отдает справедливость кантовской философии, как немецкой теории французской

революции; он возвращается к Канту как против исторической школы права, так и против выродившихся гегельянцев. Но он хорошо знает, в чем Гегель превзошел Канта. Если Кант разделял еще граждан на полноправных и неполноправных членов государства, как французские революционеры различали активных и пассивных граждан, то Гегель видел в государстве тот великий организм, в котором должна осуществляться правовая, моральная и политическая свобода и в котором каждый гражданин, подчиняясь законам государства, подчиняется естественным законам своего собственного разума, человеческому разуму. Если Кант не видел исторического мира, подобно французским революционерам, которые знали только негодное прошлое и совершенное настоящее, то в диалектике Гегеля развертывалось все богатство исторического мира, в которое Маркс окунулся, как молодой пловец в море.

По поводу мнимой опасности этой диалектики Маркс очень верно замечает в «Рейнской Газете», что если отдельные лица не переваривают ее, то это так же мало говорит против нее, как говорит против механики то обстоятельство, что по временам паровой котел взрывает на воздух несколько пассажиров. Прогресс Гегеля, по сравнению с Кантом, именно в практической борьбе за освобождение классов и народов мы ясно можем видеть, сравнив то, что писали против до-мартовского деспотизма кантианец Якоби и гегельянец Маркс. Какими несчастными и жалкими кажутся «Четыре Вопроса», которые Якоби постоянно только вариирует, рядом со статьями, написанными Марксом по поводу прений рейнского ландтага; при этом он не исчерпал всей полноты политических и социальных перспектив, которые открывала ему гегелевская диалектика. Трейчке с грубым преувеличением говорит, что Якоби, как назойливый ростовщик, постоянно предъявляет королю его расписку, обещание конституции 22 мая 1815 г. Но хотя грязные нападки на чистый характер и похвальный поступок и достойны осуждения, тем не менее совершенно верно, что полемика Якоби всецело сосредоточивалась на этом обещании, о котором Маркс не считал даже нужным упоминать. Без сомнения, Фридрих Вильгельм IV должен был бы исполнить обещание своего отца, если бы все совершалось согласно категорическому императиву Канта; но так как не все совершалось по этому императиву, то дело приняло такой, а не иной оборот. Маркс вообще мало интересовался формальной стороной вопроса о конституции, так как он глубже заглядывал в сущность вещей. По мере того, как дебаты рейнского ландтага развертывали перед всем народом диалектическую и—можно сказать—почти драматическую картину положения, немецкий филистер вырывался из состояния общественной спячки.

(Ф. Мерин г. Примечания к «Литературному наследию Маркса и Энгельса».)

§ 5. ФИХТЕ И ЕГО ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ.

Произведение Фихте о французской революции, ныне по весьма понятным причинам основательно забытое, заслуживает того, чтобы на нем несколько подробнее остановиться. Фихте подвергает исследованию вопрос о правомерности и целесообразности революции. Он исходит из того, что заинтересованные стороны не могут решить вопроса о правомерности революции, потому что они судят о ней пристрастно. Лучшим судьей может быть человек, который не является ни угнетателем ни угнетенным. Фихте идеалист и в значительной степени утопист. Ему кажется, что правильное суждение о революции может иметь человек, стоящий «над классами». Интересы людей, полагает он, извращают человеческое суждение. Очень часто люди кричат о несправедливости, когда им препятствуют делать несправедливое другим. Это совершенно правильно. Естественно, что от интересов каждого зависит и его точка зрения на революцию. Помещик, у которого отнимают его имущество, считает этот акт по отношению к себе несправедливым и неправомерным. Но угнетаемые им рабы, говорит Фихте, заявляют с своей стороны, что богатые не принадлежат к народу и не должны пользоваться человеческими правами. Такая точка зрения соответствует интересам угнетенных. Сам Фихте также становится, не в пример современным буржуазным философам-идеалистам, на сторону угнетенного народа. Но ему кажется, что необходимо отвлечься от эмпирических интересов и подняться в сферу чистой мысли—разума.

Чувства, т.-е. эмпирические интересы, извращают таким образом истину, которая доступна разуму. Эти чувственные интересы определяют характер нашего сознания и направление воли. Вопрос о закономерности революции есть вопрос морально-правовой. Не интересы и не история, а нравственный закон решает вопрос о допустимости революции.

Исторические существующие государства зиждутся на праве сильнейшего, на насильственном угнетении и подавлении слабых. Но правовое государство покоится или должно покоиться на договоре, состоящем в добровольном согласии членов гражданского общества подчиниться закону. Если человек соглашается, чтобы чужая воля диктовала ему законы, то он тем самым отказывается от своего человеческого достоинства. Человек должен признавать только те законы, которые он сам себе дает. Конечная цель всякого государственного союза сводится к установлению свободы. Поэтому государственный строй, основанный на рабстве, является противным культуре и подлежит изменению вследствие его неправомерности. Нет неизменного государственного строя. Государственный строй, противоречащий конечной цели всякого государственного союза, должен быть изменен. Таким образом Фихте в качестве идеалиста исходит из некоего абсолютного порядка и с высоты этого морально-идеального порядка оценивает правомер-

ность данного эмпирического государственного строя вместо того, чтобы исходить из законов развития действительности и реальных интересов передового класса. Но требовать от Фихте такой научной постановки вопроса не следует. Реальные исторические процессы облекаются у него в сугубо-идеалистическую форму, принимая характер моральных требований.

Неизменность общественного и государственного строя находится в непримиримом противоречии с «духом человечества», как выражается Фихте. Оставлять существующий строй в неприкосновенности, неизменным, значит оставаться на достигнутой ступени культуры и остановить развитие человечества. Это должно повести к тому, чтобы наши потомки через тысячи лет сохранили наш способ мышления, наши современные политические учреждения, теоретические и нравственные убеждения. Естественно, что такое обязательство, если бы оно было дано при заключении общественного договора, не может иметь силы, так как оно не правомерно, противно «духу человечества». Фихте, как мы видим, исходит из бесконечного прогресса, который не может или, вернее, не должен быть остановлен. Содержанием бесконечного прогресса является культура к свободе (Cultuo zuo Fheiheit). Таков закон разума, такова нравственная задача и цель человечества, а стало быть, и государственного союза.

Существующие государства основаны на рабстве и противоречат тем самым своему назначению. Отсюда следует, что изменение существующего политического строя является нравственной задачей, моральным долгом граждан. Человечество не может остановиться в своем развитии, в своем стремлении к прогрессу. «Нет неизменного государственного строя,—говорит Фихте:—необходимость изменения вытекает из самой природы его; дурной строй, противоречащий необходимой конечной цели всякого государственного союза, должен быть изменен; хороший, способствующий осуществлению этой цели, изменяется сам. Первый подобен тлеющим гнилушкам, не дающим ни света ни тепла; второй напоминает свечу, пожирающую самое себя и потухающую с наступлением дня».

Как ни туманна и идеалистична постановка вопроса у Фихте, в конце XVIII века, она имела прогрессивное и даже революционное значение. Право на изменение государственного строя является таким же неотъемлемым, как и право на бесконечное развитие, на бесконечный прогресс. Государство основано, если не фактически, то принципиально, на договоре; но всякий договор может быть расторгнут, если стороны не соблюдают его.

Естественно-правовая теория общественного договора, разумеется, не выдерживает научной критики. Это чисто идеалистическое построение. Но эта теория исторически сыграла огромную революционную роль, поскольку она служила оружием борьбы с историческими правами королей, дворянства и духовенства.

Естественные права имеют в глазах Руссо или Фихте несравненные преимущества перед историческими правами.

Итак, в случае нарушения королями общественного договора, народ имеет право на революцию. В сущности, это даже не право, а обязанность народа. Вот тот вывод, к которому приходит вслед за другими теоретиками естественного права Фихте.

Право на изменение государственного строя установлено незыблемо; но некоторые утверждают, что расторжение договора связано с возмещением убытков государству, что государство имеет право претендовать на нашу собственность и образование, тех, кто устраивает революцию. В связи с этим для Фихте возникает вопрос о правовом основании собственности. Рассуждения Фихте на этот счет чрезвычайно любопытны.

Первоначально,—говорит он,—мы сами являемся нашей собственностью. Никто не может быть нашим господином. Чистое «я» в нас является господином нашей чувственности, всех наших духовных и телесных сил. Вокруг нас существуют вещи, которые не принадлежат непосредственно нашему чувственному я. Мы имеем право пользоваться нашими силами, прилагая их к вещам и превращая их в средство для наших целей. Преобразование вещей нашими силами есть истинное правовое основание собственности. Кто обрабатывает вещь и придает ей известную форму, тому она и принадлежит. Стало быть, труд составляет основу права собственности. Возражают,—продолжает Фихте,—против лозунга: «кто не работает, пусть не ест». Конечно, есть может и тот, кто не работает, если я по доброй воле даю ему есть. Но речь идет о том, что кто не работает, тот не имеет права требовать, чтобы ему дали есть, если бы даже он и умирал с голоду. Каждый человек должен трудиться, если он хочет жить, ибо только личный труд дает право на вещь.

Человек не может создавать ничего нового. Он только преобразует сырой материал, придавая ему определенную форму. Поэтому сырой материал не может быть предметом частной собственности; он не принадлежит никому. Каждый имеет на него право, и каждый может использовать его для своей работы. Только человеческий труд придает материи целесообразную форму. Права собственности на материю не существует. Материя, или сырой материал, никому не принадлежит. Право собственности существует лишь в отношении формы. В основании всякой формы лежит материя, образующая, так сказать, ее субстанцию. И именно эта материя, к которой относится, естественно, земля и всевозможные средства производства, не может составлять предмета частной собственности. Существует лишь один способ присвоения материи, это—акт формирования, преобразования ее посредством труда в целесообразную вещь. Источником собственности является человеческая деятельность, его работа. Вещь, к которой не был приложен человеческий труд, есть вообще материя, или сырой материал.

Таким образом право на сырой материал, на материю природы, есть право присвоения, право же на преобразованный материал есть право собственности. Но если сырой материал не может принадлежать никому,—рассуждает Фихте,—то он не может принадлежать и всем, не может принадлежать и государству. Моя собственность есть продукт моего труда, и потому государство не может на нее претендовать. Материя не является моей собственностью, но она также не является и собственностью государства. Государство, таким образом, не может быть собственником ни сырого материала ни обработанной мною вещи. Из этих любопытных рассуждений необходимо сделать тот вывод, что вместе с формой, ввиду неотделимости ее от материи, и сырой материал должен считаться собственностью того, чьей собственностью является форма, т.-е. того, кто вложил в инертную материю свой живой труд. Отсюда, с другой стороны, следует, что кто не работает, у того не может быть вообще собственности. Словом, так как государство не имеет права на мою собственность, то при расторжении договора, т.-е. в случае революции, оно не может требовать от меня возвращения ему моей собственности (как и вознаграждения за мое образование). Ни собственность ни образование не приобретены мною при помощи государства, хотя и в пределах государства.

Личность и бытие человека находятся под охраной нравственного закона, как неотчуждаемые права. В качестве личности, морального существа, человек есть дух, и он живет, так сказать, в мире духовном; в обществе он представляет собою человека, живущего в мире явлений. Только в обществе человек заключает договоры в отношении отчуждаемых прав. В государственном союзе человек—гражданин. В естественном, т.-е. изолированном, дообщественном, состоянии человек находится исключительно под нравственным законом; в обществе, т.-е. в мире явлений, нравственный закон не определяет всецело человека, поскольку предметом договора являются отчуждаемые права и поскольку общественный союз есть область свободного произвола. Гражданский договор, из которого возникает государственная власть, имеет своим субъектом гражданина и предметом—любую часть свободного произвола.

Итак, человек как бы живет в трех мирах: в мире духовном, в мире общественном и в государстве. Не трудно заметить, что гегелевское противопоставление гражданского общества государству примыкает к фихтевскому разграничению понятий общества и государства, человека и гражданина.

В случае расторжения моего договора с государством в качестве гражданина, я, однако, остаюсь членом общества, которое гораздо шире государства и охватывает область договоров вообще,—я остаюсь человеком. Государство не имеет права преступать пределы своей власти. Собственность при-

обретена мною не в качестве гражданина, а в качестве человека, в силу моего договора с обществом, а не с государством, в силу моих человеческих и естественных прав, а не в силу политических прав. Государство призвано лишь защищать мои права, мою собственность и лишь до тех пор, пока я не выхожу из государственного союза. В последнем случае государство перестает меня защищать, но оно вместе с тем не имеет никаких прав на мою собственность. Те же соображения высказывает Фихте и относительно приобретенного мною в обществе при помощи государства образования. Образованием, культурой мы обязаны всему человечеству, а не государству.

Все эти рассуждения нужны Фихте в целях оправдания революции и обоснования ее правомерности. Мысль его сводится таким образом к тому, что общество стоит над государством, что последнее существует для первого, что мы всем обязаны обществу, всему человечеству, а не государству, что человек выше гражданина, а потому человеческие права имеют все преимущества перед гражданскими, что мы имеем право выйти из государственного союза и притом свободны в отношении его от возмещения убытков за приобретенные нами собственность и образование.

Расторжение государственного договора или выход из государственного союза составляют внутренний смысл всякой революции. Граждане имеют право совершить революцию, которая означает разрушение старого и создание путем договора нового государства.

В старом государстве образуется новое государство прежде, чем первое окончательно рухнет. Фихте не видит здесь ничего опасного или особенного. Ибо в каждом современном государстве существует несколько «государств»: духовенство, дворянство, военщина и проч. Все эти отдельные сословия образуют самостоятельные государства в государстве, у которых имеются не только обособленные, но и противоположные другим гражданам интересы. Они образуют действительно враждебные друг другу государства.

(А. Деборин. «Фихте и Великая французская революция». «Под знаменем марксизма». 1924, № 10—11, стр. 8—12.)

*
* *

Фихте выступил на философско-литературное поприще во время Великой французской революции. Падение королевской власти, сменившая ее республика, деятельность конвента и террор устрашили старый мир, подав повод к сильному и беспощадному реакционному движению во всей Европе.

Как это всегда бывает, защитники старого порядка и деятели

реакции видели причину великого государственного переворота в просвещении и свободомыслии, предшествовавших падению деспотизма.

Страх перед революцией привел к угнетению мысли и циничному, бесшабашному гонению на все формы ее проявления, конечно, во имя спасения отечества и общественного благополучия.

Реакционное движение, вышедшее из консервативных кругов, начало оказывать свое влияние и на такие умеренные слои, которые при первых раскатах революции симпатизировали ей.

Но Фихте не был временным героем на исторической арене. Его мощную натуру не смущали бурные проявления исторической стихии, коль скоро цель их была—освобождение от рабства. Дореволюционные явления свободы, шедшие в Германию из Франции, проникли глубоко в его цельную душу. Влияние Руссо запечатлено с полной отчетливостью в его произведениях. Его, сына бедного деревенского ткача, трудно было запугать неизбежными эксцессами накопившегося народного гнева. И сам учитель Кант, к которому он питал глубокое уважение, ведь также сочувствовал Великой французской революции. Оба, учитель и ученик, вышли из недр народа, и оба знали, или чувствовали, что самая ничтожная династическая война стоит больше жертв народным массам, нежели стоил привилегированному меньшинству великий переворот, преобразивший государство и имевший такое огромное значение для торжества их любимой и центральной идеи свободы.

Фихте становится на сторону революции без всяких колебаний и без всяких оговорок. Более того, он ее горячий, активный защитник. Он пишет знаменитую речь—«Востребование от государей Европы свободы мысли, которую они до сих пор угнетали». Пламенной страстью, беззаветной любовью к свободе и глубоким негодованием против угнетателей дышит эта обличительная речь философа-революционера.

Государство не имеет права лишать или ограничивать свободу мысли и все ее формы проявления, оно не имеет права угнетать и уничтожать в человеке его главное преимущество; ограничить свободу мысли—значит ставить человека в положение бессловесного скота. И, обращаясь к угнетателям, которые в этом вопросе как и во всех вопросах, применяют готтентотский критерий истины и права, философ восклицает: «Вы говорите нам: вам нисколько не воспрещается раздавать хлеб бедным, не давайте им только яду. А что, если то, что у вас называется ядом, составляет мою ежедневную пищу, при употреблении которой я здоров и силен? Или же я заранее должен предвидеть, что слабый желудок другого ее не переварит, что он умрет во время получения этой пищи или тогда, когда станет есть ее. Если он, в самом деле, не в состоянии переварить ее, то пусть не пользуется ею. Я его не пичкаю (stopfen). Это—ваша привилегия. Или же предположим, что то, что я даю другому, я сам считаю

ядом и даю ему этот яд с намерением отравить его. Но как вы мне это докажете? Кто, кроме моей совести, может быть судьею в этом деле? Но оставим сравнения.

«Я должен распространять истину, а не заблуждение. О, что означает в ваших устах истина и что вы понимаете под заблуждением? Конечно, не то, что мы—ваши противники—подразумеваем под этими словами. В противном случае для вас было бы ясно, что вы истребляете мысль вообще, как таковую, что ваша левая рука отнимает у нас, что правая дает, вы бы поняли, что нельзя проповедывать истину, когда запрещено распространять заблуждение»[1]). С такой же бесконечно глубокой горечью и все в том же негодующем тоне написана вся эта зажигательная речь.

В 1793 г. появился обстоятельный трактат в защиту Великой французской революции, носящей заглавие: «Beiträge zur Berichtigung der Urtheile über französische Revolution»[2]).

С той же ширью и с тем же смелым, орлиным размахом, как в требовании свободы мысли, ведется защита революции в этом зажигательном, по своему энтузиазму и логическому мастерству, произведении.

Главный вопрос, в нем поставленный, гласит: имеет ли народ право изменить существующий государственный порядок, иными словами, п р а в о м е р н а л и р е в о л ю ц и я.

Государство, рассуждает мыслитель, по идее своей государство, каковым оно должно быть, согласно законам разума, есть договор всех со всеми во имя свободы, блага всех и каждого в отдельности. С этой целью каждый отчуждает некоторые свои права, но дает он это добровольно, свободно, сознавая, что отчуждение части прав является непременным условием существования личности и гарантией ее развития. Это отчуждение разрешено поэтому верховным нравственным законом. Но противоречил бы этому последнему вечный общественный договор, согласно которому данная государственная форма, определяемая условиями договора, оставалась бы неизменной. Такого свойства договор имел бы своей целью не обеспечение и развитие свободы, а, наоборот, он уничтожил бы предшествующую всякому государственному порядку автономию личности. В государстве имеют силу гражданские законы, повиноваться которым обязан каждый член его, но это обязательство не может быть налагаемо против воли каждого. Отсюда следует для Фихте, что народ, недовольный действующим государственным порядком, не только имеет право стремиться к его изменению, но что такое стремление есть его высшая нравственная обязанность, диктуемая нравственным законом.

Великая французская революция, таким образом, п р а в о м е р н а. Исходя из того же принципа договора, Фихте считает правомерным конфискацию государством церковных имуществ. Договор

---

[1]) Sämmtliche Werke. Bd. 6, s. 17—18.
[2]) К исправлению суждений о французской революции.

церкви с государством покоится на предполагаемом обмене даров. Церковь получает от мирян реальные земные блага, обещая мирянам взамен небесные. Но так как раздача последних имеет место в невидимом мире, то здесь на земле, в мире видимом, церковь не выполняет своего обязательства. Этот односторонний по своему исполнению договор государство всегда вправе нарушить, так как, серьезно говоря, его нельзя считать состоявшимся.

Фихте даже не ограничивается демократическими требованиями, его революционные стремления идут дальше.

Исходя все из тех же идеалистических предпосылок, философ приходит к заключению, что личность имеет право на жизнь и труд и на собственность. Цель и задача государства состоит поэтому в обеспечении этих, согласно нравственному закону, неотъемлемых прав за каждым гражданином, и если в государстве жизнь, труд и собственность хотя бы одной личности не обеспечены, то такое государство должно быть признано несовершенным. План создания такого государства будущего Фихте развил в философско-социальном проекте, носящем заглавие: «Der geschlossene Handelstaat» [1]). Этот проект, в рассмотрение которого мы, конечно, здесь входить не можем, представляет собою утопию. Но это обстоятельство нисколько не умаляет значения Фихте в истории развития социалистических идей, и гениальный философ является первым социалистом в Германии.

В заключение этой, по необходимости краткой, характеристики следует отметить отношение Фихте к культуре.

Его горячая защита культуры, требование ее развития было также ясным, логическим следствием его обще-философского построения.

Осуществление нравственной цели или достижение свободы возможно при условии существования препятствий. Для того, чтобы человек сознавал свою свободу, должна существовать необходимость.

С этой точки зрения культура духа, торжество его победы предполагает развитие чувственности, сильной и разносторонней. «Лишить чувственность, — пишет мыслитель, — ее власти над собою еще недостаточно. Необходимо ее сделать своим слугой, ловким, искусным, пригодным слугой. Ею следует пользоваться. А для этого надобно развить все ее силы, культивировать ее на разные лады и усиливать ее до бесконечности» [2]). Развитие и рост материальной культуры становится, таким образом, непременным условием культуры свободы, рассматриваемой философом как конечная цель.

(Л. Аксельрод. «Иоганн Готлиб Фихте». Сборник «Против идеализма». Гиз 1924, стр. 86—89.)

---

[1]) Есть русск. пер.: «Замкнутое торговое государство», пер. Э. Эссена, изд. «Красная Новь». М. 1923, стр. 174. *Примеч. ред.*

[2]) Sämmtliche Werke. Bd. 6, S. 17—18.

§ 6. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И ЕГО РЕАКЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

В тесной и неразрывной связи со всеми нами указанными положениями «философского идеализма» находится философия естественного права. Изложением этого предмета занимается четвертый идеалист, г. Новгородцев. Этот писатель приветствует с восторгом возрождение естественного права. Становясь всецело на точку зрения Штаммлера, он развивает преимущественно взгляды этого кантианца. Охарактеризуем вкратце его точку зрения. Штаммлер является полным и нисколько не оригинальным последователем философии права Канта. Его основная мысль состоит в том, что идея права не может возникнуть эмпирическим путем в пределах действительного исторического процесса.

Доказательством этой невозможности должно служить то положение, что сравнение и оценка разных правовых норм предполагает неизменный масштаб, с помощью которого сравниваются и оцениваются находящиеся в непрерывной смене общественные формы. Всегда предшествуя опыту, этот масштаб не может возникнуть в пределах его. Он, стало быть, дан a priori, до всякого опыта. Принимая априорную форму права за единицу измерения его релятивно-меняющегося содержания, Штаммлер полагает, что он, таким образом, соединил развивающиеся, подверженные постоянному изменению, общественные формы с вечной незыблемой, априорной нормой справедливости, сообразно которой совершаются все общественные преобразования. Данная же a priori форма справедливости, служащая только руководящим принципом при оценке исторической действительности, сама по себе не может реализоваться. Став на ту априористическую, потусстороннюю, сверхопытную почву, г. Новгородцев рассуждает о достижении идеала справедливости таким образом: «Когда сознание наше обратится к будущему, оно ожидает не каких бы то ни было форм, а идеальных и лучших. Оно может иногда с ясностью видеть, что для этих ожиданий нет опоры в действительности; тогда оно отрекается от того будущего и от настоящего и ждет, что чаяния, выражаясь словами Платона, осуществятся если не здесь, так в какой-нибудь другой стране» [1]).

Из этих томных, меланхолических строк, в которых звучит очень искусственная нота, следует, что г. Новгородцев ожидает осуществления справедливых общественных форм в «другой стране», т.-е., говоря яснее, на том свете. Но наши идеалисты, поднимая печальные взгляды к небесам, ни на одну минуту не забывают грешной и несовершенной земли, где нравственно долж-

---

[1]) „Проблемы идеализма". Сборник статей, под ред. П. Новгородцева. СПБ. 1903, стр. 262.

ное повелевает признать «дионисовское начало» и жить «во-всю», «хотя бы своим злом, если не добром». Помечтавши слегка о прелестях вечной и незыблемой справедливости, ожидающей нас за гробом, г. Новгородцев требует пока «победы эгалитарной свободы над режимом монополии и произвола [1]). Победа «эгалитарной свободы» должна совершиться в духе и согласно принципам естественного права, отстаивающего свободу личности. Естественное право, имея своим исходным пунктом метафизическую формальную справедливость, сводится к юридическому равенству перед законом, выражающим субстанциальное равенство людей. Но в своем стремлении к абстрактному равенству юридическая свобода, построенная на естественном праве, требует гарантии тех привилегий личности, которые основываются на прирожденных преимуществах. Поэтому естественное право, начиная субстанциальным равенством людей, заканчивает только преимуществами личности.

Г. Новгородцев, став на точку зрения философии прирожденных прав, естественно, вернулся к взглядам просветителей XVIII столетия. Возрождение естественного права возвращает нас, по мнению этого идеалиста, к вере в свободное творчество личности и в могущество разума в законодательной области, одним словом, оно нас возвращает к вере «во все те слова и лозунги, которые составляли священное credo просветительной философии XVIII века [2]). Но требование гарантии прирожденных преимуществ в правовом смысле и полной свободы личного творчества в сфере законодательства не может иметь другого основания, кроме ограничения участия масс в государственном правлении. Этот практический вывод, вытекающий из естественного права, делает г. Бердяев. «Само естественное право личности,—говорит он,—не поддается уже никакой расценке, с точки зрения общественной пользы, общественного благополучия, общественного приспособления и т. д. Оно является абсолютной ценностью». Итак, естественное право, руководствуясь абсолютной самоценностью священных прирожденных прав личности, не должно подчиняться никаким общественным ограничениям, имеющим в виду общественное благополучие и т. д. Поэтому, заключает г. Бердяев свое рассуждение об естественном праве: «мы отрицаем этико-правовой принцип народного суверенитета» [3]).

Таковы политические выводы «философского идеализма». Представим теперь вкратце общий ход размышлений «идеалистов» и мы получим следующую картину.

Нравственное долженствование состоит в абсолютном субстанциальном противоречии с действительно-сущим. Не вытекая из

---

[1]) «Проблемы идеализма», стр, 264.
[2]) Ibid., стр. 238.
[3]) Ibid., стр. 118, курсив наш.

опыта, нравственно-должное есть продукт чистого морального сознания, источником которого является сверхопытный нравственный миропорядок, установленный в конечном счете богом. Нравственное долженствование составляет, таким образом, божественный элемент в человеке и должно поэтому рассматриваться как абсолютная самодеятельность.

На основании всего этого «человекобог» или «богочеловек» не имеет ни малейшего нравственного права жертвовать собою, т.-е. своим божеством, в пользу своего ближнего или общества. Далее, по причинам той же божественной природы, тот же «человекобог» или «богочеловек» не должен быть ограничен никакими общественными узами, а из этого следует, что необходимо ограничить народный суверенитет. Нетрудно видеть, что из всей этой схоластики вытекает то простое практическое заключение, что бог «философского идеализма» выступает «a priori» против прямого избирательного права.

(Л. Аксельрод. «О проблемах идеализма». Сборник «Против идеализма». Гиз 1924, стр. 21—24.)

*
* * *

Авторы «Проблем идеализма», вставшие на определенную «либеральную» почву, выставили своим требованием свободу личности, исходя из метафизического начала. Выдвигая старые лозунги и отжившие идеи, наши либеральные идеалисты, но не идеальные либералы, питали, повидимому, полную уверенность, что они занимают позицию, аналогичную той, которую занимали просветители XVIII столетия. Рекомендуя возврат к естественному праву, Новгородцев, например, рассуждает таким образом: «Необходимость этого возрождения (естественного права) еще более усиливалась тем обстоятельством, что историческое направление по своему первоначальному происхождению было не только научной доктриной, но также определенным настроением. За ним скрывалось морально-практическое миросозерцание той эпохи, которая не хотела более верить в творчество личности, в могущество разума, в силу законодательного почина, одним словом, во все те слова и лозунги, которые составляли священное содержание просветительной философии XVIII века и придавали ее произведениям такой поднимающий пророческий вид. Исходя из естественного права, нео-идеалисты рассчитывали, очевидно, сыграть такую же историческую роль, какую сыграли идеологи революционной буржуазии накануне французской революции. Но запоздавшие на столетие подражатели жестоко ошиблись в расчете. Они не поняли или не хотели понять того, что общественное значение отвлеченных идей и общих лозунгов определяется главным образом теми общественными силами, против которых

они выдвигаются. Отвлеченное, метафизическое равенство, которое проповедывали просветители XVIII столетия, направлялось конкретно преимущественно против привилегированных сословий. Метафизическое требование равенства означало конкретное уничтожение сословных привилегий и в этом именно смысле оно истолковывалось в то время. Эти идеалы вытекали из интересов революционного третьего сословия и в той или другой степени действительно отвечали стремлениям всего народа. Вследствие всего этого они в ту эпоху поражали своей смелостью, решительностью, свежестью и новизной. Вполне естественно поэтому, что эти лозунги и идеи будили энтузиазм, зажигали сердца, революционизировали умы, вселяли мужество и укрепляли светлые надежды. Наши же либеральные идеалисты выдвинули идею метафизического равенства, главным образом против конкретных исторических задач пролетариата.

(Л. Аксельрод. «Два течения». Сборник «На рубеже». 1909, стр. 246—247.)

§ 7. ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ Ф. ЛАССАЛЯ.

Главный труд Лассаля по философии права.

То самое стремление к практической деятельности, в силу которого Лассаль написал свою трагедию, побудило его также написать свою «Систему приобретенных прав».

Многим может показаться парадоксальным утверждение, что тяжелая теоретическая работа, сочинение, которое с почти необозримой эрудицией проникает в самые сокровенные складки тысячелетней истории права, что такое произведение имело своим источником интерес практической политики. Тем не менее, это так, и это делает только честь Лассалю. Его великий ум проявлялся в способности видеть великую связь вещей. Практика и теория были для него не двумя противоположными понятиями, даже не двумя сторонами одного понятия, а одним и тем же понятием, властвующим одинаково в мышлении и в действии. Так как время теоретизирования все еще не прошло для немцев, то Лассаль готовил в теории оружие, которое можно было бы тотчас же пустить в ход, как только снова начнется борьба. Если он в своей трагедии поставил вопрос, как должны революционные идеи превращаться в революционные действия, чтобы победить, то в своем сочинении по философии права он спрашивал: каким образом революционный принцип превращается после победы в положительное право, каким образом перейти от старого правового порядка к новому? «Выковывая из археологического хлама старого Рима и всего всемирно-исторического движения оружие для целей новейшей современности», Лассаль хотел построить «твердыню

научной системы права для революции и социализма».

Берлинское национальное собрание 1848 года не справилось с задачей—превратить феодальное право в буржуазное. У него не было принципа, при помощи которого оно могло бы совершенно разделаться с притязаниями «приобретенных прав», за которыми окопалась всякая феодальная мерзость. После победы контр-революции всякое однажды приобретенное право было объявлено священным, а когда под давлением неумолимой необходимости приходилось отказываться от него в его средневековой форме, то его снова устанавливали в форме более современной—факт, который можно было десятки раз наблюдать в законодательстве 50-х годов. Как раз тогда, когда Лассаль приступил к обработке своего сочинения по философиии права, был выдвинут проект—выкупить за множество миллионов феодальные изъятия от поземельного налога и снова провозгласить «личную зависимость народа от землевладельцев дворянского сословия». В противовес этому Лассаль развил научную теорию приобретенных прав и дал определенный ответ на вопрос, могут ли и каким образом могут новые законы оказывать обратное действие на приобретение прав.

В гегелевской философии права Лассаль не находит такого ответа. По его мнению, Гегель дал в лучшем случае общий план для настоящей философии права, но не ее самое, ученики же Гегеля довольствовались бесконечным повторением его плана и пережевыванием самых тощих юридических категорий, вроде собственности, договора и т. д.; вместо того, чтобы проникнуть в положительный материал права и облечь его в понятия, они держались в заоблачной сфере общих фраз, возможно дальше от грубой земли, от реального содержания права. Лассаль хочет исправить их ошибку. Он сравнивает науку права с полем, в борозды и канавки которого он желает проникнуть, чтобы извлечь из них лучи света, тогда как подражатели Гегеля только и умели, что освещать это поле мимолетным, брошенным сверху фейерверком.

Лассаль резче, чем когда бы то ни было прежде, порывает с абсолютной идеей, чтобы воздать должное историческому развитию. Он того мнения, что абстрактными общими категориями собственности, наследственного права, договора, семьи вообще ничего нельзя достигнуть, что римское понятие собственности иное, чем германское, и т. д.; другими словами, философия права, принадлежа к области исторического духа, не имеет дела с вечными логическими категориями: правовые институты суть лишь реализации понятий исторического духа, они лишь выражают содержание исто-

рического духа того или иного народа и эпохи, и потому должны быть понимаемы только как таковые.

Но лишь в этой мере Лассаль порывает с Гегелем. Знамени Гегеля он не хочет покинуть, он желает лишь доставить ему победу иным путем. Лассаль крепко держится за идеалистическо-диалектический метод Гегеля. Единственным источником права является для него общее сознание всего народа, всеобщий дух. «Со времени Гегеля это положение теоретически настолько твердо установлено, что оно не нуждается ни в каком новом доказательстве». Именно эту задачу ставит себе Лассаль: он хочет из исторического права различных народных духов выделить правовую идею, довести ее до полной прозрачности; он хочет дать формальную логику права, показать, как новые законы, независимо от содержания правосознания данной эпохи, воздействуют согласно идее права на существующие уже юридические отношения. Взирая на колебания отливающих и приливающих волн и на их повторяющийся водоворот, Лассаль хочет твердой рукой провести неизменные основные контуры понятия обратного действия законов.

В самых общих чертах выводы его заключаются в следующем. Не может иметь обратной силы никакой закон, затрагивающий индивидуума лишь через посредство актов его воли. Такого рода обратное действие было бы абсолютно недопустимым вмешательством в свободу и вменяемость человека, в свободу мышления и хотения, эти неприкосновенные основы всякого права; как ни велика власть законодателя, она никогда не простирается так далеко, чтобы заставить индивидуума пожелать в прошлом чего-либо иного, чем он желал. Но отсюда следует также, что индивидуум может всегда выставлять это возражение лишь в тех случаях, когда речь идет о добровольном деянии, об индивидуальном акте воли, который предполагается уничтожить или исказить позднейшим законом. Права, которыми охватывает индивидуума закон, как таковой, без посредства индивидуальной воли, представляет собою не что иное, как общие свойства и правомочия, которые существуют лишь на основании сообщающего их закона, следовательно—изменяются и исчезают вместе с ним. В законе воплощается правосознание всего народа; всякое законное право представляет, следовательно, лишь определенное состояние, полагаемое вечно меняющимся всеобщим духом, так что всякое новое определенное состояние тотчас овладевает индивидуумом с таким же правом, с каким над ним господствовало старое состояние. Прочным может быть для индивидуума лишь то, что он отвел себе из этого потока своим собственным действием и хотением, что он превратил в свое достояние. Следовательно, всякий закон, который не затра-

гивает прежних волевых действий индивидуумов, и поскольку он их не затрагивает, должен по своей природе тотчас же вступать в силу.

Таким образом положение, что не может иметь обратной силы никакой закон, затрагивающий индивидуума лишь через посредство собственных актов его воли, совпадает с другим положением, что обратную силу может иметь всякий закон, который затрагивает индивидуума без посредства такого добровольного акта, который затрагивает, следовательно, индивидуума непосредственно в его непроизвольных, общечеловеческих, или естественных, или перенесенных на него обществом свойствах, или затрагивает его лишь тем, что изменяет органические учреждения самого общества.

Из этого понятия обратной силы закона следует еще нечто большее. Индивидуум может своими действиями, односторонним или двусторонним договором, обеспечить себе или другим права лишь тогда и постольку, когда и поскольку это дозволяют существующие законы. К каждому договору нужно с самого начала присоединять в уме молчаливое условие, что право, выговариваемое в нем для себя или для других, имеет силу лишь до тех пор, пока законодательство будет считать такое право вообще допустимым. Противоположное желание индивидуума с самого начала недействительно и неправомерно, ибо единственным источником права является всеобщий дух народа, от которого отдельный индивидуум не может отрываться, не уничтожая самого понятия права. Индивидуум не может вколотить в почву права ни одного колышка, которым он объявил бы себя самодержавным на все грядущие времена. Между тем, именно такое желание самодержавной верховности индивидуума лежит в основе требования, чтобы приобретенное право сохранило свою силу и для такого времени, когда его допустимость будет исключаться абсолютными или принудительными законами, т.-е. законами, не разрешающими индивидуальному произволу никакого уклонения в сторону. «Такого колышка так же нельзя вогнать в почву права, как нельзя вбить такого колышка в землю и требовать, чтобы он и тогда оставался на своем месте, когда весь земной шар, в котором он держится, приходит в движение. Вот в чем заключается истинный смысл часто повторяемого положения: нет права против права. Это означает, что каждое отдельное право подчинено процессу изменения самой правовой субстанции, из которой оно возникло и с которой оно связано... Из сказанного сразу уже видно, насколько неоснователен и глубоко противоречит праву оглушительный и заинтересованный вопль, поднимаемый всякий раз лицами, имеющими известные права, когда народный дух в своем прогрессивном развитии приходит к необходимости прекратить дальнейшее существование какого-нибудь прежнего права, например, крепостной зависимости, барщинных работ, помещичьих монополий, служб и оброков определенного характера, права

охоты, свободы от поземельного налога, фидеикомиссов и т. д.». Абсолютные или принудительные законы, исключающие определенное содержание права, разрушают это содержание и в индивидуально-приобретенных правах, что не дает еще основания жаловаться на недопустимое обратное действие этих законов.

Лассаль обосновывает эту точку зрения в блестящей полемике против Шталя, теоретика прусской феодальной партии. С едкой насмешкой Лассаль показывает, в какую бессмысленную и бессодержательную, самое себя уничтожающую болтовню о приобретенных правах впал этот муж науки, одаренный всеми талантами фокусника,—впал именно потому, что хотел сделать некоторые уступки современному правосознанию. Затем Лассаль обращается против главы исторической школы права, против Савиньи, который нерешительно признавал обратное действие абсолютных законов на приобретенные права, но требовал, чтобы в каждом подобном случае «лицо, обладающее приобретенным правом, получило действительно полное вознаграждение». Ему Лассаль возражает, что трудно представить себе большее заблуждение, чем это мнимое право на вознаграждение. «С самого начала право могло быть выговорено индивидуумом путем договора лишь до того момента, пока общее бытие такого права не столкнется с сознанием народного духа, которое его отрицает и объявляет невозможным. Право имело силу до тех пор, пока оно могло и должно было иметь силу. Роковой, неизбежный день, с самого начала предопределенный договору, наступил—и этим все сказано. Предел, до которого право могло и должно было иметь силу, достигнут, и потому ни с логической ни с юридической стороны здесь не может быть ни места ни основания для вознаграждения. Здесь не за что вознаграждать». Допускать, тем не менее, право на вознаграждение в таких случаях, когда содержание упраздненного права уже воспрещено народным сознанием, т.-е. признано им противоречащим праву, это логически значило бы, не более и не менее, как признать за известными классами или индивидуумами право облагать народный дух данью за его прогрессивное развитие, другими словами—признать крепостную данническую зависимость народного духа от этих правомочных классов или индивидуумов.

Но если сказанное вытекает из понятия обратной силы, то из него вытекает, конечно, и нечто другое. Когда новым правосознанием отвергается не само юридическое отношение, а лишь определенный способ его применения, то противным праву объявляется только этот способ, а не само юридическое отношение, и тогда должно наступить такое превращение его, которое может и часто будет носить форму вознаграждения. Однако это лишь обманчивая внешность. На самом деле этим превращением правовое содержание, признаваемое еще действительным, переводится из воспрещенной формы его удовлетворения в его невоспрещенную форму. Это превращение должно иметь место по той простой

причине, что не следует упразднять больше, чем действительно запрещается новым правосознанием.

Лассаль поясняет эту сторону принципа на прусском законе об охоте 1848 г. Он говорит, что берлинское национальное собрание должно было, конечно, высказаться за уничтожение права охоты на чужой земле, вытекавшего из помещичьих прав, ибо феодально-помещичье происхождение сервитута охоты было осуждено новым правосознанием. Но собранию следовало также допустить доказательство того, что право охоты было отчуждено собственником земли за вознаграждение, и предписать в этом случае выкуп, так как новое правосознание позволило землевладельцу отделить право охоты от земли путем свободного договора. Лассаль думает поэтому, что, отклонив соответствующее предложение Шульце-Делича, берлинское собрание допустило непозволительное обратное действие закона. Достойно внимания, как мягко Лассаль и здесь относится к буржуазному классу. Направляя самые жестокие удары против феодальных теоретиков и продажной практики высшего трибунала, он останавливается лишь на сравнительно самом слабом из грехов буржуазного народного представительства в этой области, прибавляя еще к тому, что собранию нельзя делать упреков, если при мощном напоре практических событий оно оставило без внимания различие, имеющее скорее теоретическое значение. Вряд ли, мол, представилось бы много случаев, где должен был иметь место выкуп права охоты, а юрист должен иметь в виду главным образом правило, а не исключения.

Вся эта теория приобретенных прав не есть произвольное измышление Лассаля: исполняя свое обещание, оно выводит ее из реальных явлений в области права. Он отыскивает идею обратного действия законов, начиная с римского законодательства двенадцати таблиц и кончая прусским законодательством 50-х годов; он прослеживает ее в различных правовых институтах, с поразительным знанием права и глубиной философского умозрения, не перестающими возбуждать удивление на каждой странице. Легкость, с которой Лассаль выводит прозрачно-ясное понятие обратного действия законов из чрезвычайно запутанного и огромного материала, навсегда останется замечательным свидетельством о силе человеческого ума.

Спрашивается: чего Лассаль практически достиг своей работой? В суть этого вопроса нас скорее всего введут некоторые возражения, сделанные Родбертусом против его заключений. По Лассалю вопрос о вознаграждении зависит от того, отвергает ли народное сознание определенное право принципиально, или же оно отвергает лишь определенную форму этого права. Родбертус поставил вопрос: каким образом узнать это различие? Ведь большинством голосов и даже полным согласием всех нельзя установить его. Лассаль ответил, что формальной логике права, теории обратного действия нет вообще никакого дела до этого вопроса. Чего желает сознание настоящей или какой-нибудь будущей эпо-

хи, что думает современная или будет думать какая-нибудь позднейшая эпоха о браке, государстве, монархии, охоте, горном промысле, газетах, собственности и т. д., этого никогда нельзя определить при помощи формального правила, которое было бы тогда настоящим Vademecum для всей мировой истории. Но как ни убедителен на первый взгляд этот ответ, все же Лассаль чувствует, что возражение Родбертуса не исчерпано им. Самая ясная логика права должна потерять свою ясность, если неясно содержание, к которому ее приходится применять. И Лассаль отвечает поэтому «мимоходом», что ни большинством голосов ни полным единогласием нельзя, конечно, установить, чего желает сознание данной эпохи. Но он думает, что это желание можно констатировать «совершенно просто». «То, что вы в состоянии доказать себе и своей эпохе при помощи разума, логики и науки—того желает эпоха!». Эта фраза опять рисует нам всего Лассаля, с его энергичной силой, с его сосредоточенной страстностью, с его непоколебимой верой в неотразимую мощь идеи, но в то же время со слабостью, которая была неотделима от всех этих сильных сторон.

Несомненно, что каждая эпоха ставит себе всегда лишь те задачи, которые она в состоянии разрешить. Но раньше чем эти задачи разовьются настолько, чтобы эпоха ясно сознала их и перешла к их разрешению в положительном праве, могут пройти десятилетия и столетия, а до того момента эпоха не позволяет, чтобы ей доказывали разумом, логикой и наукой, чего она хочет. Если бы дело обстояло иначе, то не было бы распято и сожжено столько великих пионеров, узнавших кое-что на этот счет и доказывавших своей эпохе, чего она хочет. Самому Лассалю пришлось скоро испытать на себе самом, как плохо его пример сходится с правилом. Он видел, что живые движущие силы эпохи работают над освобождением пролетариата, и, тем не менее, вся сила разума, логики и науки, с которой он доказывал этот бесспорный факт, не уяснили эпохе ее воли настолько, чтобы возникло новое правосознание, на котором могла бы испытать себя его формальная логика права.

Идеалистическое мировоззрение Лассаля было одновременно и сильной и слабой стороной его. В своих трудных исследованиях реального материала права ему «постоянно» приходится констатировать факт, что законодатели в своем практическом чувстве права всегда ближе подходили к правовой идее, чем теоретики с их разумом, логикой и наукой. Если бы Лассаль сделал еще один шаг, то он нашел бы, что темный инстинкт масс улавливает обыкновенно идею права еще гораздо вернее, чем это делает законодательство со своим практическим чувством права. Остэльбские крестьяне, которые после 18 марта прижали угнетавших их юнкеров и объявили уничтоженными феодальные повинности,

применяли теорию приобретенных прав с несравненно большим пониманием дела, чем прусский парламент.

До известной степени Лассаль делает, впрочем, и этот дальнейший шаг в одной из самых интересных глав своего сочинения. Он говорит, что у народов древности народный дух представлял такую объективную субстанциальную компактность, в индивидуумах жило и действовало такое нравственное единство и согласие народного духа, что на отвергаемое этой внутренней субстанцией можно было фактически смотреть с полным основанием как на отвергаемое также законом. Но это было допустимо только у народов древности, да и у тех лишь в их классический период. Это не допустимо больше в новейшие времена, когда субъективизм и индивидуализм, образование и скептицизм и т. д. расшатали существовавшее в индивидуумах строгое единство и согласие нравственных воззрений народного духа, когда нравственное сознание индивидуумов, принадлежащих к одному и тому же государству, очень часто разделено друг от друга почти целыми мировыми периодами. В подобные эпохи на правовую реальность может претендовать лишь такое содержание всеобщего правосознания, которое прямо или косвенно уже утвердило себя. Прямо или косвенно, ибо нет надобности, конечно, чтобы оно было формулировано словами; для его правовой реальности достаточно, чтобы оно утвердило себя в действиях всего народа. Лассаль доказывает затем, что конвент не провинился в недопустимом обратном действии, когда он сообщил своим законам о праве наследования обратную силу вплоть до дня взятия Бастилии, ибо в этот день народ разрушил правовой порядок феодального общества и открыто проявил свое правосознание, противоположное феодальным привилегиям: мы разумеем принцип равенства всех перед законом.

То, что Лассаль сказал однажды о Савиньи, в одинаковой мере применимо к нему самому: он близко подходит к истине, но, благодаря своей идеологической точке зрения, проходит мимо нее. Ясно, что взятие Бастилии было действием не всего народа, а только части народа—большой или малой, это безразлично; расшатанные в индивидуумах нравственные воззрения народного духа оно не собрало в строгое единство и согласие, а доказало, напротив, что нравственное сознание индивидуумов, принадлежащих к одному и тому же государству, действительно может отстоять друг от друга на целые мировые периоды. Если же взятие Бастилии создало, тем не менее, новое право, как оно его исторически, несомненно, создало, то право это должно было иметь другой источник, нежели всеобщий народный дух. Выражаясь языком Лассаля, в штурме Бастилии утвердило себя не всеобщее правосознание, а отдельное классовое сознание, которое развилось во всеобщее правосознание лишь потому, что

отвечало всеобщим потребностям общества, и лишь постольку, поскольку оно отвечало им. То, что Лассаль разумеет под идеалистическим понятием «эпохи», есть всегда определенное общество, историческое развитие которого своими изменениями определяет также изменения права.

Все сказанное колеблет, однако, лишь аргументацию Лассаля в пользу его теории обратного действия, а не самое теорию. Так как теория была построена Лассалем на основании реального и обильного правового материала, то он мог совершенно правильно построить ее, независимо от того, искал ли он ее обоснования в надлежащем или ненадлежащем месте. Однако Родбертус напал и на самое теорию, говоря—и это было его второе возражение,—что уже вследствие различий исторического духа Лассаль ни в каком случае не мог найти свою теорию в римских пандектах. По мнению Родбертуса Лассаль впадает в противоречие, когда, постоянно подчеркивая различие исторического духа, он хочет все-таки доказать существование одной и той же теории в столь различные эпохи, как современная и римская. На это Лассаль ответил сравнением, приведенным однажды самим Родбертусом,—что можно отлично рассуждать о животном вообще, о позвоночнике вообще, хотя более подробное рассмотрение возможно лишь как рассмотрение отдельных порядков животных. В праве дело обстоит так, что содержание исторического духа различно, но через это различное содержание проходит неизменно другой элемент, который он называет формальной логикой права. Подобно тому, как он, Лассаль, сознательно развил такую формальную логику права для всех грядущих эпох, независимо от того, каково будет содержание правосознания в каждом отдельном периоде, точно так эта самая формальная логика права могла быть уже у римлян бессознательно действующим моментом.

Ответ Лассаля был бы убедительнее, если бы он сказал: подобно тому, как позвоночные животные, несмотря на все прочие различия своего строения, имеют все-таки по сравнению с беспозвоночными нечто общее между собою, в виде позвоночного столба,—точно так же определенная система права может при всем различии своего исторического развития иметь, однако, одну общую основную черту по сравнению с другими системами права. В своем труде он потробно показывает, что понятие обратного действия чуждо китайскому, индейскому и даже Моисееву законодательству, ибо они вообще еще ничего не знали о субъективности духа, о свободе и вменяемости индивидуумов, которые стали ясны лишь народам классической древности. Лассаль идет еще дальше и говорит, что германское средневековое понятие собственности более или менее упразднило теорию обратного действия и отвело преувеличенное значение принципу недопустимости обратного действия. Сколько он ни говорит о правовой идее, как таковой, однако он бессознательно тоже понимает ее только как историческую, а не как логическую идею. Он ограничивает ее эпохой

римского права и эпохами современных народов, которые в исходе средних веков реципировали римское право и по-своему развили его дальше.

Но римское право является правом общества товаропроизводителей. Народы классической древности дошли до «субъективности духа», до «свободы и вменяемости индивидуума», не путем образования или искусства или религии, как думал Лассаль, а через посредство частной собственности и товарного производства, развившихся из первобытного коммунизма. Только на этой определенной общественной почве каждый шаг вперед в историческом развитии, каждая революция должны были выражаться в победе одной формы частной собственности над другой; только на этой почве понятие приобретенных прав могло стать, выражаясь на идеологический манер Лассаля, «движущим источником всякого дальнейшего образования форм». Вполне понятно, что с исчезновением товарного производства и товарной торговли в натуральном хозяйстве средневековья затуманилась также формальная логика права пандектов и что вместе с новым возрождением их в исходе средних веков римское право опять заняло почетное место, как право, которое лучше всего подходит обществу товаропроизводителей. О правовой идее, как таковой, как логической категории Лассаль вправе был говорить лишь постольку, поскольку право в техническом смысле слова, специальная наука права, юриспруденция, как таковая, возникла из товарного производства и обеспечивает предпосылки, без которых оно вообще не может развиваться. Выдающаяся заслуга Лассаля заключается в том, что он проследил, как основная идея науки права становилась все более и более сознательной, начиная с простого товарного производства древности и кончая гигантски-развитым, капиталистическим способом производства современного буржуазного общества, проследил ее до полной ясности положительного права для последней революции, какая только может еще иметь место на почве частной собственности и товарного производства, т.-е. для превращения феодальной собственности в буржуазную.

Этот труд Лассаля не потерял бы существенно в своей ценности, если бы ему даже случалось иной раз в своей колоссальной работе делать чересчур уверенно заключение от последующего к предыдущему, если бы даже, как полагал Родбертус, он вычитал из пандектов нечто большее, чем они в действительности содержат. Гораздо важнее вопрос, в какой мере Лассаль мог притязать на применимость своей формальной логики во все будущие эпохи, следовательно, не только для превращения феодальной частной собственности в буржуазную, но и для превращения самой частной собственности в коллективную.

Наиболее подробно он трактует об этом в одном обширном примечании своего сочинения,—примечании, на которое он впоследствии охотно ссылался. Он развивает здесь следующую мысль.

В общих чертах культурно-исторический ход истории права состоит в том, что сфера собственности, частного лица все более суживается, что все большее количество объектов ставится вне частной собственности. Ходячее представление видит в господстве свободной конкуренции факт, благодаря которому собственность только и достигла истинной свободы и развития. Представители этого направления говорят о «неограниченной свободе собственности», и бесспорно, что эта сторона, в силу диалектики, присущей всем логическим определениям, вполне имеется налицо с ее реальными следствиями. Если вникнуть, однако, в глубь вопроса, то введение свободной конкуренции и упразднение монополий и цехов основано скорее на мысли, что частной собственностью индивидуума ни в каком случае не может быть исключительное право на занятие известным промыслом и торговлей, т.-е. право не допускать других лиц к совершению действий, которые сами по себе дозволены.

Естественно, если человек в начале истории, подобно ребенку, протягивает свои руки ко всему, если он считает все своим и не знает никакой границы для объема своего личного произвола. Лишь поздно—и чем дальше, тем больше—он научается находить эту границу. Идолопоклонник разбивает еще своих идолов, если они не исполняют его желаний, и таким образом обращается даже со своими богами, как с собственностью. Религиозные святыни рано были изъяты из произвола частного лица, но еще долго человек сам оставался предметом собственности другого человека. Затем рабство смягчилось в крепостное состояние с его различными традициями, пока крепостной рабочий не был признан свободным рабочим. В настоящее время Европа стоит перед двумя очень интересными вопросами собственности: в политическом отношении—перед упразднением порядка, в силу которого публичная воля какой-нибудь нации может быть собственностью одной семьи, следовательно—перед уничтожением монархии, в социальном отношении—перед вопросом, должно ли теперь, когда уже нет больше права собственности на непосредственное пользование человеком, существовать такое право на косвенную эксплоатацию его, иными словами—должно ли свободное приложение и развитие рабочей силы человека быть исключительно частной собственностью обладателя субстрата труда и аванса труда (капитала) и следует ли признавать за предпринимателем, как таковым, право собственности на ценность чужого труда (прибыль на капитал).

Это прогрессирующее сужение объема частной собственности зиждется не на чем ином, как на положительном развитии человеческой свободы. В поступательном ходе этого развития часть свободы, которая раньше мыслилась как нечто отчуждаемое, признается элементом неотчуждаемой свободы человека, рассматривается поэтому как нечто, вытекающее из нравственной идеи и публичного права, и регулируется абсолютными законами.

Параллельно с этой тенденцией истории права—выбрасывать из сферы собственности все больше и больше содержания—экономическое развитие проявляет вполне соответствующую тенденцию перебрасывать во все возрастающем количестве факторы производства и самые продукты его из сферы экономической собственности, из сферы возмездности в сферу безвозмездности, короче говоря, уменьшать издержки производства,—мысль сама по себе совершенно правильная, но получившая в «Экономических Гармониях» Бастиа совершенно ложное и одностороннее истолкование.

Против этого Родбертус выставил третье возражение, что от напыщенного тезиса Бастиа положение рабочих ничуть не становится лучшим. Он истолковал взгляд Лассаля в таком смысле, который Лассаль прямо отвергал; естественно, если последний с некоторой живостью протестовал против этого грубого недоразумения. Свою отповедь он кончает, однако, учтивой фразой, что проведенная им параллель «действительно не особенно глубока», и это, быть может, дало повод Родбертусу искать в ней более глубокого смысла, чем она в действительности имеет. Здесь Лассаль снова подходит близко к истине, но в силу своей идеологической точки зрения совершенно проходит мимо нее.

Его параллель была достаточно глубока, но так как Лассаль смотрел на нее через свои юридические очки, то он не видел ее последнего основания. Все сказанное им о ходе истории права совершенно справедливо, если, конечно, понимать историю права в том более узком смысле, согласно которому право развилось вообще лишь из частной собственности и товарного производства. Лассаль еще не знал, что первобытное коммунистическое общество обнимает первый и самый длинный период истории человечества, и что дикарь, протягивающий на заре истории свою руку за всем, чтобы объявить его своим, в действительности никогда не существовал. Но, поскольку Лассаль правильно отметил явление, он сам затемняет его себе тем, что ищет причины его в облаках вместо того, чтобы искать ее на земле. Все большее сужение объема частной собственности зиждется не на положительном развитии человеческой свободы; к указанному Лассалем параллелизму ведет прогресс производства на почве частной собственности: он удешевляет продукты и расширяет человеческую свободу. Труд раба дороже и хуже, чем труд крепостного, труд крепостного дороже и хуже, чем труд свободного рабочего. Античное общество погибло от рабского труда, феодальное общество—от труда крепостных, как буржуазное общество погибнет от свободного труда, но не потому, что он юридически свободен, а потому, что он экономически несвободен.

Диалектическое развитие частной собственности имеет свою «сокровеннейшую причину» не в ограничении ее права, а в развертывании ее силы. Центр тяжести лежит «в фактических, реальных следствиях»,—что манчестерцы правильно поняли, несмотря

на свою ограниченность в иных отношениях или даже благодаря ей. Лишь развертывание силы имеет следствием ограничение права. Собственность сбрасывает узы права и делает рабочих юридически свободными, но лишь для того, чтобы тем безграничнее развернуть свою экономическую мощь и тем успешнее эксплоатировать экономическую несвободу рабочих. Лассаль придает видимости большее значение, чем сущности, и возлагает на науку права большую задачу, чем она в состоянии выполнить, если полагает, что после уничтожения всякой юридической зависимости она должна устранить также и экономическую зависимость рабочего. Она так же мало в состоянии это сделать, как феодальная теология могла устранить правовую зависимость средневекового рабочего учением о том, что все люди—дети одного бога. Всякое новое общество разрушает не только экономический строй, но и идеологическую надстройку старого общества, из недр которого оно рождается.

Оба вопроса собственности, перед которыми Лассаль ставит современную Европу, имеют между собою то общее, что они лежат за пределами науки права, как ее понимает Лассаль; с той разницей, конечно, что один лежит позади, а другой впереди нее, что один был разрешен при ее возникновении, а другой будет разрешен, когда она прекратит свое существование. Монархия, как вопрос собственности, как вопрос о том, может ли публичная воля нации быть собственностью определенной семьи, принадлежит к эпохе, еще не знавшей «свободы и вменяемости индивидуума», принадлежит праву Востока, ничего еще не знавшему о «субъективности духа». В древней Греции и Риме, даже в феодальное средневековье, не говоря уже о современном буржуазном обществе, монархия, безразлично в каком идеологическом одеянии, была всегда лишь вопросом политической организации, на который господствующие классы отвечали в зависимости от обстоятельств, не заботясь о допотопной фантазии монархии, будто ее воля—высший закон [1]). Устранение монархии ничего не меняет по существу в отношениях собственности современного буржуазного общества, а лишь формально придает им законченную ясность и резкость очертаний, и мы действительно видим, что демократическая республика является идеальной ареной для решительной борьбы между буржуазией и пролетариатом.

Напротив, вопрос о прибыли на капитал есть вопрос собственности в самом резком смысле слова; более того, он обнимает весь вопрос о собственности, ибо прибыль на капитал берет начало из исторически и логически наиболее развитой формы частной собственности. Уничтожение прибыли было бы уничтожением частной собственности во всех формах, а следовательно, и права, выросшего на почве частной собственности. Короче

---

[1]) Автор намекает здесь, очевидно, на известное изречение Вильгельма II: «suprema lex regis voluntas». *(Прим. перев.)*

говоря, юридически вообще нельзя устранить прибыли на капитал. Все социалистические попытки в этом роде кончались неудачей и должны были кончиться ею. Великий шаг вперед, сделанный научным коммунизмом по сравнению со всеми прежними видами социализма, заключается в том, что, перестав рассматривать прибыль на капитал (точнее—прибавочную ценность) как посягательство на справедливость и мораль, он отнесся к ней, как к экономическому факту, и сумел доказать, что именно этот экономический факт должен разложить частную собственность и превратить ее в общественную.

Эту задачу формальная логика права Лассаля не может разрешить. Уже сущность его теории обратного действия имеет одну физиономию, если вся вообще частная собственность должна перейти в коллективную, и совершенно другую физиономию, если дело идет о превращении одного вида частной собственности в другой. Частная собственность есть господство имущих классов над неимущими, и для находящихся под чужим господством представляется, несомненно, вопросом величайшей важности, обязаны ли они за свой счет превратить снова собственность, ставшую негодной для господствования, в собственность, годную для этой задачи. Напротив, коллективная собственность есть уничтожение всякого классового господства, так что можно считать сравнительно неважным вопрос о том, следует ли дать вознаграждение прежним частным собственникам: как бы велико или мало это вознаграждение ни было и какой бы характер оно ни носило, оно ни в коем случае не может обеспечить им вновь господства над людьми. Если Маркс никогда не считал нужным публично касаться вопроса о том, как следует поступить насчет вознаграждения при «экспроприации экспроприирующих», то в интимных разговорах он, по свидетельству Энгельса, говорил обыкновенно, что всего дешевле обойдется дело, если выкупить всю банду.

Насколько лассалевская теория приобретенных прав оказывалась верной, когда он применял ее к превращению одного вида частной собственности в другой, настолько же она оказалась недостаточной при попытке атаковать самое частную собственность, и прежде всего при попытке доказать, что современное наследственное право есть крупное недоразумение, сплошная теоретическая невозможность. Этому доказательству он посвящает второй том своего сочинения, который по эрудиции и диалектической игре мыслей поражает почти больше еще, чем первый. Но Лассаль не доказал того, что он хотел доказать. Он не доказал бы этого во всяком случае, даже если бы не впал в заблуждение, выводя римское завещание из идеи бессмертия у древних римлян. Если б современное наследственное право действительно было неверно понятым осадком древне-германского и древне-римского наследственного права, то этим было бы доказано лишь одно,—что оно облеклось в неподходящий для себя костюм. Если бы

Лассаль разорвал этот костюм в клочья, то современное право наследования тогда только и выступило бы настоящим образом во всей своей голой реальности. Всюду, где существует частная собственность, там мы видим также и право наследования; в этом логическом следовании ничего не меняет самая полнота теоретическая невозможность иллюзий, которая наследственное право создает себе относительно своего собственного происхождения.

Надежды, которые Лассаль возлагал на практическое влияние своего сочинения, не оправдались. Он правильно предвидел, что надвигается «бурный период» законодательной работы, и если бы буржуазия имела мужество завязать серьезную борьбу с юнкерами, то, конечно, ни один «член парламента ни один политический деятель» не могли бы обойтись без книги Лассаля, как этого ожидал автор. В действительности, однако, она не оказала никакого влияния на практическое законодательство, если не считать того, что иной «член парламента» случайно пользовался ею для украшения своих речей. Это сделал, напр., в январе 1869 г. один либеральный депутат, полемизировавший против феодальных брачных привилегий, установленных прусским земским правом. Но указанный случай был, вероятно, единственным. Известно, с каким удовольствием прусские палаты в течение целого поколения принимали законодательные меры, которые Лассаль в самых резких выражениях заклеймил как отсутствие чувства долга и стыда. Особенным виртуозом по этой части был Бисмарк: из феодальных претензий, выставляемых его классом в современном буржуазном обществе, он всеми правдами и неправдами создал «право требовать возмещения у народного духа» в форме хлебных пошлин, подарков водочникам, сахарозаводчикам и т. д.! С уходом Бисмарка это искусство отнюдь не исчезло, однако, в прусском законодательном собрании, в частности— среди буржуазных законодателей. Не далее как несколько лет тому назад феодальная податная привилегия десятка средневековых графов была выкуплена за несколько миллионов народных денег прусским министром финансов Микелем, которому по своей старой памяти коммуниста следовало бы, кажется, понимать аргументацию Лассаля.

В ученом мире произведение Лассаля вызвало несколько единичных восторженных отзывов. Старый Савиньи, при жизни которого вышел лишь первый том, сделал честь себе и своему более значительному противнику, сказавши, что со времен Донелла не было написано такой книги, а Альберт Ланге изучал на этой теории приобретенных прав практику отнятых прав. Но в общем немецкие ученые оказались не на высоте этого научного спора. Циглер бранился, что во всем Берлине, если не считать университета, не найдется и десяти юристов, которые прочли бы книгу Лассаля, и пяти, которые поняли бы ее. Из известных юристов Иеринг ограничился вымученными остротами по поводу некоторых рискованных образов, употребленных Лассалем во втором томе,

и уверял, что не нашел на 600 его страницах и следа рассудка,— утверждение достаточно пресное даже как шутливая выходка против философского умозрения. Получив отпор от одного из друзей Лассаля, Иеринг стал оправдываться тем, что хотел выступить не против самого умозрительного направления, а лишь против его заблуждений, которым подвержены как раз наиболее даровитые представители его: на высоких утесах можно застать не овец, а только серн и козерогов. Сущности того, чего хотел Лассаль, Иеринг совершенно не коснулся. Эта сущность была полной загадкой для человека, способного на протяжении целых печатных листов изрекать оракульские суждения о «борьбе за право» и в то же время подобострастно восхищаться бисмарковской политикой насилия, против которой почти три десятилетия приходилось вести в Германии борьбу за право. Если Лассаль доказывал, что феодальное право, например—прусское положение о батраках, само собой теряет силу в буржуазном обществе, то Иеринг в своей книге «Борьба за право» учил, что «хозяин, который не имеет больше смелости применять положение о батраках», не только попирает моральные условия своей жизни и теряет поэзию своего характера, но и подвергает опасности идеальный авторитет закона и жертвует реальным порядком гражданской жизни. Этот маленький катехизис практической житейской философии немецкая буржуазия так же усердно читала, как она отказывалась читать великое теоретическое произведение Лассаля.

Из философов Мишле показал своей критикой, что официальное гегельянство благополучно пришло к болоту вульгарнейшего манчестерства. Он отрицал, напр., существование прибыли на капитал и говорил, что капитал, в качестве сбереженного труда, должен участвовать «в общем вознаграждении»; Бастиа, по его мнению, понял экономические категории лучше Лассаля. Но даже на эту плоскую мудрость можно было смотреть снисходительнее, после того как произведение Лассаля попало в руки «государственного социализма» милостью Бисмарка. В то время как Лассаль развил свою теорию приобретенных прав именно потому, что законодатели, по его мнению, отделывались от ее ясных предписаний «*большей частью* соображениями *политики и житейской справедливости*», Адольф Вагнер построил на «превосходном сочинении» Лассаля свою «экономическую теорию экспроприации» и поучал, что даже там, где отсутствует всякое право требовать вознаграждения, «*часто* может и будет представляться уместным дать таковое по соображениям *политики и житейской справедливости*». Вопрос буквально приводился, таким образом, назад к старому запутанному состоянию, соответствующему интересам имущих и господствующих классов, к тому состоянию, из которого Лассаль ценою гигантского напряжения ума вывел его. Разумеется, что после этого прусский государственный социализм по своей своеобразной

логике получил неоспоримейшее право разыгрывать из себя духовного преемника Лассаля.

Счастье, что Лассаль успел тем временем воспитать себе настоящих духовных преемников!

(Мерин г. «История германской социал-демократии». Гиз 1923. Т. II, стр. 247—263.)

* * *

Наконец, я прочитал на этих днях Лассаля. История с обратным действием весьма правдоподобна, но не безупречна (nicht stichaltig), как это обнаруживается, напр., при брачных разводах, когда можно сказать, как это и говорит берлинский обыватель в действительности: если бы я знал, что развод будет мне так затруднен, я бы не женился. Вообще же у Лассаля силен предрассудок, он все еще крепко верит в «правую идею», в абсолютное право. Его возражения против Гегелевской философии права по большей части очень справедливы, но со своей новой философией он далеко еще не вполне справился. Даже с чисто философской точки зрения он должен бы уже подвинуться настолько, чтобы считать за абсолютное только процесс, а не временный лишь его результат, и тогда никакой другой идеи не могло бы появиться, кроме самого исторического процесса. Мил также и стиль. «Ломающее руки отчаяние противоречий» и т. д. Дальше читать я, вероятно, не буду, разве только окажется, что я смогу воспользоваться этой работой как курсом римского права, тогда я ее прочту всю.

(Энгельс. Письмо к Марксу от 2 декабря 1861 г.)

* * *

Я одобряю твой строгий приговор по поводу Лассаля (он писал мне из Флоренции, у него была очень интересная встреча с Гарибальди и т. д.). Второй том интереснее, хотя бы из-за латинских цитат. Насквозь пропитан идеологизмом, и диалектический метод применяется неправильно. Подведение множества «случаев» под один общий принцип Гегель никогда не называл диалектикой.

(Маркс. Письмо к Энгельсу от 9 декабря 1861 г.)

* * *

«Система приобретенных прав» Лассаля во второй части посвящена главным образом положению, что завещание столь же старо, как и сам Рим, что для римской истории никогда «не

существовало времени без завещаний», что завещание возникло вероятнее в до-римский период из культа умерших. Лассаль, в качестве верующего старогегельянца, выводит римские правовые нормы не из общественных отношений римлян, а из «спекулятивного понятия» воли и приходит при этом к указанному совершенно не-историческому утверждению. Этому можно не удивляться в книге, которая, на основании того же спекулятивного понятия приходит к выводу, что в римском наследстве передача имущества была часто второстепенным делом. Лассаль не только верит в иллюзии римских юристов, в особенности более раннего времени, он еще превосходит их в своих иллюзиях.

Спор, который развертывается в 66 и 67 письмах по поводу «системы приобретенных прав» Лассаля, не затрогивает решающих точек зрения этого крупного труда. Они, безусловно, развиты в первом томе, о котором Лассаль не без основания замечает, что он должен иметь самый большой интерес для Маркса. Пеласгийская глава исследует религиозно-метафизическую основу, из которой по Лассалю развилось завещание по римскому праву в пеласгийский период истории тех племен, из которых позже развились греческие и римские народности. Из своего восточного первобытного местопребывания пеласги принесли с собой в форме религиозного экстаза и его кровавого брожения и то безграничное содержание, ту беспредельную субъективность воли, которую греки преобразовали и развели в свободу искусства, а римляне—в свободу права. В частности, пеласгийский культ домашних богов и теней усопших создал римское право, которое, как продукт римского народного духа, есть не распоряжение имуществом, но римское бессмертие.

Так как Лассаль упоминает о пеласгийской главе лишь мимоходом, чтобы пожаловаться на то, что Маркс прочел ее прежде всего, хотя Лассаль после зрелого размышления поставил ее в конце своего исследования о римском завещательном праве, то это нас завело бы слишком далеко, если бы мы вздумали здесь подробнее остановиться на ходе мыслей Лассаля. То, о чем он подробно спорит с Марксом, это вопрос: не является ли завещание, совершенно оставляя в стороне его специфически римское происхождение, представлением, которое должно было бы иметь свой самостоятельный и независимый от мифологии и пр. корень в буржуазном обществе. Это утверждал Маркс, в то время как Лассаль оспаривал, что экономическое буржуазное развитие могло бы само по себе открыть это завещание, если бы его и не было уже в римском праве.

В сущности говоря, между обоими мнениями нет исключающего друг друга противоречия. Ни Маркс не отрицал просто-напросто мифологического происхождения римского завещания, ни Лассаль не отрицал, что экономическое буржуазное развитие нашло в завещании то, что вполне соответствует ему и удовлетворяет потребностям его души, что, следовательно, по своей

тенденции коренилось в нем. По существу своему это спор насчет размера того влияния, какое могут иметь идеологические пережитки на ход исторического развития. Маркс этого влияния, как такового, никогда не отрицал, хотя бы противники исторического материализма и тысячи раз утверждали противное, между тем как Лассаль никогда не рассуждал настолько идеологически, чтобы рассматривать идеологические пережитки, как самостоятельный рычаг исторического развития. В введении к 67 письму он высказывается на этот счет вполне определенно.

Правда, для него дух времени и народа то же, что для Маркса форма производства народа и времени, при чем не следует упускать из виду, что Лассаль очень хорошо умел сводить данный дух народа и времени к его экономическому основанию, что и доказывают его экономические труды. Лассаль во всяком случае был страшно далек от плоского и топорного понимания буржуазных идеологов, которые воображают себе, что идеи делают историю, и что какой-нибудь народ или какое-нибудь время могут быть решающим образом захвачены какой-нибудь идеологической традицией.

Особенно второму тому лассальского сочинения по философии права придется остерегаться приписать больше идеологии, чем в нем действительно заключается. Мы не знаем, когда и как возникло testamentum; мы знаем только, что оно появилось очень рано, что никакому другому народу не зачем было создавать его опять самостоятельно, что везде, куда оно проникло, оно было взято из Рима. Метафизическо-религиозная оболочка, в которой она сначала появляется, указывает определенно на то, что когда прогресс в римском способе производства вызвал потребность в завещательном распоряжении имуществом, эта потребность могла быть пристегнута к какой-нибудь форме культа предков и под этим предохранительным плащом быть скорее удовлетворена, но именно поэтому-то она и могла остаться целиком им покрытой.

Произошел бы аналогичный исторический процесс, какой должно было пройти римское право и римское testamentum, тогда, когда в конце средних веков товарное производство и товарный обмен снова начали развиваться в крупном масштабе. Тогда совершилось возрождение римского права фактически потому, что в нем уже заключалось готовым и фиксированным право общества товаропроизводителей, фиктивно потому, что оно scripta ratio, писанный разум, который имеет силу для всех народов и времен так же, как законы логики и математики. Подобно тому, как эта иллюзия продолжалась сотни лет и продолжается еще до сих пор, и подобно тому, как еще сегодня существуют люди, даже целые исторические школы, которые видят в возрождении римского права не влияние того экономического факта, что товарное производство и обмен снова начали развиваться в крупном масштабе, но скорее представляют себе это как внезапное проявление

идейной все преодолевающей силы—все равно сила ли она неба или ада,—так понадобились сотни лет и для того, чтобы экономическое содержание завещания разрушило свою метафизическо-религиозную оболочку.

Этот исторический процесс Лассаль начертил во втором томе своего философско-правового труда в высшей степени тонко и действительно с достойным удивления остроумием. Правда, для него это—борьба личного эгоизма здравого человеческого рассудка с метафизическо-религиозным миросозерцанием целого народного духа. В то время, как этот народный дух держится тестамента, как римской идеи бессмертия, как простого переноса воли завещателя на наследников, личный эгоизм, здравое человеческое понимание наследства делают тестамент исключительным распоряжением имуществом, что при его возникновении играло лишь второстепенную роль. Но здравый человеческий рассудок не долго позволяет себя дурачить, и, несмотря на оказываемое ему все противодействие, медленно совершается в истории римского права переход метафизического понятия к понятию имущественному, превращение сохранения воли в наследование имущества, пока, наконец, при Юстиниане, благодаря введению наследства sub beneficio inventarii, наследник не объявляет имущественное приобретение решающим, и даже единственным своим отношением к завещателю. Но этим самым закончена и вся работа стирания и освобождения завещания от национальной оболочки, а вместе с этим гаснет и римский национальный дух.

Это звучит очень идеологически, но больше по форме, чем по содержанию. Лассаль был слишком трезвым и реалистическим исследователем, чтобы свободно изобретать процесс, который он очерчивает, или конструировать его насильно в юридическом материале. Читателем, который внимательно следит за его изложением, во всяком случае овладевает ожидаемое Лассалем «необходимое убеждение»; стоит лишь поставить вместо римского народного духа метафизическо-религиозные пережитки, а вместо личного эгоизма здравого человеческого рассудка—потребности постоянно все сильнее развивающегося товарного производства, и можно сейчас же увидеть, что Лассаль в своем втором томе в действительности лишь освещал важную проблему исторического материализма. Этим объясняется также и то, что Маркс читал этот том «с большим удовольствием», между тем как он, наверное, протестовал бы, если бы Лассаль философствовал, витая в чисто идеологическом заоблачном мире. Маркс выступает со своими возражениями лишь тогда, когда Лассаль начинает делать из своих данных насчет римского завещательного права слишком далеко идущие для капиталистического периода, производства выводы.

Здесь следует опять-таки иметь в виду, что Лассаль своим вторым томом вовсе не хотел нанести социалистический удар

буржуазному наследственному праву. Никоим образом или по крайней мере не больше того, чем вообще вся его общественная деятельность была направлена к социалистической конечной цели. Он безусловно не заслуживает тех лавров, которыми его увенчали по этому поводу некоторые из его буржуазных биографов, так как он не внес результатов своих исследований в области наследственного права в свою последующую агитацию. Для того, кто умеет читать, Бастиа-Шульце содержал совершенно другие и гораздо более сильные нападки на капиталистическое наследственное право, чем «система приобретенных прав», во втором томе которой он хотел лишь проверить на наследственно-правовом материале развитую им в первом томе теорию взаимодействия. Если он при этом пришел к выводу, что современное наследственное право является не чем иным, как крупным недоразумением, основательной теоретической бессмыслицей, то это, конечно, имело для него большую ценность, и он думал, что он этим разрушил иллюзию, мешающую историческому развитию, но он нисколько не воображал себе, что он этим разрушил и современное наследственное право.

Он очень хорошо знал, что такие мировые исторические «недоразумения», в конце концов, могут столь же мало быть устранены теоретическим путем, сколько они и возникли в последней инстанции теоретическим путем. Укажем еще раз на 67-е письмо, где стоит только перенести «период индивидуализма и свободной конкуренции» в «период капиталистического производства», из идеологии в экономику, чтобы увидеть, что Лассаль отличался от Маркса не столько своим «общим высшим основным взглядом», сколько лишь тем, что он никогда не мог вполне освободиться от юридической и философской формы мышления и тем самым немного переоценивал их историческое значение. В таком случае разногласие остается лишь по вопросу; могли ли бы германские народности создать завещание, если бы они не нашли уже римского testamentum, и этому разногласию Лассаль не придавал слишком большого значения, хотя и думает, что оно все-таки не безразлично, как это считает Маркс.

(Мерінг. Примечания к «Письмам Лассаля к Марксу и Энгельсу».)

III. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА.

§ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБЫЧАЯ И ЗАКОНА.

На известной, весьма низкой ступени развития общества возникает потребность охватить общим правилом ежедневно повторяющиеся акты производства, распределения и обмена продуктов, позаботиться о том, чтобы индивидуум подчинился общим условиям производства и обмена. Это правило, вначале выражающееся в обычае, становится с течением времени *законом*. С возникновением закона появляются и органы, необходимые для его охраны — публичная власть, государство. С дальнейшим общественным развитием закон разрастается в более или менее обширное законодательство. Чем запутаннее это законодательство, тем более отличается способ его выражения от обычного способа выражения экономических условий жизни общества. Законодательство представляется как бы самодовлеющим элементом, получающим свое право на существование и обоснование своего дальнейшего развития из своих собственных внутренних основ, хотя бы, положим, из «понятия воли». Люди забывают о происхождении своего права из экономических условий жизни, подобно тому, как они забыли о своем собственном происхождении из животного царства. С дальнейшим развитием законодательства в сложный, объемистый комплекс является необходимость в новом общественном разделении труда—образуется сословие профессиональных знатоков права, а с ними возникает и наука права. В своем дальнейшем развитии эта наука сравнивает правовые системы разных эпох и народов не как отражение соответственных экономических отношений, а как системы, имеющие свое обоснование в самих себе. Сравнение всегда предполагает нечто общее — оно обнаруживается в том, что юристы соединяют все более или менее одинаковое во всех этих правовых системах под именем *естественного права*. Но масштабом, на который меряется все законодательство для решения вопроса, что относится к естественному праву и что к нему не относится, служит самое абстрактное выражение самого права—*справедливость*. С этих пор развитие права в глазах юристов и тех, кто им верит на-слово, выражается в стремлении все более и более приближать условия человеческой жизни, поскольку они

выражены в праве, к идеалу справедливости, к вечной справедливости. А эта справедливость есть не что иное, как укутанное в идеологическую высокопарную оболочку выражение существующих экономических отношений, либо с их консервативной, либо с их революционной стороны. Справедливость греков и римлян находила рабство справедливым; справедливость буржуа 1789 г. требовала уничтожения феодализма, потому что его существование противоречит справедливости. Для прусских юнкеров самые жалкие реформы в управлении кажутся нарушением вечной справедливости. Представление о вечной справедливости различно не только по условиям времени и места, оно неодинаково даже у различных лиц и принадлежит к числу тех вещей, под которыми, как правильно замечает Мюльбергер, «каждый разумеет что-нибудь другое». Если в житейском обиходе при простоте отношений, которые приходится обсуждать, выражения: справедливо, несправедливо, справедливость, правовое чувство — употребляются и по отношению к общественным делам, не вызывая недоразумений, то в научных исследованиях экономических отношений, как мы видели, эти выражения вызывают безнадежную путаницу, подобную той, которая возникла бы в современной химии, если бы была предпринята попытка сохранить в ней термины флогистической теории. Еще худшей бывает путаница в том случае, когда, подобно Прудону, продолжают верить в социальный флогистон, в «справедливость», или же утверждают, подобно Мюльбергеру, что теория флогистона точно так же правильна, как и теория кислорода [1]).

(Энгельс. «Жилищный вопрос». Гиз 1922, стр. 57—58.)

*
* *

Некоторые историки выразили свое удивление перед тем, что, хотя непосредственный производитель не собственник, а лишь владелец, и весь его прибавочный труд действительно принадлежит земельному собственнику, при этих условиях вообще может совершаться самостоятельное развитие имущества, говоря относительно, богатство у обязанных барщиной или крепостных. Между тем ясно, что при том примитивном и неразвитом со-

[1]) До открытия кислорода химики объясняли горение тел в атмосферном воздухе гипотезой особого горючего вещества, флогистона, улетучивающегося при горении. Так как они нашли, что сгоревшие простые тела по сгорании тяжелее, нежели были раньше, то они объявили, что флогистон имеет отрицательный вес, так что тело без флогистона весит более, нежели с ним. Таким образом флогистон приобрел постепенно все главные свойства кислорода, но в *обратном* смысле. Когда найдено было, что горение состоит в соединении горящих тел с другим телом — кислородом, и кислород был получен в чистом виде, эта флогистическая гипотеза — не без сильного сопротивления со стороны старых химиков — совершенно утратила свое значение.

стояний, на котором покоится это общественное отношение производства и соответствующий ему способ производства, традиция должна играть преобладающую роль. Ясно далее, что здесь, как и повсюду, господствующая часть общества заинтересована в том, чтобы санкционировать существующее как закон, и те его ограничения, которые даны обычаем и традицией, фиксировать как законные ограничения. Это же — оставляя все другое в стороне — делается, впрочем, само собою, раз постоянное воспроизводство базиса существующего состояния, лежащего в его основе отношения, приобретает с течением времени урегулированную и упорядоченную форму; и эти регулярность и порядок сами суть необходимый момент всякого способа производства, раз ему предстоит приобрести общественную устойчивость и независимость от простого случая или произвола. Урегулированность и порядок являются формой общественного упрочения данного способа производства и потому его относительной эмансипации от простого случая и просто произвола. Он достигает этой формы при застойном состоянии как процесса производства, так и соответствующих ему общественных отношений, посредством простого повторного их воспроизводства. Если форма просуществовала в течение известного времени, она упрочивается как обычай и традиция и, наконец, санкционируется как положительный закон. Так как данная форма прибавочного труда, барщинный труд, покоится на неразвитости всех общественных производительных сил труда, на примитивности самого способа труда, то барщинный труд отнимает у непосредственного производителя, конечно, несравненно меньшую долю всего труда, чем при развитых способах производства и в особенности при капиталистическом производстве. Предположим, например, что барщинный труд земельного собственника первоначально составлял два дня в неделю. Эти два дня барщинного труда в неделю таким образом установились, являются постоянной величиной, законно урегулированной обычным или писаным правом. Но производительность остальных дней в неделю, которыми может располагать сам непосредственный производитель, есть величина переменная, которая необходимо развивается в процессе его опыта, совершенно так же, как новые потребности, с которыми он знакомится, совершенно так же, как расширение рынка для его продукта; возрастающая обеспеченность использования этой части его рабочей силы будет служить стимулом для усиленного напряжения рабочей силы, при чем не следует забывать, что применение этой рабочей силы отнюдь не ограничивается земледелием, но охватывает и деревенскую домашнюю промышленность. Таким образом здесь имеется возможность известного экономического развития, разумеется, в зависимости от более или менее благоприятных обстоятельств, от врожденного расового характера и т. д.

(Маркс. «Капитал». Гиз 1923. Т. III, ч. 2, стр. 329—330.)

*
* *

Дух равенства и простоты дикаря привел его к талиону: жизнь за жизнь, увечье за увечье — это было все, что он мог придумать для регламентации мести; но когда талион под влиянием частной собственности изменился и грубое уравнение — жизнь—было заменено экономическим—скот и другое имущество за жизнь, увечье, оскорбление и т. п., тогда ум варвара подвергся суровому испытанию: он должен был разрешить проблему, заставившую его проникнуть в мир абстракции. Он должен был, с одной стороны, взвесить материальный и моральный ущерб, причиненный семье смертью материального или морального ущерба, причиненный семье смертью материального или морального ущерба, причиненный семье смертью материального или морального ущерба

поверхность параллелограмма путем умножения основания на высоту, следовательно, до того еще, как они научились сравнивать параллелограммы, они чувствовали себя вполне удовлетворенными только в том случае, если земельные участки, приходившиеся на долю каждой семьи, заключались между прямыми линиями одинаковой длины; они получали эти прямые путем откладывания на земле одной и той же палки одинаковое число раз [1]). Палка, служившая для измерения длины прямых полос, почиталась священной. Египтяне считали локоть, т.-е. единицу меры длины, символом справедливости и истины: то, что измерено локтем—истинно и справедливо [2]).

Участки, заключенные между прямыми линиями, одинаковой длины успокаивали дух равенства и не давали места спорам. Итак, проведение прямой линии есть важная часть действия; раз прямые линии проведены — отцы семейства были довольны, их чувство равенства получало полное удовлетворение. По этой причине греческое слово orthos (ортос), выражавшее сначала то, что находится на прямой линии, переносится затем на то, что означает истинное, правосудное, справедливое [3]). Так как прямая

---

[1]) Способы межевания древних египтян, говорит Поль Таннери, менее совершенны, чем приемы ученых греков,—иногда они приходят к довольно неточным геометрическим формулам. Так, египтяне измеряли площадь четырехугольника произведением полусумм противоположных сторон. Эта и другие такие же неправильные формулы, перенесенные в средневековье преемниками римских землемеров, сохранились в Европе в общих чертах до эпохи Возрождения. «Из истории эллинской науки 1887».—*Прим. Лафарга.*

[2]) Гакстгаузен сообщает в своем любопытном Путешествии в Россию, что он видел в Ярославской губернии шесты, почитавшиеся священными межевыми мерами. Длина шестов находится в обратном отношении к качеству земли; наиболее короткая служит для измерения наилучшей земли; а наиболее длинная—для земель низшего качества; «все участки неодинаковы по стоимости».—*Прим. Лафарга.*

[3]) Корень or в греческом языке служит образованию связанных с земельным разделом трех рядов слов, кажущихся противоречивыми, но в действительности дополняющих друг друга.

1. Идея движения по прямой линии:

Or-thos — прямой, вертикальный, истинный, правосудный, справедливый; or-mé—движение вверх, взлет, порыв, страсть; or-numi, or-ino—привести в движение, возбуждать; or-ugma —ров, подземная галлерея; or-ux—заступ; or-thoô—выпрямлять; or-thosios Zeus — Зевс, исправляющий несправедливость.

2. Идея ограничивания:

Or-os — рубеж, граница; or-izô — класть предел, ограничивать, определять, постановлять; or-ios — то, что служит границей, Zeus or-ios — Зевс, охранитель границ; theos or-ios — бог-предел.

3. Идея бдительности:

Our-os — стража, страж; par-or-os — привратник; tima-or-os — тот, кто наказывает, мстит; or-omai — наблюдать, охранять.— *Прим. Лафарга.*

От этого же слова orthos образовалось слово ортодокс, ортодоксальный — правоверный. Ортодоксальный (революционный) марксизм с конца 90-х годов противопоставляется ревизионизму, не-революционному, оппортунистическому течению в марксизме.

линия приобретает власть укрощать их дикие страсти, то она по необходимости приобретает в их глазах священный характер. Именно путем аналогичного суждения пифагорийцы, ослепленные свойствами изучаемых чисел, приписывали числу десять вещий характер.

Дух равенства был так неукротим в первобытных людях, что для того, чтобы дележ земли, разделенной на узкие полосы, одинаковой длины, не вызывал раздоров, полосы эти распределяли, до изобретения письма, путем жребия с помощью камешков (галек). Поэтому греческое слово kleros, означающее гальку, камешек, переносится на жеребьевый участок, затем на родовое имущество, судьбу, условие, страну.

Идея справедливости была, при своем возникновении, так тесно связана с разделом земли, что греческое слово nomos, означающее привычку, обычай, закон, имеет корнем nem, от которого произошла многочисленная семья слов, содержащих понятие пастбища и дележа.

Nomos—слово, употреблявшееся вначале исключительно для обозначения пастбища, с течением времени приобретает многочисленные и несходные значения (местопребывание, жительство, привычка, обычай, закон), которые являются вместе с тем историческими осадками, отлагаемыми в процессе эволюции человечества. Если развить хронологический ряд этих значений, то можно обозреть главные этапы, пройденные доисторическими народами. Nomos—пастбище—напоминает о пастушеской кочевой эпохе, когда же номад (nomas) перестает кочевать—nomas употребляется для обозначения местопребывания, жительства. Но когда пастушеские народы оседают, выбирают себе жительство в какой-нибудь местности, они неизбежно должны разделить землю; тогда nomos получает смысл дележа. А когда земельные разделы становятся бытовыми явлениями, тогда nomos получает свое последнее значение—обычая, закона, так как закон является вначале не чем иным, как кодификацией быта, обычая. В греческом языке византийского периода и современной эпохи nomos сохраняет уже только значение закона. От nomos происходит nomisma—то, что установлено обычаем, религиозной практикой; nomizo—соблюдать обычай, мыслить, судить; nominis—культ, религия; Némesis—Немезида, богиня справедливости и т. д. Все эти слова являются также свидетелями действия, оказанного земельными разделами на человеческую мысль.

(П. Лафарг. «Происхождение справедливости». «Экономический детерминизм К. Маркса».)

§ 2. КРИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.

Развитие семьи определяется развитием права собственности,—говорит Жиро-Тэлон, прибавляя, что все вообще успехи цивилизации совпадают с изменениями в экономическом

быте человечества. Читатель, вероятно, и сам заметил, что Жиро-Тэлон держится совсем не точной терминологии: у него понятие «право собственности» как бы покрывается понятием «экономический быт». Но ведь право есть право, а экономия есть экономия, и не годится смешивать эти два понятия. Откуда взялось данное право собственности? Может быть, оно возникло под влиянием экономии данного общества (гражданское право служит всегда лишь выражением экономических отношений,—говорит Лассаль), а может быть, оно обязано своим происхождением какой-нибудь совершенно другой причине. Тут надо продолжать анализ, а не прерывать его именно в тот момент, когда он приобретает особенно глубокий, наиболее жизненный интерес.

Мы уже видели, что французские историки времен реставрации не нашли удовлетворительного ответа на вопрос о происхождении права собственности. Г. Кареев в своей статье «Экономический материализм в истории» касается немецкой исторической школы права. Не мешает и нам припомнить взгляды этой школы.

Вот что говорит о ней наш профессор: «Когда в начале нынешнего столетия в Германии возникла так называемая «историческая школа права», начавшая рассматривать право не как неподвижную систему юридических норм, какою оно представлялась прежним юристам, а как нечто движущееся, изменяющееся, развивающееся, то в этой школе обнаружилась сильная тенденция противопоставить исторический взгляд на право, как единственно и исключительно верный, всем другим возможным в этой области точкам зрения: историческое воззрение никогда не допускало существования научных истин, применяемых ко всем временам,—т.-е. того, что на языке новой науки носит название общих законов,—и даже прямо отрицало эти законы, а с ними и общую теорию права во имя идеи о зависимости права от местных условий,—зависимости, конечно, существующей везде и всегда, но не исключающей начал, общих всем народам» [1].

В этих немногих строках очень много...—как бы это выразиться?—скажем, хоть неправильностей, против которых воспротестовали бы представители и сторонники исторической школы права. Так, например, они сказали бы, что когда г. Кареев приписывает им отрицание «того, что на языке науки носит название общих законов», то он или умышленно искажает их взгляд, или самым неприличным для «историософа» образом путается в понятиях, смешивая те «законы», которые подлежат ведению истории и права, с теми, которыми определяется историческое развитие народов: существования законов этого последнего порядка никогда не думала отрицать историческая школа права, она именно старалась найти такие законы, хотя ее усилия

---

[1] «Вестник Европы», июль 1894 г., стр. 12.

и не увенчались успехом. Но самая причина ее неудачи чрезвычайно поучительна, и если бы г. Кареев дал себе труд вдуматься в нее, то—кто знает?—может быть, он и выяснил бы себе, наконец, «сущность исторического процесса».

В XVIII веке историю права склонны были объяснять действием «законодателя». Историческая школа резко восстала против этой склонности. Савиньи еще в 1814 году так формулировал новый взгляд: «Совокупность этого взгляда сводится вот к чему: всякое право возникает из того, что, по общеупотребительному, не совсем точному выражению, называется обычным правом, т.-е. оно порождается сначала обычаем и верованием народа, а потом уже юриспруденцией; таким образом оно повсюду создается внутренними, незаметно действующими силами, а не произволом законодателя» [1]).

Этот взгляд Савиньи развил впоследствии в своем знаменитом сочинении: «System des heutigen römischen Rechts». «Положительное право,—говорит он здесь,—живет в общем сознании народа, и потому мы можем также назвать его народным правом... Но этого ни в коем случае не надо также понимать в том смысле, что право создано отдельными членами народа по их произволу... Положительное право создается духом народа, живущим и действующим в его отдельных членах, и потому положительное право не случайно, а по необходимости является одним и тем же правом в сознании отдельных лиц» [2]).

«Если мы,—продолжает Савиньи,—зададимся вопросом о происхождении государства, то должны будем в такой же мере стараться объяснить его себе высшей необходимостью, действием внутренней пластической силы, как и происхождение права вообще; и мы говорим это не только вообще о существовании государства, но о том особом виде, который государство принимает у каждого отдельного народа» [3]).

Право возникает таким же «невидимым образом», как и язык, а живет оно в общем народном сознании не в виде «отвлеченных правил, а в виде живого представления правовых институтов в их органической связи, так что, когда в этом является надобность, отвлеченное правило выделяется, в своей логической форме, из этого общего представления, посредством некоторого искусственного процесса (durch einen Künstlichen Prozess)» [4]).

Нам нет здесь никакого дела до практических стремлений исторической школы права; что же касается ее теории, то уже на основании приведенных слов Савиньи мы можем сказать, что она представляет собою:

---

[1]) «Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft» von D. Friedrich Carl von Savigny. Dritte Auflage. Heidelberg 1840 (первое издание 1814), стр. 14.

[2]) Erster Band, S. S. 14—15 (берлинское издание 1840 г.).

[3]) Ibid., S. 22.

[4]) Ibid., S. 16.

1) реакцию против того, распространенного в XVIII веке, взгляда, что право создается произволом отдельных лиц («законодателей»); попытку найти научное объяснение истории права, понять эту историю как необходимый, а потому законосообразный процесс;

2) попытку объяснить этот процесс, исходя из совершенно идеалистической точки зрения: «народный дух», «народное сознание» есть последняя инстанция, к которой апеллировала историческая школа права.

У Пухты идеалистический характер взглядов этой школы выражается еще резче.

Первобытное право у Пухты, как и у Савиньи, есть обычное право. Но как возникает обычное право? Часто высказывается то мнение, что это право создается житейской практикой (Uebung), но это лишь частный случай материалистического взгляда на происхождение народных понятий. «Справедлив как раз обратный взгляд; житейская практика есть лишь последний момент, в ней лишь выражается и воплощается возникшее право, живущее в убеждении сынов данного народа. Привычка влияет на убеждение в том смысле, что оно благодаря ей становится сознательнее и прочнее»[1]).

Итак, убеждение народа относительно того или другого правового института создается независимо от житейской практики, ранее «привычки». Откуда же берется это убеждение? Оно вытекает из глубины народного духа. Данный склад этого убеждения у данного народа объясняется особенностями данного народного духа. Это очень темно, так темно, что тут нет и признака научного объяснения. Пухта и сам чувствует, что дело тут обстоит не совсем ладно, и старается поправить его таким рассуждением: «Право возникает невидимым путем. Кто мог бы взять на себя проследить те пути, которые ведут к возникновению данного убеждения, к его зачатию, к его росту, к его расцвету, к его проявлению? Те, которые брались за это, исходили по большей части из ошибочных представлений»[2]).

«По большей части...». Значит, существовали же и такие исследователи, исходные представления которых были правильны. К каким же заключениям относительно генезиса народноправовых взглядов пришли эти люди? Надо думать, что это осталось тайной для Пухты, потому что он не идет ни на шаг дальше бессодержательных ссылок на свойства народного духа.

---

[1]) «Cursus der Institutionen», Erster Band, Leipzig 1841, S. 31. В примечании Пухта сильно восстает против эклектиков, стремящихся согласить противоположные взгляды на происхождение права, и восстает в таких выражениях, что невольно является вопрос: да уж не предвидел ли он появления г. Кареева? Но, с другой стороны, надо сказать и то, что в Германии времен Пухты было достаточно и своих эклектиков: чего-чего другого, а умов этого рода везде и всегда непочатый угол.

[2]) Ibid., S. 28.

Ничего не выясняет и вышеприведенное замечание Савиньи относительно того, что право живет в общем народном сознании не в виде отвлеченных правил, а «в виде живого представления правовых институтов в их органической связи». И нетрудно понять, что собственно побудило Савиньи сделать нам это несколько запутанное сообщение. Если бы мы предположили, что право существует в сознании народа «в виде отвлеченных правил», то этим самым, во-первых, мы столкнулись бы с «общим сознанием» юристов, которые отлично знают, как туго схватывает народ эти отвлеченные правила, а, во-вторых, наша теория происхождения права приняла бы слишком уж невероятный облик. Выходило бы, что, прежде чем вступить в какие бы то ни было практические отношения друг с другом, прежде чем приобрести какой бы то ни было житейский опыт, люди, составляющие данный народ, вырабатывают себе определенные понятия, запасшись которыми, как странник сухарями, они и пускаются в область житейской практики, выступают на исторический путь. Этому, разумеется, никто не поверит, и вот Савиньи устраняет «отвлеченные правила»: право существует в народном сознании не в виде определенных понятий, оно представляет собой не коллекцию уже готовых кристаллов, а более или менее насыщенный раствор, из которого, «когда в этом является надобность», т.-е. при столкновении с житейской практикой, осаждаются потребные юридические кристаллы. Такой прием не лишен своей доли остроумия, но само собою разумеется, что он нимало не приближает нас к научному пониманию явлений.

Возьмем пример.

У эскимосов, по словам Ринка, почти нет правильной собственности; но, поскольку может быть речь о ней, он насчитывает три ее вида:

«1) Собственность, принадлежащая союзу нескольких семей, например, зимние жилища...

«2) Собственность, принадлежащая одной или, самое большее, трем родственным семьям, например, летние палатки и все, что относится к домашнему хозяйству, как: лампы, бочки, деревянные блюда, каменные горшки и т. п.; лодка, или у м и а к, служащий для перевозки всех этих предметов вместе с палаткою, сани с собаками..., наконец, запас зимней провизии...

«3) Частная собственность отдельных лиц... одежда, оружие и орудия, или все то, что человек сам лично употребляет в дело. Этим вещам приписывается даже какая-то таинственная связь с их собственником, напоминающая связь между душою и телом. Ссужать эти вещи кому-нибудь другому не в обычае»[1]).

Постараемся представить себе происхождение этих трех видов собственности с точки зрения старой исторической школы права.

Так как, по словам Пухты, убеждения предшествуют житей-

[1]) «Tales and Traditions of the Eskimo» by Dr. Henri Rink, p.p. 9 and 30.

ской практике, а не вырастают на почве привычки, то надо предположить, что дело происходило таким образом: прежде чем жить в зимних домах, прежде даже чем начать их строить, эскимосы пришли к убеждению, что раз заведутся у них зимние дома, они должны будут принадлежать союзу нескольких семей; точно так же убедились наши дикари, что раз заведутся у них летние палатки, бочки, деревянные блюда, лодки, горшки, сани и собаки, то все это должно будет составлять собственность одной семьи или, самое большее, трех родственных семей; наконец, не менее твердое убеждение было у них относительно того, что одежда, оружие и орудия должны составлять личную собственность и что даже ссужать этих вещей не следует. Прибавим к этому, что, вероятно, все эти «убеждения» существовали не в виде отвлеченных правил, а «в виде живого представления правовых институтов в их органической связи», и что из этого раствора правовых понятий осаждались потом,—«когда в этом являлась надобность»,—т.-е. по мере столкновения с зимними жилищами, с летними палатками, с бочками, с каменными горшками, с деревянными блюдами, лодками, санями и собаками,—нормы обычного эскимосского права в их более или менее «логической форме». Свойства же упомянутого правового раствора определялись таинственными свойствами эскимосского духа.

Это вовсе не научное объяснение; это простые Redensarten, как говорят немцы.

Та разновидность идеализма, которой придерживались сторонники исторической школы права, оказалась, в деле объяснения общественных явлений, еще менее состоятельной, чем гораздо более глубокий идеализм Шеллинга и Гегеля.

Как вышла наука из того тупого переулка, в котором очутился идеализм? Послушаем одного из замечательнейших представителей современного сравнительного правоведения—г. М. Ковалевского.

Указав на то, что общественный быт первобытных племен носит на себе печать коммунизма, г. Ковалевский (слушайте, г. В. В.: это тоже «профессор») говорит:

«Если мы спросим себя о действительных основаниях такого порядка, если мы захотим узнать причины, которые заставляли наших первобытных предков и еще заставляют современных дикарей держаться более или менее резко выраженного коммунизма, нам надо будет в особенности узнать первобытные способы производства. Ибо распределение и потребление богатств должно определяться способами их создания. А на этот счет вот что говорит этнография: у охотничьих и рыболовных народов добывание пищи производится обыкновенно большими группами (en hordes)... В Австралии охота на кенгуру производится вооруженными отрядами из нескольких десятков и даже сотен туземцев. То же происходит в северных странах при охоте на оленя...

Не подлежит сомнению, что человек не способен в одиночку поддерживать свое существование; он нуждается в помощи и поддержке, и его силы удесятерятся ассоциацией... Таким образом мы видим в начале общественного развития общественное производство и, как необходимое естественное следствие этого, общественное потребление. Этнография изобилует фактами, доказывающими это»[1]).

Приведя идеалистическую теорию Лермина, по которой частная собственность является из самосознания личности, г. Ковалевский продолжает:

«Нет, это не так. Не потому первобытный человек приходит к мысли о личном присвоении отесанного камня, который служит ему оружием, или шкуры, которая покрывает его тело. Он приходит к этой мысли вследствие применения своих индивидуальных сил к производству предмета. Кремень, служащий ему топором, отесан его собственными руками. На охоте, которою он занимается вместе с многочисленными товарищами, он нанес последний удар животному, и потому шкура этого животного становится его личной собственностью. Обычное право дикарей отличается большою точностью на этот счет. Оно заботливо предусматривает, например, тот случай, когда преследуемое животное пало под совместными ударами двух охотников: в этом случае шкура животного присуждается тому охотнику, стрела которого проникла ближе к сердцу. Оно предусматривает также и тот случай, когда уже раненое животное было добито случайно подвернувшимся охотником. Приложение индивидуального труда логически порождает, следовательно, и индивидуальное присвоение. Мы можем проследить это явление через всю историю. Тот, кто посадил фруктовое дерево, становится его собственником... Позднее воин, завоевавший известную добычу, уже не имеет на нее никаких прав; точно так же семья жреца не имеет прав на те жертвы, которые приносятся верующими и поступают в его личную собственность. Все это одинаково становится ее исключительным собственником, так что семья его хорошо подтверждается и индийскими законами и обычным правом южных славян, донских казаков или древних ирландцев. И важно именно не ошибиться относительно истинного принципа такого присвоения, являющегося результатом применения личных усилий к добыванию известного предмета. В самом деле, когда к личным усилиям человека присоединяется помощь его ближних..., добытые предметы уже не становятся частной собственностью»[2]).

После всего сказанного понятно, что предметами личного при-

---

[1]) M. Kovalevsky. «Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété». Stockholm 1890, p. p. 52—53. В книге покойного Н. Зибера «Очерки первобытной экономической культуры» читатель найдет множество фактов, как нельзя более ясно показывающих, что способы присвоения определяются способами производства.

[2]) Ibid., p. 95.

своения раньше всего становятся: оружие, одежда, пища, украшения и т. п. «Уже с первых шагов приручения животных— собаки, лошади, кошки, рабочий скот составляют важнейший фонд присвоения личного и семейного»... [1]). Но до какой степени организация производства продолжает влиять на способы присвоения, показывает, например, такой факт: у эскимосов охота на китов совершается в больших лодках, большими отрядами; служащие для этой цели лодки составляют общественную собственность; а маленькие лодки, служащие для перевозки предметов семейной собственности, сами принадлежат отдельным семьям или, «самое большее, трем родственным семьям».

С появлением земледелия земля делается также предметом присвоения. Субъектами поземельной собственности становятся более или менее крупные кровные союзы. Это, разумеется,— один из видов общественного присвоения. Как объяснить его происхождение? «Нам кажется,—говорит г. Ковалевский,— что причины его лежат в том же самом общественном производстве, которое повело за собою некогда присвоение большей части движимых предметов» [2]).

Нечего и говорить, что, раз возникнув, частная собственность вступает в противоречие с более древним способом общественного присвоения. Там, где быстрое развитие производительных сил открывает все более и более широкое поле для «единоличных усилий», общественная собственность довольно быстро исчезает или продолжает свое существование в виде, так сказать, рудиментарного института. Ниже мы увидим, что этот процесс разложения первобытной общественной собственности в разные времена и в разных местах, по самой естественной, материальной необходимости должен был отличаться большим разнообразием. Теперь же мы отметим лишь тот общий вывод современной науки права, что правовые понятия,— убеждения, как сказал бы Пухта,—всюду определяются способами производства.

Шеллинг говорил когда-то, что явление магнетизма надо понимать как внедрение «субъективного» в «объективное». Все попытки найти идеалистическое объяснение для истории права представляют собою не более, как дополнение, «Seitenstück», к идеалистической натур-философии. Это все те же, иногда блестящие, остроумные, но всегда произвольные, всегда неосновательные рассуждения на тему о самодовлеющем, саморазвивающемся духе.

Правовое убеждение уже по одному тому не могло предшествовать житейской практике, что если бы оно не выросло из нее, то оно являлось бы совершенно беспричинным. Эскимос стоит за личное присвоение одежды, оружия и орудий

---

[1]) M. Kowalevsky. «Tableau des origines...», стр. 57.
[2]) Ibid., 93.

труда по той простой причине, что такое присвоение гораздо удобнее и что оно подсказывается самими свойствами вещей. Чтобы научиться хорошо владеть своим оружием, своим луком или бумерангом, первобытный охотник должен применяться к нему, хорошо изучив все его индивидуальные особенности, и по возможности применить его к своим собственным индивидуальным особенностям [1]). Частная собственность здесь в порядке вещей, гораздо более, чем какой-либо другой вид присвоения, и потому дикарь «убежден» в ее преимуществах: он, как мы знаем, даже приписывает орудиям индивидуального труда и оружию какую-то таинственную связь с их собственником. Но его убеждение выросло на почве житейской практики, а не предшествовало ей, и обязано своим происхождением не свойствам его «духа», а свойствам тех вещей, с которыми он имеет дело, и характеру тех способов производства, которые неизбежны для него при данном состоянии его производительных сил.

До какой степени житейская практика предшествует правовому «убеждению», показывает множество существующих в первобытном праве символических действий. Способы производства изменились, изменились с ними и взаимные отношения людей в производительном процессе, изменилась житейская практика, а «убеждение» сохранило свой старый вид. Оно противоречит новой практике, и вот появляются фикции, символические знаки, действия, единственная цель которых заключается в формальном устранении этого противоречия. С течением времени противоречие устраняется, наконец, существенным образом: на почве новой экономической практики складывается новое правовое убеждение.

Недостаточно констатировать появление в данном обществе частной собственности на те или другие предметы, чтоб тем самым уже определить характер этого института. Частная собственность всегда имеет пределы, которые всецело зависят от экономии общества. «В диком состоянии человек присваивает себе лишь вещи, непосредственно ему полезные. Излишек, хотя бы он и был приобретен трудом его рук, уступается им обыкновенно безвозмездно другим: членам семьи или клана, или племени», говорит г. Ковалевский. Совершенно то же самое говорит Ринк об эскимосах. Откуда же возникают такие порядки у диких народов? По словам

---

[1]) Известно, что тесная связь между охотником и его оружием существует у всех первобытных племен. «Der Jäger darf sich keiner fremden Waffen bedienen» — говорит Марциус о первобытных обитателях Бразилии, тут же поясняя, откуда взялось у этих дикарей такое «убеждение»: «Besonders behaupten diejenigen Wilden, die mit dem Blasrohr schiessen, dass dieses Geschosse durch den Gebrauch eines Fremden verdorben werde, und geben es nicht aus ihren Händen». «Von dem Rechtszustande unter den Ureinwohnern Brasiliens». München 1832. S. 50.

«Die Führung dieser Waffen (лук и стрелы) erfordet eine grosse Geschicklichkeit und beständige Uebung. Wo sie bei wilden Völkern im Gebrauche sind, berichten uns die Reisenden, dass schon die Knaben sich mit Kindergeräten im Schiessen üben». Oscar Peschel. «Völkerkunde». Leipzig 1875. S. 190.

г. Ковалевского, они обязаны своим происхождением тому, что дикари не знакомы со сбережением [1]). Это не совсем ясное выражение неудачно особенно потому, что им очень злоупотребляли вульгарные экономисты. Тем не менее, понятно, в каком смысле употребляет его наш автор. «Сбережение» действительно незнакомо первобытным народам по той простой причине, что им неудобно, прямо сказать, невозможно практиковать его. Мясо убитого зверя может быть «сбережено» лишь в незначительной степени: оно портится и тогда становится совершенно негодным для употребления. Конечно, если бы его можно было продать, то очень легко было бы «сберечь» вырученные за него деньги. Но деньги еще не существуют на этой стадии экономического развития. Следовательно, сама экономия первобытного общества ставит тесные пределы развитию духа «бережливости». Кроме того, сегодня мне посчастливилось убить большое животное, и я поделился его мясом с другими, а завтра (охота дело неверное) я вернулся с пустыми руками, и со мною делятся добычей другие члены моего рода. Обычай делиться является таким образом чем-то вроде взаимного страхования, без которого было бы совершенно невозможно существование охотничьих племен. Наконец, не надо забывать, что у таких племен частная собственность существует лишь в зачаточном состоянии, преобладает же собственность общественная; привычки и обычаи, выросшие на этой почве, в свою очередь, ставят пределы произволу личного собственника. Убеждение и здесь следует за экономией.

Связь правовых понятий людей с их экономическим бытом хорошо выясняется тем примером, который охотно и часто приводил в своих сочинениях Родбертус. Известно, что древние римские писатели энергично восставали против ростовщичества. Катон-цензор находил, что ростовщик вдвое хуже вора (так и говорил старик: ровно вдвое). В этом отношении с языческими писателями совершенно сходились отцы христианской церкви. Но—замечательное дело!—и те и другие восставали против процента, приносимого денежным капиталом. К ссудам же натурой и к лихве, приносимой ими, они относились несравненно мягче. Почему эта разница? Потому, что именно денежный, ростовщический капитал производил страшное опустошение в тогдашнем обществе, потому что именно он «губил Италию». Правовое «убеждение» и здесь шло рука-об-руку с экономией.

«Право есть чистый продукт необходимости или, точнее, нужды,—говорит Пост,—напрасно стали бы мы искать в нем какой бы то ни было идеальной основы» [2]). Мы сказали бы, что это—совершенно в духе новейшей науки права, если бы наш ученый

---

1) Oscar Peschel. «Völkrkeunde...»; p. 56.

2) «Der Ursprung des Rechts. Prolegomena zu einer allgemeinen vergleichenden Rechtswissenschaft» von Dr. Alb. Herm. Post, Oldenburg 1876.

не обнаруживал довольно значительного и очень вредного по своим последствиям смешения понятий.

Говоря вообще, всякий социальный союз стремится выработать такую систему права, которая бы наилучше удовлетворяла его нуждам, которая была бы наиболее полезна для него в данное время. То обстоятельство, что данная совокупность правовых учреждений полезна или вредна для общества, никоим образом не может зависеть от свойств какой бы то ни было или чьей бы то ни было «идеи»: оно зависит, как мы видели, от тех способов производства и от тех взаимных отношений между людьми, которые создаются этими способами. В этом смысле у права нет и не может быть идеальной основы, так как основа его всегда реальна. Но реальная основа всякой данной системы права не исключает идеального отношения к ней со стороны членов данного общества. Взятое в целом, общество только выиграет от такого отношения к ней его членов. Наоборот, в переходные его эпохи, когда существующая в обществе система права уже не удовлетворяет его нуждам, выросшим вследствие дальнейшего развития производительных сил, передовая часть населения может и должна идеализировать новую систему учреждений, более соответствующую «духу времени». Французская литература полна примерами такой идеализации нового, наступающего порядка вещей.

Происхождение права из «нужды» исключает «идеальную» основу права только в представлении тех людей, которые привыкли относить нужды к области грубой материи и противопоставлять эту область «чистому», чуждому всяких нужд, «духу». В действительности «идеально» только то, что полезно людям, и всякое общество при выработке своих идеалов руководствуется только своими нуждами. Кажущиеся исключения из этого неоспоримо-общего правила объясняются тем, что, вследствие развития общества, его идеалы нередко отстают от его новых нужд [1]).

Сознание зависимости общественных отношений от состояния производительных сил все более и более проникает в современную общественную науку, несмотря на неизбежный эклектизм множества ученых, несмотря на их идеалистические предрассудки. «Подобно тому, как сравнительная анатомия возвысила на степень

---

[1]) Пост именно принадлежит к числу людей, которые далеко еще не покончили с идеализмом. Так, например, у него родовой союз соответствует охотничьему и кочевому быту; с появлением же земледелия и связанной с ним оседлости родовой союз уступает место «Gaugenossenschaft» (мы сказали бы: соседской общине). Кажется, ясно, что человек ищет ключа к объяснению истории общественных отношений не в чем ином, как в развитии производительных сил! В отдельных случаях Пост почти всегда верен такому направлению. Но это не мешает ему смотреть на «im Menschen schaffend ewigen Geist», как на основную причину истории права. Этот человек как будто нарочно создан для того, чтобы радовать г. Кареева.

научной истины латинскую поговорку: «по когтям узнаю льва», так народоведение может от вооружения данного народа с точностью умозаключить о степени его цивилизации»,—говорит уже цитированный нами Оскар Пешель [1]... «Со способом добывания пищи теснейшим образом связано расчленение общества. Всюду, где человек соединяется с человеком, является известная власть. Слабее всего общественные узы у бродячих охотничьих орд Бразилии... Пастушеские племена находятся по большей части под властью патриархальных владык, так как стада принадлежат обыкновенно одному господину, которому служат его соплеменники или прежде независимые, а впоследствии обедневшие обладатели стад. Пастушескому образу жизни преимущественно, хотя и не исключительно, свойственны великие передвижения народов, как на севере Старого Света, так и в южной Африке; напротив, история Америки знает только частные нападения диких охотничьих племен на привлекательные для них нивы культурных народов. Целые народы, покидая свои прежние места жительства, могли совершать большие, продолжительные походы лишь в сопровождении своих стад, которые составляли им в пути необходимую пищу. Кроме того, степное скотоводство само побуждает к перемене пастбищ. С оседлым же образом жизни и земледелием тотчас является стремление воспользоваться трудом рабов... Рабство рано или поздно ведет к тирании, так как тот, кто имеет наибольшее число рабов, может с их помощью подчинить своему произволу слабейших... Разделение на свободных и рабов есть начало сословного разделения общества [2].

У Пешеля много соображений такого рода. Одни из них совершенно справедливы и очень поучительны; против других «можно спорить» не одному только г. Михайловскому. Но для нас важны здесь не частности, а общее направление мысли Пешеля. А это общее направление совершенно совпадает с тем, которое мы заметили уже у г. Ковалевского: в способах производства, в состоянии производительных сил ищет он объяснения истории права и даже всего общественного устройства.

А это именно и есть то, что давно уже и настоятельно советовал делать Маркс людям общественной науки. А в этом и заключается в значительной степени, хотя и не вполне (читатель ниже увидит, почему мы говорим: не вполне), смысл того знаменитого предисловия к «Zur Kritik der Politischen Oekonomie»,

---

[1] Oscar Peschel. Völkerk unde..., p. 139. Когда мы делали эту выписку, нам представилось, что г. Михайловский быстро поднимается с своего места, восклицая: «Я могу спорить против этого: китайцы могут быть вооружены английскими ружьями. Позволительно ли на основании этих ружей судить о степени их цивилизации?». Очень хорошо, г. Михайловский: от английских ружей нелогично умозаключать к китайской цивилизации; от них надо заключать именно к английской цивилизации.

[2] L. c., p.p. 252—253.

которому так не повезло у нас в России, которое было так страшно и так странно плохо понято большинством русских писателей, читавших его в подлиннике или в извлечениях.

«В общественном производстве своей жизни люди наталкиваются на известные, необходимые, от их воли независящие отношения—отношения производства, которые соответствуют определенной степени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих отношений производства составляет экономическую структуру общества, реальную основу, на которой возвышается юридическая и политическая надстройка».

Гегель говорит о Шеллинге, что у этого философа основные положения системы остаются неразвитыми, и абсолютный дух является неожиданно, как пистолетный выстрел (wie aus der Pistole geschossen). Когда средний русский интеллигент слышит, что у Маркса «все сводится к экономической основе» (иные говорят просто: «к экономическому»), он теряется, как будто над его ухом неожиданно выстрелили из пистолета: «да почему же к экономическому?»—спрашивает он в тоске и недоумении. «Слова нет, важно и экономическое (особенно для бедных крестьян и рабочих). Но ведь не менее же важно и умственное (особенно для нас, для интеллигенции)». Предыдущее изложение, надеемся, показало читателю, что недоумение среднего российского интеллигента происходит в этом случае лишь оттого, что он, интеллигент, всегда был несколько беззаботен насчет «особенно важного» для него «умственного». Когда Маркс говорил, что «анатомию гражданского общества надо искать в его экономии», он вовсе не думал смущать ученый мир неожиданными выстрелами: он лишь давал прямой и точный ответ на «проклятые вопросы», мучившие мыслящие головы в течение целого века.

Французские материалисты, последовательно развивая свои сенсуалистические взгляды, пришли к тому выводу, что человек со всеми своими мыслями, чувствами и стремлениями составляет продукт окружающей его общественной среды. Чтобы итти дальше в применении материалистического взгляда к учению о человеке, надо было решить вопрос о том, чем же обусловливается строение общественной среды, и каковы законы ее развития. Французские материалисты не умели ответить на этот вопрос и тем самым вынуждены были изменить себе, вернуться на старую, ими столь резко осужденную, идеалистическую точку зрения: они говорили, что среда создается «мнением» людей. Не довольствуясь этим поверхностным ответом, французские историки времен реставрации поставили себе целью анализировать общественную среду. Результатом их анализа был тот чрезвычайно важный для науки вывод, что политические конституции коренятся в социальных отношениях, а социальные отношения определяются состоянием собственности. Вместе с этим выводом перед наукою возникал новый вопрос, не разрешив которого

она не могла двинуться дальше: от чего же зависит состояние собственности? Разрешение этого вопроса оказалось не по силам французским историкам времен реставрации, и они вынуждены были отговариваться от него ровно ничего не объясняющими соображениями о свойствах человеческой природы. Жившие и действовавшие одновременно с ними великие идеалисты Германии—Шеллинг и Гегель—уже хорошо понимали неудовлетворительность точки зрения человеческой природы. Гегель едко подсмеивался над нею. Они понимали, что ключа к объяснению исторического движения человечества надо искать вне природы человека. Это было большей заслугой с их стороны, но, чтобы эта заслуга оказалась вполне плодотворной для науки, надо было показать, где же именно следует искать этого ключа. Они искали его в свойствах духа, в логических законах развития абсолютной идеи. Это было коренной ошибкой великих идеалистов, возвращавшей их окольным путем к точке зрения человеческой природы, так как абсолютная идея,—мы уже видели это,—есть не что иное, как олицетворение нашего логического процесса мышления. Гениальное открытие Маркса исправляет эту коренную ошибку идеализма, тем самым нанося ему смертельный удар: состояние собственности, а с ним и все свойства социальной среды (в главе об идеалистической философии мы видели, что и Гегель вынужден был признавать решающее значение «состояния собственности») определяются не свойствами абсолютного духа и не характером человеческой природы, а теми взаимными отношениями, в которые люди по необходимости становятся друг к другу «в общественном процессе производства своей жизни», т.-е. в своей борьбе за существование...

На почве данного состояния производительных сил слагаются известные отношения производства, которые получают свое идеальное выражение в правовых понятиях людей и в более или менее «отвлеченных правилах», в неписаных обычаях и писаных законах. Доказывать это нам уже нет надобности: это, как мы видели, доказывает за нас современная наука права (пусть читатель припомнит, что говорит по этому поводу г. Ковалевский). Но не мешает взглянуть на это дело с другой, именно вот с какой стороны. Раз мы выяснили себе, каким образом правовые понятия людей создаются их отношениями производства, нас уже не удивят следующие слова Маркса: «Не сознание людей определяет их бытие (т.-е. форму их общественного существования), а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Теперь мы уже знаем, что, по крайней мере, по отношению к одной области сознания это действительно так, и почему это так. Нам остается только решить, всегда ли это так и если да, то почему же это всегда так? Будем держаться пока тех же правовых понятий.

«На известной ступени своего развития производитель-

ные силы общества вступают в противоречие с существующими в этом обществе отношениями производства, или, выражая то же самое юридическим языком,—с отношениями собственности, внутри которых они развивались до сих пор. Из форм, содействовавших развитию производительных сил, эти отношения превращаются в препятствие для их развития. Тогда наступает эпоха общественного переворота».

Общественная собственность на движимость и недвижимость возникает вследствие того, что она удобна, больше того—необходима для процесса первобытного производства. Она поддерживает существование первобытного общества, она содействует дальнейшему развитию его производительных сил, и люди держатся за нее, они считают ее естественной и необходимой. Но вот, благодаря этим отношениям собственности и внутри их, производительные силы развились настолько, что открылось более широкое поле для приложения индивидуальных усилий. Теперь общественная собственность становится в некоторых случаях вредной для общества, она препятствует дальнейшему развитию его производительных сил и потому она уступает место личному присвоению: в правовых учреждениях общества совершается более или менее быстрый переворот. Этот переворот необходимо сопровождается переворотом в правовых понятиях людей: люди, которые прежде думали, что хороша только общественная собственность, стали думать теперь, что в некоторых случаях лучше единичное присвоение. Впрочем, нет, мы выражаемся неточно, мы изображаем как два отдельных процесса то, что совершенно неразделимо, что представляет лишь две стороны одного и того же процесса: вследствие развития производительных сил должны были измениться фактические отношения людей в процессе производства, и эти новые фактические отношения выразились в новых правовых понятиях...

Пусть читатель припомнит, как возникает частная собственность. Развитие производительных сил ставит людей в такие отношения, при которых личное присвоение некоторых предметов оказывается более удобным для производительного процесса. Сообразно с этим изменяются правовые понятия первобытного человека. Психология общества приспособляется к его экономии. На данной экономической основе роковым образом возвышается соответствующая ей идеологическая надстройка. Но, с другой стороны, каждый новый шаг в развитии производительных сил ставит людей, в их повседневной житейской практике, в новые взаимные положения, не соответствующие отживающим отношениям производства. Эти новые, небывалые положения отражаются на психологии людей, очень сильно ее изменяют. В каком же направлении? Одни члены общества отстаивают старые порядки, это люди застоя. Другие—те, которым невыгоден старый порядок,—стоят за поступательное движение; их психо-

логия видоизменяется в направлении тех отношений производства, которыми заменятся со временем старые, отживающие экономические отношения. Приспособление психологии к экономии, как видите, продолжается, но медленная психологическая эволюция предшествует экономической революции [1]).

Раз совершилась эта революция, устанавливается полное соответствие между психологией общества и экономией. Тогда на почве новой экономии происходит полный расцвет новой психологии. В течение некоторого времени это соответствие остается ненарушимым; оно даже все более и более упрочивается. Но мало-по-малу показываются ростки нового разлада: психология передового класса, по указанной выше причине, опять переживает старые отношения производства: ни на минуту не переставая приспособляться к экономии, она опять приспособляется к новым отношениям производства, составляющим зародыш экономии будущего. Ну разве же это не две стороны одного и того же процесса?

До сих пор мы иллюстрировали мысль Маркса главным образом примерами из области имущественного права. Это право есть, несомненно, та же идеология, но идеология первого, так сказать, низшего порядка...

Или возьмем науку государственного права. Как, почему развивалась ее теория? «Научная разработка государственного права, — говорит профессор Гумплович, — начинается лишь там, где господствующие классы приходят между собой в столкновение по поводу принадлежащей каждому из них сферы власти. Так, первая большая политическая борьба, с которой мы встречаемся во второй половине европейских средних веков, борьба между светской и духовной властью, борьба между императором и папой, дает первый толчок развитию немецкой науки государственного права. Вторым спорным политическим вопросом, внесшим раздвоение в среду господствующих классов и давших толчок публицистической разработке соответствующей части государственного права, был вопрос об избрании императоров» [2]).

Что такое взаимные отношения классов? Это прежде всего именно те отношения, в которые люди становятся друг к другу в общественном производительном процессе: отношения производства. Эти отношения находят свое выражение в политической организации общества и в политической борьбе разных классов, а эта борьба служит толчком для возникновения и раз-

---

[1]) По существу, это тот же самый психологический процесс, который переживает теперь европейский пролетариат: его психология уже приспособляется к новым будущим отношениям производства.

[2]) «Rechtsstaat und Sozialismus», Innsbruck 1881, S.S. 124—125.

вития различных политических теорий: на экономической основе необходимо возвышается соответствующая ей идеологическая надстройка.

(Г. Плеханов. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Сочинения. Гиз 1925. Т. VII, стр. 173—202.)

* * *

Как возникают юридические нормы? Можно сказать, что всякая такая норма представляет собою отмену или видоизменение какой-нибудь старой нормы или какого-нибудь старого обычая. Почему отменяются старые обычаи? Потому, что они перестают соответствовать новым «условиям», т.-е. новым фактическим отношениям, в которые люди становятся друг к другу в общественном процессе производства. Первобытный коммунизм исчез вследствие роста производительных сил. Но производительные силы растут лишь постепенно. Поэтому лишь постепенно растут и новые фактические отношения людей в общественном процессе производства. Поэтому лишь постепенно растет и стеснительность старых норм или обычаев, а следовательно, и потребность в придании соответственного юридического выражения новым фактическим (экономическим) отношениям людей. Инстинктивная мудрость мыслящего животного обыкновенно следует за этими фактическими изменениями. Если старые юридические нормы препятствуют известной части общества достигать своих житейских целей, удовлетворять свои насущные нужды, то эта часть общества непременно и чрезвычайно легко придет к сознанию их стеснительности: для этого нужно немного больше мудрости, чем для сознания того, что неудобно носить слишком узкую обувь или чересчур тяжелое оружие. Но от сознания стеснительности данной юридической формы, конечно, еще далеко до сознательного стремления к ее отмене. Первоначально люди пытаются просто обходить ее в каждом частном случае. Вспомните, как происходило дело у нас в больших крестьянских семьях, когда, под влиянием зарождавшегося капитализма, являлись новые источники заработка, неодинаковые для различных членов семьи. Обычное семейное право становилось тогда стеснительным для счастливцев, зарабатывающих больше других. Но эти счастливцы вовсе не так легко и не так скоро решились восстать против старого обычая. Долгое время они просто хитрили, скрывали от большаков часть заработанных денег. Но новый экономический порядок постепенно укреплялся, старый семейный быт все более и более расшатывался; члены семьи, заинтересованные в его отмене, все выше и выше поднимали голову; разделы все учащались, и, наконец, старый обычай исчезал, уступая место новому обычаю, вызванному новыми условиями, новыми фактическими отношениями, новой экономикой общества.

Рост сознания людьми своего положения обыкновенно более или менее отстает от роста новых фактических отношений, изменяющих это положение. Но сознание все-таки идет за фактическими отношениями. Где слабо сознательное стремление людей к отмене старых учреждений и к установлению нового юридического порядка, там этот новый порядок не вполне подготовлен общественною экономикой. Иначе сказать, в истории неясность сознания—«промахи незрелой мысли», «невежество»—нередко знаменуют собою только одно: именно, что еще плохо развит предмет, который надо сознать, т.-е. новые нарождающиеся предметы. Ну, а невежество этого рода,—незнание и непонимание того, чего еще нет, что находится еще в процессе возникновения,—очевидно, есть лишь относительное невежество.

Есть другой род невежества—невежество по отношению к природе. Его можно назвать абсолютным. Мерой его является власть природы над человеком. А так как развитие производительных сил означает рост власти человека над природой, то ясно, что увеличение производительных сил означает уменьшение абсолютного невежества. Непонятые людьми и потому не подчиненные их власти явления природы порождают различные суеверия. На известной стадии общественного развития суеверные представления тесно переплетаются с нравственными и правовыми понятиями людей, которым они придают тогда своеобразный оттенок [1]). В процессе борьбы, вызываемой ростом новых фактических отношений людей в общественном процессе производства, религиозные взгляды играют нередко большую роль. И новаторы и охранители взывают к помощи богов, ставя под их защиту те или другие учреждения или даже объясняя эти учреждения выражением божественной воли. Понятно, что эвмениды, некогда считавшиеся у греков сторонницами материнского права, сделали для его защиты так же мало, как Минерва для торжества будто бы любезной ей отцовской власти. Зовя к себе

---

[1]) В своей книге «Закон и обычай на Кавказе» М. М. Ковалевский говорит: «Разбор религиозных верований и суеверий ингушов приводит нас к тому заключению, что под официальным покровом православия народ этот доселе стоит на той стадии развития, которая так удачно названа Тейлором анимизмом. Эта стадия, как известно, обыкновенно сопровождается решительным подчинением религии как общественной морали, так и права» (т. II, стр. 82). Но в том-то и дело, что по Тейлору первобытный анимизм не имеет никакого влияния ни на мораль ни на право. На этой стадии развития «между моралью и правом нет взаимного отношения или отношение это остается в зачатке». «Дикий анимизм почти совершенно лишен того нравственного элемента, который в глазах цивилизованного человека составляет сущность всякой практической религии... нравственные законы имеют свое особое основание и т. д. La civilisation primitive. Paris 1876, t. II, pp. 464—463. Вот почему будет правильнее сказать, что религиозные суеверия переплетаются с нравственными и правовыми понятиями лишь на известной, сравнительно довольно высокой ступени общественного развития. Мы очень жалеем, что место не позволяет нам показать здесь, как объясняется это современным материализмом.

на помощь богов и фетишей, люди напрасно тратили свой труд и время, но невежество, позволявшее верить в эвменид, не мешало тогдашним греческим охранителям понимать, что старый юридический порядок (точнее, старое обычное право) лучше гарантирует их интересы. Точно так же суеверие, позволявшее возлагать надежды на Минерву, не препятствовало новаторам сознавать неудобство старого быта.

Даяки на острове Борнео не знали употребления клина при рубке дров. Когда европейцы привезли его туда с собою, туземные власти торжественно запретили его употребление [1]). Это было, повидимому, доказательством их невежества: что может быть бессмысленнее отказа от употребления орудия, облегчающего труд? Однако подумайте и вы скажете, может быть, что для него можно найти смягчающие обстоятельства. Запрещение употреблять европейские орудия труда, наверное, было одним из проявлений борьбы против европейского влияния, которое начинало подрывать прочность старых туземных порядков. Туземные власти смутно сознавали, что при введении европейских обычаев от этого порядка не останется камня на камне. Клин почему-то сильнее других европейских орудий напоминал им о разрушительном характере европейского влияния. И вот они торжественно запретили его употребление. Почему именно клин явился в их глазах символом опасных новшеств? На этот вопрос мы можем удовлетворительно ответить: причина, по которой представление о клине ассоциировалось в умах туземцев с представлением об опасности, грозящей их старому быту, нам неизвестна. Но мы можем с уверенностью сказать, что туземцы совсем не ошибались, опасаясь за прочность своего старого порядка: европейское влияние на самом деле очень быстро и сильно искажает,— если не разрушает, обычаи подпавших под него дикарей и варваров.

Тейлор говорит, что, громогласно осуждая употребление клина, даяки все-таки пользовались им, когда могли это сделать потихоньку от других. Вот вам и «лицемерие» вдобавок к невежеству. Но откуда это взялось? Очевидно, оно было порождено сознанием преимуществ нового приема рубки дров, которое сопровождалось боязнью общественного мнения или же преследования со стороны властей. Инстинктивная мудрость мыслящего животного критиковала таким образом ту самую меру, которая ей же была обязана своим происхождением. И она была права в своей критике: запретить употребление европейских орудий вовсе не значило устранить европейское влияние.

Употребляя выражение Лабриолы, мы могли бы сказать, что в данном случае даяки приняли меру, не соответствовавшую их положению, непропорциональную ему. Мы были бы совершенно правы. И мы могли бы прибавить к этому замечанию Лабриолы,

---

[1]) E. B. Tylor. «La civilisation primitive», Paris 1876, t. I, p. 82.

что люди очень часто придумывают такие непропорциональные, несоответствующие положению меры. Но что же из этого следует? Только то, что мы должны стараться открыть, нет ли какой-нибудь зависимости между такого рода ошибками людей, с одной стороны, и характером или степенью развития их общественных отношений—с другой. Такая зависимость, несомненно, существует. Лабриола говорит, что невежество может быть объяснено в свою очередь. Мы скажем: не только может, но и должно быть объяснено, если только общественная наука в состоянии сделаться строгой наукой. Если «невежество» может быть объяснено общественными причинами, «то нечего и ссылаться на него, нечего говорить, что в нем заключается разгадка того, почему история шла так, а не иначе. Разгадка лежит не в нем, а в общественных причинах, его породивших и придавших ему тот, а не другой вид, тот, а не другой характер. Зачем же вы будете ограничивать свое исследование простыми, ничего не объясняющими ссылками на невежество? Когда речь идет о научном понимании истории, то ссылки на невежество свидетельствуют лишь о невежестве исследователя.

* *

Всякая норма положительного права защищает известный интерес. Откуда берутся интересы? Представляют ли они собою продукт человеческой воли и человеческого сознания? Нет, они создаются экономическими отношениями людей. Раз возникнув, интересы так или иначе отражаются в сознании людей. Чтобы защищать известный интерес, нужно сознать его. Поэтому всякую систему положительного права можно и должно рассматривать как продукт сознания [1]). Не сознанием людей вызываются к существованию те интересы, которые право защищает, следовательно не им определяется содержание права; но состоянием общественного сознания (общественной психологии) в данную эпоху определяется та форма, которую примет в человеческих головах отражение данного интереса. Не приняв в соображение состояния общественного сознания, мы совершенно не могли бы объяснить себе историю права.

---

1) «Право не есть, подобно так называемым физическим, природным силам, нечто существующее помимо действий человека... Напротив, это порядок, установленный людьми для себя. Подчиняется ли в своей деятельности человек закону причинности, или действует свободно, произвольно, — в данном вопросе это безразлично. Как бы то ни было, право по закону причинности и по закону свободы все же создается не помимо, а, напротив, не иначе, как через деятельность человека, через его посредство» (Н. М. Коркунов. «Лекции по общей теории права». С.-Петербург 1894 г., стр. 279). Это вполне справедливо, хотя и очень плохо выражено. Но г. Коркунов забыл прибавить, что интересы, защищаемые правом, не «создаются людьми для себя, а определяются их взаимными отношениями в общественном процессе производства».

В этой истории надо всегда и заботливо отличать форму от содержания. С формальной стороны право, подобно всем другим идеологиям, испытывает на себе влияние всех, или, по крайней мере, некоторой части других идеологий: религиозных верований, философских понятий и проч. Уже одно это обстоятельство до известной,—иногда очень значительной,—степени затрудняет открытие зависимости, существующей между правовыми понятиями людей и их взаимными отношениями в общественном процессе производства. Но это еще только пол-беды [1]). Настоящая же беда в том, что на различных стадиях общественного развития всякая данная идеология в очень неодинаковой степени испытывает на себе влияние других идеологий. Так, древнее египетское и отчасти римское право было подчинено религии; в новейшей истории право развивалось (повторяем и просим заметить это: с формальной стороны) под сильным влиянием философии. Чтобы устранить влияние на право религии и заменить его своим собственным влиянием, философия должна была выдержать сильную борьбу. Эта борьба была лишь идеальным отражением общественной борьбы третьего сословия с духовенством, но она, тем не менее, в огромной степени затрудняла выработку истинных взглядов на происхождение правовых учреждений, так как, благодаря ей, они казались явным и несомненным продуктом борьбы отвлеченных понятий. Разумеется, Лабриола, вообще говоря, прекрасно понимает, какого рода фактические отношения скрываются за подобной борьбой понятий. Но, когда речь касается частностей, он слагает свое материалистическое оружие перед трудностью вопроса и считает, как мы видели, возможным ограничиться ссылкой на невежество или силу традиций. Кроме того, он указывает еще на «символизм», как на последнюю причину многих обычаев.

Символизм действительно немаловажный «фактор» в истории некоторых идеологий. Но в последние причины обычаев он не годится. Возьмем такой пример. У кавказского племени ишавов женщина обрезывает себе косу в случае смерти брата, но не делает этого, когда умрет ее муж. Обрезывание косы есть символическое действие: оно заменило более старый обычай принесения себя в жертву на могиле покойника. Но почему же

---

[1]) Хотя и это очень невыгодно отзывается даже, например, на таких сочинениях, как «Закон и обычай на Кавказе» г. Ковалевского. Г. М. Ковалевский часто рассматривает там право как продукт религиозных взглядов. Правильный путь исследования был бы иной: г. Ковалевскому следовало взглянуть и на религиозные верования и на правовые учреждения кавказских народов, как на продукт их общественных отношений в процессе производства, и, выяснив влияние одной идеологии на другую, постараться найти единственную причину этого влияния. Г. Ковалевский, повидимому, тем больше должен был бы склоняться к такому способу исследования, что он сам в других своих сочинениях категорически признает причинную зависимость правовых норм от способов производства.

женщина совершает это символическое действие на могиле брата, а не на могиле мужа? По словам г. М. Ковалевского, в этой черте «нельзя не видеть пережитка той отдаленной эпохи, когда главою родовой группы, объединенной фактом действительного или мнимого происхождения от женщины-родоначальницы, являлся старший по возрасту родственник по матери, ближайший когнат» [1]). Из этого следует, что символические действия становятся понятными только тогда, когда мы понимаем смысл и происхождение знаменуемых ими отношений. Откуда берутся эти отношения? Ответа на этот вопрос, конечно, надо искать не в символических действиях, хотя они иногда могут дать кое-какие полезные намеки. Происхождение символического обычая обрезывания косы на могиле брата объясняется историей семьи, а объяснения истории семьи надо искать в истории экономического развития.

В заинтересовавшем нас случае обряд обрезывания косы на могиле брата пережил ту форму родственных отношений, которой он был обязан своим происхождением. Вот вам пример влияния традиции, на которое указывает Лабриола в своей книге. Но традиция может сохранить только то, что уже существует. Она не объясняет не только происхождения данного обряда или вообще данной формы, но даже и ее сохранения. Сила традиции есть сила инерции. В истории идеологий часто приходится задаваться вопросом, почему данный обряд или обычай сохранился, несмотря на то, что исчезли не только отношения, вызвавшие его к жизни, но и другие родственные ему обычаи или обряды, порожденные теми же отношениями. Вопрос этот равносилен вопросу о том, почему разрушительное действие новых отношений миновало именно этот обряд или обычай, устранив другие. Отвечать на этот вопрос ссылкой на силу традиции—значит ограничиться повторением его в утвердительной форме. Как же помочь горю? Надо обратиться к общественной психологии.

Старые обычаи исчезают, старые обряды нарушаются тогда, когда люди становятся в новые взаимные отношения. Борьба общественных интересов выражается в виде борьбы новых обычаев и обрядов со старыми. Ни один символический обряд или обычай, взятый сам по себе, не может влиять ни в положительном ни в отрицательном смысле на развитие новых отношений. Если охранители горячо отстаивают старые обычаи, то это потому, что в их уме представление о выгодных, дорогих и привычных им общественных порядках прочно связывается (ассоциируется) с представлением об этих обычаях. Если новаторы ненавидят и осмеивают эти обычаи, то это потому, что в их уме представление об этих обычаях ассоциируется с представлением о стеснительных, невыгодных и неприятных для них общественных отношениях. Следовательно, тут все дело в ассоциации

---

[1]) Ковалевский, Г. М. «Закон и обычай на Кавказе», т. III, стр. 75.

идей. Когда мы видим, что какой-нибудь обряд пережил не только породившие его отношения, но и родственные ему обряды, вызванные теми же отношениями, то мы должны заключить, что в умах новаторов представление о нем было не так сильно связано с представлением о ненавистной старине, как представление о других обычаях. Почему же не так сильно? Ответить на такой вопрос иногда легко, а иногда совсем невозможно по недостатку необходимых психологических данных. Но даже и в тех случаях, когда мы вынуждены признать его неразрешимым, по крайней мере, при нынешнем состоянии наших знаний, мы должны помнить, что дело тут не в силе традиции, а в известных ассоциациях идей, вызванных известными фактическими отношениями людей в обществе.

Возникновением, изменением и разрушением ассоциаций идей под влиянием возникновения, изменения и разрушения известных комбинаций общественных сил в значительной степени объясняется история идеологий. Лабриола не обратил на эту сторону дела всего того внимания, какого она заслуживает. Это хорошо обнаруживается его взглядом на философию.

(Г. Плеханов. «О материалистическом понимании истории». Сочинения. Гиз 1923. Т. VIII, стр. 260—267.)

IV. ПРАВО И ЭКОНОМИКА.

§ 1. КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ВЗГЛЯДА НА ПРАВО КАК НА НАДСТРОЙКУ НАД ЭКОНОМИКОЙ.

Моей специальностью была юриспруденция, которую, однако, я проходил, как подчиненную науку, наряду с изучением философии и истории. В 1842—1843 г.г., состоя редактором «Rheinische Zeitung», я впервые поставлен был в затруднение, так как должен был высказывать суждения о так называемых материальных интересах. Постановления рейнского ландтага по поводу лесных порубок и дробления земельной собственности, официальная полемика, в которую г. фон-Шапер (Von Schaper), тогдашний обер-президент рейнской провинции, вступил с «Rheinische Zeitung» по вопросу о положении мозельских крестьян, наконец, дебаты о свободной торговле и покровительственных пошлинах послужили толчком для моих занятий экономическими вопросами. С другой стороны, в то время, когда благое желание «итти вперед» во много раз превышало понимание вещей, в «Rheinische Zeitung» отражалось эхо французского социализма и коммунизма со слабой философской окраской. Я высказался против этого кропанья, но, вместе с тем, в полемике с «Allgemeine Augsburger Zeitung» откровенно признался, что мои тогдашние знания не позволили мне составить самому себе определенное суждение о французских направлениях. Я охотно поспешил воспользоваться иллюзией руководителей «Rheinische Zeitung», которые думали, что более умеренным ведением газеты они смогут отклонить висевший над ней смертный приговор, чтобы удалиться с публичной арены для научных занятий.

Первый труд, который я предпринял для разрешения осаждавших меня сомнений, был критический пересмотр гегелевской философии права; вступление к этому труду появилось в «Deutsch-Französische Jahrbücher», издававшихся в 1844 г. в Париже. Мои исследования привели меня к заключению, что правовые отношения, наравне с формами государства, не могут быть поняты ни из самих себя ни из так называемого общего развития человеческого духа, но скорее коренятся в материальных условиях жизни, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов XVIII ст., назвал «буржуазным обществом», и что анатомию буржуазного общества нужно искать в поли-

тической экономии. Начатое мною в Париже изучение этой последней я продолжал в Брюсселе, куда я переселился вследствие распоряжения г. Гизо (Guizot) о моей высылке из Парижа. Общий результат, к которому я пришел, и который, раз он был найден, служил мне руководящей нитью в дальнейших занятиях, можно кратко формулировать следующим образом. В общественном направлении своей жизни люди вступают в определенные, от их воли независящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений образует экономическую структуру общества, реальное основание, на котором возвышается правовая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает собой процесс жизни социальной, политической и духовной вообще. Не сознание людей определяет их бытие, но, напротив, общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества впадают в противоречие с существующими производительными отношениями, или, употребляя юридическое выражение, с имущественными отношениями, внутри которых они до сих пор действовали. Из формы развития производительных сил эти отношения становятся их оковами. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономического основания более или менее быстро преобразуется и вся громадная надстройка над ним. При рассмотрении таких революций следует всегда иметь в виду разницу между материальным переворотом и экономическим условием производства, которую можно определить с естественно-научной точностью юридическими, политическими, религиозными, художественными или философскими,—словом, идеологическими формами, в которых люди воспринимают в своем сознании этот конфликт и во имя которых борются. Как нельзя судить об отдельном человеке по тому, что он о себе думает, точно так же нельзя судить о такой революционной эпохе по ее сознанию; скорее, это сознание следует объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются на свет раньше условия их существования в лоне старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как, при ближайшем рассмотрении, всегда окажется, что сама задача только тогда выдвигается, когда существуют уже материальные условия, необходимые для ее разрешения, или когда они, по крайней мере, находятся в процессе возникновения. В общих чертах

можно наметить, как прогрессивные эпохи экономического формирования общества: азиатский, античный, феодальный и современный способы производства. Буржуазные производственные отношения составляют последнюю антагоническую форму общественного процесса производства, антагоническую не в смысле индивидуального антагонизма, но такого, который вырастает из условий общественной жизни индивидуумов. Но производительные силы, развивающиеся в лоне буржуазного общества, создают в то же время материальные условия для разрешения этого антагонизма. Этой общественной формацией завершается поэтому прелюдия истории (Vorgeschichte) человеческого общества.

(Маркс. «Предисловие к критике политической экономии».)

§ 2. СОДЕРЖАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ ДАНО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЕМ.

Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу, как товары, товаровладельцы должны относиться друг к другу, как лица, воля которых обитает в этих вещах; таким образом один товаровладелец лишь по воле другого, следовательно, каждый из них лишь при посредстве одного общего им обоим волевого акта может присвоить себе чужой товар, отчуждая свой собственный. Следовательно, они должны признавать друг в друге частных собственников. Это юридическое отношение, формой которого является договор, — все равно, выражено ли оно законно или нет,—есть волевое отношение, в котором отражается экономическое отношение. Содержание этого юридического или волевого отношения дано самим экономическим отношением.

Лица существуют здесь один для другого лишь как представители товаров, т.-е. как товаровладельцы. В дальнейшем ходе исследования мы увидим, что характерные экономические маски лиц являются вообще лишь олицетворением экономических отношений, в качестве носителей которых эти лица противостоят друг другу.

(Маркс. «Капитал». Гиз 1923. Т. I, стр. 52.)

* * *

Мы видели, что эти мелочные постановления, которые регулируют время, пределы, перерывы работы с таким военным однообразием, по звону колокола, отнюдь не были продуктом парламентских измышлений. Они постепенно развивались из данных отношений, как естественные законы современного способа производства. Формулировка их, официальное признание и провозглашение государством явились результатом длительной классовой борьбы. Одним из ближайших последствий их было то, что практика подчинила и рабочий день взрослых фабричных

рабочих тем же самым ограничениям, потому что в большинстве процессов производства необходимо сотрудничество детей, подростков и женщин.

(Маркс. «Капитал» Гиз 1923. Т. I, стр. 255—256.)

* * *

Говорить в данном случае вместе с Гильбартом об естественной справедливости—бессмыслица. Справедливость сделок, совершающихся между агентами производства, основана на том, что эти сделки, как естественное следствие, вытекают из отношений производства. Юридические формы, в которых проявляются эти экономические сделки, как волевые действия заинтересованных, как выражения их общей воли и как обязательства, к выполнению которых принуждает государство,—эти юридические формы, будучи просто формами, не могут определить самого содержания сделок. Они только выражают его. Содержание это является справедливым, если оно соответствует способу производства адэкватно. Оно несправедливо, если противоречит ему. Рабство на основе капиталистического способа производства несправедливо; тоже и обман на качестве товара.

(Маркс. «Капитал» Гиз 1923. Т. III, ч. I, стр. 324.)

§ 3. РАЗВИТИЕ ПРАВА ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЯМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

. . .Очень скоро для мощно растущей промышленности и тесно связанной с ней торговли не могла не сделаться нестерпимой помехой германская провинциальная буржуазия с ее многообразнейшим торговым и ремесленным законодательством. Через каждые несколько миль—новое вексельное право, новые условия занятия ремеслом; всюду, куда ни глянь, всевозможные придирки, бюрократические и фискальные ловушки, а часто и цеховые ограничения, против которых не помогало даже разрешительное свидетельство (патент)! А к этому разнообразнейшие местные законодательства (?) и ограничения права жительства, которые не давали капиталистам возможности в достаточном количестве перебрасывать имеющуюся в их распоряжении рабочую силу в те пункты, где руда, уголь, водяная сила и другие благоприятные и естественные условия давали предпосылки для устройства промышленных предприятий! Возможность беспрепятственного эксплоатировать в массовых размерах отечественную рабочую силу составляла первое условие промышленного развития; но повсюду, куда патриот-фабрикант со всех концов стягивал рабочих, полиция и попечительство о бедных противились водворению пришельцев на постоянное жительство. Право германского гражданства и полная свобода передвижения для всех граждан империи,

единое торговое и промышленное законодательство превратились теперь из патриотических фантазий экзальтированных студентов в необходимые условия существования для промышленности.

Вдобавок к этому,—что ни государство или даже жалкая пародия на государство, то новые деньги, новые меры и вес, зачастую даже двух и трех родов в одном и том же государстве. И из всех этих бесчисленных разновидностей монет, мер и весов ни одна не признавалась на мировом рынке. Что же удивительного, если купцам и фабрикантам, которые выступали на мировом рынке или должны были конкурировать ввозными товарами, приходилось ко всему этому множеству монет, мер и весов пользоваться еще иностранными; если вес хлопчато-бумажной пряжи выражался в английских фунтах, длина шелковой ткани — в метрах, а счета для заграницы проставлялись в фунтах стерлингов, долларах, франках? И как могли появиться крупные кредитные учреждения при этих ограниченных оборотах, когда банкноты (ассигнации) здесь выражены в гульденах, там в прусских талерах, а на-ряду с этим — в золотых талерах, нейталерах, банко-марках, курант-марках, двадцатигрошевых и двадцатичетырехгрошевых гульденфусах, при бесконечно меняющихся исчислениях курса и колебаниях его?

А если удавалось, в конце концов, преодолеть все препятствия, сколько сил уходило на все эти трения, сколько терялось денег и времени! Между тем даже в Германии стали замечать, что в наши дни «время—деньги».

Молодой германской промышленности надо было выдержать испытание на зрелость: только экспорт помог бы ей развиться. Для этого ей нужна была на чужбине защита международного права. Английский, французский, американский купец всегда мог больше позволить себе за границей, чем дома. За него заступалось его посольство, а в случае нужды—и пара военных кораблей. Но немец?! Австриец мог еще до некоторой степени положиться на свое посольство, по крайней мере, в Леванте; впрочем, и оно ему не очень-то помогало. Но когда прусский купец на чужбине жаловался своему консулу на обиды, нанесенные ему, то почти всегда следовал ответ: «Так вам и надо, чего вы ищете здесь, почему бы вам не сидеть преспокойно дома?». Провинциал был повсюду абсолютно бесправным существом. Куда ни приедешь, немецкие купцы пользовались чужой защитой—французов, англичан, американцев или спешили натурализироваться в новом отечестве. А если даже их послы хотели бы вступиться за них, к чему бы это привело? Сами немецкие посланники третировались за границей, как чистильщики сапог.

Как мы видим, тяготение к объединению «отечества» имело под собою весьма материальную почву. Это уже были не туманные порывы буршей, нашедшие свое отражение в вартбург-

ских торжествах,—в те времена, «когда сила и мужество пылали в немецких душах», и, как поется в одной французской песне: «Юношу бурный порыв увлекал итти на борьбу и смерть за отечество», чтобы восстановить романтическое величие средневековой империи (на старости же лет этот бурный, порывистый юноша становился самым обыкновенным ханжествующим и монархически-настроенным княжеским холопом). Оно не было уже и тем носящим более земной характер призывом к объединению, исходившим от адвокатов и прочих буржуазных идеологов гамбахских торжеств, которые воображали, что любят свободу и единство ради них самих, вовсе не замечая, что превращение Германии наподобие Швейцарии в кантональную республику (то была наименее туманная версия их идеала) было так же невозможно, как восстановление империи Гогенштауфенов теми порывистыми студентами. Нет, то была вытекающая из непосредственных интересов дела настоятельная потребность практичного купца и промышленника в том, чтобы начисто был выметен весь исторически изжитый провинциальный хлам, который преграждал путь свободному развитию торговли и ремесла,—потребность в устранении всех лишних стеснений, которые немецкому купцу надо было сперва преодолеть у себя дома, если он хотел выступить на мировом рынке, и от которых были избавлены все его конкуренты. Объединение Германии стало теперь экономической необходимостью. И люди, которые требовали его, знали, чего хотели. Они воспитались на торговле и для торговли, знали толк в торговле, и с ними можно было торговаться. Они знали, что надо было не только уметь заломить, но и сбавить цену. Они воспевали свое германское отечество, богатое славой и победами, включая и Штирию, Тироль и Австрию, пели: «От Мааса и до Мемеля, от Эча и до Бельта—Германия, Германия превыше всего, превыше всего в мире»,—но при наличном расчете были готовы дать этому отечеству, которому предстояло все расти и возвеличиваться, изрядную скидку—процентов двадцать пять, тридцать. Их объединительный план готов и сразу же поставлен на практическую почву.

(Ф. Энгельс. «Сила и экономика в образовании Германской империи». Изд. «Красная Новь» 1923, стр. 17—20.)

* * *

...Наконец, настала очередь согласования сходных по содержанию законов о судопроизводстве. Сопротивление, которое средние государства оказывали расширению имперской компетенции на вещное гражданское право, было побеждено; Гражданский Свод Законов, однако, лишь начал составляться, в то время, как уголовное право, уголовное и гражданское судопроизводство, торговое право, конкурсный устав и судопроизводство уже уре-

гулированы в одном и том же духе. Уже самое устранение пестрых формальных и вещественных правовых норм, существовавших в мелких государствах, было настоятельной потребностью прогрессивного буржуазного развития, и это устранение составляет главную заслугу новых законов,—в гораздо большей степени, чем их содержание.

Английский юрист упирается ногами в историю права, которая спасла от средневековья и вынесла в новые века изрядную долю старых англо-саксонских свобод, которая не знает полицейского государства, в зародыше задавленного обеими революциями XVII века,—головой же—в два столетия непрерывного развития буржуазной свободы. Французский юрист опирается на почву великой революции, которая после окончательного уничтожения феодализма и абсолютистского полицейского произвола перевела экономические условия жизни нового современного общества на язык юридических правовых норм в своем классическом Наполеоновском Кодексе. В противоположность этому—на какой исторической почве стоят наши немецкие юристы? Эту почву составляет не что иное, как веками длящийся пассивный, большей частью подгоняемый толчками извне и по сей день еще не завершившийся процесс разложения остатков средневековья; экономически отсталое общество, в котором, точно привидения, бродят феодальный юнкер и цеховой мастер в поисках нового тела, в которое они могли бы воплотиться; система права, в которой полицейский произвол—несмотря на исчезновение в 1848 г. княжеской кабинетской юстиции—все еще изо дня в день пробивает новые бреши. Из этой-то школы, худшей, какую только можно придумать, вышли наши отцы новых имперских Уложений—такова их работа. Не говоря о чисто-юридической стороне, политической свободе больно досталось в этих Уложениях. Если суды присяжных и давали в руки буржуазии средства помогать правительству держать рабочий класс в подчинении, то все же государство, по возможности, старается ограничением прав этих судов обеспечить себя от возрождения буржуазной оппозиции. Политические параграфы Уголовного Уложения часто так туманны и растяжимы по смыслу, точно они с нынешним имперским судом пригнаны друг к другу. Нечего и говорить, что новые Уложения представляют прогресс по сравнению с прусским гражданским правом,—ничего подобного этому чудовищному Уложению в настоящее время сам Штекер не состряпает . . . Но провинции, до сих пор пользовавшиеся французским правом, чересчур больно чувствуют различие между уродливой копией и классическим оригиналом. Отступничество национал-либералов от своей программы сделало возможным это усилие государственной власти за счет буржуазных свобод — первый положительный шаг назад.

(Энгельс. «Сила и экономика», стр. 80—82.)

*
* * *

Государство и государственное право определяются экономическими отношениями. Само собой понятно, что то же приходится сказать и о гражданском праве, роль которого в сущности сводится к законодательному освещению существующих при данных обстоятельствах нормальных экономических отношений между отдельными лицами. Но форма, в которой происходит это освещение, может быть очень различна. Можно было, например, удержать большую часть форм старого феодального права, вместив в них буржуазное содержание и даже прямо придав буржуазный смысл феодальному имени, как это случилось в Англии, сообразно со всем ходом ее национального развития. Можно было так же, как это произошло в Западной Европе, принять за основу первое всемирное право общества, состоящего из товаропроизводителей, т.-е. римское право, с его тончайшей разработкой всех существенных отношений простых товаровладельцев: купли и продажи, ссуды, долга, договора и проч. обязательств. При этом можно—для пользы и блага мелкобуржуазного, еще полуфеодального общества—или просто, юридической практикой принизить это право до уровня этого общества, или даже юридически исказить его с помощью будто бы просвещенных, соображающихся с нравственными требованиями юристов, и переработать в особый свод законов, приспособленный к указанному общественному состоянию (Прусское Земское Право); можно, наконец, после великой буржуазной революции создать на основе все того же римского права такой образцовый свод законов буржуазного общества, как французский Code Civil. После этого понятно, что если гражданские правоопределения представляют собою лишь юридическое выражение экономических условий общественной жизни, то они, смотря по обстоятельствам, выражают их иногда хорошо, а иногда и плохо.

(Энгельс. «Людвиг Фейербах». Гиз 1922, стр. 58.)

§ 4. ПРАВОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСПОДСТВУЮЩЕМУ В НЕЙ СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА.

...Правда, по мнению Дюрюи, языческие боги древней Италии были покровителями не только земледелия, но также и собственности, семьи, супружеской верности и справедливости. Поэтому можно сказать,—сказать все можно, милостивый государь,—что если земледелие и его нужды и не были созданы первоначальной религией Италии, то понятия древних итальянцев о собственности, о семье, о взаимных отношениях супругов и справедливости обязаны были своим происхождением именно перво-

начальной религии и в этом смысле подчинялись, в своих видоизменениях, законам самостоятельного психического развития.

Такого рода взгляды особенно охотно высказываются у нас теперь, когда многие, более или менее передовые, люди задались целью опровергнуть экономических материалистов, которые будто бы намереваются воскресить идеалистическую «метафизику» Гегеля. Жаль только, что эти взгляды представляют собою не что иное, как буквальное повторение взгляда того же Гегеля на саморазвитие понятий вообще и правовых понятий в частности. Так, например, известный гегельянец Ганс полагал, что «отдельные системы положительного права... представляют собою отдельные моменты в развитии общей правовой идеи, постоянно и все дальше развертывающейся по вечным законам», и что задача науки заключается в изучении каждого из этих моментов и их необходимой смены. Экономические материалисты не разделяют этого взгляда, которым некогда очень дорожили Гегель, Ганс и подобные им идеалисты, а теперь очень дорожат наши русские противники гегелевской «метафизики». По мнению экономических материалистов правовые понятия развиваются не сами собою, а под влиянием тех взаимных отношений, в которые становятся производители под влиянием экономической необходимости. «Правовая идея издавна шла рука об руку с экономическою необходимостью», говорил Родбертус. Прав ли он был? Достаточно припомнить хотя бы историю первобытной семьи, чтобы видеть, что он не ошибался.

Одно из двух: или правовые учреждения данной страны соответствуют ее экономическим нуждам, или они не соответствуют им. Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно.

Если правовые учреждения данной страны соответствуют ее экономическим нуждам, т.-е., выражаясь точнее, господствующему в ней способу производства, то необходимо возникает вопрос: чем вызвано было такое соответствие? Разумеется, на это можно ответить различно.

Можно сказать так:

Правовые учреждения данной страны соответствуют господствующему в ней способу производства по той причине, что сами они явились как следствие и выражение тех общественных нужд и отношений, которые необходимо возникают при господстве данного способа производства. Целесообразная, т.-е. соответствующая способу производства, система положительного права является простым следствием того, что правовые учреждения, ставшие нецелесообразными, утрачивают свою жизнеспособность и постепенно умирают или отменяются после более или менее упорной борьбы между защитниками старого порядка и его противниками. Целесообразные (в указанном смысле) правовые учреждения составляют необходимое условие существования человеческих обществ. И вот почему эти общества постоянно стремятся к таким целесообразным учреждениям, хотя достигаемое ими

равновесие постоянно нарушается вследствие развития производительных сил: каждый новый шаг в развитии этих сил вызывает новое несоответствие между способами производства, с одной стороны, и правовыми учреждениями—с другой. Тогда начинается новая борьба между охранителями и прогрессистами, происходит новый переворот в области права и т. д., вплоть до наших дней. Правовая идея всегда и везде идет рука об руку с экономическою необходимостью.

Так говорят «экономические» материалисты.

Я думаю, что они совершенно правы. Но положим, что они ошибаются; положим, что развитие правовых учреждений есть,—как говорили Гегель и гегельянцы,—простое следствие развития правовых понятий. Как объясним мы в этом случае соответствие правовых учреждений данной страны с господствующим в ней способом производства?

Для объяснения этого соответствия нам остается только допустить, что существует предустановленная гармония между развитием правовых понятий, с одной стороны, и развитием экономических отношений—с другой.

Это может показаться вам, милостивый государь, смелым, а, пожалуй, под сердитую руку, и нелепым парадоксом. Но я говорю совершенно серьезно.

В самом деле, согласно вашему предположению, понятия развиваются самостоятельно по своим собственным законам. Способы производства тоже развиваются самостоятельно, и тоже по своим особым законам[1]). Если в данную эпоху результаты развития понятий оказываются соответствующими результатам экономического развития, то я не могу объяснить это иначе, как предустановленной гармонией или случайностью. Но случайность не объяснение, и потому остается одна предустановленная гармония.

Здесь вы нетерпеливо прерываете меня и упрекаете в том, в чем так часто, хотя и незаслуженно, упрекают теперь «экономических» материалистов: в склонности к метафизике.

— Вольно же,—восклицаете вы,—добровольно лезть в метафизическое болото. Из этого болота, может быть, и нельзя выбраться иначе, как по тропинке предустановленной гармонии. Но ведь можно и совсем миновать его. И это очень легко сделать. Стоит только держаться точной дорожки реализма. Надо только помнить, что экономика развивается в зависимости от человеческих понятий, а человеческие понятия испытывают на себе влияние экономики. Между этими двумя факторами существует несомненное взаимодействие, которым и разрешаются все указанные затруднения. Зачем же нам гипотеза предустановленной гармонии?

---

[1]) Гегель не согласился бы с этим последним предположением: он сказал бы, что и способы производства определяются ходом развития абсолютной идеи. Но ведь мы с вами не гегельянцы, милостивый государь.

Мы сейчас увидим, разрешает ли взаимодействие указанные нами затруднения. Но прежде надо рассмотреть второй из предположенных нами случаев, т.-е. тот, когда правовые учреждения данной страны не соответствуют ее экономике.

Мы уже видели, что он прекрасно объясняется с точки зрения экономического материализма. Правовые учреждения данной страны оказываются несоответствующими ее экономике каждый раз, когда новый рост производительных сил ставит людей в новые взаимные отношения; тогда является нужда в пересмотре существующей системы положительного права (частного и общественного); тогда наступает эпоха общественного переворота.

Как объясняется этот случай с точки зрения тех, кто считает возможным самостоятельное развитие правовых понятий? На первый взгляд и тут дело кажется простым и очень ясным. Правовые понятия перестают соответствовать экономике страны по той причине, что они опережают ход развития экономики, или, наоборот, эта последняя опережает ход развития правовых понятий. Если правовые понятия опередили экономику, то она будет рано или поздно переделана сообразно прогрессу понятий; если экономика опередила понятия, то новый шаг в развитии этих последних восстановит в ней желанное соответствие. Таким образом здесь ничто, повидимому, не противоречит предположению о самостоятельном развитии психического фактора.

При ближайшем рассмотрении это простое объяснение оказывается, однако, очень запутанным. Возьмем хоть Францию XVIII века. Правовые учреждения отстали от понятий значительной части французского населения. Можно подумать, что причина всех волнений во внутренней жизни тогдашней Франции заключалась именно в этой отсталости учреждений сравнительно с понятиями, что, следовательно, волнения были вызваны ростом понятий, и что поэтому история Франции второй половины XVIII века вполне подтверждает мысль о самостоятельном развитии человеческой психики. Но это слишком поспешное умозаключение. Не надо забывать, что тогдашним правовым учреждениям Франции противоречили понятия совершенно определенной части французского населения, именно третьего сословия, т.-е. класса людей, имевшего определенное экономическое положение. Уж это обстоятельство дает повод думать, что тогдашние правовые понятия этой части населения явились не как продукт самостоятельного развития, а вследствие перемен в ее экономическом положении. Это не все. В борьбе против устарелых правовых учреждений мыслящие представители третьего сословия апеллировали к справедливости. И нельзя не согласиться, что справедливо было отменить те учреждения, которые стали стеснительны для большинства французов. Но справедливость очень неопределенное и притом крайне отвлеченное понятие. Все дело в том, какое конкретное содержание вкладывается в него данным человеком или данным классом лю-

дей. Каковы же были те правовые учреждения, которые казались справедливыми мыслящим представителям третьего сословия? Как раз те, которые соответствовали капиталистическому способу производства, т.-е. тому способу, который был результатом предыдущего экономического развития Франции[1]). Согласитесь, м. г., что это очень интересное явление! Если мы оставим мысль о предустановленной гармонии, то явление это должно будет послужить в наших глазах новым доводом против мысли о самостоятельном развитии понятий и новым доказательством в пользу теории «экономического» материализма.

Конечно, можно сказать,—повторяю, сказать все можно,—что если передовые французские философы, восставая против феодальной собственности, ничего не имели против собственности капиталистической, то это происходило единственно потому, что они еще не додумались до других понятий, а вовсе не потому, что они испытывали на себе непобедимое влияние нового, торжествующего способа производства. Но я спрошу: почему же не додумались? Неужели потому, что, по закону самостоятельного развития психики, люди непременно должны были на известной стадии своего исторического развития, притти к признанию буржуазной собственности? И я прибавлю, что ссылка на будто бы самостоятельное развитие человеческих понятий не объясняет в сущности ровно ничего. Люди имели какие-то понятия, потому что они необходимо должны были их иметь по законам самостоятельного развития психики! Но разве это ответ? Разве это разрешение задачи? Это просто изложение ее другими словами: votre fille est malade, parce qu'elle est tombée en maladie. Далеко ли подвигают нас подобного рода объяснения?

Но и это еще не все. Французские просветители боролись против остатков феодальных учреждений. Откуда взялись феодальные учреждения? Откуда взялся феодальный строй? Просветители считали его продуктом человеческих заблуждений, т.-е., иначе сказать, результатом неправильного развития человеческих понятий. Но уже историки эпохи реставрации пытаются объяснить его как продукт средневековых экономических отношений. И чем дальше подвигается изучение феодального быта у раз-

---

[1]) Мне могут напомнить таких писателей, как Морелли и Мабли, склонявшихся к коммунизму. Но я замечу, что коммунизм этих писателей был в сущности довольно бессодержательной декламацией в пользу равенства, — декламацией, которой и сами они не придавали **практического** значения. Насколько тогдашние нападки на собственность сводились к простой декламации, показывает пример Бриссо: его, впоследствии заимствованное у него Прудоном, определение — собственность есть кража — нисколько не помешало ему быть выразителем **буржуазных** тенденций. Во французских декламаторских выходках против собственности и в защиту **античного** равенства вообще не было анализа различных исторических видов собственности. А поскольку был такой анализ в сочинениях французских передовых писателей прошлого века, постольку все эти писатели, за исключением, может быть, Руссо, отстаивали **буржуазную** собственность.

личных народов Европы и Азии, тем более подтверждается правильность их точки зрения, тем очевиднее становится, что феодальные учреждения не были и не могли быть простым результатом развития человеческих понятий.

(Плеханов. «В защиту экономического материализма». Сочинения. Гиз 1923. Т. VIII, стр. 198—202.)

§ 5. ЧТО ТАКОЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ?

Имущественные отношения людей принадлежат к области их правовых отношений; собственность есть, прежде всего, правовой институт. Сказать, что ключ к пониманию исторических явлений надо искать в имущественных отношениях людей, значит сказать, что этот ключ лежит в учреждениях права. Но откуда берутся эти учреждения? Гизо совершенно справедливо говорит, что политические конституции были следствием прежде, чем стать причиной; что общество прежде создало их, а потом стало видоизменяться под их влиянием. Но разве нельзя сказать то же самое и по адресу имущественных отношений? Разве они не были, в свою очередь, следствием прежде, чем стать причиной? Разве общество не должно было создать их прежде, чем испытать на себе их решительное влияние? На эти вполне резонные вопросы Гизо отвечает в высшей степени неудовлетворительно.

У народов, явившихся на историческую сцену после падения западной Римской империи, гражданский быт стоит в тесной причинной связи с землевладением[1]): отношение человека к земле определяло его общественное положение. В течение всей эпохи феодализма все общественные учреждения обусловливались в последнем счете поземельными отношениями. Что же касается этих отношений, то они, по словам того же Гизо, «первоначально, в первое время после нашествия варваров», определялись общественным положением землевладельцев: земля получала тот или другой характер, смотря по тому, в какой степени был силен землевладелец[2]). Но чем же определялось в таком случае общественное положение землевладельцев? Чем определялась «первоначально, в первое время после нашествия варваров», бо́льшая или меньшая степень свободы, бо́льшая или меньшая степень могущества землевладельцев? Прежними политическими

---

1) Стало быть, **только** у новейших народов? Это ограничение тем более странно, что уже греческие и римские писатели видели тесную связь гражданского и политического быта своих стран с поземельными отношениями. Впрочем, это странное ограничение не помешало Гизо поставить падение Римской империи в связь с ее государственным хозяйством. См. его первый «Опыт»: «Du régime municipal dans l'empire romain au V siècle de l'ère chrétienne».

2) Т.-е. владение землею имело тот или другой **правовой** характер, иначе сказать, — обладание ею было связано с бо́льшей или меньшей степенью зависимости, смотря по силе и свободе землевладельца. L. c., p. 75.

отношениями в среде варваров-завоевателей? Но ведь Гизо уже сказал нам, что политические отношения — следствие, а не причина. Чтобы понять политический быт варваров в эпоху, предшествовавшую падению Римской империи, мы должны были бы, согласно совету нашего автора, изучить их гражданский быт, их социальный строй, отношения различных классов в их среде и проч.; а такое изучение опять привело бы нас к вопросу о том, чем определяются имущественные отношения людей, чем создаются существующие в данном обществе формы собственности. И понятно, что мы ничего не выиграли бы, если бы для объяснения положения различных общественных классов мы стали ссылаться на относительные степени их свободы и могущества. Это был бы не ответ, это было бы повторение вопроса в новом виде, с некоторыми подробностями.

Вопрос о происхождении имущественных отношений едва ли даже возникал в голове Гизо в виде строго и точно поставленного научного вопроса. Мы видели, что не считаться с ним ему было совершенно невозможно, но уже запутанность тех ответов, которые он давал на него, свидетельствует о неясности его формулировки. В последнем анализе развитие форм собственности объяснялось у Гизо до крайности туманными ссылками на человеческую природу. Неудивительно, что этот историк, которого эклектики обвиняли в излишней систематичности воззрений, сам оказался порядочным эклектиком, например, в своих сочинениях по истории цивилизации.

(Плеханов. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Сочинения. Гиз 1923. Т. VII, стр. 77—78.)

§ 6. ПРОЦЕСС ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ К ИЗМЕНИВШИМСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ.

В Англии непрерывность связи между до-революционными и по-революционными институтами и компромисс между крупными землевладельцами и капиталистами нашли свое выражение в непрерывности действия судебных прецедентов и в почтительном сохранении феодальных юридических форм. Во Франции, напротив, революция окончательно порвала с традициями прошлого, уничтожила последние остатки феодализма и в Code Civil мастерски приспособила к новым капиталистическим отношениям старое римское право, это почти совершенное выражение юридических отношений, возникших на той ступени развития, которую Маркс обозначает как «товарное производство»,—до того мастерски, что этот революционный свод французских законов еще теперь служит для всех стран, не исключая и Англии, образцом при всякой реформе права собственности.

При этом, однако, не следует забывать одного: если английское право выражает экономические отношения капиталистического общества варварски феодальным языком, который так же мало

соответствует выражаемой им вещи, как английская орфография английскому произношению—vous écrivez Londres et vous prononcez Constantinopole (пишется Лондон, а произносится Константинополь), сказал один француз,—то это самое английское право все же является единственным, сохранившим во всей чистоте и перенесшим в Америку и колонии лучшую часть той свободы личности, того местного самоуправления, той гарантии от всяких внешних посягательств, исключая лишь посягательства со стороны суда,—словом, лучшую часть всех тех старо-германских вольностей, которые погибли на континенте при абсолютной монархии и до сих пор еще нигде в полной мере не завоеваны вновь.

(Ф. Энгельс. «О материализме».)

§ 7. ОБ ОБРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРАВОВОЙ НАДСТРОЙКИ НА ЭКОНОМИКУ.

С правом то же самое. Как только является потребность в новом разделении труда, создающем юристов по профессии, так сейчас же открывается опять-таки новая самостоятельная область, которая, при всей своей общей зависимости от производства и торговли, все же обладает особой способностью обратно воздействовать на эти области. В современном государстве право не только должно соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением, но также быть его выражением внутренне согласованным, которое благодаря внутренним противоречиям не шло бы само против себя. А для того, чтобы этого достичь, точность отражения экономических отношений страдает все более и более. Подобное явление встречается тем чаще, чем реже случается, что кодекс законов представляет из себя резкое, несмягченное, правдивое выражение господства одного класса. Это противоречило бы общей правильной идее. Чистая последовательная правовая идея революционной буржуазии эпохи 1792—1796 г.г. уже в Наполеоновском Кодексе фальсифицирована во многих отношениях, а то, что в нем воплощено, должно испытывать ежедневно всяческие смягчения и ослабления благодаря возрастающей силе пролетариата. Но это не мешает тому, что Кодекс Наполеона является тем сводом законов, который лежит в основе кодификации всех частей света. Таким образом ход правового развития состоит главным образом только в том, что сначала пытаются устранить противоречия, вытекающие из непосредственного перевода экономических отношений в юридические принципы, а потом влияние и принуждение дальнейшего экономического развития опять постоянно ломает эту систему и вовлекает ее в новые противоречия. (Я здесь говорю пока только о гражданском праве.)

Отражение экономических отношений в виде правовых принципов необходимо является точно так же стоящим вверх ногами. Это отражение совершается так, что этот процесс не доходит до сознания действующего. Юрист воображает, что действует с апри-

орными положениями, а это всего лишь экономическое отражение. Таким образом все стоит на голове. А что это извращение, создающее, пока оно еще не открыто, то, что мы называем идеологическим воззрением (ideologische Anschauung), в свою очередь оказывает обратное действие на экономическую основу и может ее в известных пределах изменить, это мне кажется само собою разумеющимся. Основа наследственного права—экономическая, предполагая одинаковую ступень развития семьи. Несмотря на это, будет очень трудно доказать, что, например, в Англии абсолютная свобода завещаний, а во Франции сильное ее ограничение во всех деталях имели только экономические причины. Но и то и другое очень сильно действует на экономику тем, что оказывает влияние на распределение имущества.

(Энгельс. Письмо к Шмидту от 27/X 1890. Маркс и Энгельс. Письма.)

* * *

Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на экономическом. Но все они оказывают влияние друг на друга и на экономическую основу. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является единственной активной причиной, а остальное является лишь пассивными факторами. Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, которая в конце концов проявится. Государство, например, оказывает влияние при помощи покровительственных пошлин, свободы торговли, хорошего или дурного состояния финансов.

(Энгельс. Письмо к Штаркенбургу от 25/I 1894. Там же.)

* * *

Имущественные отношения относятся к области права. В данное время данные имущественные отношения способствуют развитию производительных сил. Это значит, что правовые формы, выросшие на данном экономическом базисе, в свою очередь реагируют на развитие экономики. Потом,—и между прочим, благодаря этому реагированию,—наступает такое время, когда данные правовые формы начинают мешать развитию производительных сил. Это опять значит, что эти формы реагируют, хотя теперь уже в обратном смысле, на развитие общественно-экономических отношений. Вследствие противоречия между производительными силами и имущественными отношениями наступает эпоха социальной революции. Что достигается этой революцией? Какая цель преследуется ею? Устранение старых и установление новых отно-

шений производства, новых правовых учреждений. Для чего же нужно это устранение и это установление? Для дальнейшего развития производительных сил. Это снова и снова означает, что правовые формы, выросшие на данной экономической основе, с своей стороны влияют на эту основу. Неужели это не то же самое, что говорилось в «Манифесте», повторялось почти во всех других сочинениях Маркса и было указано в цитируемых г. Бернштейном письмах Энгельса?

(Плеханов. «Предисловие к «Коммунистическому Манифесту» Маркса и Энгельса». Сочинения. Гиз 1925, стр. 315.)

* * *

После этого анализа общих политико-экономических понятий и их взаимной связи нужно было бы,—прибавляет Родбертус,—показать, в какой зависимости стоят организации и ход национального производства, равно как и распределение его продуктов, от существующих в обществе правовых учреждений.

Еще в первом своем сочинении наш автор совершенно верно заметил, что «правовая идея и экономическая необходимость издавна шли рука об руку». Он поступил бы поэтому последовательнее, если бы постарался обнаружить связь между современными правовыми учреждениями, с одной стороны, и вызвавшею их к жизни экономическою необходимостью—с другой. От такого выяснения много выиграл бы им же самим поднятый вопрос о мерах, способных устранить «недостатки современной общественно-экономической организации». Тогда было бы видно, какие учреждения уже отжили свой век и какие, напротив, продолжают соответствовать общественным потребностям. Критерием явилась бы в этом случае та самая экономическая необходимость «рука об руку», с которой «издавна шло» и всегда будет итти развитие правовой идеи.

Родбертус избрал, к сожалению, обратный путь. Он решился искать в правовых учреждениях объяснения общественно-экономических явлений и тем не только отнял у себя возможность найти это объяснение, но и лишил себя единственного разумного критерия для оценки самих «правовых учреждений». Вместо объяснения ему пришлось ограничиться простым описанием экономической жизни общества на различных стадиях ее развития. Впрочем, вредное влияние закравшейся в рассуждения Родбертуса непоследовательности отразилось более всего на его «практических предположениях». Сделанное же им описание общественно-экономических явлений, которое, повторяем, он принимал за объяснение этих явлений, имеет и само по себе большой интерес и потому заслуживает полного внимания читателя. Интерес этот обусловливается тем, что, верный своему взгляду на «исторические категории», Родбертус сопоставил в своем описании хозяйствен-

ный строй современного общества с тою организацией производства и распределения, которая должна, по его мнению, иметь место в «будущем всемирно-историческом периоде».

Для оценки влияния, оказываемого правовыми учреждениями на экономическую жизнь общества, нужно,—говорит наш автор,—прежде всего иметь в виду важнейший правовой институт нашего времени—частную собственность на землю и капиталы. В самом деле, национальное производство и распределение его продуктов приняли бы совершенно иной вид, если бы земля и капиталы составляли собственность не частных лиц, а всего общества. Тогда не было бы, конечно, частной собственности на орудия труда, но что касается до распределения продуктов, то оно не должно было бы непременно происходить на коммунистических основаниях. Предметы потребления продолжали бы составлять частную собственность благодаря тому, что продукты общественного труда распределялись бы между отдельными лицами, сообразно с участием этих лиц в национальном производстве. При таком порядке вещей доход каждого члена общества зависел бы лишь от количества затраченного им труда, и собственность не только не была бы уничтожена, но, напротив, была бы «окончательно приведена к ее первоначальному и истинному принципу». Устроенное на таких основаниях общество не объявило бы, по примеру Прудона, что «собственность есть кража», оно—и только оно—предохранило бы, наоборот, собственность от «кражи».

(Плеханов. «Экономическая теория Родбертуса-Ягецова». Сочинения. Гиз 1924. Т. I, стр. 244—245.)

§ 8. КАК СТРУВЕ ИСКАЗИЛ ВЗГЛЯДЫ МАРКСА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВОМ И ЭКОНОМИКОЙ.

Наш критик «берет» два находящиеся во взаимном антагонизме явления: A и B и рассуждает следующим образом.

Если рост противоречия действительно имеет здесь место, то развитие противоречащих один другому моментов выразится такою формулой:

Формула I, которую г. П. Струве называет формулой противоречия:

A	B
2 A	2 B
3 A	3 B
4 A	4 B
5 A	5 B
6 A	6 B
. . .	. . .
n A	n B

Каждое из двух явлений A и B растет путем накопления однородных элементов (Häufung des Gleichartigen); одновременно с этим и благодаря этому растет также и существующее между ними противоречие, которое и устраняется, наконец, победой сильнейшего явления над слабейшим: n A уничтожает n B.

Но,—по замечанию г. П. Струве,—мы можем представить себе, что в социальной действительности существуют противоречия совсем другого рода, выражаемые совсем иною формулой.

Формула II, которую мы предлагаем назвать формулой притупленного противоречия:

A	B
2 A	2 B
3 A	3 B
4 A	2 B
5 A	B
6 A	0 B[1])

В каждом из случаев, выражаемых этими двумя формулами, между A и B есть взаимодействие. Но, между тем, как в первом случае рост A неизменно обусловливает собою также рост B, т.-е., следовательно, и обострение противоречия между этими двумя явлениями, во втором—действие постоянно растущего A только сначала вызывает увеличение коэффициента B, а затем, перейдя известный предел, ведет уже к его уменьшению, а значит, и к ослаблению указанного противоречия. Таким образом противоречие постепенно разрешается здесь посредством «притупления» (durch «Abstumpfung») [2]).

Г. П. Струве объявляет «баснословной» ту мысль, что «социальное развитие в своих решительных поворотах совершается исключительно по первой формуле». Но кем и когда была высказана эта «догма»? У г. П. Струве выходит, будто за нее держатся все «ортодоксальные» марксисты. Это совсем неверно. Мы думаем, что вряд ли кто из серьезных последователей Маркса согласится признать правильной «первую формулу» г. П. Струве. А не признавая правильность той или другой формулы, нельзя, конечно, и утверждать, что именно («исключительно») по этой формуле совершается историческое движение. Г. П. Струве слишком поторопился наградить «баснословной догмой» своих «ортодоксальных противников».

Ниже, в предпоследней главе этой статьи, мы подробно разберем первую формулу г. П. Струве и покажем ее ошибочность.

---

[1]) У г. П. Струве в подлиннике стоит не нуль B, а «kein B». Читатель понимает, что это—одно и то же.

[2]) Слово Abstumpfung поставлено во вносные знаки самим г. П. Струве.

Теперь же мы приглашаем читателя обратить внимание на вторую его формулу.

Она должна выражать взаимодействие между A и B. Но взаимодействие предполагает как действие A на B, так и обратное действие B на A.

Г. П. Струве не говорит, в чем заключается это последнее; он ограничивается тем, что определяет действие A на B. Мы узнали из самой формулы и из сопровождающих ее объяснений, что вплоть до известного предела возрастание A обусловливает собою также и рост B, а потом, за этим пределом, ведет, напротив, к уменьшению B. Что же это означает? Это означает то, что указанный предел является пунктом, перейдя который, действие A на B превращается в прямую свою противоположность. Вторая формула г. П. Струве может поэтому служить недурным, так сказать, алгебраическим примером того перехода количественных изменений в качественные, который на каждом шагу встречается и в природе и в общественной жизни, и который, тем не менее, относится нашими «критиками» (из лагеря «теоретиков познания») к числу «баснословных догм», выдуманных Гегелем и взятых на веру Марксом и его «ортодоксальными» учениками.

Пригласив читателя запомнить этот пример, который очень пригодится нам впоследствии, мы идем далее.

Наш критик замечает, что рассмотрение «формулы противоречия» приобретает особенный интерес при сопоставлении ее с основной идеей материалистического объяснения истории. Это справедливо по многим причинам и, между прочим, потому, что, будучи сделано г. П. Струве, указанное сопоставление показывает нам, правильно ли понимает он критикуемого им писателя.

Сопоставление это начинается у г. П. Струве цитатой из так часто цитируемого и, вероятно, всем уже известного теперь предисловия к «Zur Kritik der politischen Oekonomie» Маркса. «Способ производства материальной жизни вообще обусловливает собою процессы социальной, политической и духовной жизни... На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в столкновение с существующими отношениями производства или, говоря юридическим языком, с имущественными отношениями, внутри которых до тех пор совершалось их развитие. Из форм, способствующих развитию производительных сил, эти отношения превращаются в тормозы этого развития. Тогда наступает эпоха общественного переворота. С изменением экономического основания изменяется, более или менее быстро, вся возвышающаяся на нем огромная надстройка [1])... Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все те производительные силы, которым она предоставляет достаточный

[1]) Здесь г. П. Струве поясняет в скобках, что надстройку составляют правовые и политические учреждения, которым соответствуют определенные формы общественного сознания.

простор, и новые, высшие отношения производства никогда не занимают место старых, раньше чем выработаются в недрах старого общества материальные условия их существования».

Сделав эту цитату, г. П. Струве принимается ее комментировать. «Здесь ясно выражена,—говорит он,—идея постоянной приспособленности (Angepasstsein) [1]) права и политических учреждений к хозяйству, как нормальной формы их сосуществования [2]). Несоответствие правовых отношений хозяйственным есть противоречие. Им вынуждается приспособление права к хозяйству. У Маркса коренным противоречием выставляется противоречие производительных сил отношениям производства (имущественным отношениям). Приспособление отношений производства к производительным силам составляет содержание социальной революции. Во всем этом изложении есть у Маркса та неясность, что, с одной стороны, материальные силы, а с другой, отношения производства,—которые представляют собою не что иное, как абстрактную совокупность конкретных хозяйственных, или, выражаясь юридически, правовых отношений,—являются своего рода самостоятельными сущностями или «вещами». Только благодаря этой неясности можно говорить о противоречии или о приспособлении всех целиком (en bloc) взятых производительных сил всем целиком взятым правовым отношениям и представлять себе социальную революцию как коллизию (все равно: длящуюся один момент или более или менее продолжительное время) между этими двумя сущностями. Ясно, что общественное развитие может быть рассматриваемо как длящийся процесс разнообразных коллизий и приспособлений. Маркс, повидимому, признавал правильным оба способа понимания социальной революции, не замечая их несовместимости. Что касается, в частности, будущего общественного переворота, то Маркс представлял его себе как могучее столкновение хозяйства с правом, неизбежно завершающееся решительным событием или общественным переворотом, собственно так называемым. Таким образом в марксовой теории социального развития все вращается вокруг отношения или, если угодно, противоречия между хозяйством и правом. Маркс рассматривал хозяйство как причину, а право—как следствие» [3]).

Этот комментарий отличается, как мы увидим, чрезвычайным богатством теоретического содержания [4]). Мы отметим в нем на первый раз следующие два пункта. По мнению г. П. Струве, Маркс:

1) считал коренным то противоречие, которое неизбежно возникает в прогрессирующем обществе между производительными силами, с одной стороны, и имущественными отношениями—с другой;

---

1) Курсив г. П. Струве.
2) Курсив г. П. Струве.
3) Brauns Archiv, XIV Band, 5 und 6 Haft. S. 666—667.
4) Конечно, богатство богатству рознь. Г. П. Струве богат главным образом на заблуждения, а такому богатству завидовать не приходится.

(Прим. ко второму изд.)

2) представлял себе социальную революцию как могучее столкновение хозяйства с правом, вследствие чего все вращается в его теории вокруг отношения между правом и хозяйством.

Справедливо ли это мнение г. П. Струве? Другими словами, верно ли понял и правильно ли изложил он теорию Маркса?

Что касается первого пункта, то он безусловно прав: противоречию между производительными силами общества и его имущественными отношениями действительно всегда принадлежало центральное место в марксовой теории социального развития. В подтверждение этого, а вернее сказать—для лучшего уяснения читателю мысли Маркса, мы, кроме цитированного г. П. Струве предисловия к «Zur Kritik der politischen Oekonomie», укажем на следующее место из «Манифеста Коммунистической партии:

«Мы видели, стало быть, что средства производства и сообщения, которые послужили основанием для могущества буржуазии, получили начало еще в феодальном обществе. На известной ступени развития этих средств производства и сообщения, условия, среди которых совершались производство и обмен в феодальном обществе, феодальная организация земледелия и промышленности, словом, феодальные имущественные отношения оказались несоответствующими вызванным к жизни производительным силам. Эти отношения стесняли производство, а не облегчали его. Они сделались его цепями. Их нужно было ниспровергнуть, и они были ниспровергнуты. Место их заняла свободная конкуренция, с соответствующим ей общественным и политическим строем, с экономическим и политическим господством буржуазии».

Дело, как видите, совершенно ясно: социальная революция, означавшая падение феодального и торжество буржуазного хозяйственного порядка, представлялась Марксу и изображалась им как столкновение (или противоречие) между производительными силами, выросшими в недрах феодального общества, и свойственными этому обществу имущественными отношениями или—что то же—феодальной организацией земледелия и промышленности. А если вы захотите хорошо выяснить себе, как представлялась Марксу и как изображалась им та социальная революция, которой он сам служил всем сердцем и всем помышлением и которая приведет к замене буржуазного хозяйственного порядка социалистическим, то прочтите вот эту страницу:

«Современное буржуазное общество с его имущественными отношениями, с его организацией производства и обмена, как бы волшебством создавшее такие могущественные средства производства и сообщения, это общество находится в положении волшебника, который не в состоянии справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями. В продолжение последних десятилетий история промышленности и торговли представляет собой

историю возмущения производительных сил против современной организации производства, против тех имущественных отношений, которые являются условиями жизни для буржуазии и для ее господства...».

«Находящиеся в его (буржуазного общества—*Г. П.*) распоряжении производительные силы не способствуют уже сохранению буржуазных имущественных отношений; напротив, они стали слишком велики для этих отношений, они встречают в них препятствие. Буржуазные отношения оказываются слишком узкими для того, чтобы вместить созданное ими богатство» (там же, стр. 8—9).

Устранение буржуазных имущественных отношений и составляет историческую революционную миссию пролетариата.

Если бы кто-нибудь захотел проследить эту основную мысль марксовой теории общественного развития в других его сочинениях, то мы указали бы ему на «Нищету философии» и на 420—421 страницы второй части третьего тома «Капитала» [1].

Итак, никакое сомнение невозможно: в марксовой теории социального развития все вращается вокруг противоречия между производительными силами общества и его имущественными отношениями. Но если это вполне ясно и совершенно несомненно, то спрашивается, на каком же основании г. П. Струве утверждает, что Маркс представлял себе устранение капиталистических производственных отношений как могучее столкновение между хозяйством и правом? Разве это второе столкновение тождественно по своему смыслу с первым? Разве противоречие производительных сил общества его имущественным отношениям имеет совершенно такое же значение, как и противоречие между хозяйством и правом?

Чтобы ответить на этот вопрос, имеющий для нас «коренную» важность, необходимо прежде всего выяснить себе, какое понятие связывается у нашего критика со словом хозяйство. А это можно сделать, разумеется, не иначе, как на основании его же, разбираемого здесь, «критического опыта».

Анализируя взгляд Штаммлера на отношение права к хозяйству, г. П. Струве говорит, между прочим, следующее: «К сожалению, понятие хозяйства (хозяйственного порядка, отношений производства) совсем не покрывается тем, что мы отмечаем как «хозяйственный» элемент в отдельных социальных явлениях. Хозяйство есть, например, капиталистический хозяйственный порядок...» [2].

Несколькими строками ниже мы встречаемся с афоризмом, гласящим, что «в хозяйстве уже заключается право

---

1) Мы потому указываем на немецкий подлинник, что русский перевод его сделан неудовлетворительно. Указываемое нами место занимает 733 страницу русского издания третьего тома.

2) Braun's Archiv, XIV Band 5 und 6 Heft S. 668, курсив наш.

и vice versa (in der Wirtschaft ist das Recht und vice versa enthalten) [1]). Наконец, еще через несколько строк мы наталкиваемся на такое рассуждение: «То обстоятельство, что у меня нет хлеба... не составляет никакого правового отношения между мною и моими согражданами... и пусть не возражают мне, что при другом общественном устройстве целесообразное правовое регулирование устранило бы феномен безработицы. Это показывает только, что этот экономический феномен зависит от данного хозяйственного или, иначе, правового порядка, взятого во всей его совокупности», и т. д. [2]).

Из этих объяснений видно, что слово хозяйство имеет у нашего критика тот же самый смысл, что и термин хозяйственный (например, капиталистический) порядок или термин производственные отношения. Но мы уже знаем, что производственные отношения,—или хозяйственный порядок, или экономическая структура,—на юридическом языке называются имущественными отношениями. На это указывает и сам Маркс, о теории которого идет речь в настоящее время, и г. П. Струве, подвергающий эту теорию своему разбору [3]). Очень хорошо! Заметим это и спросим себя: какой же вид принимает марксова теория общественного развития в изложении его критика? А на этот вопрос возможен только один ответ: в изложении г. П. Струве выходит, что в этой теории все вращается вокруг противоречия между имущественными отношениями данного общества и его правом. А это, будучи выражено другими словами, означает, что по-Марксу, сущность современного, так называемого социального вопроса заключается в противоречии между имущественными отношениями, например, нынешней буржуазной Франции и ее Code Civil. А если вы захотите выразить эту мысль еще иначе, то вы можете сказать еще так: противоречие между имущественными отношениями нынешней буржуазной Франции и ее Code Civil составляет «das Fortleitende», т.-е. то противоречие, которое ведет эту страну вперед и приближает ее к новому общественному порядку. Это совершенно логично и неизбежно выходит из слов г. П. Струве и вместе с тем это представляет собою такую удивительную, такую неудобосказуемую, короче—такую «баснословную» догму, что если бы «критический опыт» г. П. Струве застал Маркса в живых, и если бы автор «Капитала» дал себе труд ознакомиться с содержанием этого невероятного опыта, то ему оставалось бы только развести в не-

---

[1]) Braun's Archiv, XIV Band, 5 und 6 Heft. S. 669, курсив наш.

[2]) Ibid., S. 669—670, курсив наш.

[3]) Для большей точности выразимся так: по-Марксу, **известная часть** производственных отношений составляет то, что юрист назвал бы **имущественными отношениями.** Ниже мы увидим, почему это название не применимо ко всей совокупности производственных отношений.

доумении руками и воскликнуть, несколько изменяя слова героя в некрасовской поэме «Суд»:

Я в деле собственном моем,
Конечно, не судья; но в том,
Что критик мой сказал,
Своей я мысли не узнал.
Так пахарь был бы удивлен,
Когда бы рожь посеял он,
А уродилось бы зерно —
Ни рожь, ни греча, ни пшено,
Ячмень колючий — и притом
Наполовину с дурманом.

*
* *

И пусть снисходительный читатель не думает, что мы ловим г. критика на случайных описках. Нет, совсем нет! Указанный нами чудовищный промах повторяется чуть не на каждой странице «опыта» и составляет тот логический центр, вокруг которого «вращается» почти все содержание придуманной г. П. Струве «критики» революционного марксизма [1]). Вот, например, через несколько страниц после цитированного нами комментария г. П. Струве категорически заявляет: «революция, устраняющая противоречие, во всяком случае логически необходима для марксовой теории постоянно усиливающегося противоречия между хозяйством и правом» [2]). Эти слова показывают, что г. П. Струве не только «упорствует» в своем непостижимом заблуждении, но и кладет его в основу своей «критики»: он собирается оспаривать марксову мысль указанием на то, что между правом и хозяйством (т.-е. имущественными отношениями, экономической структурой) существенного противоречия быть не может. Не меньшее «упорство» в заблуждении обнаруживается и нижеследующей аргументацией, которую наш «критик» считает неотразимой и победоносной:

«То, что, по примеру Маркса, называется отношениями производства, логически и исторически уже заключает в себе правовое регулирование имущественных отношений. Уже по одному этому логически невозможно, оставаясь на марксовой точке зрения, говорить о противоречивом развитии производственных отношений и правового порядка (да кто же говорит об этом, кроме вас, о, строгий критик! Ведь у Маркса-то речь идет о противоречии между производительными силами и имущественными отношениями. Вы сами, в начале вашего комментария, «отметили»—правда, без «особенной силы»—это действительно достойное замечания «обстоятельство». Как же вы вдруг поза-

[1]) Ниже будет объяснено, в каком смысле мы употребляем здесь эпитет **революционного**.

[2]) Braun's Archiv. XIV Band, 5 und 6 Heft, S. 673.

были о нем, когда вам понадобилось «критиковать» теорию Маркса?—*Г. П.*). Но еще много важнее то, что признание подобного развития фактически и безусловно исключает всякое реалистически понимаемое воздействие хозяйственных явлений на правовой порядок (откуда взялись у вас хозяйственные явления, г. П. Струве? Ведь у вас шла речь о производственных отношениях или, иначе, о хозяйстве, и вы сами справедливо говорите, что понятие хозяйство совсем не покрывается тем, что мы называем хозяйственным элементом в общественных явлениях—*Г. П.*). Ибо подумайте: производственные отношения (г. «критик» опять, sans crier gare, возвращается к производственным отношениям, понятие о которых, по его собственному замечанию, совсем не покрывается понятием хозяйственные явления—*Г. П.*), становящиеся все более и более социалистическими, порождают классовую борьбу; классовая борьба—социальные реформы, а эти последние будто бы обостряют капиталистический характер общества. Итак, производственные отношения, становящиеся все более социалистическими, порождают правовой порядок, становящийся все более капиталистическим. Воздействие экономии на право не только не порождает никакого взаимного приспособления между ними, но все более усиливает существующее между ними противоречие» [1]).

Часть этой тирады, следующая за словами «ибо подумайте», написана, очевидно, для того, чтобы «с особенной силой отметить» нелогичность «ортодоксальных» последователей Маркса, признающих диалектический закон развития. Но здесь наш критик опять навязывает «ортодоксальным» марксистам «совершенно баснословную догму» и опять его изложение превращает в «ячмень наполовину с дурманом» чрезвычайно ценное теоретическое зерно марксовой теории социального развития. «Ибо подумайте! Когда Маркс и его «ортодоксальные» последователи говорят о постоянно растущем теперь противоречии между производительными силами капиталистического общества и его производственными отношениями, они под этими последними понимают буржуазные имущественные отношения, как это особенно ясно показывают сделанные нами выше цитаты из «Манифеста Коммунистической партии» и как это признает сам г. П. Струве. Вот почему ни Марксу, ни его «ортодоксальным» последователям никогда не приходило и никогда не могло прийти в голову утверждать,—как это приписывает им. г. П. Струве,—что производственные отношения буржуазного общества все более и более становятся социалистическими. Кто сказал бы это, тот тем самым высказал бы ту мысль, достойную разве лишь какого-нибудь новейшего Бастиа, что имущественные отношения, свойственные капиталистическому обществу и горячо отстаиваемые

---

[1]) Ibid., S. 676—677.

буржуазией, все более и более приближаются к социалистическому идеалу [1]).

Г. П. Струве называет книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» самым лучшим изложением философско-исторических основ ортодоксального марксизма. По его же словам, наши «Beiträge zur Geschichte des Materialismus» написаны совершенно в духе этой книги. Пусть же читатель потрудится пересмотреть эти книги и пусть он сам решит, есть ли в них хоть что-либо похожее на то, что приписывает «ортодоксальным» ученикам Маркса наш странный «критик»!

Изо всего этого следует тот неизбежный вывод, что в «критическом» походе г. П. Струве ему служит операционным базисом колоссальное, поистине невероятное, непонимание Маркса. Славный поход! Глубокая «критика»! Интересный «критик»!

Литературная известность г. П. Струве начинается с осени 1894 г., когда вышла в свет его наделавшая много шума книга: «Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России». В этой тяжеловесно написанной и местами наивной, но в общем все-таки дельной книге одновременно выступали, обнявшись, будто две сестры, и причудливо переплетаясь одна с другою, две теории: во-первых, теория Маркса и «ортодоксальных» марксистов, а во-вторых, теория Брентано и его школы. И это смешанное, эклектическое содержание книги в значительной степени оправдывало как упреки, сыпавшиеся на ее автора со стороны некоторых «ортодоксальных» марксистов, так и ожидания, возлагавшиеся на него другими, не менее «ортодоксальными» последователями Маркса: упрекавших раздражал брентанизм, а люди, возлагавшие ожидания на г. П. Струве, надеялись, что эта буржуазная теория будет мало-по-малу побеждена в его взглядах присутствовавшим в них элементом марксизма. Пишущий эти строки принадлежал к числу ожидавших. Его ожидания не были, правда, очень велики: он никогда не считал г. П. Струве человеком, способным обогатить теорию Маркса значительным теоретическим вкладом; но он все-таки надеялся, во-первых, на то, что брентанизм г. П. Струве скоро будет побежден его марксизмом, а во-вторых, на то, что автор «Критических заметок» способен правильно понимать автора «Капитала». Теперь оказывается, что мы ошиблись в обоих случаях: марксизм уже теперь уступает, во взглядах г. П. Струве, свое место своему старому соседу—брентанизму, а, кроме того, наш «критик» обнаружил совершенное непонимание самых коренных, самых важных положений исторического материализма. В этом

---

[1]) Этой неудобосказуемой путанице полезно противопоставить собственные слова Маркса: «Ни одна общественная формация не исчезает раньше, чем разовьются все производительные силы, которым она представляет достаточно простора, **и новые, высшие отношения производства никогда не занимают места старых ран·ше, чем выработаются в недрах старого общества материальные усло·ия их существования**» («Zur Kritik etc.», Vorwort, курсив наш.)

последнем отношении он очень далеко ушел назад, что объясняется, конечно, влиянием того же брентанизма. Ввиду всего этого нам остается лишь открыто признаться в своей ошибке и сказать в свое оправдание, как говаривал Еврипид: «Многое делают боги против ожидания; не исполняется ими то, чего мы ждали, а с другой стороны, они находят средство осуществить неожиданное».

*
* *

Мы видели: нам невозможно было ошибиться насчет смысла, в котором г. П. Струве употребляет слово хозяйство, так как он сам постарался точно определить этот смысл. Но предположим, тем не менее, что мы неправильно его поняли, и что указанным словом наш критик обозначает не тот или другой («например, капиталистический») хозяйственный порядок, не производственные (имущественные) отношения, свойственные данному обществу, а именно тот хозяйственный элемент в социальных явлениях, понятие о котором, по его собственному правильному замечанию, совсем не покрывается понятием хозяйство. Куда приведет нас такое предположение? [1]).

Раз приняв его, мы, естественно, должны принять также иное толкование тех слов г. П. Струве, что в марксовой теории социального развития все вращается вокруг противоречия между хозяйством и правом. Мы обязаны теперь допустить, что основой этой теории он считает учение о противоречии (отношении) между хозяйственными явлениями, имеющими место в данном обществе, и свойственным этому обществу правом. Это противоречие и должно быть признано теперь тем центром, вокруг которого «все вращается» в марксовой теории.

Возьмем же капиталистическое общество и посмотрим, в какой мере и при каких условиях противоречие между совершающимися в нем хозяйственными явлениями и его правом может явиться причиной, толкающей вперед его развитие.

Предположим, что в нашем капиталистическом обществе существует так называемая разрешительная система учреждения акционерных обществ. Известно, что эта система отличается многими неудобствами, стесняющими развитие акционерных компаний, а следовательно, и крупного производства, которое так нуждается теперь в ассоциации капиталов, принадлежащих отдельным лицам. Поэтому в нашем обществе рано или поздно возникает противоречие между хозяйственным явлением—ростом крупного производства, нуждающегося в развитии акционерных компаний,—

---

[1]) Мы делаем это предположение на основании следующих слов г. П. Струве: «Jedenfalls aber ist für die Marxsche Theorie die Annahme einer Steigerung der Widersprüche zwischen den ökonomischen Phenomenen und Rechtsnormen charakteristisch!» (Ibid., S. 67_1, III). Здесь центральным пунктом марксовой теории является, стало быть, противоречие между **«правовыми нормами»** и **«хозяйственными явлениями»**, понятие о которых **не** покрывается понятием **хозяйство.**

и правом—неудобным законодательством, регулирующим учреждение этих компаний. Такое противоречие может быть устранено только одним путем: путем уничтожения разрешительной системы и замены ее так называемой явочной системой, несравненно более удобной. И, конечно, явочная система,—именно, как несравненно более удобная,—рано или поздно будет принята законодателем. Приспособление правовой нормы к хозяйственному явлению произойдет здесь, можно сказать, само собою, и нужно быть, по французскому выражению, fou à lier, чтобы заводить речь о социальной революции там, где развитие общественной жизни выдвигает только противоречия этого рода.

Но чем же отличается этот род противоречий? Тем, что хозяйственные явления, противоречащие буржуазному праву, нисколько не противоречат, однако, экономической основе этого права, т.-е. имущественным отношениям капиталистического общества.

Теперь спрашивается: говорил ли когда-нибудь сам Маркс или кто-нибудь из его «ортодоксальных» последователей, что коренные изменения общественного строя вызываются противоречиями этого рода? Нет, этого не говорили ни Маркс, ни его ученики. По-Марксу (мы указывали на это уже много раз, но вынуждены опять повторить это), социальные революции подготовляются и делаются неизбежными благодаря противоречию между производительными силами общества и теми его имущественными отношениями, на основе которых держится свойственное этому обществу право. Это противоречие принадлежит совершенно к другому (несравненно более опасному) роду; с появлением этого противоречия начинается эпоха коренного общественного переустройства. Топить его в неопределенных и потому бессодержательных разглагольствованиях о противоречии между хозяйственными явлениями и правовыми учреждениями и о приспособлении права к хозяйству—значит не выяснять вопрос, а запутывать и затемнять его до последней степени. И поистине нужен весь, «целиком взятый», «kritischer Geist» господина П. Струве, чтобы хоть на минуту вообразить, будто подобное запутывание и затемнение вопроса равносильно дальнейшему поступательному движению «реалистической» мысли, лежащей в основе марксизма, как исторической теории. Это не только не поступательное движение, но даже и не моцион мысли (как говаривал покойный А. С. Хомяков), а просто-напросто беспорядочная и бессодержательная, а потому совершенно бесплодная и бесполезная теоретическая суета вокруг пустого места. Подобная суета может доставить величайшее наслаждение людям, о которых говорит Куно Фишер словами, поставленными нами в эпиграфе, но для науки она хуже, чем ничего, для нее она—огромный шаг назад, отрицательное явление.

Что право, свойственное данному обществу, вырастает на осно-

ве его экономической структуры (имущественных отношений), это категорически говорит сам Маркс) [1]). И это можно подтвердить целым рядом самых неоспоримых примеров. Кто не знает теперь, что имущественные отношения диких охотничьих племен насквозь пропитаны коммунизмом и что на основе этих коммунистических отношений вырастает соответствующее им обычное право? Кому неизвестно, что на почве феодальных имущественных отношений (на основе «феодальной организации земледелия и промышленности») выросла целая система правовых учреждений, получавших свои питательные соки из этой почвы и исчезнувших вместе с нею? Кто не слыхал о том, что современное буржуазное право, например, уже упомянутый выше Code Civil, выросло на почве буржуазных имущественных отношений? Сам г. П. Струве, комментируя Маркса, называет надстройкой правовые и политические отношения, возникающие на основе данной экономической структуры или данных имущественных отношений. И сам же г. П. Струве признал, что коренным противоречием, указываемым марксовой теорией социального развития, является противоречие между производительными силами общества и его имущественными отношениями. Почему же он немедленно забывает об этом коренном противоречии и подменяет его второстепенным противоречием между теми хозяйственными явлениями, которые совершаются внутри данной экономической структуры, и правом, которому эта структура служит, по выражению Маркса, реальным базисом? Чем может оправдать он такую подмену?

Возьмите кризисы, на которые «Манифест Коммунистической партии» указывает, как на явление, служащее наиболее ярким подтверждением той мысли, что производительные силы буржуазного общества переросли свойственные ему имущественные отношения, или его экономическую структуру, и скажите, читатель, противоречит ли это хозяйственное явление праву, выросшему на почве буржуазных имущественных отношений, например, хоть французскому кодексу 1804 года? Наивный и смешной вопрос! Кризисы так же мало противоречат гражданскому праву буржуазного общества, как вексельный курс—его уголовному праву. Не кризисы противоречат Code Civil, а производительные силы противоречат экономической структуре («имущественным отношениям»), лежащей в основе этого кодекса. Но что же означают эти слова: производительные силы буржуазного общества противоречат его экономической структуре, его имущественным отношениям? Они означают, что эти отношения препятствуют применению этих сил во всем

---

[1]) «Совокупность этих отношений производства составляет экономическую структуру общества, **реальный бизис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка**". («Zur Kritik etc,», Vorwort, курсив наш.)

их объеме и что, когда эти силы получают широкое применение, они нарушают правильный ход народного хозяйства. Выходит, стало быть, что чем более развиты производительные силы общества, тем опаснее становится для него их полное применение. И это противоречие не может быть устранено до тех пор, пока продолжают существовать буржуазные имущественные отношения [1]). Для его устранения необходима социальная революция, которая разрушит буржуазные имущественные отношения и заменит их социалистическими, имеющими совершенно другой характер. Такой смысл имеет указание Маркса и Энгельса. Приведенное ими в пример хозяйственное явление указывает на узость тех рамок (тех имущественных отношений), в которых заключена хозяйственная жизнь буржуазного общества и которые легли в основу буржуазного права. А их «критик» обходит молчанием (точнее: совершенно забывает, раз упомянув о них) как раз то самое противоречие, которое он считал коренной причиной социальных революций, и наивно замечает потом, что собственная теория Маркса, будучи правильно понята, не оставляет места для социальной революции, а предполагает «постоянную приспособленность права к хозяйству, как нормальную форму их сосуществования». Ввиду такой критики невольно вспоминаешь слова Крылова: слона-то ты и не приметил.

(Плеханов. «Г-н Струве в роли критика марксовой теории общественного развития». Сочинения. Гиз 1925. Т. XI, стр. 144—158.)

---

[1]) Здесь полезно оговориться. В последнее время многие г.г. «критики» (в их числе г. Туган-Барановский) указывали на то, что кризисы утратили теперь ту острую форму, какую они имели прежде, и что поэтому они уже не играют теперь той роли в развитии общественной жизни, которая не без основания приписывалась им Марксом. На это мы ответим вот что. Какова бы ни была теперь **форма** указанного Марксом явления, **сущность** его осталась неизменной. Это явление вызывается противоречием между производительными силами общества и его имущественными отношениями. Так называемые англичанами trade depressions **по форме очень не** похожи на кризисы, в собственном смысле этого слова, но **по существу** они имеют совершенно то же значение. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться хотя бы, например, с выводами, к которым пришла английская королевская комиссия, назначенная для исследования причин застоя в торговле и промышленности. «During the past 40 years,—читаем мы в записке, составленной некоторыми членами этой Комиссии, разошедшимися во мнениях с ее большинством,— during the past 40 years a great change has been wrought in the circumstances of all civilized communities by the application of mechanical and scientific aids to the production and transport of commodities the world over... The great difficulty consists no longer as of old, in the scarcity and dearness of the necessaries and conveniences of life, but in the struggle for an adequate share of that employment which affords to the great bulk of the population their only means of obtaining a title to a sufficiency of those necessaries and conveniences, however plentiful and cheap they may be... The growing difficulty (the struggle for an adequate share of employment in presence of the abundance and cheapness of commodities) finds its expression in the system of tarifis, exsport bounfies, and other comercial restrictions adopted and «maintained by all civilizad nations exept our own». «Final Report of the Royal commission etc.», p. LV).

V. ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННОСТИ.

§ 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ.

Гражданское общество охватывает все материальные сношения индивидов на определенной ступени развития производительных сил. Оно охватывает всю торговую и промышленную жизнь известной ступени развития и, следовательно, выходит в этом отношении из государственных и национальных рамок, хотя, с другой стороны, оно все же должно вовне выявить себя как национальность, а внутри организоваться как государство. Выражение «гражданское общество» появилось в XVIII в., когда из форм древней и средневековой общественной организации вылупились уже отношения собственности. Гражданское общество, как таковое, развивается лишь вместе с буржуазией, однако этим же именем обозначали всегда развивающуюся непосредственно из производства и сношений общественную организацию, образующую во все времена основу государства и всей прочей идеалистической надстройки.

Отношение государства и права собственности.

Первой формой собственности, как в древнем мире, так и в средние века, является племенная, родовая собственность, вызванная у римлян главным образом войной, у германцев—скотоводством. Так как в древности в одном городе жили совместно несколько родов, то родовая собственность имела тогда характер государственной собственности, а право на нее отдельного индивида сводилось к простому владению (possessio), которое, однако, как и вся вообще родовая собственность, начинается у древних народов, как и у новых, лишь вместе с движимой собственностью — рабы и общественная организация (dominium ex jure Quiritum). У вышедших из средних веков народов родовая собственность проходит ряд различных ступеней,—феодальная земельная собственность, кооперативная движимая собственность, мануфактурный капитал,—пока она не разовьется в современный, порожденный крупной промышленностью и универсальной конкуренцией, капитал, в эту чистую частную собственность, лишившуюся всякого следа общественного характера и устранившую всякое воздействие государства на развитие собственности. Этой современной частной собственности соответствует современное государство, которое, при посредстве нало-

гов, постепенно продалось частным собственникам, а благодаря государственным долгам, оказалось совершенно в их власти, и существование которого, в зависимости от повышения и понижения государственных бумаг на бирже, целиком зависит от кредита, оказываемого ему частными собственниками—буржуа. Так как буржуазия уже не является больше сословием, а представляет собой класс, то она вынуждена организоваться не в местном, а в национальном масштабе и должна придать своему классовому интересу всеобщую форму. Благодаря отчуждению частной собственности от общества государство стало особым существом (Existenz), рядом и вне гражданского общества; но оно на деле не что иное, как форма организации, которую необходимым образом придают себе буржуа, как вовне, так и внутри, в целях взаимной гарантии своей собственности и своих интересов. Самостоятельность государства существует в наше время лишь в таких странах, где сословия еще не развились сполна в классы, где уничтоженные уже в прогрессивных странах играют еще некоторую роль, и существует еще то смешение общественных группировок, при котором ни одна часть населения не может господствовать над другими частями населения. Это имеет место в особенности в Германии. Совершеннейшим образом современного государства является Северная Америка. Новейшие французские, английские и североамериканские писатели утверждают единодушно, что государство существует только ради частной собственности, так что мысль об этом проникла уже в сознание людей.

Так как государство, это—та форма, в которой индивиды некоторого господствующего класса выявляют свои коллективные интересы и в которой концентрируется все гражданское общество некоторой эпохи, то отсюда следует, что все учреждения общего характера создаются государством, получая, благодаря этому, политическую форму. Этим объясняется иллюзия, будто закон основывается на воле, и притом на свободной, оторванной от своей реальной основы, воле. Точно так же и право сводят, в свою очередь, к закону.

Частное право развивается параллельно с частной собственностью из процесса разложения натуральной общественной организации. У римлян развитие частной собственности и частного права не имело дальнейших промышленных и торговых следствий, ибо их способ производства оставался неизменным (ростовщичество). У современных народов, у которых промышленность и торговля разложили феодальную организацию, вместе с возникновением частной собственности и частного права началась новая эра, оказавшаяся в этом отношении способной к дальнейшему развитию. Первый же город, ведший в средние века обширную морскую торговлю,—Мальфи,—выработал и морское право. Лишь только промышленность и торговля развили дальше, сперва в Италии, а позже в других странах, частную соб-

ственность, как тотчас же было реципировано и возведено в авторитет разработанное римское частное право. Когда впоследствии буржуазия приобрела столько силы, что государи стали защищать ее интересы, чтобы при помощи ее сокрушить феодальную знать, тогда только и началось во всех странах—во Франции в XVI веке—собственное развитие права, совершившееся повсюду, за исключением Англии, на основе римского законодательства. Но и в Англии для дальнейшего развития частного права (в особенности связанного с движимой собственностью) пришлось обратиться к принципам римского права. (Не забыть, что право точно так же не имеет своей собственной истории, как и религия.)

В частном праве существующие отношения собственности выражаются в виде результатов всеобщей воли. Само jus utendi et abutendi выражает, с одной стороны, тот факт, что частная собственность стала совершенно независимой от общества, а с другой — ту иллюзию, будто сама частная собственность основывается на голой частной воле, на произвольном распоряжении вещью. На практике это abuti имеет определенные экономические границы, если частный собственник не хочет, чтобы его собственность, а значит, и его jus abutendi перешло в другие руки: ведь вещь, рассматриваемая только в отношении к его воле, не есть вовсе вещь; она становится вещью, реальной собственностью только в процессе сношений (Verker) и независимо от права (отношение, называемое философами идеей) [1]. Эта юридическая иллюзия, сводящая право к голой воле, приводит, при дальнейшем развитии отношений, неизбежно к тому, что кто-нибудь может иметь юридический титул на какую-нибудь вещь, не имея на деле самой вещи. Если, например, благодаря конкуренции, какой-нибудь кусок земли перестает давать ренту, то хотя собственник его имеет юридический титул на него вместе с jus utendi и abutendi, но они ему ни к чему: как земельный собственник, он не имеет ничего, если не обладает сверх того достаточным капиталом для обработки своей земли. Этой же самой иллюзией юристов объясняется то, что для них и вообще для всякого законодательства является случайным фактом то, что индивиды вступают между собой в отношения, как такие, в которые можно по произволу вступить или не вступить и содержание которых зависит от индивидуальной воли договаривающихся сторон. Всякий раз, когда развитие промышленности создавало новые формы сношений, например, страховые и т. д. компании, право было вынуждено включить их, как новые виды приобретения собственности.

Рукой Маркса: «Влияние разделения труда на науки [неразборчиво].

---

[1]) Марксом написано на полях: отношение — для **философа идея.** Они знают лишь отношение **«человека»** к самому себе, и поэтому все реальные отношения становятся для них идеями.

Закону буржуа должны уметь придать всеобщее выражение именно потому, что они господствуют как класс.

Естествознание и история.

Не существует вовсе истории политики, прав, науки искусства, религии.

Почему идеологи ставят все на голову.

* * *

Богословствующие, юристы, политики.

Юристы, политики (вообще государственные деятели), моралисты, богословствующие. Для этих идеологических индивидов внутри класса — объективирование его занятия благодаря разделению труда; каждый считает свою профессию истинной. Они тем неизбежнее составляют себе иллюзии о связи своей профессии с действительностью, что это обусловлено уже самой природой профессии. Отношения становятся в юриспруденции, политике и т. д. в сознании понятиями; так как они не вышли из рамок этих отношений, то и понятия их являются в их голове свободными понятиями. Так, например, судья применяет кодекс; поэтому в его глазах законодательство кажется истинным, активным (неразборчиво), так как их занятие имеет дело со всеобщими. Идея права. Идея государства. В обыкновенном сознании вещи поставлены на голову.

(Маркс и Энгельс. «Фейербах», «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Гиз 1924. Кн. I, стр. 251—253.)

* * *

Поскольку каждая единичная сделка постоянно совершается здесь в полном согласии с законом товарного обмена, т.-е. поскольку капиталист всегда покупает рабочую силу, а рабочий всегда ее продает и притом—допустим даже и это—по ее действительной стоимости, постольку очевидно, что закон присвоения, или закон частной собственности, покоящийся на производстве и обращении товаров, превращается путем собственной, внутренней, неустранимой диалектики в свою прямую противоположность. Обмен эквивалентов, представлявшийся нам основной первоначальной операцией, претерпел такие изменения, что в результате обмен оказывается лишь внешней видимостью; в самом деле, часть капитала, обмененная на рабочую силу, во-первых, сама представляет лишь часть продукта чужого труда, присвоенного без эквивалента; во-вторых, она должна быть не только возмещена создавшим ее рабочим, но возмещена с новым прибавочным продуктом. Меновое отношение между капиталистом и рабочим становится, таким образом, простой видимостью процесса обра-

щения, простой формой, которая чужда своему собственному содержанию и лишь заменяет его действительный смысл. Постоянная купля и продажа рабочей силы есть форма. Содержание же заключается в том, что капиталист часть уже овеществленного чужого труда, постоянно присвояемого им без эквивалента, снова и снова обменивает на большее количество живого чужого труда. Первоначально право собственности казалось нам основанным на собственном труде. По меньшей мере, мы должны были принять это допущение, так как на рынке противостоят друг другу лишь равноправные товаровладельцы, при чем средством для присвоения чужого товара является исключительно отчуждение своего собственного товара, а этот последний может быть создан лишь трудом. Теперь же оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный труд или его продукт, для рабочего—невозможность присвоить себе свой собственный продукт. Отделение собственности от труда становится необходимым последствием того закона, исходным пунктом которого послужило, повидимому, их тождество.

(Маркс. «Капитал», Гиз 1923. Т. I, стр. 568.)

*
* * *

Частная собственность, добываемая личным трудом, покоящаяся, так сказать, на естественном сращении отдельного независимого рабочего с условиями его труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на эксплоатации чужого, хотя формально и свободного труда.

(Там же, стр. 755.)

*
* * *

Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, а потому и капиталистическая частная собственность есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство с неизбежностью процесса природы порождает отрицание себя самого. Это — отрицание отрицания. Оно восстановляет не частную собственность рабочего, но индивидуальную собственность на основе завоеваний капиталистической эры, т.-е. на основе кооперации и общего владения землей и другими средствами производства, которые произведены самим же трудом.

Превращение раздробленной, покоящейся на собственном труде отдельных лиц частной собственности в собственность капиталистическую есть, конечно, процесс несравненно более продол-

жительный, тяжелый и трудный, чем превращение капиталистической собственности, фактически уже основанной на общественном производстве, в общественную собственность. Там дело заключалось в экспроприации народной массы немногими узурпаторами, здесь народной массе предстоит экспроприировать немногих узурпаторов.

(Маркс. «Капитал», Т. I, стр. 756—757.)

§ 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ И НАСИЛИЕ.

Если, следовательно, г. Дюринг называет современную собственность насильственной собственностью и определяет ее как «такую форму господства, в основе которой лежит не только отстранение ближнего от пользования естественными средствами, необходимыми для существования, но, что еще важнее, превращение человека в холопа», — то он переворачивает вверх дном действительное соотношение фактов. Подчинение человека холопской службе во всех ее формах предполагает на стороне подчиняющего обладание средствами для приложения труда, с помощью которых он только и может использовать порабощенного, а при невольничестве, сверх того, и распоряжение жизненными средствами, необходимыми для содержания раба. Во всех этих случаях предполагается таким образом обладание известным, превышающим средний уровень, имуществом. Но как возникло последнее? Конечно, оно могло быть награблено, следовательно, основываться на насилии, но это вовсе не представляется необходимым. Оно могло быть добыто также трудом, украдено, нажито торговлей, обманом. Оно даже должно быть добыто трудом, раньше чем может вообще быть награбленным.

Вообще частная собственность появляется в истории отнюдь не как результат грабежа и насилия. Напротив, она существует уже, хотя и распространяясь только на известные предметы, в первобытной, естественно выросшей общине всех культурных народов. Уже в пределах этой общины, раньше всего в процессе обмена с чужеземцами, объекты частной собственности начинают принимать форму товара. Чем больше продукты общины принимают товарную форму, т.-е. чем меньше часть их производится для собственного потребления производителя и чем большая — для целей обмена, чем больше обмен вытесняет и внутри общины первоначальное, естественно сложившееся разделение труда,—тем более неравным становится также имущественное положение отдельных членов общины, тем глубже подрывается старое общинное владение землей, тем быстрее община идет навстречу своему разложению и превращается в деревню, состоящую из мелких землевладельцев-крестьян. Восточный деспотизм и сменявшееся господство завоевателей-кочевников в течение тысячелетий не были в силах причинить никакого вреда этим старым общинам; напротив, постепенное разрушение их естественно вы-

росшей домашней промышленности вследствие конкуренции продуктов крупной индустрии все больше и больше приводит к их разложению. О насилии здесь можно говорить так же мало, как и при ныне еще происходящем разделе общинных угодий в так называемых Gehöferschaften, лежащих на Мозеле и в Гохвальде: крестьяне просто считают выгодной для себя замену общинного владения полевой землей частной собственностью. Даже образование естественно выросшей аристократии, как она возникла на почве общинного землевладения у кельтов, германцев и в индийском Пятиречье, — даже оно покоится ближайшим образом не на насилии, а на добровольном начале и привычке. Повсюду, где образуется частная собственность, это происходит вследствие изменения условий производства и обмена, в интересах повышения производства и развития торговли, следовательно, по экономическим причинам. Насилие не играет при этом никакой роли. Ведь ясно, что институт частной собственности должен существовать, прежде чем грабитель может присвоить себе чужое добро: следовательно, насилие хотя и может переменить лицо владельца, но не может создать частную собственность, как таковую.

Но для того, чтобы объяснить «наложение на человека ярма холопской службы» в самой современной его форме наемного труда, мы также не можем ссылаться на насилие или на насильственную собственность. Мы уже упомянули, какую роль играет при разложении старых общин, следовательно, при прямом или косвенном распространении частной собственности, превращение продуктов труда в товары, т.-е. производство их не для собственного потребления, а для обмена. Между тем Маркс с недопускающей сомнений ясностью показал в «Капитале» (и г. Дюринг остерегается хотя бы словечком заикнуться об этом), что на известной стадии развития товарное производство превращается в капиталистическое производство и что на этой ступени «закон присвоения или закон частной собственности, покоящийся на товарном производстве и товарном обращении, превращается, вследствие собственной, внутренней, неизбежной диалектики, в свою противоположность: обмен эквивалентов, бывший первоначальной операцией, повернулся так, что теперь обмен происходит только видимый, поскольку, во-первых, обмениваемая на рабочую силу часть капитала сама представляет только часть продукта чужого труда, присвоенного без отдачи эквивалента, а во-вторых, поскольку эта часть капитала должна быть не просто только возмещена ее производителем, рабочим, а возмещена еще с избытком... Первоначально собственность явилась перед нами основанной на собственном труде... Теперь (т.-е. в конце процесса, исследованного Марксом) собственность является на стороне капиталиста как право на присвоение чужого неоплаченного труда, на стороне же рабочего—как фактор, лишающий его возможности присвоить себе свой собственный про-

дукт. Разобщение между собственностью и трудом становится необходимым последствием закона, который, казалось, исходил из их тождества». Другими словами, если мы даже исключим возможность всякого грабежа, насильственного действия и обмана, если мы допустим, что вся частная собственность покоилась первоначально на личном труде собственника, и что во всем дальнейшем ходе вещей обменивались друг на друга только равноценности, то мы все-таки при дальнейшем развитии производства и обмена неизбежно приходим к современному капиталистическому способу производства, т.-е. к монополизации орудий производства и необходимых предметов потребления в руках одного, малочисленного, класса, к низведению другого класса, составляющего громадное большинство, до положения неимущих пролетариев, к периодической смене спекулятивного производства и торговых кризисов и ко всей нынешней анархии производства. Весь процесс объясняется чисто экономическими причинами, и для понимания его нет решительно никакой необходимости ссылаться на грабеж, насилие, государственное или какое-либо иное политическое вмешательство. «Насильственная собственность» оказывается и в этом случае просто хвастливой фразой, которая должна прикрыть недостаток понимания действительного хода вещей.

(Энгельс. «Анти-Дюринг».)

§ 3. СУЩНОСТЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБЛАДАНИИ, А В ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ.

Штирнер опровергнул выше коммунистическое уничтожение частной собственности тем, что он превратил частную собственность в «имение», а затем глагол «иметь» провозгласил неотъемлемым словом, вечной истиной, ибо ведь в коммунистическом обществе может случиться, что он будет «иметь» боли в желудке. Точно так же обосновывает он невозможность уничтожения частной собственности, пользуясь этимологической связью между словами «собственность», превратив ее в понятие собственности, пользуясь этимологической связью между словами «собственность» (Eigentum) и «собственный» (eigen) и провозглашая слово «собственный» (eigen) вечной истиной, ибо все же и в коммунистическом строе может случиться, что он будет иметь «собственные» боли в желудке. Вся эта теоретическая нелепость, имеющая убежище в этимологии, была бы невозможна, если бы действительная частная собственность, к уничтожению которой стремятся коммунисты, не была бы превращена в абстрактное понятие: «собственность». Благодаря этому, с одной стороны, можно ничего не сказать о действительной частной собственности, можно даже о ней ничего не знать, а с другой,—можно всегда легким способом открыть в коммунизме противоречие: после уничтожения (действительной) соб-

ственности, конечно, можно легко найти всякого рода вещи, которые легко можно будет подвести под категорию «собственности». В действительности дело обстоит, разумеется, совершенно иначе. В действительности я обладаю частной собственностью постольку, поскольку у меня есть что-либо для продажи, в то время как мое своеобразие может быть абсолютно не продаваемым. Мой сюртук лишь до тех пор частная собственность для меня, покуда я могу его продать, заложить. Если же он теряет это свойство — превращается в лохмотья,—то для меня он может еще иметь всякого рода свойства, которые являются ценными для меня, он может даже стать моим свойством, может сделать меня оборванцем, но ни одному экономисту не придет в голову причислить его к моей частной собственности, ибо он не дает мне возможности распоряжаться хотя бы самым ничтожным количеством чужой работы. Юрист, идеолог частной собственности, может, конечно, еще здесь кое-что выкопать и пороть дичь. Частная собственность отчуждает индивидуальность не только людей, но и вещей. Земля и почва не имеет никакого дела с земельной рентой, машина—с прибылью.

(Маркс и Энгельс. «Святой Макс». Гиз 1920, стр. 194—195.)

§ 4. КОНКРЕТНЫЕ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И ОБУСЛОВЛЕННОЕ ИМИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ГОСПОДСТВО.

«Я ничего не могу сделать, если г. Энгельс и наши коммунисты так слепы, что не видят, что власть господствует и над собственностью, и несправедливость в отношениях собственности поддерживается одной лишь властью. Я называю дураком и трусом всякого, кто враждует с буржуа из-за его денег и оставляет в покое короля с его властью».

«Власть господствует над собственностью». Собственность, во всяком случае, тоже представляет из себя своего рода власть. Экономисты, например, называют капитал «властью над чужим трудом». Итак, перед нами двоякого рода власть: с одной стороны—власть собственности, т.-е. собственников, с другой стороны—политическая власть, власть государственная. «Власть господствует и над собственностью». Это значит: собственность не имеет в своих руках политической власти, и последняя даже раздражает ее, например, произвольным введением налогов, конфискациями, проявлениями, ненужным вмешательством бюрократии в ход промышленности и торговли, и т. п.

Другими словами: буржуазия еще не конструировалась политически в класс. Государственная власть еще не превратилась в ее собственную власть. Для стран, где буржуазия уже завоевала себе политическую власть, где политическое господство стало не чем иным, как господством не отдельного буржуа над своими рабочими, а класса буржуазии над всем обществом, для таких стран утверждение г-на Гейнцена теряет свой смысл.

Лишенные собственности, конечно, не затрогиваются политическим господством, поскольку последнее касается непосредственно собственности. Господин Гейнцен воображает, что изрек истину, столь же вечную, как и оригинальную; на самом же деле он лишь отметил тот факт, что немецкая буржуазия должна завоевать себе политическую власть, т.-е. сказал то же самое, что говорил Энгельс, но сказал он это бессознательно, искренно воображая, что говорит нечто диаметрально противоположное. Преходящее отношение между немецкой буржуазией и немецкой государственной властью он торжественно провозгласил в качестве вечной истины, показав таким образом, как делается из «движения» «твердое ядро».

«Несправедливость в отношениях собственности, — продолжает г. Гейнцен, — поддерживается только властью». Одно из двух: или под «несправедливостью в отношениях собственности» г. Гейнцен понимает упомянутый выше гнет, который немецкой буржуазии приходится испытывать даже в своих «священнейших» интересах от абсолютной монархии, и в таком случае он лишь повторяет только что сказанное; или под «несправедливостью в отношениях собственности» он понимает экономические отношения рабочих, и тогда его откровение имеет следующий смысл: теперешние буржуазные отношения собственности «поддерживаются» государственной властью, которую буржуазия организовала для защиты своих отношений собственности. Следовательно, там, где политическая власть находится уже в руках буржуазии, пролетарии должны ее низвергнуть. Они должны сами стать властью, революционной властью. Г. Гейнцен опять бессознательно говорит то самое, что сказал Энгельс, и опять искренно убежден, что говорит нечто совершенно противоположное. Он высказывает не то, что думает, а того, что думает, не высказывает.

Впрочем, если буржуазия политически, т.-е. при помощи своей государственной власти «поддерживает несправедливость в отношениях собственности», то она не создает ее. «Несправедливость в отношениях собственности, обусловленная современным разделением труда, современной формой обмена, конкуренцией, концентрацией и т. д., никоим образом не обязана своим происхождением политическому господству буржуазных классов, а, наоборот, политическое господство буржуазии вытекает из современных отношений производства, выдаваемых буржуазными экономистами за его необходимые и вечные законы. Поэтому, если пролетариат свергнет политическое господство буржуазии, его победа будет лишь мимолетной: она окажется лишь моментом в ходе самой же буржуазной революции, служащим ее дальнейшему развитию, как это было в 1794 г., и будет до тех пор, пока в ходе истории, в ее «движении» не выработались еще материальные условия, создающие необходимость устранения буржуазного способа производства, а следовательно, и окончатель-

ного падения политического господства буржуазии. Господство террора во Франции могло поэтому послужить лишь к тому, чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции. Буржуазия, с ее тревожной осмотрительностью, не справилась бы с такой работой в течение десятилетий. Кровавые действия народа лишь выровняли, следовательно, ее дорогу. Точно так же мимолетно было бы и падение абсолютной монархии, если бы экономические условия недостаточно созрели для господства буржуазного класса. Люди строят себе новый мир не из «богатств земных», как предполагает грубиянский предрассудок, а из исторических приобретений своего отживающего мира. В самом ходе своего развития они должны сперва создать материальные условия нового общества, и никакие усилия мысли или воли не могут освободить их от этой судьбы.

Все грубиянство «здравого человеческого рассудка», который черпает из «полноты жизни» и не калечит своих естественных наклонностей никакими философскими или другими научными занятиями, сказывается в том, что там, где ему удается заметить различие, он не видит единства, а там, где он видит единство, он не замечает различия. Когда он устанавливает различные определения, они тотчас же затвердевают у него под руками, и он видит самую вредную софистику в стремлении так столкнуть между собою эти понятия, чтобы они вспыхнули огнем. Когда г. Гейнцен, например, говорит, что деньги и власть, собственность и господство, приобретение денег и завоевание власти не одно и то же, он высказывает тавтологию, заключающуюся уже в самих словах, и это чисто словесное различие кажется ему геройским подвигом, который он, с полным сознанием своего ясновидения, выдвигает против слепых коммунистов, не останавливающихся на этом первом, чисто детском наблюдении.

Каким образом «приобретение денег» превращается в «приобретение власти», а «собственность»—в «политическое господство», т.-е. каким образом вместо твердо установленного различия, возведенного г. Гейнценом в догмат, устанавливаются взаимоотношения двух сил до их полного слияния,—понять довольно легко. Для этого Гейнцену следует только справиться о том, каким путем крепостные покупали себе свободу, а коммуны—свои муниципальные права; как горожане при помощи торговли и промышленности, с одной стороны, вытягивали деньги из кармана феодала и посредством долговых обязательств придавали подвижность поземельной собственности, а с другой стороны—помогали победе абсолютной монархии над ослабленными крупными феодалами и покупали себе их привилегии; как они впоследствии эксплоатировали финансовый кризис абсолютной монархии и т. д., и т. д. Г. Гейнцену следует обратить внимание на то, как благодаря системе государственных долгов—продукт современной индустрии и современной торговли—даже самые абсо-

лютные монархии делаются зависимыми от биржевых королей; как в интернациональных отношениях народов промышленная монополия непосредственно переходит в политическое господство, как это было, например, с владетельными князьями священного союза, являвшимися в «германской освободительной войне» не более как наемными солдатами Англии и т. д., и т. д.

Но, возведя, в своем грубиянском самомнении, такие различия, как между приобретением денег и приобретением власти, в «вечные истины», к которым «несомненнейшим образом» должно относиться так-то и так-то, «здравый человеческий смысл» создает себе посредством этих, не подлежащих колебанию, догматов желательную позицию, с которой удобно заливать своим нравственным возмущением «слепоту», «глупость» или «испорченность» противников догмы, приготовляя в то же время из этих сердечных излияний ту подливку, в которой должна плавать имеющаяся в запасе пара чахлых, захудалых истин.

Г. Гейнцен доживет еще до той поры, когда власть собственности вступит, даже в Пруссии, в насильственный брак с политической властью. Послушаем дальше: «Вы хотите сделать социальные вопросы главнейшей задачей нашего времени, и не видите, что нет более важного социального вопроса, как вопрос о монархии и республике». Только что г. Гейнцен видел лишь различие между властью денег и политической властью; теперь же он не видит ничего, кроме единства между политическими вопросами и социальными. Впрочем, «смешную слепоту» и «презренную трусость» своих антиподов он видит, конечно, по-прежнему.

Политические отношения между людьми являются, конечно, в то же время и социальными, общественными отношениями, как и все отношения, в которых люди сталкиваются между собою. Поэтому и все вопросы, касающиеся взаимных отношений между людьми, тоже являются социальными вопросами. И такими-то наивностями, место которым в катехизисе для 8-летних детей, г. Гейнцен не только хочет что-то такое сказать, а даже предполагает бросить значительную тяжесть на весы современных коллизий.

Случайно оказывается, что «социальные вопросы», которыми в наше время занимались, становятся все важнее, по мере того как мы выходим из области абсолютной монархии. Социализм и коммунизм берут свое начало не в Германии, а в Англии, Франции и Северной Америке. Первое появление действительной активной коммунистической партии мы видим во время буржуазной революции в тот момент, когда устранена была конституционная монархия. Наиболее последовательные республиканцы—в Англии левеллеры, во Франции Бабеф, Буонаротти и т. д.—первые подняли эти «социальные вопросы».

Заговор «Бабефа», описанный его другом и товарищем по партии Буонаротти, показывает, как эти республиканцы из «дви-

жения» почерпнули то убеждение, что с устранением социального вопроса о монархии и республике для пролетариата ни один «социальный вопрос» решен еще не был.

Вопроса собственности, как он ставится в «наше время», в формулировках Гейнцена нет и следа; это—простые вопросы совести или права: «справедливо ли, чтобы один человек обладал всем, а другой ничем; чтобы отдельный человек вообще мог чем-нибудь обладать» и т. п. Тогда как действительный вопрос собственности является перед нами в различных постановках, смотря по высоте, достигнутой общим развитием промышленности, и по различным ступеням этого развития, достигнутым в отдельных странах.

Для галицийских крестьян, например, вопрос собственности сводится к превращению феодальной земельной собственности в мелкобуржуазную земельную собственность. Он имеет для них тот же смысл, как и для французского крестьянства 1789 г. Английский сельский рабочий, наоборот, не имеет никаких отношений с землевладельцами. Он имеет отношение только к арендатору, т.-е. промышленному предпринимателю, вложившему капитал в землю вместо фабрики. С своей стороны, этот промышленный капиталист, платящий ренту землевладельцу, находится в непосредственных отношениях к землевладельцу. Поэтому уничтожение собственности на землю составляет самый важный вопрос собственности для английской промышленной буржуазии, и борьба против хлебных законов имела именно этот смысл. Для сельских наемных рабочих, наоборот, уничтожение прав собственности на капитал является в Англии таким же важнейшим вопросом собственности, как и для фабричных рабочих.

Для английской, как и для французской, революции вопрос собственности состоял в свободе конкуренции и уничтожении всех феодальных отношений собственности: помещичьей власти, цехов, монополий и т. д., которые превратились в цепи для развившейся в течение XVI—XVIII столетий индустрии. В «наше время», наконец, вопрос собственности состоит в уничтожении коллизий, порожденных крупной индустрией, развитием мирового рынка и свободной конкуренцией.

Вопрос собственности всегда был жизненным вопросом того или другого—в зависимости от степени развития промышленности—определенного класса. В XVII и XVIII столетиях, когда речь шла об отмене феодальных отношений собственности, вопрос собственности был жизненным вопросом буржуазии. В XIX столетии, когда дело идет об отмене буржуазных отношений собственности, вопрос собственности является жизненным вопросом рабочего класса. Тот вопрос собственности, который в «наше время» является всемирноисторическим вопросом, имеет, следовательно, смысл лишь в современном буржуазном обществе. Чем более развито это общество, чем, следовательно, буржуазия в какой-нибудь стране более развита экономически, и чем более, поэтому,

и государственная власть приняла буржуазный характер, тем резче выступает социальный вопрос: во Франции резче, чем в Германии, в Англии резче, чем во Франции, в конституционной монархии резче, чем в абсолютной, в республике резче, чем в конституционной монархии. Так, например, колебания кредитной системы, спекуляции и т. д. нигде не выступают в более острой форме, чем в Северной Америке. Нигде также и социальное неравенство не обнаруживается с большей яркостью, чем в восточных штатах Северной Америки, потому что здесь оно менее, чем где бы то ни было, затушевано политическим неравенством. Если пауперизм здесь не так развился еще, как в Англии, то это обусловлено экономическими условиями, на которых мы здесь не можем подробно останавливаться. Тем не менее, и здесь пауперизм делает блестящие успехи.

(Маркс. «Морализующая критика и критикующая мораль». «Под знаменем марксизма», 1923, № 4—5, стр. 25—29.)

§ 5. МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ.

Несмотря на всю кажущуюся страшную революционность книги «Qu'est ce que la Propriété?», мы и в ней уже находим противоречие, в которое попадал Прудон, с одной стороны, рассматривая общество глазами мелкого французского крестьянина и критикуя его с точки зрения этого последнего (позже—с точки зрения мелкого буржуа), а с другой стороны, прилагая к тому же обществу масштаб, заимствованный им у социалистов.

Недостатки этого произведения заметны уже в самом заглавии. Вопрос был поставлен так неправильно, что настоящего ответа на него и быть не могло. Античные «имущественные отношения» исчезли, уступивши место феодальным, эти последние перешли в «буржуазные». Сама история приложила таким образом свою критику к пережитым имущественным отношениям. Для Прудона дело шло в сущности лишь о существующей, современной буржуазной собственности. На вопрос: что она такое, ответ мог быть найден лишь в критическом анализе «политической экономии», охватывающей всю совокупность имущественных отношений, не в юридическом их выражении, не в качестве соотношений воли личностей, а в их реальной сущности, т.-е. в качестве отношений производства. Прудон втиснул всю совокупность этих экономических отношений в обычное юридическое представление о «собственности», «propriété», поэтому-то он и не мог пойти дальше ответа Бриссо, данного теми же словами и в подобном же произведении, еще до 1789 г.: «La propriété c'est le vol».

В лучшем случае ответ этот имеет лишь тот смысл, что буржуазное юридическое понятие о «воровстве» применимо

также и к «честному» доходу буржуа. Но так как «воровство», т.-е. насильственное нарушение собственности, заранее предполагает существование этой последней, то Прудон и запутался во всевозможных, ему самому неясных, хитросплетениях насчет истинной буржуазной собственности.

В каждую историческую эпоху собственность развивалась различно и при совершенно различном складе общественных отношений. Поэтому определить буржуазную собственность—значит сделать не что иное, как описание всех общественных отношений буржуазного производства.

Стремиться определить собственность, как независимое отношение, как особую категорию, как абстрактную и вечную идею—значит впадать в метафизическую или юридическую иллюзию.

(Маркс. «Нищета философии». Гиз 1920, стр. 32—33, 142.)

§ 6. ПРОТИВ БОГДАНОВСКОЙ «РЕВИЗИИ» МАРКСОВА ПОНИМАНИЯ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Касаясь далее вопроса о частной собственности, т. Богданов рассуждает таким образом: «Что такое означает, например, право частной собственности?—Общественное признание того, что определенное лицо может беспрепятственно и исключительно пользоваться определенными вещами, и общественное стремление помешать попытке нарушить это отношение». С виду это положение может показаться сходным со взглядами марксистов на право частной собственности, но только с виду. На самом деле оно не только не согласуется с марксистским воззрением, но противоречит ему самым решительным образом.

С точки зрения т. Богданова, объективность истины заключается в согласии мнений людей. Право на частную собственность является, сообразно этой его теоретической предпосылке, не следствием объективных условий, а исключительным продуктом солидарного общественного сознания. Спрашивается, под каким же влиянием и по какой причине может быть уничтожено общественное сознание, проникнутое необходимостью частной собственности и препятствующее ее уничтожению. На этот вопрос отвечает главный представитель имманентной философии Шуппе. Шуппе, будучи совершенно солидарен с Авенариусом и Махом в том, что единственным критерием объективной истины является согласие мнений людей, т.-е. общественное сознание, смотрит на отрицание частной собственности как на нарушение объективной священной истины, выработанной и установленной общественным сознанием многих поколений. И если т. Богданов не делает такого вывода, то это только по своей непоследовательности. Согласно материалистическому объяснению истории, право на частную собственность не есть продукт солидарного общественного сознания. Частная собственность возникла помимо

общественного сознания и постепенно приобретала свою правовую санкцию благодаря фактической имущественной силе тех, в чьих руках она скоплялась. Конечно, общество, основанное на частной собственности, проникается сознанием необходимости ее существования и считает ее естественным базисом общественной жизни. Но подобное сознание и подобное признание есть следствие существования частной собственности, а не причина ее возникновения. А из этого следует, что общественное признание частной собственности уничтожается по мере разложения тех объективных условий, на почве которых оно выросло. Но, припоминая, очевидно, марксову теорию, т. Богданов говорит, между прочим, следующее: «обыкновенно такое право (на частную собственность. *Л. А.*) устанавливается господствующими группами общества и принимает те отношения, которые именно этими группами признаются за нормальные, т.-е., вообще говоря, выгодные для них отношения». Экономическому фактору, который, кстати сказать, грубо отождествляется с сознательной выгодой, отводится, как видит читатель, второстепенное значение в возникновении права на частную собственность. Такой взгляд на роль и значение экономического фактора никогда не думали оспаривать ни Михайловский, ни Кареев, ни их последователи социалисты-революционеры.

Теперь становится понятным тот упрек, который т. Богданов делает Марксу. Как это было замечено, т. Богданов полагает, что Маркс смешал понятия, когда причислил имущественные отношения к «экономической структуре», между тем как они, на самом деле, относятся к «надстройке», т.-е. к идеологии. Тов. Богданов сильно ошибается в этом пункте. Маркс не смешивал понятий, а придерживался того убеждения, что имущественные отношения определяются отношениями людей в процессе производства, и что право санкционирует лишь существующие, фактические отношения. Подобный упрек показывает только то, что т. Богданов гораздо основательнее усвоил взгляды Штаммлера, нежели ту теорию, которую взялся углублять.

(Аксельрод. «Новая разновидность ревизионизма». Сборник «Филос. очерки». Тиз 1924, стр. 183—184.)

§ 7. ЗАДАЧА КОММУНИЗМА—УНИЧТОЖЕНИЕ БУРЖУАЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Имущественные отношения всегда подлежали постоянной исторической смене, постоянным историческим изменениям.

Так, например, французская революция уничтожила феодальную форму собственности в пользу собственности буржуазной.

Характерною особенностью коммунизма является не уничтожение собственности вообще, а уничтожение собственности буржуазной.

Но современная буржуазная частная собственность есть по-

следнее и самое полное выражение способа производства и присвоения продуктов, основанного на антагонизме классов, на эксплоатации одних другими.

В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности.

Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим будто бы уничтожить собственность, приобретенную личным трудом, собственность, служащую основанием личной свободы, самодеятельности и самостоятельности.

Заработанная, нажитая, благоприобретенная собственность! Говорите ли вы о мелко-мещанской и о крестьянской собственности, которая предшествовала собственности буржуазной? Нам нечего уничтожать ее: развитие крупной промышленности уничтожило или уничтожает ее ежедневно.

Или вы говорите о современной, буржуазной частной собственности?

Но разве наемный труд, труд пролетария, создает ему собственность? Никогда. Его труд создает капитал, т.-е. собственность, эксплоатирующую наемный труд, собственность, которая может умножаться только тогда, когда она создает новый наемный труд, чтобы вновь его эксплоатировать. В ее теперешнем виде собственность основывается на противоположности между капиталом и наемным трудом. Рассмотрим же обе стороны этой противоположности.

Быть капиталистом—значит занимать в производстве не только личное, но и известное общественное положение. Капитал есть продукт общего труда и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов, в последнем счете—всех членов общества.

Следовательно, капитал есть не личная, а общественная сила.

Если, поэтому, капитал будет обращен в общую, всем членам общества принадлежащую собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится только общественный характер собственности, она потеряет свой классовый характер.

(Маркс и Энгельс. «Коммунистический Манифест». Гиз 1924, стр. 79—80.)

* * *

Но не спорьте же с нами, оценивая уничтожение буржуазной собственности с точки зрения ваших буржуазных понятий о свободе, образовании, праве и т. д. Ваши идеи сами порождены буржуазными условиями производства и собственности, точно так же, как ваше право есть только возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями существования вашего класса.

Эгоистическое представление, при помощи которого вы превращаете ваши производственные и имущественные отношения из отношений исторически сложившихся и изменяющихся в ходе развития того же производства в вечные законы природы и разума, это представление вы разделяете со всеми прежде вас господствовавшими классами. Когда заходит речь о буржуазной собственности, вы не хотите понять то, что кажется вам понятным, когда говорят о собственности античной или феодальной.

(Там же, стр. 83.)

VI. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ЕГО СУЩНОСТЬ.

§ 1. ДОГОСУДАРСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.

Мы видим в греческом общественном устройстве героической эпохи еще в полной силе древнюю родовую организацию, но вместе с тем и начало ее разрушения: отцовское право с наследованием имущества детьми, что благоприятствовало накоплению богатств в семье и усиливало семью в ее отношении к роду; влияние имущественных различий на общественное устройство посредством образования первых начатков наследственного дворянства и монархии; рабство, сперва одних только военнопленных, но уже открывающее возможность обращения в рабство собственных соплеменников и даже сородичей; совершающееся уже вырождение старой войны племени против племени в систематическое разбойничество на суше и на море в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращение ее в регулярный промысел; одним словом, восхваление и почитание богатства, как высшего блага, и злоупотребление древними родовыми учреждениями для оправдания насильственного грабежа богатств. Нехватало лишь одного — учреждения, которое не только обеспечивало бы вновь приобретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родового строя, которое не только освящало бы прежде столь малоценную частную собственность и это освящение объявляло бы высшей целью всякого человеческого общества, но и давало всеобщее общественное признание развивающимся одна за другой новым формам приобретения собственности, а следовательно, и непрерывно ускоряющемуся накоплению богатства; нехватало учреждения, которое увековечило бы не только начинающееся разделение общества на классы, но и право имущего класса на эксплоатацию неимущих и господство первого над последним.

И такое учреждение появилось. Было обретено **государство.**

(Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и государства».)

§ 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВ.

I. Возникновение афинского государства.

Как развилось государство, частью путем преобразования органов родового строя или вытеснения их путем вставки новых органов и, наконец, полной замены их настоящими органами

государственной власти; как место действительно себя охраняющего «вооруженного народа» заступила вооруженная «общественная власть», подчиненная этим государственным органам, а следовательно, и могущая быть направленной против народа,— все это мы можем, по крайней мере, для начальной стадии, лучше всего проследить в древних Афинах. Изменения форм в существенном описаны Морганом, порождающее их экономическое содержание должен большей частью добавить я.

В героическую эпоху четыре племени афинян жили еще в различных частях Аттики; даже составлявшие их двенадцать фратрий, повидимому, жили отдельно в двенадцати городах Кекропса. Сохранялось общественное устройство героической эпохи: народное собрание, народный совет, базилевс. Насколько хватает писаная история, земля была уже поделена и перешла в частную собственность, как это и свойственно уже сравнительно развитому к концу высшей ступени варварства товарному производству и соответствующей ему товарной торговле. Помимо хлеба, производилось также вино и масличное масло; морская торговля по Эгейскому морю все более уходила из рук финикиян и попадала большей частью в руки аттических греков. Благодаря купле и продаже земельных участков, благодаря дальнейшему развитию разделения труда между земледелием и ремеслом, торговлей и мореходством, члены родов, фратрий и племен должны были скоро перемешаться, в округ фратрии и племени селились жители, которые, будучи соотечественниками, все же не принадлежали к этим группам, следовательно, были чужаками в месте своего постоянного жительства. Ибо каждая фратрия и каждое племя в спокойные времена сами управляли своими делами, не обращаясь в Афины к народному совету или базилевсу. Но те, кто жил на территории фратрии или племени, не принадлежа к ним, не могли, разумеется, принимать участие в этом управлении.

Все это так нарушило нормальное функционирование органов родового строя, что уже в героическую эпоху потребовались средства для устранения этого. Был введен приписываемый Тезею новый порядок. Перемена состояла, прежде всего, в том, что в Афинах было учреждено центральное правительство, а именно — часть дел, до сих пор находившихся в самостоятельном заведывании племен, была объявлена имеющей общий интерес и передана в заведывание заседающего в Афинах общего совета. Так афиняне сделали еще шаг дальше, чем какой-либо из туземных народов Америки: вместо простого союза живущих рядом племен явилось слияние их в единый народ. В связи с этим возникло афинское общее народное право, стоявшее выше правовых обычаев отдельных племен и родов; афинский гражданин получил, как таковой, новые права и новую правовую защиту также и в пределах той территории, где он являлся чуждым пришельцем. Но этим был сделан первый шаг к уничтожению

родового строя, ибо это было первым шагом к позднейшему допущению граждан, являвшихся чужестранцами во всей Аттике, целиком стоявших и оставшихся вне афинского родового строя. Второе, приписываемое Тезею нововведение состояло в разделении всего народа, не считаясь с родом, фратрией или племенем, на три класса—эвпатридов, или благородных, геоморов, или земледельцев, и демиургов, или ремесленников—и в предоставлении исключительного права на замещение должностей одним благородным. Впрочем, это подразделение, если не считать связанного с ним замещения должностей благородными, оставалось недействительным, так как вообще не вело за собой никаких правовых различий между классами. Но оно имеет важное значение, поскольку показывает нам новые общественные элементы, развившиеся в тиши. Оно показывает, что вошедшее в обычай замещение родовых должностей членами определенных семейств превратилось уже в мало оспариваемое право этих семей на общественные должности, что эти семьи, без того могущественные благодаря своему богатству, начали складываться вне своих родов в особый привилегированный класс, и что эти их притязания освящало лишь зарождающееся в этот период государство. Оно, далее, показывает, что разделение труда между крестьянами и ремесленниками упрочилось настолько, что уменьшило общественное значение прежнего деления на роды и племена. Оно, наконец, провозглашает непримиримое противоречие между родовым обществом и государством; первая попытка образования государства состоит в разложении родов, которое проявляется в разделении членов каждого рода на привилегированных и граждан второго сорта, а последних, в свою очередь, на два трудовых класса, и в противопоставлении этих групп друг другу.

Дальнейшая политическая история Афин вплоть до Солона известна весьма неполно. Должность базилевса утратила свое значение; во главе государства встали избранные из среды благородных архонты. Власть благородных усиливалась все больше и больше, пока, приблизительно в 600 году до нашего летосчисления она не сделалась невыносимой. Главным средством для уничтожения общей свободы явились при этом деньги и ростовщичество. Главное местопребывание благородных было в Афинах и их окрестностях, где морская торговля, а вместе с ней все еще при случае практикуемый морской разбой обогащали их и сосредоточивали в их руках денежные богатства. Отсюда развивающееся денежное хозяйство проникало, точно разъедающая кислота, в сельские общины, ведущие натуральное хозяйство. Родовой строй абсолютно несовместим с денежным хозяйством; разорение мелких крестьян Аттики совпало с распадом охранявших их старых родовых уз. Долговая расписка и заклад земли (ибо ипотеку изобрели уже афиняне) не считались с родом и фратрией. А старый родовой строй не знал ни денег, ни займов, ни денежных долгов. Поэтому все пышнее

расцветающее денежное господство благородных выработало также новое обычное право в целях обеспечения кредитора против должника, в целях освящения эксплоатации мелких крестьян владельцами денег. Поля Аттики сплошь пестрели столбами, на которых виднелись надписи, что данный участок заложен тому-то и тому-то, за такую-то сумму денег. Поля, свободные от таких надписей, были уже большей частью проданы, вследствие неуплаты в срок закладной суммы или процентов, и перешли в собственность благородного ростовщика; крестьянин мог быть доволен, если ему дозволяли оставаться на участке в качестве арендатора и жить на шестую часть продукта своего труда, уплачивая остальные пять шестых новому хозяину в аренду за землю. Более того. Если сумма, вырученная при продаже участка, не покрывала долга или если заем не был обеспечен залогом, то должник должен был продавать своих детей за границу в рабство, чтобы расплатиться с кредитором. Продажа детей отцом — таков был первый плод отцовского права и моногамии! А если и в таком случае кровопийца не был вполне удовлетворен, он мог продать в рабство самого должника. Такова была радостная заря цивилизации у афинского народа.

Прежде, когда условия жизни народа еще соответствовали родовому строю, такой переворот был бы невозможен; и здесь неизвестно, как он произошел. Вернемся на минутку к нашим ирокезам. У них было бы немыслимо положение, навязанное теперь афинянам, так сказать, без их участия и, безусловно, против их воли. У них остающийся из года в год неизменным способ добывания средств к жизни никогда не мог породить такие, навязанные извне, конфликты, такую противоположность между богатыми и бедными, между эксплоататорами и эксплоатируемыми. Ирокезы были далеки от власти над природой, но в границах, очерченных для них природой, они были господами своего производства. Если не считать неурожаев на их небольших огородах, истощения рыбных богатств в их озерах и реках и исчезновения дичи в их лесах, они знали заранее, на что могут рассчитывать при своем способе добывания средств к жизни. Они знали, что получат средства к существованию в скудном размере или в изобилии; но они знали также, что никоим образом не возможны непредвиденные общественные перевороты, разрыв родовых уз, разделение сородичей и соплеменников на противоположные, борющиеся друг с другом классы. Производство вращалось в самых узких рамках, но производители были хозяевами своего продукта. Это было громадное преимущество варварского производства, утраченное с появлением цивилизации, и обратное завоевание его, но на основе ныне приобретенного могучего господства людей над природой и возможного теперь свободного объединения, явится задачей ближайших поколений.

Иначе обстояло дело у греков. Появившаяся частная собственность на стада и предметы роскоши (утварь) повела к обмену

между отдельными лицами, превращению продуктов в товары. И в этом зародыш всего последующего переворота. Лишь только производители перестали сами непосредственно потреблять свой продукт и начали отчуждать его путем обмена, они утратили свою власть над ним. Они уже не знали, что станется с продуктом. Не была исключена возможность, что продукт будет употреблен потом против производителя для его эксплоатации и угнетения. Ни одно общество не может сохранить надолго свою власть над собственным производством и контроль над общественными влияниями своего процесса производства, если оно не уничтожит обмена между отдельными людьми.

Но афинянам пришлось узнать, как быстро, после возникновения обмена между отдельными людьми и с превращением продуктов в товары, начинает проявляться власть продукта над собственными производителями. Вместе с товарным производством появилась обработка земли отдельными лицами за собственный счет, а вскоре затем и земельная собственность отдельных лиц. Потом появились деньги, всеобщий товар, на которые обменивались все другие товары. Но, изобретая деньги, люди не подозревали того, что они создают этим новую общественную силу, такую имеющую всеобщее значение силу, перед которой должно будет склоняться все общество. И эта новая, внезапно возникшая сила, родившаяся без ведома и против воли собственных своих творцов, дала почувствовать свое господство афинянам со всей грубостью своего молодого возраста.

Что было делать? Древний родовой строй не только оказался бессильным против победного шествия денег; он был даже абсолютно неспособен найти внутри своих рамок хотя бы место для таких вещей, как деньги, кредиторы и должники, принудительное взыскание долгов. Но появилась новая общественная сила, и благочестивые пожелания, стремления вернуть доброе старое время не в состоянии сжить со света деньги и ростовщичество. Сверх того, в родовом строе был пробит ряд других второстепенных брешей. От поколения к поколению все больше перемешивались между собою члены различных родов и фратрий по всей территории Аттики и особенно в самом городе Афинах, хотя и теперь еще афинянин мог, правда, продать не-члену своего рода свой земельный участок, но не свое жилище. С прогрессом промышленности и сообщений, все полнее развивалось разделение труда между различными отраслями производства: земледелием, ремеслом, а в ремесле — между бесчисленными разновидностями его, торговлей, мореходством и т. п.; население распадалось теперь, в соответствии с своими занятиями, на вполне устойчивые и определенные группы, из которых каждая имела ряд новых общих интересов; для последних не было места внутри рода или фратрии, и поэтому для обслуживания их являлась необходимость в новых должностях. Количество рабов значительно возросло и в ту пору, должно быть, уже

намного превышало число свободных афинян; родовой строй первоначально совсем не знал рабства, а значит, и не знал средств, как держать в узде эту массу несвободных. И, наконец, торговля привлекла в Афины толпы чужестранцев, которые селились здесь ввиду возможности более легкого обогащения: в силу старого общественного устройства они тоже были бесправными и беззащитными и, несмотря на старинную терпимость, оставались чуждым элементом в народе.

Одним словом, родовой строй приходил к концу. Общество с каждым днем все более вырастало из его рамок; даже худшие отрицательные явления, возникавшие у него перед глазами, он не мог ни ослабить, ни устранить. А между тем незаметно развивалось государство. Новые группы, созданные разделением труда сперва между городом и деревней, а затем между различными городскими отраслями труда, породили новые органы для ограждения своих интересов; были учреждены всякого рода должности. И затем молодому государству потребовалась, прежде всего, собственная сила, которая у ведущих морскую торговлю афинян могла быть сперва лишь морской силой для ведения отдельных небольших войн и для охраны торговых судов. Неизвестно за сколько времени до Солона были учреждены наукрарии, небольшие территориальные округа, по двенадцать в каждом племени; каждая наукрария должна была соорудить, вооружить и снабдить экипажем одно военное судно и, кроме того, выставляла еще двух всадников. Это учреждение задевало родовой строй двояким образом. Во-первых, оно создавало общественную силу, уже не совпадавшую с совокупностью вооруженного народа; во-вторых, оно впервые разделяло народ для общественных целей не по родственным группам, но по территориальному сожительству. Какое это имело значение, об этом речь впереди.

Поскольку родовой строй не мог принести эксплоатируемому народу никакой помощи, это могло сделать лишь возникающее государство. И оно, действительно, доставило ее в виде установленных Солоном порядков, усилившись, при этом, за счет старого общественного устройства. Солон — нас здесь не интересует способ, каким он провел свою реформу, относящуюся к 594 году до нашей эры,—Солон открыл ряд так называемых политических революций и притом нападением на собственность. Все бывшие до сих пор революции были революциями в целях защиты одного вида собственности против другого вида собственности. Они не могли охранять один вид собственности, не посягая на другой. В Великой французской революции была принесена в жертву феодальная собственность, чтобы спасти собственность буржуазную; в революции, произведенной Солоном, должна была поплатиться собственность кредиторов в интересах собственности должников. Долги были попросту объявлены недействительными. Подробности нам точно неизвестны, но Солон

похваляется в своих стихах, что удалил залоговые столбы с заложенных земельных участков и вернул проданных за долги за границу и бежавших. Это было возможно лишь посредством открытого посягательства на собственность. И, действительно, начиная с первой и кончая последней из так называемых политических революций, все они были совершены ради защиты собственности одного рода и проводились путем конфискаций, называемых также грабежом, собственности другого рода. Во всяком случае, факт тот, что в течение полуторы тысячи лет частная собственность могла сохраниться лишь благодаря нарушениям прав собственности.

Но теперь необходимо было помешать возврату такого порабощения свободных афинян. Это достигалось, прежде всего, общими мерами, как, например, запрещением долговых обязательств, в силу которых закладывалась сама личность должника. Затем были установлены максимальные размеры земельной собственности, которою могло владеть отдельное лицо, чтобы положить хотя некоторые пределы жадности благородных к крестьянской земле. Но потом пошли и изменения в общественном устройстве; для нас важнейшими представляются следующие:

Совет был сведен к четыремстам членов, по сто от каждого племени; здесь, таким образом, основой оставалось племя. Но это был единственный пункт старого порядка, воспринятый новым государственным телом. Ибо в остальном Солон подразделил граждан на четыре класса, в зависимости от размеров их земельных владений и доходности последних; 500, 300 и 150 медимнов зерна (1 медимн равен, приблизительно, 1 литру) были минимальным доходом для первых трех классов; имевшие меньшие участки или совсем не обладавшие земельной собственностью попали в четвертый класс. Все должности могли замещаться лишь представителями высших трех классов, а высшие должности—лишь первого класса; четвертый класс имел лишь право говорить и голосовать в народном собрании, но здесь выбирались все должностные лица, здесь они должны были давать отчет в своей деятельности, здесь вырабатывались все законы, и здесь четвертый класс составлял большинство. Аристократические привилегии были частью возобновлены в форме привилегий богатства, но народ сохранил за собой решающую власть. Далее, четыре класса легли в основание новой организации войска. Первые два класса давали кавалерию; третий должен был служить в качестве тяжеловооруженной пехоты, четвертый—в легковооруженной, подвижной пехоте или во флоте и притом, вероятно, получал жалованье за свою службу.

Здесь, таким образом, был введен в конституцию совсем новый элемент — частная собственность. Права и обязанности граждан государства измерялись в зависимости от величины их земельной собственности, и поскольку приобретают влияние имущественные классы, постольку вытесняются старые группы, основанные

на кровном родстве; родовое общественное устройство потерпело новое поражение.

Соответствие между политическими правами и имущественным состоянием отнюдь не было, однако, таким учреждением, без которого не может существовать государство. Хотя оно и играло большую роль в конституционной истории государств, все же очень многие государства, и как раз наиболее развитые, обошлись без того. Да и в Афинах оно играло лишь преходящую роль; со времени Аристида доступ ко всем должностям был открыт каждому гражданину.

В течение следующих восьмидесяти лет афинское общество постепенно вошло в русло, в котором оно потом развивалось в следующие столетия. Расцветавшему в до-солоновскую эпоху земельному ростовщичеству был положен предел, равно как и безмерной концентрации землевладения. Торговля и ремесло, вместе с художественным ремеслом, благодаря рабскому труду развивавшиеся во все более крупных размерах, сделались господствующими промыслами. Развивалось просвещение. Вместо того, чтобы первоначальным жестоким образом эксплоатировать собственных сограждан, стали теперь эксплоатировать собственных афинских покупателей. Движимое имущество, денежное богатство и богатство в виде рабов и кораблей все более возрастало, но теперь оно уже не являлось только средством для приобретения земельной собственности, как это было в первое, ограниченное время,—оно сделалось самоцелью. Это, с одной стороны, создало победоносную конкуренцию старой власти благородных в лице нового класса богатых промышленников и купцов, а с другой стороны, отняло последнюю почву у старого родового строя. Роды, фратрии и племена, члены которых теперь жили рассеянные и совершенно перемешанные друг с другом по всей Аттике, сделались совсем непригодными для роли политических единиц; значительное число афинских граждан не принадлежало ни к какому роду, будучи переселенцами, которые, хотя и получили права гражданства, но не были приняты ни в один из старых родовых союзов; рядом с ними стояла еще непрерывно возрастающая масса чужеземных переселенцев, пользовавшихся лишь покровительством закона.

Между тем борьба партий продолжалась; благородные пытались вернуть себе прежние привилегии и на короткое время достигли преобладания, пока произведенная Клисфеном (509 г. до нашей эры) революция не низвергла их окончательно, а с ними и последние остатки родового строя.

В своем новом государственном устройстве Клисфен игнорировал четыре древних племени, основанные на родах и фратриях. Их место заняла совершенно новая организация на основе уже испробованного в наукрариях разделения граждан по месту их жительства. Решающее значение имела уже не принадлежность к родовым союзам, а исключительно местожи-

тельство; подвергался делению не народ, а территория, жители превращались в простую принадлежность территории.

Вся Аттика была разделена на сто общинных участков (демов), из которых каждый сам ведал свои дела. Живущие в каждом деме граждане (демоты) избирали своего старшину (демарха) и казначея, а также тридцать судей, которым были подсудны мелкие тяжбы. Демы получили также собственный храм и бога-покровителя или героя, при чем они выбирали священнослужителей. Высшая власть в деме сосредоточивалась в руках собрания демотов. Как справедливо замечает Морган, это—прообраз самоуправляющейся американской городской общины. С той же самой единицы, к которой приходит современное государство в результате своего высшего развития, начало возникающее государство в Афинах.

Десять таких единиц — демов — составляли племя, которое, однако, в отличие от древнего родового племени было названо теперь территориальным племенем. Оно было не только самоуправляющейся политической, но также и военной организацией; оно выбирало филарха или племенного старейшину, который командовал конницей, таксиарха, командовавшего пехотой, и стратега, стоявшего во главе всех вооруженных сил территории племени. Оно, далее, снаряжало пять военных судов с экипажем и начальником и получало в качестве покровителя—святого—какого-нибудь аттического героя, по имени которого и называлось. Наконец, оно выбирало пятьдесят представителей в афинский совет.

Завершалось все это афинским государством, которое управлялось советом, составлявшимся из пятисот избранных представителей десяти племен, а в последней инстанции — народным собранием, где мог принимать участие и пользовался правом голоса каждый афинский гражданин; рядом с этим архонты и другие должностные лица ведали различными отраслями управления и выполняли судейские обязанности. Высшего представителя исполнительной власти в Афинах не было.

С введением этого нового устройства и с допущением весьма значительного количества неполноправных граждан (частью вселившихся чужеземцев, частью отпущенных на свободу рабов), органы родовой организации были вытеснены из общественной деятельности; они выродились в союзы частного характера и религиозные товарищества. Но моральное влияние, унаследованное мировоззрение и мышление старой родовой эпохи еще долго после того передавались последующим поколениям, вымирая лишь мало-по-малу. Это сказалось в одном из последующих государственных учреждений.

Мы видели, что одна из существенных черт государства состоит в наличии общественной власти, отделенной от массы народа. Афины располагали в ту пору лишь народным войском и флотом, непосредственно выставляемым народом; войско и флот

охраняли границы извне и держали в узде рабов, которые уже тогда составляли значительное большинство населения. По отношению к гражданам общественная власть первоначально существовала лишь в роли полиции, которая так же стара, как государство, почему и наивные французы XVIII столетия говорили не о народах цивилизованных, а о nations policées. Афиняне учредили одновременно с своим государством также и полицию, настоящую жандармерию конных и пеших лучников. Но эта жандармерия составлялась из рабов. Эта палаческая должность представлялась свободному афинянину столь унизительной, что он предпочитал быть арестованным вооруженным рабом, чтобы только самому не заниматься таким позорным делом. В этом сказывался еще образ мыслей старого родового быта. Государство не могло существовать без полиции, но оно было еще молодо и не внушало еще достаточно морального почтения к себе, чтобы сделать заслуживающей уважения профессию, которая неизбежно должна была казаться гнусной бывшим членам родов.

Как хорошо оказалось приспособленным к новому общественному положению афинян сложившееся в главных своих чертах государство, свидетельствует быстрый расцвет богатства, торговли и промышленности. В основе общественных и политических учреждений лежали теперь уже классовые противоречия не между благородными и простым народом, а между рабами и свободными, между неполноправными и гражданами. Во время наивысшего расцвета общее количество афинских свободных граждан, считая женщин и детей, доходило всего до 90.000 душ на-ряду с 365.000 рабов обоего пола и 45.000 неполноправных поселенцев-иностранцев и вольноотпущенников. На каждого взрослого гражданина мужского пола приходилось, таким образом, по меньшей мере, 18 рабов и свыше двух неполноправных поселенцев. Большое количество рабов объясняется тем, что многие из них, под надзором надсмотрщиков, работали вместе в больших мануфактурах, обширных помещениях. Но с развитием торговли и промышленности стали происходить накопление и концентрация богатств в немногих руках, обнищание массы свободных граждан, которым оставалось лишь или, занявшись ремеслом, вступать в конкуренцию с рабским трудом, что признавалось постыдным, да и сулило мало успеха, или же превратиться в босяка. Они шли по последнему пути — при известных условиях с неизбежностью, — и так как они составляли массу, то они привели этим к гибели все афинское государство. Не демократия погубила Афины, как утверждают это европейские школьные учителя, виляющие хвостами перед монархами, а рабство, вытеснившее труд свободного гражданина.

Возникновение государства у афинян вообще представляет собою особенно типичный пример образования государства, потому что оно, с одной стороны, совершалось в чистом виде, без всякого воздействия внешнего или внутреннего порабощения

(захват власти Пизистратом не оставил никаких следов своего короткого существования), с другой стороны, потому что государство в данном случае возникает непосредственно из родового общества и притом в весьма высокой форме развития, в форме демократической республики, и, наконец, потому, что мы достаточно знаем все существенные подробности этого процесса.

II. Род и государство в Риме.

Из сказанного об основании Рима явствует, что первыми поселенцами были объединившиеся в одно племя несколько латинских родов (согласно сказанию, сто), к которым скоро присоединилось одно сабинское племя, тоже насчитывавшее сто родов, а затем и третье, состоявшее из различных элементов, племя, также имевшее, повидимому, сто родов. Весь рассказ с первого взгляда обнаруживает, что тут естественным являлся только род, да и последний в некоторых случаях был лишь отростком материнского рода, продолжавшего существовать на прежней родине. На племенах лежит печать искусственного образования, однако, большей частью, из родственных элементов и по образцу древнего, естественно выросшего, а не сколоченного племени. При этом не исключена возможность, что основным ядром каждого из трех племен могло служить настоящее старое племя. Промежуточное звено, фратрия, состояло из десяти родов и называлось курией; их было, таким образом, тридцать.

Общеизвестно, что римский род был таким же учреждением, как и род греческий; и если греческий род представляет собою дальнейшее развитие той общественной ячейки, первобытную форму которой мы видим у американских краснокожих, то это распространяется без дальнейших доказательств и на римский род. Мы можем, поэтому, быть здесь краткими.

Римский род, по крайней мере в древнейшую пору существования города, имел следующее устройство:

1. Взаимное право наследования членов рода; имущество оставалось внутри рода. Так как в римском роде, как и в греческом, господствовало уже отцовское право, потомство по женской линии исключалось из наследования. По закону двенадцати таблиц, древнейшему известному нам писаному римскому праву, наследовали в первую очередь дети, как единоутробные наследники; при отсутствии их — агнаты (родственники по мужской линии); при отсутствии их — остальные сородичи. Во всех случаях имущество оставалось внутри рода. Мы видим здесь постепенное проникновение в родовой обычай новых, порожденных возрастанием богатства и моногамией, правовых норм: первоначальное равное право на наследование всех сородичей сперва, — правда, весьма рано, как выше упомянуто, — ограничено на практике агнатами, а затем одними детьми и их потомством в мужской

линии; в двенадцати таблицах это, само собою разумеется, проявляется в обратном порядке.

2. Обладание общим кладбищем. Патрицианский род Клавдия при переселении из Регилл в Рим получил участок земли, а также в самом городе общее кладбище. Еще при Августе привезенная в Рим голова павшего в Тевтобургском лесу Вара была погребена в gentilitius tumulus; род (квинкцилианский), следовательно, обладал еще особым могильным курганом.

3. Общие религиозные празднества. Эти последние — sacra gentilitia — общеизвестны.

4. Обязательство не вступать в брак внутри рода. Это, повидимому, никогда не претворялось в Риме в писаный закон, но оставалось обычаем. Из всей громадной массы римских супружеских пар, имена которых дошли до нас, ни одна не имеет одинакового родового имени для мужа и жены. Наследственное право тоже подтверждает существование этого правила. Женщина выходом замуж утрачивает свои агнатические права, выходит из своего рода, ни она, ни ее дети не могут наследовать их отцу или братьям последнего, так как в противном случае утрачена была бы наследственная часть отцовского рода. Это имеет смысл только при предположении, что женщина не может выйти замуж ни за одного из членов рода.

5. Общее земельное владение. Последнее в первобытную эпоху всегда существовало с тех пор, как начали производить раздел земли, принадлежащей племени. У латинских племен мы находим землю частью во владении племени, частью рода, частью отдельных хозяйств, которыми тогда вряд ли являлись отдельные семьи. Ромулу приписывается первый раздел земли между отдельными лицами, приблизительно по гектару (два югера) на каждого. Однако мы еще позднее застаем землю в руках рода, не говоря уже о земле, принадлежащей государству, вокруг которой вращается вся внутренняя история республики.

6. Обязанность сородичей защищать и помогать друг другу. Писаная история показывает нам одни лишь обломки этого; римское государство с самого начала выступило на сцену такой преобладающей силой, что право защиты против оскорблений и насилий перешло к нему. Когда Аппий Клавдий был арестован, весь его род облачился в траур, даже те, кто были его личными врагами. Во время второй пунической войны роды объединились для выкупа своих захваченных в плен сородичей; сенат з а п р е т и л им это.

7. Право носить родовые имена. Оно сохранилось вплоть до императорской эпохи; вольноотпущенникам дозволялось принимать родовое имя своего бывшего господина, однако без приобретения родовых прав.

8. Право принятия в род чужаков. Это совершалось путем усыновления одною из семей (как у индейцев), что вело за собою принятие в род.

9. Право избирать и смещать старейшину нигде не упоминается. Но так как в первую пору существования Рима все должности замещались по выбору или по назначению народом, начиная с выборного царя, и так как жрецы курий тоже выбирались последними, то мы можем предполагать для старейшин (principes) родов то же самое, хотя избрание из одной и той же семьи в роде стало уже правилом.

Таковы были функции римского рода. За исключением уже завершившегося перехода к отцовскому праву они точно воспроизводят права и обязанности ирокезского рода; и здесь «заметно выглядывает ирокез».

Один лишь пример того, какая путаница понятий о римском родовом устройстве господствует еще поныне среди наших самых признанных историков: В статье Моммсена о римских собственных именах республиканской и августовской эпохи («Römische Forschungen» [1]), Берлин 1864, т. I) говорится следующее: «Кроме всех сородичей мужского пола, исключая, конечно, рабов, не усыновленных родом и не находящихся под его покровительством, родовое имя распространяется также на женщин... Племя (как Моммсен переводит здесь слово gens) представляет собою... происходящую от общего — действительного или предполагаемого или также выдуманного — предка, объединенную общими празднествами, кладбищем и наследованием группу, к которой могут и должны причислять себя все лично свободные индивидуумы, а следовательно, также и женщины. Затруднение представляет только определение родового имени замужних женщин. Последнее, конечно, отпадает, пока женщина могла выходить замуж не иначе, как за члена своего рода. Известно, насколько труднее было долгое время для женщин выйти замуж вне своего рода, чем внутри его, что подтверждается правом gentis enuptio, которое еще в шестом столетии давалось в награду в качестве личной привилегии... Но там, где имели место такие браки вне рода, женщина в древнейшую эпоху должна была переходить в племя (род) мужа. Нет ничего бесспорнее того, что женщина в древнем религиозном браке вступает в правовую и сакральную общину мужа и выходит из своей общины. Кто не знает, что замужняя женщина утрачивает активно и пассивно свое право на наследование в пользу своих сородичей, но зато входит в наследственный союз с своим мужем, детьми и его сородичами? И если она как бы усыновляется мужем и вступает в его семью, как может она оставаться чуждой его роду?».

Моммсен, таким образом, утверждает, что римские женщины, принадлежащие к какому-нибудь роду, могли первоначально вступать в брак только в н у т р и своего рода, что римский род, следовательно, был эндогамен, а не экзогамен. Взгляд этот, противоречащий всему тому, что известно у других народов, опи-

[1]) «Римские исследования».

рается главным образом, если не исключительно, на одно единственное, вызвавшее много споров, место у Ливия (книга XXXIX, гл. 19), согласно которому сенат в 568 году, с основания города, т.-е. в 186 г. до нашей эры, постановил, uti Feceniae Hispallae datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset quasi, ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere eceret, neu, quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset, — что Фецения Гиспалала должна иметь право располагать своим имуществом, уменьшать его, выйти замуж вне рода и избрать себе опекуна совсем так, как будто ее (умерший) муж передал ей это право по завещанию; что она может выйти взамуж вполне свободно и что тот, кто возьмет ее в жены, не будет признаваться совершившим плохой и постыдный поступок.

Бесспорно, здесь предоставляется Фецении, вольноотпущенной, право выйти замуж вне рода. Не менее того несомненно, что, согласно цитате, муж имел право по завещанию передать своей жене право выйти замуж после его смерти вне рода. Но вне *какого* рода?

Если женщина обязана была выходить замуж внутри рода, как это признает Моммсен, то и после замужества она оставалась в этом роде. Но, во-первых, эта утверждаемая эндогамия рода и является именно тем, что требуется доказать. А, во-вторых, если женщина должна была выходить замуж внутри рода, то, естественно, мужчина тоже должен был вступать в брак внутри рода, ибо иначе он не мог бы найти себе жены. Но тогда мы приходим к тому, что муж мог передать своей жене по завещанию право, которым он сам и для самого себя не обладал; мы приходим к правовой бессмыслице. Моммсен тоже чувствует это и поэтому делает следующее предположение: «для брака вне рода требовалось по праву, наверно, не только согласие имеющего власть, но и всех сородичей». Это, во-первых, очень смелое предположение, а во-вторых, оно противоречит ясному тексту приведенного места; сенат дает ей это право *вместо мужа*, определенно дает ей не больше и не меньше того, что мог бы дать ей ее муж, но дает он ей *абсолютное*, ни с какими другими ограничениями не связанное право; так что, если она воспользуется этим правом, ее новый муж не должен страдать от этого; сенат даже поручает нынешним и будущим консулам и преторам следить за тем, чтобы для нее из этого не вытекло никаких неприятностей. Таким образом, предположение Моммсена представляется совершенно недопустимым.

Предположим иное: женщина выходила замуж за мужчину из другого рода, но сама оставалась в своем прирожденном роде. Тогда окажется, согласно вышеприведенному месту, что ее муж имел право позволять жене вступить в брак вне собственного рода. Это значит, что он имел право распоряжаться в вопросах, касающихся рода, к которому он даже не при-

надлежал. Положение оказывается столь нелепым, что не зачем останавливаться на нем дальше.

Остается лишь предположить, что женщина в первом браке вышла замуж за мужчину из другого рода и посредством этого брака перешла в род мужа, как это Моммсен фактически и допускает для подобных случаев. При таком предположении сразу становится понятным все сказанное в цитате. Женщина, оторванная браком от своего старого рода и принятая в новый родовой союз мужа, стоит в последнем в совершенно особом положении. Хотя она и является членом рода, но не связана с ним кровным родством; самый характер ее принятия заранее исключает ее из общего запрета вступать в брак внутри рода, в который она вошла именно путем замужества; она, далее, принята в брачный союз рода, наследует в случае смерти мужа от его имущества, т.-е. от имущества члена рода. Что естественнее правила, чтобы, в целях сохранения имущества в роде, она была обязана выйти замуж за сородича своего первого мужа и ни за кого другого? И если должно быть сделано исключение, то кто может быть достаточно компетентен, чтобы уполномочить ее на это, как не тот, кто передал ей это имущество, как не ее первый муж? В тот момент, когда он передает ей часть имущества и одновременно с этим разрешает эту часть имущества перенести путем брака или вследствие брака в чужой род, это имущество еще принадлежит ему, он, следовательно, распоряжается буквально лишь своей собственностью. Что касается самой жены и ее отношения к роду мужа, то в этот род ввел ее именно муж актом своей свободной воли — браком; поэтому равным образом представляется естественным, чтобы он дал ей право выйти из этого рода посредством второго брака. Одним словом, дело оказывается простым и само собою понятным, лишь только мы отбросим удивительное представление об эндогамности римского рода и, вместе с Морганом, признаем его первоначально экзогамным.

Остается последнее предположение, которое тоже нашло своих сторонников и притом, пожалуй, наиболее многочисленных: цитата говорит лишь, «что вольноотпущенные служанки (libertae) не могли без специального разрешения e gente enubere (вступать в брак вне рода) или вообще совершать какой-либо из актов, который, будучи связан с capitis deminutio minima, повел бы за собою выход liberta из родового союза». (Lange, «Römische Alterthümer»[1]), Berlin 1856, I, стр. 195, где в вопросе о нашей цитате из Ливия делается ссылка на Гушке.) Если это предположение правильно, то цитата решительно ничего не доказывает о положении полноправных римлянок, и тогда не может быть и речи об обязанности последних вступать в брак только внутри рода.

---

[1]) Ланге. «Римские древности». Берлин.

Выражение enuptio gentis встречается только в этом единственном месте Ливия и больше нигде не попадается во всей римской литературе; глагол enubere (вступать в брак на сторону) встречается всего три раза, тоже у Ливия, и притом без всякого отношения к роду. Фантазия, будто римлянки могли вступать в брак только внутри рода, обязана своим существованием одному этому месту. Но она абсолютно не может быть защищаема. Ибо или это место относится к особым ограничениям для вольноотпущенниц, и тогда оно ничего не доказывает для полноправных (ingenuae); или же оно действительно и для полноправных, и тогда оно скорее доказывает, что женщина по общему правилу выходила замуж вне своего рода, но с замужеством переходила в род мужа, следовательно, против Моммсена и за Моргана.

Еще почти спустя триста лет после основания Рима родовые узы были столь прочны, что один патрицианский род, именно род Фабиев, мог предпринять собственными силами, с разрешения сената, настоящий военный поход против соседнего города Вейи. 306 Фабиев выступили в поход и все были убиты в засаде; единственный оставшийся в живых мальчик продолжил род.

Десять родов, как сказано, составляли фратрию, которая здесь называлась курией и получила более важные общественные функции, чем греческая фратрия. Каждая курия имела собственные религиозные церемонии, святыни и жрецов; последние, в своей совокупности, составляли одну из римских жреческих коллегий. Десять курий составляли племя, которое, вероятно, имело первоначально, подобно остальным латинским племенам, своего избираемого старейшину — военачальника и верховного жреца. Три племени составляли римский народ, populus romanus.

К римскому народу, таким образом, мог принадлежать только тот, кто был членом рода, а через свой род — членом курии и племени. Первоначальное общественное устройство этого народа сводилось к следующему. Общественные дела ведались сперва сенатом, который, как это впервые верно подметил Нибур, составлялся из старейшин трехсот родов; именно поэтому, в качестве родовых старейшин, они назывались отцами, patres, а их совокупность — сенатом (совет старейшин, от слова senex, старый). Вошедшее в обычай избрание старейшин из одной и той же семьи рода породило и здесь первые начатки племенной знати; эти семьи стали называться патрициями и начали предъявлять претензию на исключительное право вступления в сенат и замещения всех других должностей. Тот факт, что народ со временем примирился с этими притязаниями, которые превратились в действующее право, выражен в сказании о том, что Ромул предоставил первым сенаторам и их потомству патрициат со всеми его привилегиями. Сенат, как и афинское bulé, имел решающий

голос во многих вопросах и предварительно обсуждал более важные дела, в особенности новые законы. Последние решались народным собранием, которое называлось comitia curiata (собрание курий). Народ собирался, группируясь по куриям, в каждой курии, вероятно, по родам; при решении вопросов каждая из тридцати курий имела по одному голосу. Собрание курий принимало или отвергало все законы, избирало всех высших должностных лиц, в том числе и rex (так называемого царя), объявляло войну (но мир заключался сенатом) и в качестве высшей судебной инстанции выносило окончательное решение, при апелляции сторон, во всех случаях, когда дело шло о смертном приговоре римскому гражданину. Наконец, рядом с сенатом и народным собранием стоял rex, точно соответствовавший греческому базилевсу и отнюдь не бывший почти абсолютным царем, каким его изображает Моммсен[1]). Он тоже был военачальником, верховным жрецом и председателем в некоторых судах. Правами в области гражданского управления или властью над жизнью, свободой и собственностью граждан он отнюдь не обладал, поскольку они не вытекали из дисциплинарной власти военачальника или исполняющей приговор власти председателя суда. Должность царя (rex) не была наследственной; напротив, он сперва выбирался, вероятно, по предложению предшественника, собранием курий, а затем на втором собрании торжественно вводился в должность. Судьба Тарквиния Гордого доказывает, что он также мог быть смещен.

Как и греки в героическую эпоху, римляне жили во время так называемых царей в основанной на родах, фратриях и племенах и из них развившейся военной демократии. Если даже курии и племена являлись отчасти искусственными образованиями, они были созданы согласно подлинным, естественным образцам общества, из которого они возникли и которое окружало их еще со всех сторон. Пусть патрицианская знать уже приобрела твердую почву под ногами, пусть цари мало-по-малу пытались расширить свои полномочия, — все это ничуть не меняет основной характер общественного устройства, а в этом вся суть дела.

Между тем возрастало население города Рима и римской области, расширившейся благодаря завоеванию; рост этот происходил за счет частью новых поселенцев, частью населения покоренных, большею частью латинских, округов. Все эти новые

---

[1]) Латинское rex равнозначаще кельтско-ирландскому righ (племенной старейшина) и готскому reiks; что последнее слово, как и первоначально наше fürst (т.-е. как по-английски — first, по-датски — förste, первый), означало равным образом родового или племенного старейшину, явствует из того, что готы уже в четвертом веке имели особое слово для будущего короля, военачальника всего народа: thiudans. Артаксеркс и Ирод в переводе Библии Ульфиллы никогда не называются reiks, но только thiudans, а царство императора Тиберия не r e i k i, а thiudinassus. В имени готского туиданса, или как мы неточно переводим, короля Тиударейка, Теодориха, т.-е. Дитриха, оба эти обозначения слились в одно.

жители государства (вопроса о клиентах мы здесь не касаемся) стояли вне старых родов, курий и племен, следовательно, не составляли части populus romanus, собственно римского парода. Они были лично свободные люди, могли владеть земельной собственностью, должны были платить налоги и отправлять военную службу. Но они не могли занимать никаких должностей и не могли участвовать ни в собрании курии ни в дележе завоеванных государственных земель. Они составляли лишенный всех общественных прав плебс. Благодаря своей все возрастающей численности, своей военной выучке и вооружению, они сделались силой, угрожающей старому populus, теперь прочно оградившему себя от всякого прироста извне. Вдобавок к этому земля, повидимому, почти равномерно была распределена между populus и плебсом, тогда как торговое и промышленное богатство, впрочем, еще не сильно развившееся, принадлежало преимущественно плебсу.

Ввиду густого мрака, окутывающего всю легендарную первоначальную историю Рима,—мрака, еще значительно усиленного рационалистически-прагматическими толкованиями и сообщениями позднейших писателей-юристов,—невозможно сказать что-нибудь определенное ни о времени, ни о ходе, ни о причинах революции, которая положила конец древнему родовому строю. Несомненно лишь одно, что причина ее коренилась в борьбе между плебсом и populus.

Новое устройство, приписываемое царю Сервию Туллию и заимствованное из Греции, а именно, следуя законам Солона, создало новое народное собрание, в котором участвовали или из которого были исключены без различия populus и плебс, в зависимости от того, несли они или нет воинскую повинность. Все военнообязанное мужское население было разделено по своему имуществу на шесть классов. Минимальная сумма для пяти классов была установлена следующим образом: I класс — 100.000 ассов, II — 75.000, III — 50.000, IV — 25.000, V — 11.000, что, согласно Дюро де ла Маллю, равняется приблизительно 14.000, 10.500, 7.000, 3.600 и 1.570 маркам. Шестой класс, пролетарии, состоял из малоимущих, свободных от службы и налогов. В новом народном собрании центурий (comitia centuriata) граждане выступали по-военному, отрядами из центурий по сто человек в каждой, при чем каждая центурия имела один голос. Но первый класс давал 80 центурий, второй—22, третий—20, четвертый—22, пятый—30, шестой, для приличия, тоже давал одну центурию. К этому надо прибавить конницу, составлявшуюся из наиболее богатых и насчитывавшую 18 центурий; всего было, таким образом, 193 центурии, большинство голосов—97. Между тем всадники и первый класс вместе одни имели 98 голосов, т.-е. большинство. При их согласии остальные классы даже не спрашивались, решение считалось принятым.

К этому новому собранию центурий перешли теперь все политические права прежнего собрания курий (вплоть до некоторых

номинальных прав); курии и составляющие их роды были этим низведены, как и в Афинах, к роли простых частных и религиозных объединений, и они еще долгое время прозябали в качестве таковых, тогда как собрание курии скоро совсем умерло. А для того, чтобы вытеснить из государственного организма старые три родовых племени, были установлены четыре территориальных племени, наделенные рядом политических прав, при чем каждое из этих племен населяло определенную часть города.

Так был разрушен и в Риме, уже до отмены так называемой царской власти, древний общественный строй, покоившийся на личных кровных узах, а вместо него учреждено новое государственное устройство, в основу которого были положены территориальное деление и имущественные различия. Общественная власть сосредоточивалась здесь в руках граждан, обязанных отбывать военную службу, и была направлена не только против рабов, но и против так называемых пролетариев, освобожденных от военной службы и лишенных вооружения.

В рамках этого нового порядка, который лишь получил свое дальнейшее развитие при изгнании последнего, узурпировавшего действительную царскую власть, царя Тарквиния Гордого и при замене царя двумя военачальниками (консулами) с одинаковой властью (как и у ирокезов), — в рамках этого порядка развивается вся история Римской республики с ее борьбой между патрициями и плебеями за доступ к должностям и за обладание государственными землями, с конечным растворением патрицианской знати в новом классе крупных землевладельцев и денежных людей, которые постепенно поглотили все землевладение разоренных военной службой крестьян, обрабатывали возникшие таким образом громадные поместья рабами, обезлюдили Италию и этим проложили дорогу не только императорской власти, но и ее преемникам—германским варварам.

III. Образование государства у германцев.

Германцы, согласно Тациту, были весьма многочисленны. Приблизительное представление о размерах отдельных германских народов мы получаем у Цезаря; он определяет число появившихся на левом берегу Рейна усипетов и тенктеров, считая женщин и детей, в 180.000 душ. Таким образом около 100.000 на отдельный народ[1]), что уже значительно больше, чем, например, число всех ирокезов, взятых вместе, в период их процветания, когда они, не превышая 20.000 душ, являлись грозою

[1]) Принятая здесь цифра подтверждается одним местом у Диодора о галльских кельтах: «В Галлии живут многие народности неодинаковых размеров. У крупнейших из них численность населения достигает приблизительно 200.000 душ, у самых малых — 50.000». (Diodorus Siculus, V, 25). Таким образом в среднем — 125.000; галльские отдельные народы, при более высокой степени их развития, безусловно следует признать более крупными, чем германские.

всей страны от великих озер до Огайо и Потомака. Такой отдельный народ занимает на карте, если мы попробуем сгруппировать поселившиеся вблизи Рейна, более хорошо известные по сохранившимся рассказам, народы, в среднем приблизительно поверхность прусского административного округа, т.-е. около 10.000 кв. километров, или 182 кв. географические мили. Но Великая Германия (Germania Magna) римлян, вплоть до Вислы, охватывает в круглых цифрах 500.000 кв. километров. При средней численности отдельных народов в 100.000 душ, общая численность населения всей Великой Германии должна была доходить до пяти миллионов душ; для варварской группы народов — значительная цифра, для наших условий — 10 душ на квадратный километр, или 550—на квадратную географическую милю—в высшей степени малая. Но этим отнюдь не ограничивается число живших тогда германцев. Мы знаем, что вдоль Карпат до самых устьев Дуная жили германские народы готского племени—бастарны, певкины и другие, столь многочисленные, что Плиний составляет из них пятую главную ветвь германцев, и что они, уже за 180 лет до нашей эры, нанявшиеся на службу македонского царя Персея, еще в первые годы Августа прорвались до окрестностей Адрианополя. Если мы определим их численность только в один миллион, то вероятное число германцев к началу нашего летосчисления выразится по меньшей мере в шесть миллионов.

После окончательного поселения в Германии население должно было возрастать со все растущей быстротой; успехи в области промышленной деятельности одни могли бы доказать это. Находки в силезских болотах, судя по обнаруженным при этом римским монетам, относятся к третьему столетию. Таким образом к этому времени на побережье Балтийского моря существовала развивавшаяся металлическая и текстильная промышленность, велись оживленные сношения с Римской империей, царила среди богатых известная роскошь,—все это признаки более густого населения. Но как раз около этого времени начинается также общая наступательная война германцев по всей линии Рейна, римского пограничного вала и Дуная, от Северного до Черного моря,—прямое доказательство все большего увеличения населения, стремящегося к расширению. Три столетия длилась борьба, во время которой вся ветвь готских народов (исключая скандинавских готов и бургундов) удалилась на юго-восток и образовала левое крыло линии наступления, в центре которой верхнегерманцы (герминоны) прорвались на верхний Дунай, а на правом крыле искавоны, ныне называемые франками, устремились на Рейн; на долю ингевонов выпало завоевание Британии. В конце пятого столетия Римская империя, обессиленная, истекшая кровью и беспомощная, лежала беззащитной перед вторгающимися германцами.

Мы стояли выше у колыбели античной греческой и римской цивилизации. Здесь мы стоим у ее могилы. По всем странам,

лежащим по Средиземному морю, в течение столетий проходил все нивелирующий струг римского владычества. Там, где не оказывал сопротивления греческий язык, все национальные языки должны были уступить испорченному латинскому; исчезли все национальные различия, уже не существовало больше галлов, иберийцев, лигурийцев, нориков, все они превратились в римлян. Римская администрация и римское право повсеместно разрушили родовые союзы, а вместе с ними и последние остатки местной и национальной самодеятельности. Вновь испеченное римское гражданство не могло ничего заменить; оно не выражало никакой национальности, говорило лишь об отсутствии национальности. Элементы новых наций были повсюду налицо; латинские диалекты различных провинций все больше и больше отдалялись друг от друга; естественные границы, прежде делавшие Италию, Галлию, Испанию, Африку самостоятельными областями, еще существовали и давали также себя чувствовать. Но нигде не было налицо силы, способной создать из этих элементов новые нации; нигде еще не было и следа способности к развитию, силы сопротивления, не говоря уже о творческих возможностях. Для громадной массы людей на огромной территории единственной объединяющей связью служило римское государство, которое со временем сделалось ее злейшим врагом и угнетателем. Провинции уничтожили Рим; сам Рим превратился в провинциальный город, подобный другим — привилегированный, но уже переставший господствовать, переставший быть средоточием мировой империи, утративший свое значение резиденции императоров и их приближенных, которые жили теперь в Константинополе, Трире, Милане. Римское государство превратилось в гигантскую, сложную машину исключительно для высасывания соков из подданных. Налоги, государственные повинности и оброки разного рода погружали массу населения во все более глубокую нищету; это давление усиливалось до невыносимости благодаря вымогательствам наместников, сборщиков налогов, солдат. Своим мировым господством римское государство привело к такому положению: свое право на существование оно основывало на поддержании порядка внутри и на защите от варваров извне; но его порядок был хуже злейшего беспорядка, а варваров, от которых оно бралось защищать граждан, они ожидали, как спасителей.

Состояние общества было не менее отчаянным. Уже с последних лет республики римское владычество исходило из беспощадной эксплоатации завоеванных провинций; империя не только не устранила эту эксплоатацию, но, напротив того, сделала правилом. Чем больше разлагалась империя, тем выше становились налоги и повинности, тем бесстыднее грабили и выжимали чиновники. Торговля и промышленность никогда не были делом господствующих над народами римлян: только в сфере ростовщичества они превзошли все, что было до и после них. Существовавшая раньше и еще сохранившаяся торговля погибла от

вымогательств чиновников; уцелевшие остатки ее приходятся на восточную, греческую часть империи, которая лежит вне сферы нашего рассмотрения. Всеобщее обеднение, ухудшение путей сообщения и сношений, упадок ремесла, искусства, уменьшение населения, упадок городов, возвращение земледелия на низшую ступень, — таков был конечный результат римского мирового господства.

Земледелие, во всем древнем мире главная отрасль производства, теперь больше, чем когда-либо, стало снова занимать прежнее положение. В Италии громадные группы имений (латифундии), с конца республики охватывающие почти всю территорию, использовались двояким образом: или для пастбищ, где население вытеснялось овцами и быками, надзор за которыми требовал лишь небольшого количества рабов; или в качестве вилл, которые при помощи массы рабов вели садоводство в больших размерах, частью служили предметом роскоши для владельца, частью имели в виду сбыт на городских рынках. Крупные пастбища сохранились и были еще расширены; поместья-виллы и их садоводство и огородничество пришли в упадок вместе с обеднением своих владельцев и запустением городов. Основанное на рабском труде хозяйство латифундий перестало приносить доход; но в ту эпоху оно являлось единственно возможной формой крупного земледелия. Мелкое хозяйство снова сделалось единственно окупающей себя формой. Одна вилла за другой подвергались разбивке на мелкие парцеллы, которые передавались наследственным арендаторам, уплачивающим определенную сумму, или дольщикам—partiarii, которые были скорее управителями, чем арендаторами, получая за свой труд шестую, даже только девятую часть ежегодного продукта. Но преобладала сдача этих мелких парцелл колонам, которые уплачивали ежегодно определенную сумму, были прикреплены к земле и могли быть проданы вместе со своей парцеллой; хотя они и не были рабами, но не признавались также свободными, не могли вступать в брак со свободными, и браки их между собою не считались законными, но рассматривались, как и браки рабов, как простое сожительство. Они являлись предшественниками средневековых крепостных.

Античное рабство пережило себя. Ни в крупном сельском хозяйстве ни в городских мануфактурах оно уже не приносило дохода, оправдывающего затраченный труд, — рынок для его продуктов исчез. А в мелком земледелии и мелком ремесле, к которым свелось громадное производство времен расцвета империи, не было места для многочисленных рабов. Только для рабов, занятых в домашнем услужении и служивших целям роскоши богатых, оставалось еще место в обществе. Но умирающее рабство все еще проявляло себя тем, что заставляло признавать всякий производительный труд, как рабскую деятельность, недостойным свободных римлян, — а таковыми те-

перь являлись все. В результате, с одной стороны, возрастающее количество отпусков на волю излишних, ставших обузою рабов, а с другой стороны, увеличение числа колонов и превратившихся в босяков свободных (подобно poor whites бывших рабовладельческих штатов Америки). Христианство совершенно непричастно к постепенному отмиранию античного рабства. Оно в течение целых столетий уживалось в Римской империи с рабством и впоследствии никогда не запрещало работорговли христиан — ни у германцев на севере, ни у венецианцев на Средиземном море, ни позднейшей торговли неграми[1]). Рабство перестало окупать себя и потому отмерло. Но умирающее рабство оставило свое ядовитое жало в виде презрения к производительному труду свободных. То был безвыходный тупик, в который попал римский мир: рабство сделалось экономически невозможным, труд свободных морально презирался. Первое уже не могло, второй еще не мог сделаться основной формой общественного производства. Вывести из этого положения могла только коренная революция.

В провинциях положение было не лучше. Больше всего сведений мы имеем относительно Галлии. На-ряду с колонами здесь существовали еще свободные мелкие крестьяне. Чтобы обеспечить себя от насилий чиновников, судей и ростовщиков, они часто прибегали к защите, патронату, кого-либо из сильных мира сего; и поступали так не только отдельные крестьяне, но и целые общины, так что императоры в четвертом столетии неоднократно издавали указы с запрещением этого. Но находили ли защиту искавшие ее? Патрон ставил им условие, чтобы они переводили на него право собственности на их участки, взамен чего обеспечивали им пожизненное пользование последними — уловка, которую подметила святая церковь и которой она усердно пользовалась в IX и X столетиях в целях увеличения землевладения царства божьего и своего собственного. Тогда, правда, около 475 года, епископ Сальвиан Марсельский еще возмущенно громит такой грабеж и рассказывает, что гнет римских чиновников и крупных землевладельцев сделался столь невыносимым, что многие «римляне» бегут в уже занятые варварами местности и что поселившиеся там римские граждане ничего так не боятся, как возможности снова очутиться под римским владычеством. Что родители тогда часто продавали из бедности своих детей в рабство, доказывается изданным против этого законом.

Германские варвары в награду за то, что освободили римлян от их собственного государства, отняли у них две трети всей земли и поделили ее между собою. Раздел произошел согласно

---

1) По словам епископа Луитпранда Кремонского в X веке главной отраслью промышленности Вердена, следовательно, в священной Римской империи, была фабрикация евнухов, которые с большой прибылью вывозились в Испанию для мавританских гаремов.

порядкам родового строя; при сравнительно небольшой численности завоевателей, значительные пространства остались неразделенными, во владении частью целого народа, частью отдельных племен и родов. В пределах каждого рода пахотная земля и луга были по жребию поделены равными частями между отдельными хозяйствами; нам неизвестно, происходили ли в дальнейшем новые переделы, во всяком случае, последние скоро исчезли в римских провинциях, и отдельные участки превратились в отчуждаемую частную собственность — аллод. Лес и выгоны оставались неразделенными в общем пользовании; это пользование ими, а также способ обработки разделенной пашни регулировались древним обычаем и постановлениями всей общины. Чем дольше жил род в своем селе и чем больше постепенно сливались германцы и римляне, тем больше отступал на задний план родственный характер союза перед территориальным; род исчезал в марке, в которой, впрочем, еще достаточно часто были заметны следы происхождения из родственных отношений членов общины. Так незаметно растворился здесь родовой строй — по крайней мере, в странах, где удержалась марка: на севере Франции, в Англии, Германии, Скандинавии — в территориальном устройстве и оказался поэтому способным приспособиться к государству. Но он все же сохранил свой первобытный демократический характер, отличающий все родовое устройство, так что даже при дальнейшем его вырождении уцелели еще остатки родового строя, служившие оружием в руках угнетенных и дожившие до самого последнего времени.

Если, таким образом, в роде скоро исчезало сознание кровной связи, то это было следствием того, что в племени и во всем народе его органы тоже выродились в результате завоевания. Мы знаем, что господство над покоренными несовместимо с родовым строем. Здесь мы видим это в крупном масштабе. Германские народы, ставшие господами римских провинций, должны были организовать это свое завоевание. Но не представлялось возможным ни впитать массы римлян в организмы родов, ни господствовать над ними посредством последних. Во главе продолжающих вначале большею частью существовать римских местных органов управления надо было поставить вместо римского государства какую-то новую власть, и властью этой могло быть лишь другое государство. Органы родового строя должны были поэтому превратиться в государственные органы и притом под давлением обстоятельств весьма быстро совершить это превращение. Но ближайшим представителем народа-завоевателя являлся военачальник. Безопасность завоеванной области вовне и внутри требовала усиления его власти. Наступил момент для превращения власти военного вождя в королевскую власть — и это превращение совершилось.

Остановимся на Франкском государстве. Здесь в руки народа-победителя, в руки салического народа, попали не только обшир-

ные римские государственные владения, но также еще все обширные земельные участки, еще неразделенные между более крупными и мелкими окружными общинами и марками, а именно — все более крупные лесные массивы. Первым делом превратившегося из простого верховного военачальника в действительного властителя франкского короля было превращение этого народного достояния в королевское имущество, похищение его у народа и раздача в подарок или в лен своей дружине. Эта дружина, первоначально его личные боевые спутники и остальные низшие начальники войска, скоро возросла не только благодаря включению в нее римлян, т.-е. романизированных галлов, которые вскоре стали для него необходимы своим умением писать, своим образованием, своим знанием римского разговорного языка и латинского литературного языка, а также и местного права, но и благодаря рабам, крепостным и вольноотпущенникам, составлявшим его придворный штат, и из среды которых он выбирал своих любимцев. Всем этим лицам сперва большей частью дарились участки принадлежащей народу земли, а позднее в форме бенефиций отдавались во временное пользование, вначале в большинстве случаев до самой смерти короля. Так за счет народа закладывались основы нового дворянства.

Этого мало. При большом протяжении империи нельзя было управлять средствами старого родового строя; совет старейшин, если он уже давно не исчез, не мог бы собираться и был скоро заменен постоянными приближенными короля; старое народное собрание продолжало по видимости существовать, но тоже становилось все более и более собранием лишь низших начальников войска и вновь нарождающейся знати. Свободные крестьяне-землевладельцы, составлявшие массу франкского народа, были истощены и разорены вечными междоусобными и завоевательными войнами (последними особенно при Карле Великом) точно так же, как раньше римские крестьяне в последнее время республики. Эти крестьяне, которые первоначально составляли все войско, а после завоевания земли франков — его основное ядро, так обеднели к началу девятого столетия, что едва лишь один из пяти крестьян был в состоянии выступать в поход. Место непосредственно королем созываемого ополчения свободных крестьян заняло войско, составленное из служилых людей, вновь народившейся знати, в том числе также крепостных крестьян, потомства тех, кто прежде не знал другого господина, кроме короля, а еще раньше вообще не знал никакого господина и короля. При преемниках Карла Великого разорение франкского крестьянского сословия было довершено внутренними войнами, слабостью королевской власти и соответственными захватами знатных, к которым прибавились еще назначенные Карлом и стремившиеся к установлению наследственности своей должности графы областей, наконец, нападениями норманнов. Через пятьдесят лет после смерти Карла Великого франкское королевство

лежало столь же беспомощно у ног норманнов, как за четыре столетия до того Римская империя лежала у ног самих франков.

И не только бессилие вовне, но и внутренний общественный порядок или, скорее, беспорядок был почти такой же самый. Свободные франкские крестьяне очутились в том же положении, что и их предшественники, римские колоны. Разоренные войнами и грабежами, они должны были прибегать к покровительству народившейся знати или церкви, так как королевская власть была слишком слаба, чтобы охранять их; но это покровительство им приходилось покупать за дорогую цену. Как прежде галльские крестьяне, они должны были передавать право собственности на свой земельный участок покровителю, получая последний от него обратно в аренду на различных и меняющихся условиях, но всегда лишь при условии несения определенных повинностей и уплаты оброков; попав раз в такого рода зависимость, они мало-по-малу теряли и свою личную свободу; через несколько поколений они уже в большинстве своем превратились в крепостных. Как быстро происходила гибель свободного крестьянского сословия, показывает составленная Ирминоном поземельная книга аббатства Сен-Жермен де Пре, тогда близ, а теперь в самом Париже. В обширном владении этого аббатства, разбросанном на значительном пространстве, находились тогда, еще при жизни Карла Великого, 2.788 дворов, почти без исключения франков с германскими именами. В это число входили 2.080 колонов, 35 литов, 220 рабов и только 8 свободных поселенцев! Объявленный Сальвианом безбожным обычай, согласно которому покровитель заставлял крестьянина передавать ему в собственность свой земельный участок и возвращал ему последний лишь в пожизненное пользование, теперь повсюду практиковался церковью против крестьян. Все более входили теперь в обыкновение барщинные повинности, прообразом которых были римские angarii, принудительный труд для государства, равно как и повинности членов германской марки для сооружения мостов, дорог и других общих целей. Таким образом масса населения спустя четыреста лет вернулась, повидимому, к своему исходному пункту.

Но это лишь доказывало, что, во-первых, общественное расслоение и распределение собственности в клонящейся к упадку Римской империи вполне соответствовали тогдашнему уровню производства в земледелии и промышленности, а потому и стали неизбежны; что, во-вторых, этот уровень производства, в течение последующих четырехсот лет, существенно не понизился и не повысился, а потому с такой же необходимостью вновь породил такое же самое распределение собственности и те же самые классы населения. Город утратил в последние столетия существования Римской империи свое прежнее господство над деревней и не вернул его себе в первые столетия владычества германцев. Это предполагает низкую ступень развития как земледелия, так и промышленности. Такое общее положение

с необходимостью порождает крупных властвующих землевладельцев и зависимых мелких крестьян. Как мало возможно было привить такому обществу, с одной стороны, хозяйство римских латифундий с рабами, с другой стороны, новейшее крупное хозяйство с барщинным трудом, доказывают громадные, но почти бесследно прошедшие эксперименты Карла Великого с знаменитыми императорскими виллами. Они продолжались лишь монастырями и только у последних были плодотворны; но монастыри были ненормальными общественными организмами, в основе которых лежало безбрачие; они могли давать исключительные результаты, но должны были именно поэтому сами оставаться исключениями.

И все же за эти четыреста лет люди подвинулись вперед. Если даже в конце мы встречаем почти те же главные классы, что и вначале, то другими зато стали люди, составлявшие эти классы. Исчезло античное рабство, исчезли опустившиеся, обнищавшие свободные, презиравшие труд, как рабское занятие. Между римским колоном и новым крепостным стоял свободный франкский крестьянин. «Бесполезные воспоминания и тщетная борьба» гибнущего римского мира были мертвы и погребены. Общественные классы девятого столетия сформировались не в обстановке упадка гибнущей цивилизации, а среди мук родов цивилизации новой. Новое поколение, как господа, так и слуги, в сравнении с своими римскими предшественниками, были поколением мужей. Отношения между могущественными землевладельцами и зависимыми от них крестьянами, ставшие для первых безвыходной формой гибели античного мира, явились теперь для вторых исходным пунктом нового развития. И затем, как ни бесплодными представляются эти четыреста лет, они оставили один крупный результат: современные национальности, новую группировку и расчленение западно-европейского человечества для грядущей истории. Германцы в действительности вновь оживили Европу, и поэтому разрушение государств, происходившее в германский период, закончилось не норманно-сарацинским завоеванием, а дальнейшим развитием феодализма из бенефиций и отдачи под покровительство (коммендации) и столь громадным ростом населения, что всего лишь двести лет спустя были перенесены без вреда сильные кровопускания крестовых походов.

Но в чем состояло то таинственное волшебное средство, при помощи которого германцы вдохнули новую жизненную силу в тело умирающей Европы? Была ли это особая, прирожденная германскому племени чудодейственная сила, как это выдумывает наша шовинистическая историография? Совсем нет. Германцы, особенно в ту эпоху, были высоко-одаренным арийским племенем и притом в пору своего полного жизненного развития. Но омолодили Европу не их специфические национальные особенности, а просто... их варварство, их родовой общественный строй.

Их личная храбрость и честность, их свободолюбие и демократический инстинкт, видевший во всех общественных делах свое собственное дело, одним словом, все качества, утраченные римлянином и одни бывшие в состоянии образовать из тины римского мира новые государства и создать почву для возникновения новых национальностей, — чем было все это, как не характерными чертами варвара высшей ступени, как не плодами его родового устройства?

Если германцы преобразовали античную форму моногамии, смягчили мужское господство в семье, дали женщине более высокое положение, чем это когда-либо знал классический мир, — что̀ сделало их способными на это, как не их варварство, не их родовые обычаи, унаследованные пережитки из времен материнского права?

Если они в трех важнейших странах — в Германии, Северной Франции и Англии — сумели сберечь в феодальном государстве осколок настоящего родового строя в форме сельских общин (марка) и этим дали угнетенному классу, крестьянам, даже в период жесточайшего средневекового крепостного права, территориальную сплоченность и средство сопротивления, каких в готовом виде не заставали ни древние рабы ни современные пролетарии, — то чему следует приписать это, как не их варварству, их свойственному исключительно варварскому периоду способу расселения целыми родами?

И, наконец, если они смогли развить и сделать господствующей уже существовавшую у них на родине более мягкую форму зависимости, в которую и в Римской империи все более и более переходило рабство, — форму, которая, как первый отметил Фурье, дает порабощенному средство к постепенному освобождению, к а к к л а с с у (fournit aux cultivateurs des moyens d'affranchissement collectif et progressif), — форму, которая благодаря этому высоко стоит над рабством, при котором возможен лишь немедленный отпуск на волю без переходного состояния (уничтожения рабства победоносным восстанием древний мир не знает), тогда как крепостные средних веков в действительности постепенно провели свое освобождение, как целого класса, — чему мы обязаны этим, как не варварству их, в силу которого они не довели у себя рабства до его высшего развития, не превратив его ни в античное трудовое рабство ни в восточное домашнее рабство?

Все, что германцы привили жизненного и животворного к римскому миру, было плодом варварства. Действительно, только варвары способны омолодить мир, томящийся в умирающей цивилизации. И высшая ступень варварства, до которой добрались германцы перед переселением народов, как раз наиболее благоприятствовала этому процессу. Это объясняет все.

(Э н г е л ь с. «Происхождение семьи, частной собственности и государства».)

* * *

Одною из материальных основ государственной власти над несвязанными между собою мелкими производственными организмами Индии было регулирование водоснабжения. Магометанские властители Индии понимали это лучше, чем их английские преемники. Мы напомним лишь о голоде 1866 г., который стоил жизни более, чем миллиону индусов в округе Орисса Бенгальского президентства.

(Маркс. «Капитал». Гиз 1923. Т. I, стр. 495. Примеч. 6-е.)

§ 3. СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА, ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ.

Современная государственная власть есть не что иное, как комитет, заведующий общественными делами буржуазии.

(Маркс и Энгельс. «Коммунистический манифест». Гиз 1924, стр. 64.)

Выше мы ознакомились в отдельности с тремя главными формами, в которых государство поднимается над развалинами родового строя. Афины представляют собою самую чистую, наиболее классическую форму: здесь государство возникает непосредственно и преимущественно из классовых противоречий, развивающихся внутри самого родового общества. В Риме родовое общество превращается в замкнутую аристократию среди многочисленного, вне его стоящего, бесправного, но несущего обязанности плебса; победа плебса разбивает в куски старый родовой строй и на его развалинах учреждает государство, в котором скоро совершенно исчезают и родовая аристократия и плебс. У германских победителей Римской империи, наконец, государство возникает как непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не дает никаких средств. Но так как с этим завоеванием не связаны ни серьезная борьба с прежним населением ни более прогрессивное разделение труда; так как уровень экономического развития покоренных народов и завоевателей почти одинаков, а потому экономическая основа общества остается прежней, то родовой строй может дальше существовать в течение целых столетий в измененной территориальной форме общинного устройства (марки) и даже на некоторое время оживать в ослабленной форме в позднейших дворянских и патрицианских родах, даже в родах крестьянских, как, например, дитмаршенских [1]).

Государство таким образом отнюдь не является силой, извне

[1]) Первый историк, который имел хотя бы приблизительное представление о сущности рода, был Нибур, и этим — но также и своими почерпнутыми оттуда ошибками — он обязан своему знакомству с дитмаршенскими родовыми общинами.

навязанной обществу; столь же мало представляет оно собою «действительность нравственной идеи», «образ и действительность разума», как утверждает Гегель. Оно представляет собою продукт общества на определенной ступени его развития; оно служит признанием того, что это общество запуталось в неразрешимом противоречии с самим собою, что оно раздираемо непримиримыми противоречиями, которые оно бессильно устранить. Но для того, чтобы эти противоречия, классы с враждебными экономическими интересами, не уничтожили себя и общество в бесплодной борьбе, понадобилась сила, стоящая по видимости над обществом и способная смягчать столкновения, удерживать их в пределах «порядка»; и такой силой, вышедшей из общества, но ставящей себя над ним, все более и более обособляющейся от него, является государство.

Сравнительно со старой родовой организацией государство, прежде всего, отличается подразделением своих жителей *по территориальному признаку*. Старые родовые группы, возникшие и державшиеся в силу кровной связи, сделались, как мы видели, недостаточными, большею частью потому, что *предполагали связь своих* членов с определенной территорией, тогда как она давно исчезла. Территория осталась, но люди сделались подвижными. Поэтому исходным пунктом было принято подразделение территории, а гражданам предоставили осуществлять свои права и обязанности там, где они поселялись, не считаясь с принадлежностью к тому или иному роду или племени. Такая организация граждан по месту жительства является общей для всех государств. Она поэтому представляется нам естественной; но мы видим, какая упорная и длительная борьба потребовалась, пока она могла утвердиться в Афинах и Риме на место древней организации по родам.

Вторым отличием является учреждение *общественной власти*, уже непосредственно не совпадающей с населением, самостоятельно организующимся в вооруженную силу. Эта особая, общественная сила необходима, так как самостоятельная вооруженная организация населения сделалась невозможной после разделения его на классы. Рабы входят также в состав населения; 90.000 афинских граждан по отношению к 365.000 рабов образуют лишь привилегированный класс. Народное войско афинской демократии являлось аристократической вооруженной силой против рабов и держало их в узде; но для того, чтобы держать в узде также и граждан, оказалась необходимой, как рассказано выше, жандармерия. Такая общественная власть существует во всех государствах; она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков к ним, каковы тюрьмы и всякого рода принудительные учреждения, которых совсем не знало родовое общество. Эта власть может играть весьма незначительную роль, почти стушевываться в обществах с еще неразвитыми классовыми противоречиями и в уединенных

областях, как это наблюдается временами и местами в Соединенных Штатах Америки. Но она возрастает, по мере того как обостряются внутри государства классовые противоречия и как становятся более крупными, более населенными граничащие друг с другом государства,—достаточно взглянуть на нашу современную Европу, где классовая борьба и конкуренция в области завоеваний подняли общественную власть на такую высоту, что она грозит задушить все общество и само государство.

Для содержания этой общественной власти необходимы взносы граждан — *налоги*. Последние были совершенно неизвестны родовому строю. Но мы можем ныне достаточно порассказать о них. С развитием цивилизации налогов уже нехватает, государство пишет вексель на будущее, заключает займы, прибегает к *государственным долгам*. И о них старушка Европа может тоже порассказать немало.

Обладая общественною властью и правом взимать налоги, чиновники, оставаясь органами общества, оказываются теперь стоящими *над* обществом. Добровольное, свободно выказываемое уважение, с которым относились к органам родового строя, для них недостаточно, если бы даже они могли пользоваться им; носители обособившейся от общества власти, они для закрепления за собой уважения граждан должны были окружить себя исключительными законами, в силу которых они пользуются особой священной неприкосновенностью. Самый негодный полицейский служитель цивилизованного государства обладает большим авторитетом, чем все органы родового общества, вместе взятые; но самый могущественный владыка и величайший государственный деятель или полководец эпохи цивилизации могут позавидовать тому добровольному и бесспорному уважению, с которым относятся к скромнейшему родовому старейшине. Последний стоит внутри общества, тогда как они вынуждены становиться вне его и над ним.

Так как государство возникло из потребности сдерживать классовые противоречия, но вместе с тем порождено в разгаре столкновения этих классов, то по общему правилу оно является государством наиболее сильного, экономически господствующего класса, который при посредстве его становится также господствующим политически и таким образом приобретает новые средства, чтобы держать в подчинении и эксплоатировать угнетенный класс. Так, античное государство было преимущественно государством рабовладельцев для подчинения рабов, как феодальное государство являлось органом дворянства для подчинения и обуздания крепостных и зависимых крестьян, а современное представительное государство играет роль орудия эксплоатации наемного труда капиталом. Однако в виде исключения бывают периоды, когда борющиеся классы оказываются столь близкими к равновесию сил, что государственная власть, в качестве мнимого посредника, временно приобретает известную самостоя-

тельность по отношению к ним обоим. Такова абсолютная монархия семнадцатого и восемнадцатого столетий, которая уравновешивает друг против друга дворянство и буржуазию; таков бонапартизм первой и особенно второй французской империи, который натравливал пролетариат против буржуазии и буржуазию против пролетариата. Новейший образец в этом роде, при котором властитель и подвластные выглядят одинаково комично, представляет собою новая Германская империя бисмарковской нации: здесь капиталисты и рабочие уравновешивают друг друга и подвергаются одинаковому грабежу в интересах оскудевающего прусского юнкера.

Кроме того, в большинстве исторических государств, предоставляемые гражданам права соразмеряются с их имущественным положением, и этим открыто признается, что государство является организацией имущего класса для защиты его от неимущего класса. Это проявилось уже в афинских и римских имущественных разрядах. Это повторилось в средневековом феодальном государстве, где политическое влияние и власть соизмерялись по размерам землевладения. Это сказывается в избирательном цензе современных представительных государств. Однако это политическое признание различий в имущественном положении отнюдь не существенно. Напротив того, оно характеризует низкую ступень государственного развития. Высшая форма государства, демократическая республика, которая в наших современных общественных условиях становится все более и более неизбежной необходимостью и представляет собою форму государства, в которой единственно может быть доведена до конца последняя решительная борьба между пролетариатом и буржуазией, — демократическая республика официально ничего не знает уже об имущественных различиях. В ней богатство пользуется своей властью косвенно, но тем вернее. Оно это делает, с одной стороны, в форме прямого подкупа чиновников, чему классическим примером служит Америка, с другой стороны,— в форме союза правительства и биржи, который осуществляется тем легче, чем больше возрастают государственные долги и чем больше акционерные общества сосредоточивают в своих руках не только транспорт, но и самое производство, и делают своим средоточием ту же биржу. Ярким примером этого, кроме Америки, служит новейшая Французская республика. Даже захудалая Швейцария внесла свою лепту на этом поприще. Но что для такого братского союза правительства и биржи не обязательно существование демократической республики, доказывает, кроме Англии, новая Германская империя, относительно которой нельзя сказать, кого выше вознесло всеобщее избирательное право: Бисмарка или Блейхредера. Наконец, имущий класс господствует непосредственно при помощи всеобщего избирательного права. До тех пор, пока угнетенный класс, следовательно, в данном случае, пролетариат, еще не созрел для своего само-

освобождения, он будет в большинстве своем признавать существующий общественный порядок единственно возможным и политически будет итти в хвосте класса капиталистов, составлять его крайнее левое крыло. Но в той мере, в какой он созревает для своего освобождения, он конституируется в собственную партию, избирает своих собственных представителей, а не капиталистов. Всеобщее избирательное право служит, таким образом, измерителем зрелости рабочего класса. Чем-нибудь бо́льшим оно в современном государстве никогда не может быть и не будет; но и этого достаточно. В тот день, когда термометр всеобщего избирательного права указывает точку кипения у рабочих, они, равно как и капиталисты, знают, в чем дело.

Итак, государство не извечно. Существовали общества, обходившиеся без него, не имевшие никакого представления о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, необходимо связанного с разделением общества на классы, это разделение сделало государство необходимостью. В настоящее время мы быстрыми шагами приближаемся к такой ступени развития производства, когда существование классов не только перестает быть необходимостью, но и становится положительным препятствием для производства. Они исчезнут, исчезнут с той же неизбежностью, с какой ранее возникли. Вместе с ними неизбежно исчезнет и государство. Общество, которое заново организует производство на основе свободной и равноправной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей тогда уместнее всего будет находиться: в музей древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором.

(Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и государства».)

* *

Государство есть не что иное, как организованная совокупная власть имущих классов, землевладельцев и капиталистов, противопоставляемая эксплоатируемым классам, крестьянам и рабочим. Чего не хотят отдельные капиталисты (а здесь только о них идет речь, так как и участвующий в этом деле землевладелец выступает, прежде всего, в качестве капиталиста), того не хочет и государство. Если отдельные капиталисты хотя и жалуются на жилищную нужду, но с трудом решаются замазать для вида самые ужасные ее проявления, то совокупный капиталист — государство — не будет более деятельным в этом отношении. Государство позаботится, в лучшем случае, о том, чтобы обычная степень поверхностного замазывания стала повсюду равномерной.

(Энгельс. «Жилищный вопрос». Гиз 1922, стр. 44.)

§ 4. АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ И ДИАЛЕКТИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ.

Современная историография доказала, что абсолютная монархия возникает в переходные эпохи, когда старые феодальные сословия разлагаются, а средневековое сословие горожан складывается в современный класс буржуазии и ни одна из спорящих сторон не взяла еще перевеса над другой. Таким образом элементы, на которых зиждется абсолютная монархия, ни в коем случае не являются ее продуктом; наоборот, они образуют ее социальную предпосылку, историческое происхождение которой слишком известно, чтобы говорить о нем здесь. Тот факт, что в Германии абсолютная монархия возникла позднее и держится дольше, объясняется лишь уродливым развитием немецкой буржуазии. Решение загадки такого хода ее развития можно найти в истории торговли и промышленности.

Упадок мелкобуржуазных свободных городов Германии, уничтожение рыцарского сословия, поражение крестьян и усиление, вследствие этого, владетельных прав князей; упадок немецкой индустрии и торговли, основывавшихся на чисто средневековом строе, как раз в тот момент, когда открылся великий мировой рынок и возникла крупная мануфактура; обезлюдение страны и варварское состояние, завещанное 30-летней войной; характер вновь оживших национальных отраслей промышленности, как, например, мелкого льняного производства, которому соответствовали патриархальные отношения и условия; характер предметов вывоза, состоявших главным образом из продуктов земледелия, вследствие чего возрастали почти исключительно лишь материальные источники существования земельного дворянства и увеличивалось его относительное могущество в ущерб городскому населению; стесненное положение Германии на мировом рынке вообще, вследствие чего главным источником национальных доходов оказывались субсидии, выплачиваемые князьям чужеземцами, и последовавшая отсюда зависимость горожан от княжеского двора и т. д., и т. д., — все эти обстоятельства, из которых выработались характер немецкого общества и соответствующая ему политическая организация, превращаются для грубиянства здравого человеческого смысла в несколько мудрых изречений, вся соль которых заключается именно в том, что «немецкие властители» создали «немецкое общество» и ежедневно вновь продолжают «создавать» его. Легко объяснить тот оптический обман, который позволяет здравому человеческому смыслу «познать» в владетельных правах немецких государей источник происхождения немецкого общества вместо того, чтобы видеть в немецком обществе источник власти немецких князей.

С первого же взгляда, — который ему кажется чрезвычайно проницательным, — он замечает, что немецкие князья поддерживают и крепко держатся за старые немецкие общественные

порядки, с которыми тесно связано их собственное существование, и насильственно борются с разрушительными элементами. С другой стороны, он видит ясно, что разрушительные элементы тоже борются против княжеской власти. Таким образом здоровые чувства, все пять сразу, показывают, что княжеская власть является основой старого общества, его сословных подразделений, его предрассудков и противоречий.

Но при внимательном рассмотрении это явление лишь опровергает тот простодушный взгляд, для которого оно послужило безвинным поводом.

Насильственно реакционная роль, в какой выступает княжеская власть, показывает лишь то, что в порах старого общества образовалось новое, чувствующее давление политической оболочки, естественно покрывающей старое общество, как давление противоестественных оков, которое оно должно взорвать. Чем слабее развиты эти новые разрушительные элементы общества, тем консервативнее кажется даже самая злая реакция старой политической власти. Чем более развиты эти новые разрушительные элементы общества, тем реакционнее кажется даже самая невинная консервативная политика старой политической власти. Реакция немецких государей,—вместо того, чтобы доказывать, что эти государи создают старое общество,—доказывает, наоборот, что с ними самими будет покончено, как только окончательно отживут материальные условия существования старого общества. Их реакция есть вместе с тем и реакция самого старого общества, которое остается еще официальным обществом и поэтому также и официальным обладателем власти.

Когда материальные условия существования общества развились настолько, что преобразование его официальных политических форм стало для него жизненной необходимостью, тогда изменяется вся физиономия старой политической власти. Так, абсолютная монархия, вместо того чтобы централизовать,—а в этом ведь, собственно, и состояла вся ее цивилизаторская деятельность, — делает попытки к децентрализации. Выросшая на развалинах феодальных сословий и принимавшая деятельнейшее участие в их разрушении, она стремится теперь сохранить хоть видимость феодальных подразделений. В то время как раньше она покровительствовала торговле и промышленности и, следовательно, возникновению класса буржуазии, видя в них необходимые предпосылки как национального могущества, так и собственного блеска, теперь эта абсолютная монархия повсеместно становится поперек дороги дальнейшему развитию торговли и промышленности, ставшему слишком опасным орудием в руках могущественной буржуазии. От города, этой колыбели ее величия, абсолютная монархия обращает свои робкие и отупевшие взоры на сельские округа, удобренные трупами поверженных великанов, ее старых врагов.

Но под «связью между политикой и социальными условиями»

господин Гейнцен понимает, собственно, лишь связь между немецкой государственной властью и немецкой нуждой и нищетой.

С материальной своей стороны монархия, как и всякая другая государственная форма, существует для рабочего класса непосредственно лишь в форме налогов. В налогах заключается экономически выраженное существование государства. Чиновники и попы, солдаты и балетные танцовщицы, школьные учителя и полицейские, греческие музеи и готические башни, содержание князей и вельмож, — все эти сказочные создания скрываются, как зародыши, в одном общем семени — в налогах.

(Маркс. «Морализующая критика и критикующая мораль». «Под знаменем марксизма», 1923, № 4—5, стр. 31—33.)

§ 5. ПРОТИВ ОДНОГО МАРКСИСТСКОГО ИСКАЖЕНИЯ МАРКСОВА ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА.

... обратимся прямо к одной из этих поправок, которую вносит «незараженный ортодоксией» автор в «слишком поспешные обобщения» Маркса.

Дело идет о государстве. Отрицая государство, «Маркс и его последователи» «увлеклись» «слишком далеко в критике современного государства» и впали в «односторонность». «Государство,—исправляет это «увлечение» г. Струве,— есть, прежде всего, организация порядка, организацией же господства (классового) оно является в обществе, в котором подчинение одних групп другим обусловливается его экономической структурой». Родовой быт, по мнению автора, знал государство, которое останется и при уничтожении классов, ибо признак государства — принудительная власть.

Можно только подивиться тому, что автор с таким поразительным отсутствием аргументов критикует Маркса с своей профессорской точки зрения. Прежде всего, он совершенно неправильно видит отличительный признак государства в принудительной власти: принудительная власть есть во всяком человеческом общежитии, и в родовом устройстве, и в семье, но государства тут не было. «Существенный признак государства,—говорит Энгельс в том самом сочинении, из которого г. Струве взял цитату о государстве,—состоит в публичной власти, отдельной от массы народа» («Ursprung der Familie u. s. w.», 2-te Aufl., S. 84, русс. пер., 109 стр.) [1]), и несколько выше он говорит об учреждении наукрарий, что оно подрывало двояким образом родовое устройство: во-первых, оно создавало публичную власть (oeffentliche Gewalt — в русском переводе неверно передано: общественная сила), которая уже не совпадала просто-напросто с совокупностью вооруженного народа (ib., S. 79, русский пер.

---

[1]) Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Стр. русс. перевода указаны по изд. 1894 г. *Ред.*

стр. 105). Итак, признак государства — наличность особого класса лиц, в руках которого сосредоточивается власть. Общину, в которой «организацией порядка» заведывали бы поочередно все члены ее, никто, разумеется, не мог бы назвать государством. Далее, по отношению к современному государству рассуждение г. Струве еще более несостоятельно. Говорить о нем, что оно «прежде всего (sic?!) организация порядка», значит не понимать одного из очень важных пунктов теории Маркса. Тот особый слой, в руках которого находится власть в современном обществе, это — бюрократия. Непосредственная и теснейшая связь этого органа с господствующим в современном обществе классом буржуазии явствует и из истории (бюрократия была первым политическим орудием буржуазии против феодалов, вообще против представителей «старо-дворянского» уклада, первым выступлением на арену политическую не породистых землевладельцев, а разночинцев, «мещанства») и из самых условий образования и комплектования этого класса, в который доступ открыт только буржуазным «выходцам из народа» и который связан с этой буржуазией тысячами крепчайших нитей[1]). Ошибка автора тем более досадна, что именно российские народники, против которых он возымел такую хорошую мысль ополчиться, понятия не имеют о том, что всякая бюрократия и по своему историческому происхождению, и по своему современному источнику, и по своему назначению представляет из себя чисто и исключительно буржуазное учреждение, обращаться к которому с точки зрения интересов производителя только и в состоянии идеологи мелкой буржуазии.

(Ленин. «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве». Собрание сочинений. Т. II, Гиз 1925, стр. 81—82.)

---

[1]) Ср. К. Маркс. «Bürgerkrieg in Frankreich», S. 23 (Lpz. 1876) (К. Маркс. «Гражданская Война во Франции». *Ред.*) и «Der achzehnte Brumaire», S. 45—46 (Hmb. 1885): «Материальный интерес французской буржуазии теснейшим образом сплетается с сохранением этого широкого и широко разветвляющегося механизма (речь идет о бюрократии). Сюда сбывает она свое излишнее население и пополняет в форме казенного жалованья то, чего она не смогла заполучить в форме прибыли, процентов, ренты и гонораров».

VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ.

§ 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТЬЮ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ.

«Один из важнейших выводов, которые можно сделать на основании изучения истории, это—тот, что правительство есть самая действительная причина характера народа; что достоинства и недостатки наций, их энергия или их слабость, их таланты, их просвещение или их невежество почти никогда не бывают следствием климата или свойств данной расы; что природа дает все всем, а правительства сохраняют или уничтожают в подчиненных им людях те качества, которые составляют первоначально общее достояние человеческого рода». В Италии не произошло изменений ни в климате, ни в расе (прилив варваров был слишком незначителен, чтобы изменить ее свойства): «природа была та же для итальянцев всех времен; изменялись только правительства,—и эти перемены всегда предшествовали изменениям национального характера или сопровождали их».

Так оспаривал Сисмонди учение, ставящее историческую судьбу народов в исключительную зависимость от географической среды [1]). Его выражения не лишены основательности. Действительно, география далеко не все объясняет в истории, именно потому, что эта последняя есть история, т.-е. потому, что, по выражению Сисмонди, правительства изменяются, несмотря на то, что географическая среда остается неизменной. Но это мимоходом, нас интересует здесь совсем другой вопрос.

Читатель заметил уже, вероятно, что, сопоставляя неизменность географической среды с изменчивостью исторических судеб народов, Сисмонди приурочивает эти судьбы к одному основному фактору: «к правительству», т.-е. к политическому строю данной страны. Характер народа всецело определяется характером правительства. Правда, категорически высказав это положение, Сисмонди тотчас же и весьма существенно смягчает его: политические перемены,—говорит он,—предшествовали

---

1) «Histoire des Républiques italliennes du moyen âge», Nouvelle édition. t. I, Paris, Introduction, p.p. V—VI.

изменениям национального характера или сопровождали их. Тут уже выходит, что характер правительства иногда определяется характером народа. Но в этом случае историческая философия Сисмонди сталкивается с знакомым уже нам противоречием, смущавшим французских просветителей: нравы данного народа зависят от его политического устройства; политическое устройство зависит от нравов. Сисмонди так же мало был способен разрешить это противоречие, как и просветители: он принужден был поочередно класть в основу своих рассуждений то один, то другой член этой антиномии. Но как бы то ни было, раз остановившись на одном из них, именно на том, который гласит, что характер народа зависит от его правительства, он придавал понятию «правительство» преувеличенно широкое значение: оно охватывало у него решительно все свойства данной социальной среды, все особенности данных общественных отношений. Точнее будет сказать, что у него решительно все свойства данной социальной среды являются делом «правительства», результатом политического устройства. Это точка зрения XVIII века. Когда французские материалисты хотели кратко и сильно выразить свое убеждение относительно всемогущего влияния окружающей среды на человека, они говорили: c'est la législation qui fait tout (все зависит от законодательства). А когда у них заходила речь о законодательстве, они имели в виду почти исключительно политическое законодательство, государственный строй. Между сочинениями знаменитого Ж. Б. Вико есть маленькая статейка, озаглавленная: «Опыт системы юриспруденции, в которой гражданское право римлян объясняется их политическими революциями» [1]). Хотя этот «опыт» написан был в самом начале XVIII столетия, но выраженный в нем взгляд на отношение гражданского права к государственному строю господствовал до французской реставрации; просветители все сводили к «политике».

Но политическая деятельность «законодателя» есть во всяком случае деятельность сознательная, хотя, разумеется, и не всегда целесообразная. Сознательная деятельность человека за-

---

[1]) Мы переводим название статейки с французского и спешим заметить при этом, что сама статейка известна нам лишь по некоторым французским извлечениям из нее. Мы не могли достать ее итальянского подлинника, так как она, насколько мы знаем, была напечатана лишь в одном издании соч. Вико (1818 г.); ее уже нет в шеститомном миланском издании 1835 г. Впрочем, в данном случае важно не то, как исполнил Вико свою задачу, а то, какую именно задачу он себе ставил.

Предупредим здесь, кстати, один упрек, который нам поторопятся, вероятно, сделать догадливые критики: «вы безразлично употребляете выражение «просветители» и «материалисты», — скажут нам, — а между тем далеко не все «просветители» были материалистами; многие из них, например, хоть Вольтер, горячо восставали против материалистов». Это так; но, с другой стороны, еще Гегель показал, что восставшие против материализма просветители сами были лишь непоследовательными материалистами.

висит от его «мнений». Таким образом французские просветители незаметно для себя возвращались к мысли о всемогуществе мнений даже в том случае, когда хотели ярко выразить мысль о всемогуществе среды.

Сисмонди стоит еще на точке зрения XVIII века [1]). Более молодые французские историки держатся уже других взглядов.

Ход и исход французской революции, с ее сюрпризами, ставившими втупик самых «просвещенных» мыслителей, явились до последней степени наглядным опровержением мысли о всемогуществе мнений. Тогда многие совсем разочаровались в силе «разума», а другие, не поддавшиеся разочарованию, стали тем более склоняться к принятию мысли о всемогуществе среды и к изучению хода ее развития. Но и на среду стали смотреть во время реставрации с новой точки зрения. Великие исторические события так насмеялись и над «законодателями» и над политическими конституциями, что теперь уже странно казалось приурочивать к этим последним, как к основному фактору, все свойства данной общественной среды; теперь политические конституции стали рассматривать как нечто производное, как следствие, а не как причину.

«Бо́льшая часть писателей, ученых, историков или публицистов,—говорит Гизо в своих «Essais sur l'histoire de France» [2]),—старалась объяснить данное состояние общества, степень или род его цивилизации политическими учреждениями этого общества. Было бы благоразумнее начинать с изучения самого общества для того, чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде чем стать причиной, учреждения являются следствием; общество создает их прежде, чем начинает изменяться под их влиянием; и вместо того, чтобы в состоянии народа судить по формам его правительства, надо, прежде всего, исследовать состояние народа, чтобы судить, каково должно было быть, каково могло быть его правительство... Общество, его состав, образ жизни отдельных лиц, в зависимости от их социального положения, отношения различных классов лиц,—словом, гражданский быт людей (l'état des personnes),—таков, без сомнения, первый вопрос, который привлекает к себе внимание историка, желающего знать, как жили народы, и публициста, желающего знать, как они управлялись» [3]).

Это—взгляд, прямо противоположный взгляду Вико. У того история гражданского права объясняется политическими революциями, у Гизо политический строй объясняется гражданским бытом, т.-е. гражданским правом. Но французский историк идет еще дальше в анализе «общественного состава». По его словам, у всех народов, явившихся на историческую сцену после падения за-

---

[1]) Он начал работать над историей итальянских республик еще в 1796 г.
[2]) Первое издание их вышло в 1821 году.
[3]) «Essais...»; dixième édition, Paris 1860, p. p. 73—74.

падной Римской империи, «гражданский быт» людей находился в тесной связи с поземельными отношениями (état des terres), а потому изучение их поземельных отношений должно предшествовать изучению их гражданского быта: «Чтобы понять политические учреждения, надо изучить различные слои, существующие в обществе, и их взаимные отношения. Чтобы понять эти различные общественные слои, надо знать природу поземельных отношений» [1]. С этой точки зрения Гизо и изучает историю Франции первых двух династий. Она является у него историей борьбы различных слоев тогдашнего общества. В своей истории английской революции он делает новый шаг вперед, изображая это событие как борьбу буржуазии против аристократии, и молчаливо признавая таким образом, что для объяснения политической жизни данной страны надо изучить не только ее поземельные отношения, но и все ее имущественные отношения вообще [2].

Такой взгляд на политическую историю Европы далеко не был тогда исключительной принадлежностью Гизо. Его разделяли многие другие историки, из которых мы укажем на Огюстэна Тьерри и Минье.

В своих «Vues des révolutions d'Angleterre» Ог. Тьерри изображает историю английских революций как борьбу буржуазии с аристократией. «Всякий тот, чьи предки принадлежали к числу завоевателей Англии,—говорит он о первой революции,—покидал свой замок и ехал в королевский лагерь, где и занимал положение, соответствующее его званию. Жители городов толпами шли в противоположный лагерь. Тогда можно было сказать, что армии собрались: одна—во имя праздности и власти, другая—во имя труда и свободы. Все праздношатающиеся, ка-

---

1) «Essais...», p. p. 75—76.

2) Борьба религиозных и политических партий в Англии XVII века «прикрывала собой социальный вопрос, борьбу различных классов за власть и влияние. Правда, в Англии эти классы были не так резко разграничены и не так враждебны друг к другу, как в прочих странах. Народ не забыл, что сильные бароны боролись не только за свою собственную, но и за народную свободу. Сельские дворяне и городские буржуа в продолжение трех столетий вместе заседали в парламенте именем английских общин. Но в течение последнего века произошли большие изменения относительной силы различных классов общества, не сопровождавшиеся соответственными изменениями в политическом устройстве... Буржуазия, сельское дворянство, фермеры и мелкие землевладельцы, очень многочисленные в тогдашних деревнях, не имели на ход общественных дел того влияния, которое соответствовало бы важности их общественной роли. Они выросли, но не возвысились. Отсюда в этом слое, равно как и в других слоях, лежавших ниже его, явился могущественный дух самолюбия, готовый схватиться за первый встречный повод для своего бурного проявления». «Discours sur l'histoire de la révolution d'Angleterre», Berlin 1850, p. p. 9—10. Ср. у того же автора все шесть томов, относящиеся к истории первой английской революции, и очерки жизни различных общественных деятелей того времени. Гизо редко покидает там точку врения борьбы классов.

ково бы ни было их происхождение, все те, которые искали в жизни лишь достающихся без труда наслаждений, становились под королевские знамена, защищая интересы, подобные их собственным интересам; и, наоборот, те из потомков прежних завоевателей, которые занимались тогда промышленностью, присоединялись к партии общин» [1]).

(Плеханов. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Сочинения. Гиз 1925. Т. VII, стр. 71—75.)

* * *

С развитием производительных сил, ведущих к изменению взаимных отношений людей в общественном процессе производства, изменяются все отношения собственности. Но ведь еще Гизо говорил нам, что в отношениях собственности коренятся политические конституции. Это вполне подтверждается новейшей наукой. Кровный союз уступает место территориальному союзу именно вследствие перемен, возникших в отношениях собственности. Более или менее крупные территориальные союзы сливаются в организмы, называемые государствами, опять-таки вследствие уже совершившихся перемен в отношениях собственности или вследствие новых нужд общественного производственного процесса. Это прекрасно выяснено, например, по отношению к крупным государствам Востока [2]). Не менее хорошо выяснено это и по отношению к античным государствам [3]). И вообще не трудно показать это по отношению ко всякому данному государству, о происхождении которого у нас есть достаточно сведений. При этом нужно только не суживать, умышленно или неумышленно, взгляд Маркса. Мы хотим сказать вот что.

Данным состоянием производительных сил обусловливаются внутренние отношения данного общества. Но ведь этим же состоянием обусловливаются и внешние его отношения к другим обществам. На почве этих внешних отношений у общества являются новые нужды, для удовлетворения которых вырастают новые органы. При поверхностном взгляде на дело взаимные отношения отдельных обществ представляются как ряд «полити-

---

[1]) «Dix ans d'études historiques», шестой том полного собрания сочинений Тьерри, издание десятое, стр. 66.

[2]) См. книгу покойного Л. Мечникова о «великих исторических реках». В этой книге автор, в сущности, лишь подвел итог тем выводам, к которым пришли наиболее авторитетные историки-специалисты, например, Ленорман. Элизе Реклю в предисловии к названной книге говорит, что взгляд Мечникова составит эпоху в истории науки. Это неверно в том смысле, что этот взгляд не нов: еще Гегель высказывал его самым определенным образом. Но несомненно, что наука чрезвычайно много выиграет, если будет последовательно держаться его.

[3]) См. книгу Моргана: «Ancient society» и книгу Энгельса: «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

ческих» действий, не имеющих прямого отношения к экономии. В действительности, в основе междуобщественных отношений лежит именно экономия, определяющая собою как действительные (а не внешние только) поводы к междуплеменным и международным отношениям, так и их результат. Каждой ступени в развитии производительных сил соответствует своя система вооружения, своя военная тактика, своя дипломатия, свое международное право. Конечно, можно указать много случаев, в которых международные столкновения не имеют прямого отношения к экономии. И никому из последователей Маркса не придет в голову оспаривать существование таких случаев. Они говорят только: не останавливайтесь на поверхности явлений, спускайтесь глубже, спросите себя, на какой почве выросло данное международное право? Что создало возможность данного рода международных столкновений?—и вы придете, в конце концов, к экономии. Правда, рассмотрение отдельных случаев затрудняется тем, что в борьбу вступают нередко общества, переживающие неодинаковые фазисы экономического развития.

Но тут нас прерывает хор проницательных противников. «Хорошо,—кричат они,—допустим, что политические отношения коренятся в экономических. Но раз даны политические отношения, они,—откуда бы ни взялись,—в свою очередь влияют на экономию. Следовательно, тут существует взаимодействие и ничего, кроме взаимодействия».

Это возражение не придумано нами. До какой степени оно ценится противниками «экономического материализма», показывает следующее «истинное происшествие».

Маркс в своем «Капитале» приводит факты, показывающие, что английская аристократия пользовалась своей политической властью для того, чтобы обделывать свои делишки по части землевладения. Доктор Пауль Барт, написавший «критический опыт» под названием: «Die Geschichtsphilosophie Hegel's und der Hegelianer», ухватился за это, чтобы упрекнуть Маркса в противоречии: сами же, дескать, признаете, что тут существует взаимодействие, а для доказательства того, что взаимодействие действительно существует, наш доктор ссылается на книгу Штэрнега, писателя, много сделавшего для исследования экономической истории Германии. Г. Кареев думает, что «страницы, посвященные в книге Барта критике экономического материализма, могут быть указаны в качестве образчика того, как следует решать вопрос о роли экономического фактора в истории». Само собою разумеется, что он не преминул указать читателям на возражения Барта и на авторитетное заявление Инамы-Штэрнега, «который даже формулирует такое общее положение, что взаимодействие между политикой и хозяйством является основной чертой развития всех государств и всех народов». Надо хоть немного разобраться в этой путанице.

Во-первых, что, собственно, говорит Инама-Штэрнег? По по-

воду каролингского периода экономической истории Германии он делает следующее замечание: «Взаимодействие между политикой и хозяйством, составляющее основную черту развития всех государств и всех народов, можно проследить здесь самым точным образом. Политическая роль, выпадающая на долю данного народа, оказывает решительное влияние на дальнейшее развитие его сил, на склад и выработку его социальных учреждений; точно так же внутренняя сила, присущая народу, и естественные законы ее развития определяют собою меру и род его политической деятельности. Совершенно так, политическая система Каролингов не менее повлияла на социальный строй, на хозяйственные отношения, в которых народ жил в то время, чем стихийные силы народа, его хозяйственная жизнь повлияла на направление этой политической системы, наложив на нее своеобразную печать [1]). И только. Это немного, но это немногое считается достаточным для того, чтобы опровергнуть Маркса.

Припомним теперь, во-вторых, что говорит Маркс об отношении экономии к праву и политике.

«Правовые и политические учреждения складываются на почве фактических отношений людей в общественном процессе производства. До поры до времени эти учреждения содействуют дальнейшему развитию производительных сил народа, процветанию его экономической жизни». Это точные слова Маркса; и мы спрашиваем первого встречного добросовестного человека, заключается ли в этих словах отрицание значения политических отношений в развитии экономии и опровергают ли Маркса те люди, которые напоминают ему об этом значении? Не правда ли, такого отрицания у Маркса нет и следа, и что указанные люди ровно ничего не опровергают? До такой степени—правда, что считаться приходится с вопросом не о том, опровергнут ли Маркс, а о том, отчего же так плохо его поняли. А на этот вопрос мы можем ответить только французской пословицей: la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Критики Маркса не могут превзойти ту меру понимания, которая отпущена им благодетельной натурой [2]).

---

[1]) «Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingenperiode», I. Band, Leipzig 1889, S. S. 223—234.

[1]) Маркс говорит: **«Всяная классовая борьба есть борьба политическая». Следовательно, умозаключает Барт, политика, по-вашему, совсем не влияет на экономию, а между тем вы сами же приводите факты, показывающие... и прочее.** — Браво, — восклицает г. Кареев, — вот это я называю образцом того, как надо спорить с Марксом. «Образец» г. Кареева вообще обнаруживает удивительную силу мысли. «Руссо, — говорит образец, — жил в обществе, где до крайности были доведены сословные различия и привилегии, где все подчинены были всемогущему деспотизму; и однако заимствованный из древности метод рационального построения государства, — метод, которым пользовались также Гоббс и Локк,—привел Руссо к созданию идеала, общества, основанного на всеобщем равенстве и самодержавии народа. Это тидеал совершенно противоречил существовавшему во Франции строю. Теория Руссо была осуществлена

Взаимодействие между политикой и экономией существует. Это так же несомненно, как и то, что г. Кареев не понимает Маркса. Но существование взаимодействия запрещает ли нам итти дальше в деле анализа общественной жизни? Нет, думать так—значило бы почти то же самое, что вообразить, будто непонимание, обнаруживаемое г. Кареевым, может помешать нам добраться правильных «историософических» понятий.

Политические учреждения влияют на хозяйственную жизнь. Они или содействуют развитию этой жизни, или препятствуют ему. Первый случай нисколько не удивителен с точки зрения Маркса, так как данная политическая система затем и создается, чтобы содействовать дальнейшему развитию производительных сил (сознательно или бессознательно создается—для нас в данном случае решительно все равно). Второй случай нисколько не противоречит этой точке зрения, так как исторический опыт показывает, что раз данная политическая система перестает соответствовать состоянию производительных сил, раз она превращается в препятствие для их дальнейшего развития, она начинает клониться к упадку и, наконец, устраняется. И, мало того, что этот случай не противоречит учению Маркса: он наилучшим образом его подтверждает, потому что именно он показывает, в каком смысле экономия господствует над политикой, каким образом развитие производительных сил опережает политическое развитие народа.

Экономическая эволюция ведет за собою правовые перевороты. Нелегко понять это метафизику, который,—хотя и кричит о взаимодействии,—привык рассматривать явление одно после другого и одно независимо от другого. Напротив, без труда понимает это человек, хоть немного способный к диалектическому мышлению. Он знает, что количественные изменения, постепенно накопляясь, приводят, наконец, к изменениям качества, и что эти изменения качеств представляют собою моменты скачков, перерывов постепенности.

Тут уже наши противники не выдерживают и произносят свое «слово и дело»: да ведь так рассуждал Гегель, кричат они. Так поступает вся природа—отвечаем мы.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Применительно к истории эту пословицу можно видоизменить так: сказка сказывается очень просто, а дело делается до крайности сложно. Ведь это легко сказать: развитие производительных сил

конвентом на практике; стало быть, философия повлияла на политику, а через ее посредство и на экономию» (L. c., S. 58).

Как вам нравится эта блестящая аргументация, в интересах которой Руссо, сын бедного женевского республиканца, оказался продуктом аристократического общества? Оспаривать г. Барта—значит вдаваться в повторения. Но что сказать о г. Кареве, рукоплещущем Барту? Ах, г. В. В., плох, ей-богу, плох ваш «профессор истории»! Советуем вам совершенно бескорыстно: ищите себе нового «профессора».

ведет за собою перевороты в правовых учреждениях! Перевороты эти представляют собою сложные процессы, в течение которых интересы отдельных членов общества группируются самым прихотливым образом. Одним выгодно поддерживать старые порядки,— и они отстаивают их всеми зависящими от них средствами. Для других старые порядки стали уже вредны и ненавистны, они нападают на них со всею тою силою, какою они располагают. И это еще не все. Интересы новаторов тоже далеко не всегда одинаковы: одним важнее одни реформы, другим—другие. Споры возникают в самом лагере реформаторов, борьба усложняется. И хотя, по справедливому замечанию г. Кареева, человек состоит из души и тела, борьба за самые несомненные материальные интересы необходимо ставит перед спорящими сторонами самый несомненно-духовный вопрос: вопрос о справедливости. Насколько противоречит ей старый порядок? Насколько согласны с нею новые требования? Эти вопросы неизбежно возникают в умах борющихся, хотя борющиеся не всегда назовут справедливость просто справедливостью, а, может быть, олицетворят ее в виде какой-нибудь человекоподобной или даже звероподобной богини. Так, вопреки заклятию, наложенному на них г. Кареевым, «тело» порождает «душу»: экономическая борьба вызывает нравственные вопросы, а «душа» при ближайшем рассмотрении оказывается «телом»: «справедливость» староверов нередко оказывается интересом эксплоататоров.

Те же самые люди, которые с такой поразительной находчивостью приписывают Марксу отрицание значения политики, утверждают, будто он не придавал ровно никакого значения ни нравственным, ни философским, ни религиозным, ни эстетическим понятиям людей, везде и всюду видя одно «экономическое». Это опять неестественное празднословие, как выражался Щедрин. Маркс не отрицал «значения» всех этих понятий; он только выяснил их генезис.

(Плеханов. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Сочинения. Гиз 1925. Т. VII, стр. 191—196.)

§ 2. ХАРАКТЕР ОБРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Общество порождает известные общие функции, без которых оно не может обойтись. Предназначенные для этого люди образуют новую отрасль разделения труда внутри общества. Вместе с тем они приобретают особые интересы также в противоположность тем, кто их уполномочил, они становятся самостоятельными по отношению к ним, и таким образом является государство. И тут дело идет подобно тому, как при торговле товарами и позднее при банковом деле. Новая самостоятельная сила в общем и целом должна следовать за движениями производства, но она оказывает также, опять-таки, воздей-

ствие на условия и ход производства в силу присущей ей или, вернее, однажды полученной и постепенно развившейся дальше относительной самостоятельности. Это есть взаимодействие двух неравных сил: экономического движения, с одной стороны, и, с другой стороны, политической силы, стремящейся к наиболее возможной самостоятельности, политической силы, одаренной также и самостоятельным движением, так как она уже возникла.

Экономическое движение в общем проложит себе путь, но оно должно испытать на себе также и обратное действие от политического движения, которое оно само для себя создало и которое обладает относительной самостоятельностью. На экономическое движение оказывает влияние движение государственной власти, с одной стороны, и одновременно с ней—порожденной оппозиции, с другой. Как в денежном рынке отражается в общем и целом, и с указанными выше оговорками, движение промышленного рынка и, конечно, отражается неправильно (verkehrt), так и в борьбе между правительством и оппозицией отражается борьба уже раньше существующих и борющихся классов и в то же самое время неправильно, не прямо, а косвенно, не как борьба классов, а как борьба за политические принципы, и притом так неправильно, что потребовались тысячелетия для того, чтобы мы смогли разгадать, в чем дело.

Обратное действие государственной власти на экономическое развитие может быть троякого рода. Она может действовать в том же направлении,—тогда дело идет быстрее; она может действовать против, тогда в настоящее время у каждого крупного народа она терпит в течение более или менее продолжительного периода крушение, или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать вперед в других направлениях. Этот случай сводится, в конце концов, к одному из предыдущих. Но ясно, что во 2-м и 3-м случаях политическая власть может причинить экономическому развитию величайший вред и может породить растрату сил и материала в массовом количестве.

Кроме того, может произойти случай завоевания и грубого уничтожения экономических ресурсов, благодаря чему прежде могло гибнуть целиком все экономическое развитие данной местности и данной нации. Теперь этот случай имеет по большей части противоположные результаты, особенно у великих народов. Побежденный в общем часто выигрывает и в экономическом, и в политическом, и в моральном отношении больше, чем победитель. Энгельс. Письмо к Шмидту от 27/X 1800. Маркс и Энгельс. «Письма».)

§ 3. КАК КАПИТАЛИСТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ

Установление нормального рабочего дня явилось результатом многовековой борьбы между капиталистом и рабочим. Но в истории этой борьбы обнаруживаются два противоположных течения. Срав-

ним, например, английское фабричное законодательство нашего времени с английскими рабочими статутами (Statuses of labourers), начиная с XIV и до половины XVIII века [1]). В то время как современный фабричный закон насильственно сокращает рабочий день, эти статуты стремятся насильственно его удлинить. Но и то сказать, притязания капитала в эмбриональном состоянии, когда он находится лишь в процессе образования и обеспечивает свое право всасывать достаточное количество прибавочного труда, опираясь не просто на силу экономических отношений, но и на содействие государственной власти,—эти притязания представляются до чрезвычайности скромными, если сопоставить их с теми уступками, которые он, ворча и сопротивляясь, должен делать в зрелом возрасте. Понадобились века для того, чтобы «свободный» рабочий вследствие развития капиталистического способа производства добровольно согласился, т.-е. был вынужден общественными условиями продавать за цену средств привычного существования все активное время своей жизни, даже самую работоспособность,—продавать свое первородство за блюдо чечевичной похлебки. Поэтому весьма естественно, что то удлинение рабочего дня, к которому капитал при посредстве государственной власти старается принудить совершеннолетних рабочих в периоде с половины XIV до конца XVII века, совпадает приблизительно с теми пределами рабочего времени, которые во второй половине XIX века кое-где ставятся государством для превращения детской крови в капитал.

(Маркс, «Капитал», Гиз 1923. Т. I, стр. 243.)

§ 4. О КЛАССОВОЙ СУЩНОСТИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ЕГО РОЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ.

«Новая политическая экономия,—говорит Эмиль де Лавелэ,—иначе чем старая понимает основания, метод, задачу и выводы науки. Катедер-социалисты исходят из совершенно иной точки отправления, чем ортодоксальные экономисты». Прежде всего, разумеется, это различие сказывается по вопросу о роли и значении государства в экономической жизни народа. «Экономисты новой школы не питают по отношению к государству того ужаса, который заставлял их предшественников называть государство то язвою, то необходимым злом. Для них, напротив, государство—представитель национального единства—является органом высшего права, орудием справедливости. Эманация живых сил и духовных стремлений страны, государство обязано благоприятствовать ее развитию во всех направлениях. Как это показывает история, оно есть могущественнейший фактор цивилизации и прогресса.

---

[1]) Эти рабочие статуты, которые мы находим одновременно и во Франции, Нидерландах и т. д., были формально отменены в Англии лишь в 1813 г., уже после того как они были давно устранены самими отношениями производства.

С своей стороны, немецкий последователь историко-реалистической школы, д-р Мориц Мейер, находит, что «государство, как стоящая выше частных интересов сила, обязано активно вмешиваться в борьбу интересов повсюду, где она угрожает благу общества».

«Как воплощение чувства общественности, государство должно пополнять вытекающие из эгоизма недостатки и несовершенства экономической жизни».

Вопрос о значении государства в экономической и вообще культурной деятельности нации до такой степени важен для оценки существующих в обществе потребностей и стремлений, что мы позволим себе остановить внимание читателя на том решении этого вопроса, которое заключается в вышеприведенных выписках. «Государство является органом высшего права, орудием справедливости»... «воплощением чувства общественности». Все это не только очень хорошо сказано, но и знакомо, вероятно, читателю из сочинений писателей, не имевших ничего общего с историко-реалистической школою. Впрочем, не все. Многое из того, что было ясно под пером этих писателей, стало темным и сомнительным в редакции «новых» экономистов. Известно, что «история показывает» часто именно то, что людям хочется в ней увидеть. Нельзя поэтому ограничиваться бессодержательными ссылками на историю вообще, нужно было несколько подробнее выяснить и доказать вышеприведенные мысли, составляющие, по мнению самого Лавелэ, существенный пункт разногласия «старой» и «новой» школ. Нужно было внимательно рассмотреть вопрос о том, при каких обстоятельствах и в каких случаях государство является и являлось «фактором цивилизации и прогресса». Нам кажется, что такое служение делу прогресса со стороны государства было далеко не непрерывным. Нельзя же например, признать, что римское государство являлось «могущественнейшим фактором цивилизации и прогресса» в то время, когда оно обрушивалось преследованиями на первых христиан. Не мешало бы также несколько вразумительнее выразиться о «высшем праве» и «справедливости», «органом и орудием» которого является государство. Едва ли современный европеец признает, что римское, построенное на рабстве, государство служило «орудием справедливости». Вообще, по вопросу о «высшем праве» и «справедливости» нужно остановиться на чем-нибудь одном. Или разбираемые нами авторы должны признать, что вплоть до современного, основанного на наемном труде, буржуазного государства все предшествовавшие формы государственной организации, как покоившиеся на рабстве и крепостничестве, были вопиющим нарушением «справедливости» и отрицанием «высшего права». В таком случае они должны признать, что «история показывает» совершенно противоположное тому, что видит в ней Лавелэ. Или они должны согласиться, что «высшее право» и «справедливость», как понятия вполне относительные, имеют для современного европейца совершенно другое содержание,

чем имели они, например, для Аристотеля или Платона, т.-е. что можно говорить лишь о свойственном той или другой эпохе понятии о «высшем праве» и т. д., а не о «праве» и «справедливости» вообще, без всякого отношения к месту и времени. Историко-реалистической школе, так восстающей против «абсолютных» положений и законов старой школы, едва ли позволительно было бы не признавать «относительности» самых понятий о «праве» и «справедливости». А раз признана эта относительность, немудрено припомнить и то обстоятельство, которое «история показывает» нам с такой наглядностью, что новые нравственные учения, новые понятия о «высшем праве» и «справедливости» не сразу прокладывали себе пути в сознание всего общества и не сразу же государство становилось их «органом» и «орудием». Христианство, например, добилось этого путем долгой и тяжелой борьбы с язычеством. Как обострялась по временам эта борьба, можно видеть хотя бы из знаменитых «факелов Нерона».

В конце концов, новые учения действительно делали государство своим «органом» и «орудием», но это было тогда, когда известная часть общества видела в них выражение удобнейшего для себя общественного строя и находила в себе достаточно силы и энергии для их защиты. Отсюда следует, что государство не всегда являлось «орудием» современной ему идеи «высшего права», но лишь при известных условиях. Поэтому и в настоящее время можно ожидать этого от западно-европейских государств только условно, а вовсе не во всех возможных комбинациях общественных сил.

Это-то и забывают или, по крайней мере, недостаточно оттеняют экономисты «новой школы». Они делают при этом ошибку, подобную ими же указанной ошибке рикардо-смитовской школы. Еще Лист упрекал английскую школу в том, что она не видела никаких промежуточных звеньев между индивидуумом и человечеством, между частным хозяйством и хозяйством всего культурного мира, которое представлялось ей не более как суммою индивидуальных экономических предприятий. Лист и историко-реалистическая школа утверждали, что между индивидуумом и человечеством стоит г о с у д а р с т в о как самостоятельный и живой экономический организм. Этому коллективному целому они приписывали различные свойства, признавали и признают за ним различные обязанности. Но нам кажется, что они до тех пор не выйдут из области бессодержательных фраз о «цивилизации и прогрессе», «праве и справедливости», пока не поведут своего анализа еще далее и не увидят, что коллективное целое—государство—далеко не представляется однородным. Напротив, в каждое данное время оно составляется из нескольких слоев, из нескольких сословий или классов, интересы которых стоят в большем или меньшем взаимном противоречии. Другими словами, между индивидуумом и государством стоит класс, положением которого определяется, в значительной степени, и положение индивидуума, его отношение к государству и отношение государства к нему. Если за под-

тверждением нашей мысли мы обратимся к тому, что «показывает история», то увидим, что только новейшее, так называемое правовое государство является юридически бессословным. Во всех же предшествовавших формах государственной организации разделение индивидуумов на касты, классы или сословия находило свое выражение в весьма определенных и недвусмысленных юридических формах. Но юридическая бессословность правового государства не мешает фактическому его разделению на классы имущих и неимущих, предпринимателей и рабочих, буржуа и пролетариев. Экономическая зависимость одного из этих классов от другого отражается и в политической жизни западно-европейских государств. Писатель, который возвел в теорию примиряющую и водворяющую справедливость миссию государства, Лоренц фон-Штейн, признает, что экономическая зависимость одних от других ведет к тому, что высшие классы стремятся захватить в свои руки все пружины государственного управления, создает и в политической жизни «порядок зависимости неимущих от имущих». Этот порядок зависимости передается, по мнению Штейна, от родителей к детям; переход же из одного класса в другой все более затрудняется, по мере того, как экономически-самостоятельная деятельность, с развитием крупной промышленности, требует все большего и большего запаса средств.

Ввиду этого явившегося с первых же шагов истории факта подразделения общества на классы, стоящие в различных отношениях взаимной зависимости, неудивительно, что понятия о «высшем праве» и «справедливости» бывают по временам различны на различных ступенях общественной лестницы.

Каждая составная часть общества стремится устроиться по своему, каждый класс отстаивает или стремится завоевать наивыгоднейшие для него условия существования. И нужно сознаться, что «орган высшего права»—государство—находилось бы в большом затруднении, какой из рекомендуемых ему видов «справедливости» должно осуществить оно в данное время, если бы только оно действительно существовало как нечто стоящее вне экономической иерархии классов и совершенно независимо от их интересов и стремлений. Но в том-то и дело, что в каждый данный момент исторического развития организация государства определялась отношением сил составных его частей. Если бы взаимное отношение этих сил оставалось неизменным, то и воплотившиеся в формах государственной организации идеи «права» и «справедливости» также не изменились бы в своем содержании. Но история никогда не стоит на одном месте. Медленно и незаметно, но неуклонно и «неукоснительно» совершаются изменения в фактических отношениях сил различных общественных классов, пока, наконец, эти изменения не достигнут известной степени интенсивности. Но раз необходимая степень этих изменений достигнута,—и только когда она достигнута,—государственная организация в свою очередь подвергается переустройству, становится

воплощением новых идей и принципов. История третьего сословия может служить наглядным доказательством всего вышесказанного. Эта же история может убедить читателя, что буржуазия совершила бы самоубийство, если бы в период своей юности, в то время, когда еще только стремилась быть «чем-нибудь», она пришла к тем же взглядам, которые проповедует ныне Лавелэ с голоса историко-реалистической школы. Она и доныне осталась бы «ничем», если бы, проникнувшись убеждением, что государство есть «орган высшего права», в бездействии ожидала осуществления своих идеалов от феодального государства. Но такая ошибка возможна только в теории, в голове того или другого «ученого» или хотя бы целой когорты «ученых» известного направления. Уроки же практической жизни слишком дорого оплачиваются человечеством, чтобы оно могло забыть известное изречение—«в борьбе обретешь ты право свое». Третье сословие никогда не забывало этой истины, и только благодаря неутомимой, многовековой борьбе могло оно сбросить иго феодализма. Как бы по иронии судьбы, именно историко-реалистическая школа и забыла поучительную историю этой борьбы. Мы говорили уже выше и еще вернемся к вопросу о причинах, обусловивших недостаточно критическое отношение историко-реалистической школы к предметам ее исследований. Теперь же, отметивши основную ошибку этой школы, состоящую в игнорировании повсюду отражающегося в политике расчленения общества на классы, мы перейдем к оценке других упреков, направляемых «новой политической экономией» по адресу ненавистного ей «манчестерства».

(Плеханов. «Новое направление в области политической экономии». Сочинения. Гиз 1924. Т. I, стр. 191—195.)

§ 5. КРИТИКА АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ.

У Бакунина своеобразная теория, смесь из прудонизма и коммунизма, при чем для первого характерно, что он считает главным злом, подлежащим устранению, не капитал, не классовое противоречие между капиталистами и рабочими, возникшее благодаря общественному развитию, но государство. В то время как массы социал-демократических рабочих, так же как и мы, держатся такого взгляда, что государственная власть есть не что иное, как организация, которую дали себе господствующие классы—землевладельцы и капиталисты,—для того, чтобы защищать свои общественные привилегии, Бакунин утверждает: государство создало капитал, капиталист обладает своим капиталом только благодаря милости государства.

Так как, следовательно, государство является главным злом, то нужно прежде всего уничтожить государство, тогда и капитал сам собой погибнет. Мы же говорим наоборот: уничтожьте капи-

тал—сосредоточение всех средств производства в руках немногих, тогда само собой отпадает государство. Тут существенная разница: отмена государства без социального переворота—бессмыслица. Уничтожение капитала—это есть общественный переворот и включает в себя преобразование всего способа производства. Но так как для Бакунина государство есть основное зло, то ничего не следует делать, что могло бы поддержать жизнь какого бы то ни было государства—республики, монархии и т. п. Поэтому—безусловное воздержание от какой бы то ни было политики. Совершить политическое действие, в особенности принять участие в выборах, это—измена принципу. Надо вести пропаганду, поносить государство, организоваться, и, когда, наконец, будешь иметь на своей стороне всех рабочих—следовательно, большинство—тогда уничтожаются, наконец, все государственные учреждения и на их место ставится организация Интернационала. Это великое действие, которым кладется начало тысячелетнего царства, называется социальной ликвидацией.

Все это звучит необыкновенно радикально и так просто, что все можно выучить наизусть в пять минут. Поэтому эта теория быстро встретила сочувствие среди молодых адвокатов, докторов и других доктринеров в Италии и Испании. Но масса рабочих никогда не допустит, чтобы им втолковали, что общественные дела их собственной страны не являются их собственными делами, они по природе своей политичны, и если кто говорит им:—«бросьте политику»—того они, в конце концов, покидают. Проповедовать рабочим воздержание от политики при всяких обстоятельствах—это значит загонять их в руки попам или буржуазным республиканцам. Так как, согласно Бакунину, Интернационал должен быть создан не для политической борьбы, а для того, чтобы он был в состоянии при социалистической ликвидации тотчас же заступить место старой государственной организации, то он (Интернационал) должен насколько возможно более приблизиться к бакунинскому идеалу будущего общества... власть — государство — безусловно от дьявола. (Каким образом эти господа собираются пустить в ход фабрики, железные дороги, управлять кораблем и т. д. без воли, решающей в последнем счете, без объединенного руководства—этого они нам, конечно, не говорят). Прекращается также и существование власти большинства над меньшинством. Всякий отдельный человек, всякая община автономны. Но каким образом общество, хотя бы из двух человек, возможно без того, чтобы каждый человек хоть от небольшой части своей автономии отказался, — об этом Бакунин точно так же молчит.

Так вот и Интернационал должен быть устроен по этому образцу. Каждая секция автономна и в каждой секции каждый отдельный человек тоже автономен.

К чорту базельские постановления, передающие генеральному Совету губительную и его самого деморализующую власть. Даже

если эта власть передана добровольно, она должна прекратиться именно потому, что она власть. Таковы основные пункты всего надувательства.

(Энгельс. Письмо Куно от 24/I 1872 г.
Маркс и Энгельс. Письма.)

* * *

Когда производительные силы данного общества приходят в противоречие с его производственными отношениями, это значит, что его имущественные отношения начинают тормозить развитие его производительных сил. Чтобы дать новый простор развитию общественных производительных сил, надо изменить его имущественные отношения. А что нужно для того, чтобы изменить их? Нужно, чтобы политическая власть из рук класса, заинтересованного в сохранении старой формы собственности, перешла в руки того класса, который заинтересован в создании новой ее формы. Это ясно, как божий день. А ведь этот переход политической власти в руки прогрессивного класса и означает собою «диктатуру» этого класса, ту самую диктатуру, одна мысль о которой казалась Бакунину гнусной изменой делу рабочего класса, и стремление к которой так решительно осуждает, вслед за Бакуниным, Э. Леонэ. Вот что называется попасть в точку!

Потом, если политическая власть может способствовать изменению форм собственности, то это значит, что выросшая на «экономическом факте» надстройка может оказывать на него влияние с своей стороны. А наш автор уверял нас вслед за Бакуниным, что это невозможно, и что всякий, кто только позволяет себе допускать возможность указанного нами обратного влияния, совершает смертный грех против учения Маркса. Хорошо «реалистическое» толкование исторического материализма!

(Плеханов. «Критика теории и практики синдикализма».
Маркс и Энгельс. Письма.)

* * *

Реклю кое-что слышал об историческом материализме. И слышал именно от Бакунина. В разбираемой мною книге он, правда, совсем не вспоминает об этом материализме. Но он ссылается на основное положение этого материализма, нападая на тактику социал-демократов, в предисловии к книге Домелы Ньевенгайса: «Социализм в опасности». В этом предисловии есть, между прочим, следующие строки:

«Посмотрите на такую могучую личность, как Карл Маркс, во имя которого фанатики сотнями тысяч воздевают руки к нему (?),

клянясь религиозно охранять его доктрину! Целая партия, целая армия, имеющая десятки депутатов в германском парламенте, разве не толкует теперь марксистскую доктрину именно в обратном смысле, чем ее понимал сам учитель? Он заявил, что экономическая сила определяет политическую форму обществ, а теперь от его имени утверждают, что экономический фактор будет зависеть от большого числа членов партии в политических собраниях» [1]).

Из этих строк видно, как детски беспомощна была мысль ученого географа Реклю в непривычной для него области социологии. Он думал, что если экономическая «сила» определяет собою политическую форму общества, то «экономический фактор» совсем уже не зависит от «политических собраний». Почему же не зависит? Разве следствие не может влиять, в свою очередь, на причину? Это не было ясно и ему самому. Он просто повторил здесь то, что твердил еще М. А. Бакунин, одобрявший исторический материализм, но, к сожалению, понявший его в том смысле, что политические отношения общества не имеют никакого влияния на его экономику, и потому обвинявший в преступной непоследовательности Маркса, который утверждал, как известно, что завоевание пролетариатом политической власти должно послужить средством его экономического освобождения. Совершенно произвольное и до последней степени неправильное понимание Бакуниным исторического материализма до сих пор лежит в основе всех упреков, направленных анархистами против марксизма, будто бы во имя того же марксизма. Мне самому еще приходилось слышать от покойного Н. И. Жуковского, что, признав «политику», Маркс уподобился Канту, который в своей «Критике чистого разума» опроверг все доказательства бытия божия, а в «Критике практического разума» сам признал это бытие. Это сравнение было бы хорошо, если бы придать ему обратный смысл, т.-е. если сказать: как Кант в «Критике практического разума» остался верен той точке зрения, на которую он стал в «Критике чистого разума», так Маркс в своей политической деятельности был верен основным положениям своего исторического материализма. Легко было бы доказать, что именно вследствие этой верности своим основным положениям исторического материализма, Маркс должен был оставить неудовлетворенными социалистов-идеалистов всевозможных оттенков, начиная с оппортунистического и кончая самыми «крайними». Так же легко было бы показать и то, что Бакунин, упрекавший Маркса в непоследовательности, остался на практике неисправимым идеалистом. Я отчасти уже сделал это [2]), но теперь место не позволяет мне распространяться об этом предмете. Я только скажу, что именно причинная зависимость «политической формы» общества

[1]) Домела Ньювангайс (Ньевенгайс). «Социализм в опасности», с предисловием Э. Реклю. Выпуск I. СПБ 1906 г., стр. IV—V.

[2]) См. мою брошюру «Анархизм и социализм», главу «Бакунин»,

от его экономики и заставляет марксистов смотреть на завоевание пролетариатом политической власти, как на главнейшее средство его экономического освобождения. Почему те классы общества, в руках которых сосредоточивается «экономическая сила», стремятся забрать политическую власть в свои руки? Не потому ли, что она служит для них средством дальнейшего упрочения и защиты своей экономической позиции? Кажется, что так. А кто находит, что это так, тем самым признает, что «политика» может влиять и влияет на «экономику». А ведь это и требовалось доказать.

Это последнее соображение заставляет меня отметить еще вот какую сторону дела. Анархисты охотно признают, что высшие классы пользуются своей политической властью для эксплоатации рабочего класса. Но если это правда,—а это святая истина,—то отсюда следует, что эта власть не только не вредна, а очень полезна для высших классов. Стало быть, нельзя говорить: существование политической власти вредно для общества; надо говорить так: политическая власть полезна тем классам, в руках которых она находится, и вредна для тех, против кого она направляется. А это значит, что те, против кого она направляется, должны взять ее из рук своих угнетателей и сделать ее орудием своего освобождения. Это именно тот неизбежный практический вывод, который делают марксисты и который отказывается сделать анархическая логика.

* * *

Анархисты думают, что политическая власть не может служить орудием освобождения пролетариата именно по той причине, что она служит теперь орудием его угнетения. Но и это большая ошибка. Политическая власть стесняла некогда буржуазию в интересах светской и духовной аристократии; а потом наступило такое время, когда политическая власть сделалась орудием переустройства всего общества в буржуазном духе. Ведь это известно каждому школьнику.

Характер политической власти изменяется в зависимости от того, в чьих руках она находится. В абсолютных монархиях она была не такова, какою она стала, попавши в руки буржуазии. А попавши в руки пролетариата, она будет не такою, какою она является в руках буржуазии. Маркс очень хорошо сказал в своей брошюре «Гражданская война во Франции», что «рабочий класс не может просто овладеть государственной машиной и воспользоваться ею для своих собственных целей», но что, напротив, овладев ею, он должен перестроить ее сообразно своим собственным социальным целям. Так представляется дело при правильном понимании отношения «политической формы» к «экономической силе».

(Плеханов. «Критика теории и практики синдикализма». «От обороны к нападению», стр. 376—377.)

* *

...Эта полемика относится к 1873 году. Маркс и Энгельс дали статьи против прудонистов-«автономистов» или «антиавторитаристов» в итальянский социалистический сборник, и только в 1913 г. эти статьи появились в немецком переводе в «Neue Zeit».

> «...Если политическая борьба рабочего класса,—писал Маркс, высмеивая анархистов с их отрицанием политики,—принимает революционные формы, если рабочие на место диктатуры буржуазии ставят свою революционную диктатуру, то они совершают ужасное преступление оскорбления принципов, ибо для удовлетворения своих жалких, грубых потребностей дня, для того, чтобы сломать сопротивление буржуазии, рабочие придают государству революционную и преходящую форму вместо того, чтобы сложить оружие и отменить государство»... («Neue Zeit», 1913—1914, год 32, т. 1, стр. 40.)

Вот против какой «отмены» государства восставал исключительно Маркс, опровергая анархистов! Совсем не против того, что государство исчезнет с исчезновением классов или будет отменено с их отменой, а против того, чтобы рабочие отказались от употребления оружия, от организованного насилия, то-есть от государства, долженствующего служить цели: «сломить сопротивление буржуазии».

Маркс нарочно подчеркивает—чтобы не искажали истинный смысл его борьбы с анархизмом—«революционную и преходящую форму» государства, необходимого для пролетариата. Пролетариату только на время нужно государство. Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти против эксплоататоров, как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса. Маркс выбирает самую резкую и самую ясную постановку вопросов против анархистов: свергая иго капиталистов, должны ли рабочие «сложить оружие» или использовать его против капиталистов, для того чтобы сломить их сопротивление? А систематическое использование оружия одним классом против другого класса,—что это такое, как не «преходящая форма» государства?

Пусть каждый социал-демократ спросит себя: так ли ставил он вопрос о государстве в полемике с анархистами? Так ли ставило этот вопрос огромное большинство официальных социалистических партий Второго Интернационала?

Энгельс еще гораздо подробнее и популярнее излагает те же мысли. Он высмеивает прежде всего путаницу мысли у прудонистов, которые звали себя «антиавторитаристами», т.-е. отрицали всякий авторитет, всякое подчинение, всякую власть. Возьмите фабрику, железную дорогу, судно в открытом море,—говорит Эн-

гельс,—разве не ясно, что без известного подчинения, следовательно, без известного авторитета или власти невозможно функционирование ни одного из этих сложных технических заведений, основанных на применении машин и планомерном сотрудничестве многих лиц?

«...Если я выдвигаю эти аргументы,—пишет Энгельс,—против самых отчаянных антиавторитаристов, то они могут дать мне лишь следующий ответ: «А! это правда, но дело идет здесь не об авторитете, которым мы наделяем наших делегатов, а об известном поручении». Эти люди думают, что мы можем изменить известную вещь, если мы изменим ее имя»...

Показав таким образом, что авторитет и автономия—понятия относительные, что область применения их меняется с различными фазами общественного развития, что за абсолюты принимать их нелепо, добавив, что область применения машин и крупного производства все расширяется, Энгельс переходит от общих рассуждений об авторитете к вопросу о государстве.

«...Если бы автономисты,—пишет он,—хотели сказать только, что социальная организация будущего будет допускать авторитет лишь в тех границах, которые с неизбежностью предписываются условиями производства, тогда с ними можно было бы столковаться. Но они слепы по отношению ко всем фактам, которые делают необходимым авторитет, и они борются страстно против слова.

Почему антиавторитаристы не ограничиваются тем, чтобы кричать против политического авторитета, против государства? Все социалисты согласны в том, что государство, а вместе с ним и политический авторитет, исчезнет вследствие будущей социальной революции, т.-е. что общественные функции потеряют свой политический характер и превратятся в простые административные функции, наблюдающие за социальными интересами. Но антиавторитаристы требуют, чтобы политическое государство было отменено одним ударом, еще раньше, чем будут отменены те социальные отношения, которые породили его. Они требуют, чтобы первым актом социальной революции была отмена авторитета.

Видали ли они когда-нибудь революцию, эти господа? Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, т.-е. средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве бы она продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы, наоборот, порицать

Коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом? Итак: или авторитаристы не знают сами, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь путаницу, или они это знают, и в этом случае они изменяют делу пролетариата. В обоих случаях они служат только реакции».

В этом рассуждении затронуты вопросы, которые следует рассмотреть в связи с темой о соотношении политики и экономики при отмирании государства (этой теме посвящена следующая глава). Таковы вопросы о превращении общественных функций из политических в простые административные и о «политическом государстве». Это последнее выражение, в особенности способное вызвать недоразумения, указывает на процесс отмирания государства: отмирающее государство на известной ступени его отмирания можно назвать неполитическим государством.

Наиболее замечательна в данном рассуждении Энгельса опять-таки постановка вопроса против анархистов. Социал-демократы, желающие быть учениками Энгельса, миллионы раз спорили с 1873 года против анархистов, но спорили именно *не* так, как можно и должно спорить марксистам. Анархистское представление об отмене государства путанно и н е р е в о л ю ц и о н н о,—вот как ставил вопрос Энгельс. Анархисты именно революции-то в ее возникновении и развитии, в ее специфических задачах по отношению к насилию, авторитету власти, государству, видеть не хотят.

Обычная критика анархизма у современных социал-демократов свелась к чистейшей мещанской пошлости: «Мы-де признаем государство, а анархисты нет!» Разумеется, такая пошлость не может не отталкивать сколько-нибудь мыслящих и революционных рабочих. Энгельс говорит иное: он подчеркивает, что все социалисты признают исчезновение государства как следствие социалистической революции. Он ставит затем конкретно вопрос о революции, тот именно вопрос, который обычно социал-демократы из оппортунизма обходят, оставляя его, так сказать, на исключительную «разработку» анархистам. И, ставя этот вопрос, Энгельс берет быка за рога: не следовало ли Коммуне б о л ь ш е пользоваться р е в о л ю ц и о н н о й властью г о с у д а р с т в а, т.-е. вооруженного, организованного в господствующий класс пролетариата?

Господствующая официальная социал-демократия от вопроса о конкретных задачах пролетариата в революции обыкновенно отделывалась либо просто насмешечкой филистера, либо, в лучшем случае, уклончиво-софистическим: «там видно будет». И анархисты получали право говорить против такой социал-демократии, что она изменяет своей задаче революционного воспитания рабочих. Энгельс использовывает опыт последней пролетарской революции именно для самого конкретного изучения, что и как следует делать пролетариату и по отношению к банкам и по отношению к государству.

(Л е н и н. «Государство и революция». Собрание сочинений. Гиз 1294. Т. XIV, ч. 2, стр. 345—348.)

VIII. О БУРЖУАЗНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ФОРМАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ.

§ 1. БУРЖУАЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СЛУЖИТ ИНТЕРЕСАМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ДЕЛЬЦОВ.

Американцы с давних уже пор доказали европейскому миру, что буржуазная республика есть республика капиталистических дельцов, в которой политика ничем не отличается от всех прочих торговых предприятий.

(Энгельс. Письмо к Зорге от 31/XII 1892 г. Маркс и Энгельс. Письма.)

* * *

Законодательное национальное собрание завершило собой проявление конституционной республики, т.-е. той республиканской государственной формы, в которой конституируется господство буржуазного класса, следовательно, совместное господство обеих больших роялистских фракций, образующих французскую буржуазию: вступивших в коалицию легитимистов и орлеанистов, партии порядка. В то время как французская республика досталась таким образом коалиции роялистских партий, европейская коалиция контр-революционных держав предприняла общий крестовый поход против последних убежищ мартовской революции.

(Маркс. «Борьба классов во Франции 1848—1850 г.г.».)

* * *

В чем состояла до сих пор характерная особенность государства? Простым разделением труда общество создало себе особые органы для защиты интересов. Но со временем эти органы и первый среди них—государственная власть, служа своим частным интересам, стали из слуг общества его повелителями. Такое явление происходит не только в наследственных монархиях, но и в демократических республиках. «Политики» нигде в мире не

пользуются таким влиянием и нигде настолько не обособлены от прочего населения, как в Северной Америке. Там каждая из двух больших партий, сменяющих друг друга у кормила правления, управляется в свою очередь людьми, которые из политики сделали себе гешефт; они спекулируют на места в законодательных собраниях Союза или отдельных штатов, или живут агитацией в пользу своей партии и вознаграждаются какой-нибудь должностью после ее победы. Известно, сколько усилий в течение последних 30 лет затратили американцы, чтобы свергнуть это ставшее невыносимым иго, и как, несмотря на это, они все более погружались в болото продажности. Именно в Америке всего лучше видно, как государственная власть становится независимой от того самого общества, орудием которого она в сущности является. Там нет ни династий ни постоянного войска, исключая кучки солдат, наблюдающих за индейцами, нет бюрократии с обеспеченными местами и пенсиями. И все же там мы видим, как две большие шайки политических спекулянтов попеременно владеют государственной властью и эксплоатируют ее самым грязным образом для самых грязных целей, а нация стоит бессильной перед этими двумя большими Союзами политиков, которые якобы находятся у нее на службе, а в действительности грабят ее и господствуют над нею.

Нередко считают обыкновенно смелым шагом отказ от веры в наследственную монархию и принятие в программу демократической республики. В действительности же государство есть не что иное, как орудие угнетения одного класса другим; это относится к демократической республике не менее, чем к монархии.

(Энгельс. «Введение к «Гражданской войне во Франции» Маркса».)

§ 2. О ВОЗРАСТАЮЩЕЙ РЕАКЦИОННОСТИ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Мы видели, что во всех областях, где интересы промышленной буржуазии сталкивались с интересами пролетариата, третья республика делала для последнего не больше, чем любая монархия, что она, наоборот, даже больше монархии выдвигала тенденции, враждебные пролетариату.

Но еще более нужно удивляться тому, что в промышленности, а следовательно, и с промышленным капиталом во время республики ничуть не продолжался тот подъем, который начался во время империи. Причины этого самые разнообразные, но отчасти они лежат в экономическом хозяйстве республики. Сами промышленные капиталисты не всегда являются лучшими защитниками своих собственных интересов. В своей жажде барыша они бывают нередко слишком склонны ради минутной прибыли пожертвовать самыми основами прочного процветания, убивать курицу, несущую золотые яйца.

Низкая заработная плата и продолжительный рабочий день доставляют, как известно, самый дорогой продукт. Кроме того, на-ряду с борьбой против профессиональных союзов и рабочего законодательства, промышленный капитал Франции вел еще борьбу за высокие покровительственные пошлины, следовательно, тоже за удорожание условий производства. Переход к свободной торговле был самым мудрым политико-экономическим актом империи. С ее падением начался режим покровительственных пошлин.

Но к недальновидности промышленных капиталистов присоединилось еще то обстоятельство, что они не одни управляли государством, но должны были делить свое господство с бюрократией и милитаризмом, а также и с крупным землевладением, в особенности же с крупными финансистами, уже более ста лет представлявшими собой ту силу, которая, несмотря на все изменения государственных форм и династий, всегда остается верховным властителем Франции.

В союзе с крупными финансистами лучшим средством заставить служить им демократические силы страны, чтобы сообща с ними грабить государство, являются профессиональные политики, правда, маленькая, но тем более могущественная часть буржуазии, играющая роль в каждом парламентарском государстве, и притом тем большую, чем сильнее, с одной стороны, парламент и чем богаче область его эксплоатации, и чем слабее, с другой стороны, народные массы сравнительно с парламентскими деятелями, то-есть чем менее демократично организованы и дисциплинированы партии, чем более парламентские партии имеют дело только с неорганизованной массой избирателей, с которыми им всегда легко справиться.

Эти профессиональные политики являются в республике представителями независимой государственной власти—государя и монархии; подобно цезарю цезаризма, они тоже очень легко делаются чистыми политиками хищничества с еще более низменными и мелочными взглядами, чем даже цезаристический император.

Энгельс очень хорошо представил это в своем предисловии к «Гражданской войне во Франции».

Монархистам и абсолютистам нет никаких поводов поднимать нос по поводу этой республиканской парламентарской продажности. Что могут они сами противопоставить ей? Ничего, кроме самодержавия бюрократии, продажность которой ничуть не меньше парламентарской и отличается от нее только тем, что является результатом не борьбы двух шаек за добычу, но верной монополии одной единственной шайки. Благодетельные следствия такой системы достаточно ясно выступают в политике русского царизма. Русско-бюрократическая и американско-республиканская продажность, это—две крайности, между которыми вращается и должна вращаться жизнь всех крупных капиталистических государств. Только социализм может положить этому конец организацией, какую начала осуществлять Парижская Коммуна,—самым широким распространением самоуправления, народным избранием

всех должностных лиц, подчинением всех делегатов в представительные собрания контролю и дисциплине организованного народа. Уже и в настоящее время лучшим средством противодействия парламентской продажности является образование большой и строго дисциплинированной пролетарской партии; и, наоборот, с парламентской продажностью отнюдь нельзя бороться тем, что социалистические депутаты присоединяются к одному из «карателей политиков, грабящих нацию и господствующих над ней», как выражается Энгельс. Это может способствовать только тому, что социалисты совершенно потеряют силу бороться с буржуазной продажностью и сделаются также ответственными за нее. Современная французская республика пользуется, благодаря своей конституции, преимуществом соединения парламентской продажности с бюрократической.

(Каутский. «Республика и социализм во Франции».)

* * *

Излишне пояснять читателю, имеющему понятие об отношении марксистов к политике и знакомому с деятельностью Гэда и Бебеля, что ни тот ни другой вовсе не обнаруживали такого равнодушия (к республике. Я. Р.). Бебель прямо сказал, что он завидует французам, имеющим республиканские учреждения. Но он напомнил Жоресу, что республика, существующая во Франции, есть буржуазная республика, относящаяся к требованиям рабочих иногда более отрицательно, чем даже полуфеодальная Германская империя. Подобное напоминание могло быть неприятно для человека, который, подобно Жоресу, не перестает славословить буржуазную республику и изображать, как великие и богатые милости, те жалкие проекты жалких социальных реформ, с помощью которых французские буржуазные республиканцы убаюкивают французский пролетариат; но это напоминание вполне соответствует истине, и тут приходится сказать, как Крылов: «неча на зеркало пенять, коль рожа крива». Что сделала до сих пор для рабочего класса та республика, которая, в лице наиболее видных и влиятельных правителей своих, уверяла, что вступление социалиста в буржуазное министерство необходимо для ее спасения? Если не считать ничтожных частностей,—бесконечно малых заплат на жалком рубище буржуазной «социальной политики»,—то реформы, придуманные правительством «республиканской самообороны», до сих пор не вышли из области проектов и обещаний. И каких проектов, каких обещаний! Самым серьезным из них является обещание крохотных,—поистине нищенских,—пенсий рабочим, достигшим 65-летнего возраста. Но современное положение пролетариата таково, что лишь самое незначительное число пролетариев достигает этого возраста; поэтому сознательные

французские рабочие чрезвычайно метко прозвали сей изумительно великодушный проект проектом пенсий мертвецам. Такова была главная «реформа», которую обещала подарить рабочему классу французская буржуазная республика и на которую чувствительно намекал красноречивый Жорес, защищая свою тактику. Презрительно пожимая плечами по поводу такой щедрости,—поистине достойной Плющкина,—революционные социал-демократы отнюдь не защищают монархии: они только обнаруживают нелепость той идеализации буржуазной республики, которой предаются Жорес и другие сторонники нового метода.

Маркс давно и вполне правильно сказал, что республика есть наиболее благоприятная для пролетариата форма правления, потому что в ней достигает наибольшего развития борьба этого класса с буржуазией. И этого, конечно, не позабыли ни Гэд ни Бебель. Но если, при наличности капиталистических производственных отношений, республика является одним из самых важных политических условий освобождения рабочего класса, то ясно, что буржуазная республика не может быть в глазах социалиста целью: она—только средство для достижения цели: социальной революции. Именно потому, что буржуазная республика есть средство, а не цель, социалисты обязаны критиковать ее для того, чтобы развивать революционное самосознание рабочих. А Жорес поступает как раз наоборот: он превращает буржуазную республику из средства в цель, и приходит в забавное негодование, когда сторонники революционного социализма восстают против такого превращения.

(Г. В. Плеханов. «В Амстердаме». «Мысли и заметки о II Интернационале».)

§ 3. ЧИСТАЯ ДЕМОКРАТИЯ—ЛОЗУНГ, ВОКРУГ КОТОРОГО В МОМЕНТ РЕВОЛЮЦИИ ГРУППИРУЮТСЯ ВСЕ РЕАКЦИОННЫЕ СИЛЫ.

Что касается чистой демократии и ее роли в будущем, то я полагаю, что в Германии она будет играть гораздо менее видную роль сравнительно со странами более старого промышленного развития. Но это ей не помешает в момент революции на короткое время приобрести временное значение в качестве самой крайней буржуазной партии, какой она выступала уже во Франции, в роли последнего якоря спасения всего буржуазного и даже феодального хозяйства. В такой момент вся реакционная масса группируется вокруг нее и усиливает ее. Все, что было реакционным, выступает тогда демократически. Точно так же в 1848 году вся феодально-бюрократическая масса с марта по сентябрь поддерживала либералов, для того, чтобы укротить революционные массы. А когда это удалось, то, само собой разумеется, либералов прогнали пинками. Так и во Франции в 1848 г., с мая до декабрьских выборов Бонапарта, чистая партия «Националя», самая крайняя из всех, господствовала только благодаря

тому, что ее поддерживала организующаяся под ее прикрытием вся реакция. Так было во всех революциях. К власти приходит партия самая ручная (из революционных), сохраняющая еще способность управлять (в духе имущих), именно потому, что побежденные только в ней видят последнюю возможность спасения. Конечно, нельзя ожидать, чтобы к моменту кризиса за нас было большинство избирателей, большинство нации.

Весь буржуазный класс, остатки феодального владеющего класса, большая часть мелкой буржуазии и сельского населения группируются тогда вокруг той крайней буржуазной партии, которая тогда на словах выставляет себя крайне революционной. Я считаю вполне вероятным, что она будет представлена во временном правительстве и, даже возможно, окажется на время там в большинстве. Как не следует поступать, будучи в меньшинстве—показало нам социал-демократическое меньшинство парижского февральского правительства в 1848 г. Но этот вопрос остается пока еще академическим.

Конечно, возможно, что в Германии дело пойдет иначе и как раз по причинам военным. Внешний толчок, при теперешнем положении вещей, может исходит только из России. Если его не будет и дело начнется с Германии, тогда революция может исходить только из армии. Невооруженный народ перед современной армией является величиной совершенно ничтожной. В этом случае, т.-е. если активно выступят наши резервы от 20—25 лет, которые не голосуют, но участвуют в военном обучении,—можно будет перескочить через чистую демократию. Но этот вопрос в настоящее время является тоже академическим, хотя я, как представитель главного штаба партии, обязан предвидеть эту возможность. Во всяком случае во время кризиса и на другой день после него нашим единственным противником явится вся реакционная масса, объединяющаяся вокруг чистой демократии, и этого, как я полагаю, ни в каком случае упускать из виду нельзя.

(Энгельс. Письмо к Бебелю от 11/XII 1884 г.)

§ 4. МЕТАФИЗИКА ДЕМОКРАТИИ И ПАРЛАМЕНТСКИЙ КРЕТИНИЗМ.

Эти несчастные слабоумцы в течение своей обыкновенно очень тихой жизни так мало привыкли ко всему, что напоминает успех, что им действительно казалось, будто их незначительные контрпредложения, принимавшиеся большинством от двух до трех голосов, изменят весь облик Европы. С самого начала своей законодательной карьеры они более, чем всякая другая фракция в собрании, были заражены неизлечимой болезнью парламентского кретинизма, страданием, которое поселяет в своих несчастных жертвах возвышенное убеждение, будто целый мир, его история и его будущее направляются и определяются большин-

ством голосов в отдельном представительном учреждении, которому они оказывают честь, состоя его членами, и будто все и вся, совершающееся вне стен этого дома,—войны, революции, постройка железных дорог, колонизация целых новых континентов, калифорнийские золотые прииски, каналы центральной Америки, русские войска и все остальное, что может заявлять некоторые притязания на то, чтобы оказывать влияние на судьбы человечества,—будто все это ничто в сравнении с неизмеримо серьезными событиями, коренящимися в вопросе, которому, каков бы он ни был в данный момент как раз посвящено внимание высокого дома. Именно потому, что демократической партии собрания удалось тайком ввести некоторые из своих панацей в «имперскую конституцию», она считала себя обязанной выступить за нее, хотя эта конституция в каждом существенном пункте стояла в вопиющем противоречии с так часто провозглашавшимися принципами демократической партии. И когда, наконец, главные инициаторы бросили порожденного ими ублюдка и оставили его в наследие демократической партии, последняя приняла это наследство и продолжила борьбу за эту монархическую конституцию, вступив даже в борьбу с теми, кто теперь возвещал свои республиканские принципы.

(Энгельс. «Революция и контр-революция в Германии».)

*
* *

Парламентаризм есть такая правительственная система, при которой у народа является иллюзия, будто он сам управляет делами страны, тогда как в действительности фактическая власть сосредоточивается при этом в руках буржуазии, и даже не всей буржуазии, а лишь некоторых слоев этого класса. В первый период своего господства буржуазия не понимает или, вернее, не чувствует необходимости создавать для народа иллюзию самоуправления. Поэтому все парламентские страны Европы начинали с ограниченной подачи голосов; повсюду право давать направление политике страны посредством избрания депутатов принадлежало вначале лишь более или менее крупным собственникам и затем уже постепенно распространялось на менее состоятельных граждан, пока в некоторых странах не превратилось из привилегии во всеобщее право всех и каждого.

В буржуазном обществе чем значительнее становится масса общественного богатства, тем меньшим и меньшим числом личностей она присваивается; то же происходит и с властью: по мере того, как растет масса граждан, обладающих политическими правами, и увеличивается число избираемых правителей, действительная власть сосредоточивается и становится монополией все меньшей и меньшей группы личностей. В капиталистических странах,

достигших высокой степени развития, каковы Англия, Франция и Соединенные Штаты, государственная власть находится в руках финансистов, хотя избирательные права очень широки, а в двух из названных стран, существует даже всеобщая подача голосов.

Избиратели забавляются составлением программ, их кандидаты клянутся неуклонно трудиться над осуществлением этих программ, но избранный кандидат уже не принадлежит себе, еще меньше принадлежит он избирателям: пожираемый жаждой денег, он становится слугою финансистов, которые платят ему наличными деньгами или, в том случае, когда депутат обладает неподкупностью Катона, вознаграждают его местами в финансовых компаниях. Подкупность политических деятелей является характеристической чертой парламентаризма; политика становится ремеслом и притом выгодным. Скандалы, периодически разражающиеся как в республиканской Франции и Америке, так и в монархической Англии, могут удивлять наивных людей, но в сущности это лишь внешние проявления глубокой органической болезни, подтачивающей парламентский режим. К тому же ведь купля и продажа составляют главнейшую общественную функцию каждого буржуа,—так почему бы не торговать своим голосом депутату, не имеющему ни сахара ни кож для продажи. В деспотических странах глава государства управляет с грубой бессмысленностью; он говорит: «я хочу»—и этого довода вполне достаточно; он не обязан сообразоваться ни с потребностями ни с желаниями управляемых, но членам парламента, называющим себя слугами самодержавного народа, исполнителями его велений, необходимо прибегать к уловкам, чтобы, управляя народом, не разрушить его иллюзий. Парламентские фокусы весьма многочисленны: право голоса и петиции, доставляющие невинное развлечение избирателям; парламентские комиссии и следствия, служащие скорейшим и вернейшим средством отделываться от важных и затруднительных вопросов; бесконечные, болтливые прения о всяких пустяках, помогающие убивать время и затуманивать головы избирателей и пр. [1]).

---

[1]) Чтобы не дать повода анархистам вообразить себе, будто я разделяю в чем бы то ни было их теории, являющиеся, в конце концов, лишь резкими преувеличениями избитых идей буржуазии, я считаю необходимым следующее примечание: констатируя недостатки парламентаризма, что вовсе не трудно, так как эти недостатки бросаются в глаза, анархисты наивно воображают, что с парламентским режимом можно покончить посредством проповедей против всеобщей подачи голосов, магических формул «уничтожения государства» и других столь же невинных пустяков. Но убить парламентаризм не так-то легко; его уловки, так возмущающие анархистов, занимают публику и отвлекают ее внимание от пунктов, наиболее интересных для финансистов, дозволяя быстро и втихомолку обделывать серьезные дела, вроде концессий на железные дороги, субсидий различным предприятиям, объявленным общеполезными, колониальных экспедиций, таможенных пошлин и пр.

Пока нация будет разделена на классы,—на собственников и неимущих,—будет неизбежно существовать государство, гарантирующее привилегии класса собственников и подчинение рабочего класса. Деспотизм есть государственная

Наиболее сложный и самый удачный парламентский фокус заключается в разделении депутатов на две соперничающие партии, сменяющие одна другую у власти, чтобы поочередно обирать народ и действовать в интересах собственников. Во всем своем совершенстве эта система парламентской эквилибристики могла функционировать лишь в Англии. Здесь парламентский мир разделен на тори и вигов, их споры поглощают внимание публики и возбуждают ее страсти, но эксплоатация производителей в пользу поземельных собственников и капиталистов идет с одинаковым успехом, какая бы партия ни стояла у кормила правления, и надо заметить, что наиболее жестокие репрессивные меры против Ирландии были приняты либеральными министерствами, тогда как фабричные законы были навязаны фабрикантам консерваторами.

Некоторое подобие этой системы существовало во Франции лишь в царствование Луи-Филиппа. При громе речей и агитации власть переходила тогда поочередно от Тьера к Гизо и от Гизо обратно к Тьеру без самомалейших изменений в ходе дел буржуазии. Правильный размах парламентского маятника затрудняется во Франции главным образом неспособностью наших политиков в их слепой, нелепой любви к власти; они цепляются за министерские портфели, как утопающие за соломинку, а чтобы удержаться на местах, льстят консервативным инстинктам буржуазных классов и противятся самым невинным нововведениям. Чисто политические реформы, вроде расширения избирательного права, не представляющие для собственников ни малейшей опасности и достигнутые в Англии мирным путем, могли быть вырваны у французских парламентов лишь посредством революций.

Эти революции подвергали опасности самое существование буржуазии, так как революционеры пользовались ими для настойчивых требований социальных реформ. Опасаясь за свои привилегии, имущие классы бросались тогда в объятия диктаторов. В 1848 г., после июньских дней, диктаторами были Кавеньяк и принц Людовик-Наполеон; в 1871 г., после Парижской Коммуны, диктатором явился Тьер. Таким образом та же система равновесия установилась во Франции под другой формой: с высоты более или менее полного парламентаризма она падает до личного правления, смягченного в некоторой степени парламентскими учреждениями, чтобы, отделавшись затем от личной власти, снова возвращаться к чистому парламентаризму. Но при такой системе во Франции привыкли искать выхода из социальных или политических затруд-

---

форма военного и аристократического класса, парламентаризм—класса буржуазии и капиталистов. Требовать уничтожения всех форм государства прежде уничтожения самих классов—бессмысленно. В тот день, когда пролетариат Европы и Америки овладеет государством, он должен будет организовать революционную власть и диктаторски управлять обществом, пока буржуазия не исчезнет как класс, т.-е. пока не будет закончена национализация орудий производства (банков, железных дорог, фабрик, копей, заводов и проч.). Прим. автора.

нений в провиденциальных личностях, в спасителях порядка и общества.

Третья буржуазная республика, последовавшая за единоличным правлением Наполеона III, дебютировала избиением Парижа при участии Бисмарка; республиканская форма оказалась наиболее удобной для совершения преступлений буржуазии против рабочего класса. Республиканские парламенты, бессильные осуществить какую бы то ни было реформу, сумели только компрометировать финансы, увеличить налоги, истощить страну далекими экспедициями высшего колониального разбоя и поставлять силы государства к услугам патронов для подавления рабочих стачек.

В 1848 г. и 1871 г. имущие классы искали выхода из затруднений экономического и политического положения у ног диктаторов; теперь рабочие, крестьяне и мелкая промышленная и торговая буржуазия, теряя всякую надежду на парламент, обращаются в поисках за выходом из современного положения к отдельной личности, к генералу Буланже. Буланжизм является бессознательным, но тревожным и грозным проявлением болезненного состояния общества и недовольства обездоленных классов, утративших свои иллюзии, потерявших веру в слова и дела парламентских республиканцев.

Генерал Буланже еще не опасен, но для господствующих классов буланжизм очень опасен: это предвестник социальной революции.

(П. Лафарг. «Парламентаризм и буланжизм». Сочинения. Гиз 1925 г. Т. I, стр. 88—82.)

*
* * *

Чувствуя под ногами зыбкость исторической почвы в вопросе о демократии, Каутский переходит на почву нормативной философии. Вместо исследования того, что есть, он рассуждает о том, что должно бы быть.

Принципы демократии—суверенитет народа, всеобщее и равное избирательное право, свободы—выступают у него в ореоле нравственного содержания и изображаются незыблемыми и священными сами по себе. Это метафизическое грехопадение не случайно. Крайне поучительно, что и покойник Плеханов, беспощадный противник кантианства в течение лучшей поры своей деятельности, попытался под конец жизни, когда его захлестнула волна патриотизма, ухватиться за соломинку категорического императива.

Той реальной демократии, с которой теперь немецкий народ сводит опытное знакомство, Каутский противополагает некую идеальную демократию, как вульгарному явлению—вещь в себе. Каутский не указывает с уверенностью ни одной страны, демократия которой действительно способна обеспечить безболезненный переход к социализму. Зато он твердо знает, что такая демократия

должна быть. Нынешнему германскому Национальному Собранию, этому органу беспомощности, реакционной злобности униженного искательства, Каутский противопоставляет другое, настоящее, истинное Национальное Собрание, которое имеет все преимущества, кроме небольшого преимущества реальности.

Доктриной формальной демократии является не научный социализм, а теория так называемого естественного права. Сущность последней состоит в признании вечных и неизменных правовых норм, которые у разных народов и в разные эпохи находят различное, более или менее ограниченное и искаженное выражение. Естественное право новой истории, т.-е. такое, каким оно вышло из средних веков, заключало в себе прежде всего протест против сословных привилегий, злоупотреблений деспотического законодательства и других «искусственных» продуктов феодального положительного права. Идеологи еще слишком слабого третьего сословия давали выражение его классовым интересам в некоторых идеальных нормах, которые в дальнейшем развернулись в учение о демократии, приобретя при этом индивидуалистический характер. Личность есть самоцель, все люди имеют право высказывать устно и печатно свои мысли, каждый человек должен пользоваться одинаковым избирательным правом. Как боевое знамя против феодализма, требования демократии имели прогрессивный характер. Чем дальше, однако, тем больше метафизика естественного права (теория формальной демократии) выдвигала свою реакционную сторону: установление контроля идеальной нормы над реальными требованиями рабочих масс и революционных партий.

Если оглянуться на историческое чередование миросозерцаний, то теория естественного права представится очищенным от грубой мистики пересказом христианского спиритуализма. Евангелие объявило рабу, что у него такая же душа, как и у рабовладельца, и таким образом установило равенство всех людей перед небесным трибуналом. На деле раб оставался рабом, и повиновение вменялось ему в религиозный долг. В учении христианства раб находил мистическое выражение собственному темному протесту против своего униженного состояния. На-ряду с протестом—также и утешение. Христианство говорило ему: «у тебя бессмертная душа, хотя ты и похож на вьючного осла». Тут звучала нота возмущения. Но то же христианство говорило: «пусть ты подобен вьючному ослу, но зато твоей бессмертной душе уготовано вечное воздаяние». Тут слышен голос утешения. Эти две ноты сочетались в историческом христианстве по-разному в различные эпохи и у разных классов. Но в общем христианство, подобно всем другим религиям, стало орудием усыпления совести угнетенных масс.

Естественное право, развившись в теорию демократии, говорило рабочему: «все люди равны перед законом, независимо от их происхождения, их имущественного положения и выполняемой ими роли; каждый имеет равное право голоса в определении судеб

народа». Эта идеальная норма революционизировала сознание масс, поскольку являлась осуждением абсолютизма, аристократических привилегий имущественного ценза. Но чем дальше, тем больше она усыпляла сознание, легализуя нужду, рабство и унижение; ибо как же восставать против порабощения, раз каждый имеет право голоса в определении народных судей?

Ротшильд, который кровь и слезы мира перечеканил в наполеондоры своих барышей, имеет один голос на парламентских выборах. Темный землекоп, который не умеет подписать имени, всю жизнь спит не раздеваясь и бродит в обществе, как подземный крот, является, однако, носителем народного суверенитета и равен Ротшильду перед судом и на выборах в парламент. В реальных условиях жизни, в хозяйственном процессе, в социальных отношениях, в быту—люди становились все более и более неравны друг к другу: нагромождение ослепительной роскоши на одном полюсе, бедность и безнадежность—на другом. Но в области государственно-правовой надстройки эти зияющие противоречия исчезали; туда проникали лишь бесплотные юридические тени. Помещик, батрак, капиталист, пролетарий, министр, чистильщик сапог—все равны как «граждане», как «законодатели». Мистическое равенство христианства сделало с небес шаг вниз, в лице естественно-правового равенства демократии. Но оно не спустилось на землю к экономическому фундаменту общества. Для темного поденщика, который всю свою жизнь оставался вьючным скотом на службе буржуазии, идеальное право влиять на судьбы народа через посредство парламентских выборов оставалось немногим более реально, чем то блаженство, которое было обещано ему в царствии небесном.

В практических интересах развития рабочего класса социалистическая партия стала в известную эпоху на путь парламентаризма. Но это вовсе не значило, что она принципиально признала метафизическую теорию демократии, покоящуюся на началах надисторического права. Пролетарская доктрина рассматривала демократию как служебный инструмент буржуазного общества, целиком приспособленный к задачам и потребностям господствующих классов. Но так как буржуазное общество жило трудом пролетариата и не могло отказать ему в легализации некоторой части его классовой борьбы, не разрушая себя, то этим открывалась для социалистической партии возможность использовать в известный период и в известных пределах механику демократий, отнюдь не присягая ей как незыблемому принципу.

Основная задача партии во все эпохи ее борьбы состояла в том, чтобы создать условия реального, хозяйственного, бытового равенства для людей, как членов солидарного человеческого общежития. Именно поэтому и для этого теоретики пролетариата должны были разоблачить метафизику демократии, философское прикрытие политических мистификаций.

Если демократическая партия в эпоху своего революционного

подъема, разоблачая гнетущую и усыпляющую ложь церковной догмы, проповедывала массам: «вас убаюкивают вечным блаженством по ту сторону жизни, а здесь вы бесправны и опутаны цепями произвола»,—то социалистическая партия несколькими десятилетиями спустя с неменьшим правом говорила тем же массам: «вас усыпляют фикцией гражданского равенства и политических прав, но у вас отнята возможность реализовать эти права; условное и призрачное юридическое равенство превращено в идеальную цепь каторжника, которою каждый из вас прикован к колеснице капитала».

Во имя своей основной задачи социалистическая партия мобилизовала массы также и на основе парламентаризма, но нигде и никогда партия, как таковая, не обязывалась привести массы к социализму не иначе, как через ворота демократии. Приспособляясь к парламентскому режиму, мы ограничивались в предшествующую эпоху теоретическим разоблачением демократии, потому что были еще слишком слабы, чтобы практически преодолеть ее. Но идейная орбита социализма, которая вырисовывается сквозь все уклонения, падения и даже измены, предопределила именно такой исход: отбросить демократию и заменить ее рабочим механизмом пролетариата в тот момент, когда этот последний окажется достаточно силен для выполнения такой задачи.

Мы приведем одно свидетельство, но достаточно яркое. «Парламентаризм,—писал Поль Лафарг в русском сборнике «Социал-Демократ» 1888 г.,—есть такая правительственная система, при которой у народа является иллюзия, будто он сам управляет делами страны, тогда как в действительности фактическая власть сосредоточивается при этом в руках буржуазии, и даже не всей буржуазии, а лишь некоторых слоев этого класса. В первый период своего господства буржуазия не понимает или, вернее, не чувствует необходимости создавать для народа иллюзию самоуправления. Поэтому все парламентские страны Европы начинали с ограниченной подачи голосов; повсюду право давать направление политике страны посредством избрания депутатов принадлежало вначале лишь более или менее крупным собственникам и затем уже постепенно распространялось на менее состоятельных граждан, пока в некоторых странах не превратилось из привилегии во всеобщее право всех и каждого.

«В буржуазном обществе, чем значительнее становится масса общественного богатства, тем меньшим числом личностей она присваивается; то же происходит и с властью: по мере того, как растет масса граждан, обладающих политическими правами, и увеличивается число избираемых правителей, действительная власть сосредоточивается и становится монополией всей меньшей и меньшей группы личностей».

Таково таинство большинства.

Для марксиста Лафарга парламентаризм остается до тех пор, пока сохраняется господство буржуазии. «В тот день,—пишет

Лафарг,—когда пролетариат Европы и Америки овладеет государством, он должен будет организовать революционную власть и диктаторски управлять обществом, пока буржуазия не исчезнет как класс».

Каутский в свое время знал эту марксистскую оценку парламентаризма и не раз повторял ее сам, хотя и не с такой галльской ясностью и остротой. Теоретически отступничество Каутского в том именно и состоит, что, признав принцип демократии абсолютным и незыблемым, он от материалистической диалектики вернулся вспять к естественному праву. То, что было разоблачено марксизмом как передаточный механизм буржуазии и лишь подлежало временному политическому использованию, в целях подготовки революции пролетариата, снова освящено Каутским как верховное начало, стоящее над классами и безусловно подчиняющее себе методы пролетарской борьбы. Контр-революционное вырождение парламентаризма нашло свое наиболее законченное выражение в обоготворении демократии упадочными теоретиками II Интернационала.

(Троцкий. «Терроризм и коммунизм». Гиз 1920 г., стр. 37—41.)

§ 5. КЛАССОВЫЕ ОСНОВЫ БОНАПАРТИЗМА.

Но если низвержение парламентской республики и заключает в себе зародыш триумфа пролетарской революции, то ближайшим осязательным результатом его была победа Бонапарта над парламентом, исполнительной власти над законодательной, власти sans phrase над властью фразы. В парламенте нация возводила свою общую волю на степень закона, или, вернее, закон господствующего класса на степень всеобщей воли народа. Перед исполнительной властью она отказывается от всякой собственной воли и подчиняется чуждой власти, авторитету. Исполнительная власть, в противоположность законодательной, выражает собою гетерономию нации, внешнее по отношению к ней господство, в противоположность ее автономии. Итак, Франция, повидимому, избежала деспотии одного класса лишь для того, чтобы подчиниться деспотии и авторитету одного индивидуума, притом индивидуума, лишенного авторитета. Борьба уравняла как будто бы всех: все классы одинаково бессильно и одинаково безгласно преклонили колена перед прикладом.

Но революция делает свое дело основательно. Пока она совершает еще путешествие через чистилищный огонь. Она методически осуществляет свою миссию. До 2 декабря 1851 года она закончила первую половину своих подготовительных работ, теперь довершает остальное. Сначала она создала парламентскую власть в ее вполне законченной форме, чтобы потом низвергнуть ее. Теперь, когда это достигнуто, она завершает исполнительную власть, дает ей ее наиболее чистое выражение, изолирует ее,

чтобы противопоставить ее себе как единое препятствие и концентрировать затем все силы на его разрушении. И когда эта вторая половина подготовительной работы будет закончена, тогда-то Европе придется вскочить с места и воскликнуть: «ты славно роешь, старый крот!».

Исполнительная власть с ее колоссальной бюрократической и военной организацией, с ее тяжеловесным и искусственным государственным механизмом, с полумиллионной армией чиновников и полумиллионной армией солдат, этот чудовищный паразитический организм, плотно облегающий тело французского общества, как кожа облегает тело, и закупоривающий все его поры, возник в эпоху абсолютной монархии, при распадении феодализма, при чем сильно способствовал ускорению этого последнего процесса. Все феодальные привилегии землевладельцев и городов превратились в атрибуты государственной власти, феодальные сановники—в чиновников на жалованьи, и на место пестрого калейдоскопа враждующих между собою средневековых властей явился упорядоченный план государственной власти, работа которой разделена и централизована теперь на фабричный манер. Первая французская революция, поставив перед собой задачу сломить все сепаратные власти, местные, территориальные, городские и провинциальные, чтобы создать гражданское единство нации, должна была развить то, что начала абсолютная монархия: усилить централизацию правительственной власти, но в то же время расширить ее полномочия, ее атрибуты и круг ее исполнителей. Наполеон усовершенствовал этот государственный механизм. Легитимная монархия и монархия июньская не прибавили ничего нового, но только увеличили разделение труда, которое неизбежно должно расти по мере того, как разделение труда внутри самого буржуазного общества создает новые группы интересов и, следовательно, новый материал для государственного управления. Всякий о б щ и й интерес тотчас же отделялся от общества и противопоставлялся ему как интерес высший, в с е о б щ и й. Все, что носило на себе печать такого общего интереса, начиная с мостов, школьных зданий, коммунального имущества деревенских общин и кончая железными дорогами, национальными имуществами и университетом, вырывалось из сферы самодеятельности членов общества и становилось предметом правительственной деятельности. Наконец, парламентская республика в своей борьбе против революции была вынуждена усилить средства и централизацию правительственной власти репрессивными мероприятиями. Все перевороты только совершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать ее. Партии, последовательно боровшиеся за господство, видели в обладании этим колоссальным государственным зданием главную добычу победителя.

Но при абсолютной монархии, во время первой революции, при Наполеоне бюрократия была лишь средством подготовить классовое господство буржуазии. При реставрации, при Луи-Филиппе, при парламентской республике она была орудием господствующего

класса, как ни стремилась она в это время стать самостоятельной силой.

Лишь при втором Бонапарте государство становится, повидимому, совершенно самодовлеющим. Государственная машина настолько укрепила свою независимость от буржуазного общества, что во главе ее мог стать шеф общества 10 декабря, перекочевавший из-за границы искатель приключений, поднятый на щит пьяными солдатами, которых он купил водкой и сосисками и которых он снова и снова вынужден задабривать теми же сосисками. Отсюда то малодушное отчаяние, то чувство страшного унижения и позора, которое давит грудь Франции и не дает ей свободно вздохнуть. Она чувствует себя как бы обесчещенной.

И все же эта государственная власть не висит в воздухе. Бонапарт является представителем класса, и как раз наиболее многочисленного класса французского общества, м а л о з е м е л ь н ы х, п а р ц е л л я р н ы х к р е с т ь я н.

Как Бурбоны были династией крупного землевладения, Орлеаны династией денежного мешка, так Бонапарты суть династия крестьян, т.-е. французской народной массы. Не Бонапарт, подчиняющийся буржуазному парламенту, а Бонапарт, разогнавший буржуазный парламент,—истинный избранник крестьян. Три года городам удавалось фальсифицировать истинный смысл избрания 10 декабря, обманывая надежды крестьян на восстановление империи. Волю избирателей 10 декабря 1848 г. выполнило лишь coup d'état 2 декабря 1851 года.

Парцеллярные, карликовые крестьяне составляют огромную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая, однако, друг с другом в какие-либо прочные и сложные отношения. Их способ производства не только не создает между ними взаимного общения, но прямо-таки изолирует их друг от друга. Изолирование увеличивается еще благодаря плохим путям сообщения во Франции и бедности крестьян. Поле производства, мелкий участок земли, не требует для своей обработки ни разделения труда ни применения науки, не требует, следовательно, разностороннего развития, разнообразия талантов, сложности общественных отношений. Каждая отдельная крестьянская семья почти довлеет себе, самостоятельно производит большую часть предметов своего потребления и добывает таким образом свои жизненные средства более в обмене с природой, чем в сношениях с обществом. Клочок земли, крестьянин и его семья; рядом—другая парцелла, другой крестьянин и другая семья. Известная сумма таких семейств образует деревню, известная сумма деревень—департамент. Таким образом наибольшая часть французской нации составляется путем простого сложения одноименных величин, вроде того, как мешок картофеля из отдельных картофелин. Поскольку миллионы семей существуют в экономических условиях, благодаря которым они по своему образу жизни, по своим интересам и образованию отличаются от всех других классов и даже враждебны им, они сами

образуют класс. Но поскольку между малоземельными крестьянами существует только локальная связь, поскольку тождественность их интересов не создает никакой общности, никакого национального объединения, никакой политической организации, они не образуют класса. Они поэтому не способны защищать свои классовые интересы от собственного имени ни в парламенте ни в каком-либо конвенте. Они не могут сами представлять себя, они должны быть представлены другими. Их представитель должен быть в то же время их господином, авторитетом, вооруженным неограниченной правительственной властью, которая защищает их от всех других классов и посылает им сверху дождь и солнечные лучи. Политическое влияние малоземельных крестьян находит себе таким образом наиболее полное выражение в том, что исполнительная власть подчиняет себе общество.

Под влиянием исторической традиции среди французских крестьян возникла вера, что некий муж, по имени Наполеон, принесет им с собою все блага земные. И вот явился человек, которого выдавали за этого мужа, ибо он носил имя Наполеон, основываясь на статье наполеоновского кодекса, которая гласит: «La recherche de la paternité est interdite» (т.-е. «незаконнорожденным воспрещается разыскивать отца») [1]). Обетование, наконец, исполнилось, и муж этот после двадцатилетнего бродяжничества и целого ряда удивительнейших приключений стал императором французов. Idée fixe племянника осуществилась, так как она совпала с idée fixe многочисленнейшего класса французов.

(Маркс. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», стр. 220—223.)

*
* *

Итак Бисмарк совершил «удар с помощью избирательного права» (Suffrage universel coup), хотя и без Лассаля. Повидимому, после некоторого сопротивления немецкий буржуа пойдет на это, потому что бонапартизм стал настоящей религией современной буржуазии.

Для меня становится все яснее, что буржуазия не в состоянии править сама, непосредственно, и поэтому там, где нет олигархии, которая, подобно тому, как здесь в Англии, могла бы взять это на себя,—там нормальной формой является бонапартистская полудиктатура—руководство государством и обществом в интересах буржуазии за хорошую плату. Эта диктатура удовлетворяет самые важные материальные интересы буржуазии, но

---

[1]) Брат Наполеона I голландский король Людовик Наполеон не признавал сына Гортензии, будущего Наполеона III, своим сыном. Чтобы предотвратить дальнейшие раздоры, Гортензия не решилась назвать следующего сына Наполеоном,—он числился графом Морни (сыграл впоследствии крупную роль в государственных переворотах своего брата).

в то же время не дает буржуазии ни малейшего участия в самой власти. С другой стороны, эта диктатура, в свою очередь, вынуждена против своей воли принимать близко к сердцу эти материальные интересы буржуазии. Таков Бисмарк, усваивающий себе программу национального ферейна (союза). Как он ее выполнит, это, конечно, другой вопрос, Бисмарк едва ли потерпит неудачу на немецком буржуа.

(Энгельс. Письмо к Марксу от 13 апреля 1866 г. Маркс и Энгельс. Письма).

§ 6. ПОД ЛОЗУНГОМ АБСТРАКТНОЙ ДЕМОКРАТИИ СКРЫВАЕТСЯ КОНКРЕТНОЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ РАБСТВО.

Буржуазии хотелось бы убедить рабочих в том, что современное общество не знает никакого разделения на классы, так как новейшее правовое государство основывается на равенстве всех перед законом. Но это формальное равенство так же не утешает рабочего, как не утешало буржуазию, при старом режиме, провозглашенное христианством равенство всех перед богом. Не довольствуясь этим фантастическим равенством, буржуазия не успокоилась до тех пор, пока не обеспечила за собою всех возможных благ земной жизни. Не удивляйтесь же, господа, что пролетариат не довольствуется юридическими фикциями и говорит, что пока существует экономическое неравенство, в действительной жизни равенства нет и быть не может.

(Плеханов. «Столетие великой революции». Сочинения. Гиз 1923 г. Т. IV, стр. 65—66).

*
* *

Мне уже приходилось указывать, что самым ходячим оправданием, самой ходячей защитой тех политических позиций, которые занимают демократы и социалисты против нас, является ссылка на демократию. Самым решительным представителем этой точки зрения в европейской литературе выступил, как вы, конечно, знаете, Каутский,—идейный вождь II Интернационала и до сих пор член Бернского Интернационала. «Большевики избрали метод, нарушающий демократию, большевики избрали метод диктатуры, поэтому их дело неправильное»,—так он говорит. Этот довод тысячу и миллион раз фигурировал везде и постоянно во всей печати и в названных мною газетах. Его постоянно повторяет и вся интеллигенция, а иногда полусознательно повторяют в аргументации обыватели. «Демократия—это есть свобода, это есть равенство, это есть решение большинства; что может быть выше свободы, равенства, решения большинства! Если вы, большевики, от этого отступили и даже имели при этом наглость открыто ска-

зать, что вы выше и свободы, и равенства, и решения большинства, так тогда не удивляйтесь и не жалуйтесь, что мы вас называем узурпаторами, насильниками!».

Мы этому нисколько не удивляемся, потому что мы хотим больше всего ясности и рассчитываем только на то, чтобы передовая часть трудящихся действительно ясно сознавала свое положение. Да, мы говорили и говорим все время в своей программе, в партийной программе, что мы себя в обман такими прекрасно звучащими лозунгами, как свобода, равенство и воля большинства, не дадим, и что мы к тем, кто называет себя демократами, сторонниками чистой демократии, сторонниками последовательной демократии, прямо или косвенно противополагая ее диктатуре пролетариата,—что мы к ним относимся, как к пособникам Колчака.

Разбирайтесь, разобраться надо. Виноваты ли действительно чистые демократы в том, что они проповедуют чистую демократию, защищают ее против узурпаторов, или они виноваты в том, что они оказываются на стороне имущих классов, на стороне Колчака?

Разбираться начнем со свободы. Свобода, нечего говорить, для всякой революции, социалистической ли или демократической, это есть лозунг, который очень и очень существенен. А наша программа заявляет: свобода, если она противоречит освобождению труда от гнета капитала, есть обман. И всякий из вас, кто читал Маркса, я думаю, даже всякий, кто читал хотя бы популярное изложение Маркса, знает, что большую часть своей жизни и своих литературных трудов и большую часть своих научных исследований Маркс посвятил как раз тому, что высмеивал свободу, равенство, волю большинства и всяких Бентамов, которые это расписывали,—и доказательству того, что в подкладке этих фраз лежат интересы свободы товаровладельца, свободы капитала, которую он употребляет на то, чтобы угнетать трудящиеся массы.

Мы говорим всякому, кто в момент, когда дело дошло до свержения власти капитала во всем мире, или хотя бы в одной стране, кто в такой исторический момент, когда на первый план выступает борьба угнетенных трудящихся классов за полное свержение капитала, за полное уничтожение товарного производства: все, кто в такой политический момент обращается со словом «свобода» вообще, кто во имя этой свободы идет против диктатуры пролетариата,—тот помогает эксплоататорам и ничего больше, он их сторонник, потому что свобода, если она не подчиняется интересам освобождения труда от гнета капитала, есть обман, как это мы в своей партийной программе заявили прямо. Может быть это лишнее с точки зрения внешнего построения программы, но это самое коренное с точки зрения всей нашей пропаганды и агитации, с точки зрения основ пролетарской борьбы и пролетарской власти. Мы прекрасно знаем, что мы должны бороться со всемирным капиталом, мы прекрасно знаем, что всемирный капитал в свое время имел перед собой задачу создания свободы,

что он сбросил феодальное рабство, что он буржуазную свободу создал, мы прекрасно знаем, что это всемирно-исторический прогресс. И мы заявляем, что мы против капитализма вообще идем, против капитализма республиканского, против капитализма демократического, против капитализма свободного,—конечно, мы знаем, что он против нас выдвинет знамя свободы. И мы ему отвечаем, мы считали необходимым этот ответ поставить в своей программе: «всякая свобода есть обман, если она противоречит интересам освобождения труда от гнета капитала».

Но, возразят, не может быть противоречия свободы с освобождением труда от гнета капитала? Посмотрите на все западно-европейские страны, в каких либо вы бывали, либо, во всяком случае, о каких читали. В каждой книжке освещался их строй, как самый свободный строй, и теперь эти западно-европейские цивилизованные страны—Франция, Англия, Америка—подняли это знамя, они идут против большевиков «во имя свободы». На-днях совсем—французские газеты теперь попадают редко, потому что мы окружены кольцом, но по радио сведения попадают, воздух захватить все-таки нельзя, мы перехватываем иностранные радио—на-днях я имел возможность прочесть в радио, которое было послано французским грабительским правительством: идя против большевиков и поддерживая его противников, Франция держит попрежнему высоко свойственный ей «высокий идеал свободы». Это мы встречаем на каждом шагу, это основной их тон в полемике против нас.

А что они называют свободой? Эти цивилизованные французы, англичане, американцы, они называют свободой хотя бы свободу собраний. В конституции должно быть написано: «свобода собраний всем гражданам». «Вот это,—говорят они,—есть содержание, вот это есть основное проявление свободы. А вы, большевики, вы свободу собраний нарушили!».

Да,—отвечаем мы,—ваша свобода, господа англичане, французы, американцы, есть обман, если она противоречит освобождению труда от гнета капитала. Вы мелочь забыли, господа цивилизованные. Забыли, что ваша свобода написана в конституции, которая узаконяет частную собственность. Вот в чем суть дела.

Рядом со свободой—собственность, так и написано в вашей конституции! Что вы признаете свободу собраний, это, конечно, громадный прогресс по сравнению с феодальным порядком, средневековьем, крепостным правом. Это признали все социалисты, когда использовали эту свободу буржуазного общества, чтобы научить пролетариат, как свергнуть гнет капитализма.

Но ваша свобода такова, что это есть свобода на бумаге, а не на деле. Это значит, что если в больших городах бывают большие залы, вроде этой, они принадлежат капиталистам, помещикам, называются, например, залами «Благородного собрания». Вы можете свободно собираться, граждане Российской демократической республики, но это частная собственность, извините пожалуйста,

нужно уважать частную собственность, иначе вы будете большевиками, преступниками, разбойниками, грабителями, озорниками. А мы говорим: Мы это перевернем. Это здание из «Благородного собрания» мы сперва сделаем зданием рабочих организаций, а потом поговорим о свободе собраний. Вы нас обвиняете в нарушении свободы. Мы же признаем, что всякая свобода, если она не подчиняется интересам освобождения труда от гнета капитала, есть обман. Свобода собраний, которая написана в конституции всех буржуазных республик, есть обман, потому что, чтобы собираться в цивилизованной стране, которая все-таки зимы не уничтожила, погоды не переделала, нужно иметь помещения для собраний, а лучшие здания—в частной собственности. Сначала отберем лучшие здания, а потом поговорим о свободе.

Мы говорим, что свобода собраний для капиталистов, это—величайшее преступление против трудящихся, это есть свобода собраний для контр-революционеров. Мы говорим господам буржуазным интеллигентам, господам сторонникам демократии: вы лжете, когда бросаете в лицо обвинение в нарушении свободы! Когда ваши буржуазные великие революционеры в Англии в 1649 году, во Франции в 1792—1793 г. совершили революцию, они не давали свободы собраний монархистам. Потому и названа французская революция великой, что она не отличалась дряблостью, половинчатостью, фразерством многих революций 1848 года, а что это была деловая революция, которая, свергнув монархистов, задавила их до конца. Так же и мы сумеем поступить с господами капиталистами, ибо мы знаем, что для освобождения трудящихся от гнета капитала нужно отобрать свободу собраний у капиталистов, нужно их «свободу» отнять или урезать. Это служит освобождению труда от гнета капитала, это служит той настоящей свободе, когда не будет зданий, в которых не живет отдельная семья и которые принадлежат кому-нибудь в отдельности—помещикам, капиталистам или какому-нибудь акционерному обществу. Когда это будет, когда забудут люди о том, что могут быть общественные здания в чьей-то собственности, тогда-то мы будем за полную «свободу». Когда на свете останутся только работники и забудут люди думать о том, что можно быть членом общества не работником,—это будет еще не так скоро, в проволочке будут виноваты господа буржуа и господа буржуазные интеллигенты,—тогда мы будем за свободу собраний для каждого, а сейчас свобода собраний есть свобода собраний капиталистов, контр-революционеров. Мы с ними боремся, мы даем им свой отпор и заявляем, что эту свободу мы отменяем.

Мы идем в бой—это есть содержание диктатуры пролетариата. Прошли те времена наивного, утопического, фантастического, механического, интеллигентского социализма, когда дело представляли так, что убедят большинство людей, нарисуют красивую картинку социалистического общества, станет большинство на точку зрения социализма. Миновали те времена, когда этими детскими

побасенками забавляли себя и других. Марксизм, который признавал необходимость классовой борьбы, говорил: к социализму человечество не придет иначе, как через диктатуру пролетариата. Диктатура—слово тяжелое, веское, кровавое, мучительное, и этаких слов на ветер не бросают. Если с этаким лозунгом выступили социалисты, то это потому, что они знают, что иначе, как в отчаянной, беспощадной борьбе класс эксплоататоров не сдастся, и что он будет всякими хорошими словами прикрывать свое господство.

Свобода собраний,—что может быть выше, что может быть лучше этого слова! Мыслимо ли развитие трудящихся и их сознательности без свободы собраний, мыслимы ли основы человечности без свободы собраний? А мы говорим, что свобода собраний по конституции Англии, Американских Соединенных Штатов есть обман, потому что связывает руки у трудящихся масс во все время перехода к социализму, есть обман, потому что они прекрасно знают, что буржуазия будет все делать, чтобы свергнуть эту власть, столь необычную, столь чудовищную вначале. Иначе быть не может в глазах того, кто продумал классовую борьбу, кто сколько-нибудь конкретно, ясно думает об отношении восставших рабочих к буржуазии, которая свергнута в одной стране и не свергнута во всех, и которая именно потому, что она свергнута не совсем, с тем большим озлоблением бросается на борьбу.

Именно после свержения буржуазии классовая борьба принимает самые резкие формы. Никуда не годятся те демократы и социалисты, которые обманывают себя, а потом обманывают и других, говоря: раз буржуазия свергнута, дело кончено. Оно только начато, а не кончено, потому что буржуазия до сих пор не верила той мысли, что она свергнута, и накануне Октябрьской революции шутила очень мило и очень любезно: шутили и Милюков, и Чернов, и новожизненцы. Они шутили: «Ну, пожалуйста, господа большевики, составьте кабинет, сами возьмите власть на парочку недель—вы прекрасно нам поможете!». Ведь это писал Чернов от эсеров, это писал Милюков в «Речи», это писала полуменьшевистская «Новая Жизнь». Они шутили, потому что не брали дела всерьез. А теперь увидели, что дело пошло всерьез, и господа английские, французские и швейцарские буржуа, которые думали, что их «демократические республики» это броня, которая их защищает, они увидели и осязали, что дело пошло серьезно, и теперь они вооружаются все. Если бы вы могли посмотреть, что делается в свободной Швейцарии, как там поголовно вооружается каждый буржуа, создает белую гвардию, потому что он знает, что вопрос пошел о том, сохранить ли ему свои привилегии, позволяющие держать миллионы в наемном рабстве. Теперь борьба приняла мировой размах, поэтому теперь все, кто со словами «демократия», «свобода» выступает против нас, становится на сторону имущих классов: обманывает народ, ибо он не понимает, что сво-

бода и демократия до сих пор были свободой и демократией для имущих и лишь крошками со стола для неимущих.

Что такое свобода собраний, когда трудящиеся задавлены рабством капитала и работой на капитал? Это есть обман, и для того, чтобы итти к свободе для трудящихся, надо сначала победить сопротивление эксплоататоров, а если я выдерживаю сопротивление целого класса, то ясно, что я не смогу обещать ни свободы, ни равенства, ни решения большинства для этого класса.

Теперь от свободы я перейду к равенству. Здесь дело стоит еще глубже. Здесь мы касаемся вопроса еще более серьезного, вызывающего большие разногласия, и более болезненного.

Революция в своем ходе свергает один эксплоататорский класс за другим. Она сбросила сперва монархию и понимала под равенством только то, чтобы была выборная власть, чтобы была республика. Она, перейдя дальше, сбросила помещиков, и вы знаете, что вся борьба против средневековых порядков, против феодализма, шла под лозунгом «равенства». Все равны, независимо от сословий, все равны, в том числе миллионер и голяк,—так говорили, так думали, так искренно считали революционеры того периода, который в историю вошел как период Великой французской революции. Революция шла против помещиков под лозунгом равенства, и называли равенством то, что миллионер и рабочий должны иметь равные права. Революция пошла дальше. Она говорила, что «равенство»—мы этого не сказали особо в своей программе, но нельзя же повторять бесконечно, это так же ясно, как то, что мы сказали про свободу,—равенство есть обман, если оно противоречит освобождению труда от гнета капитала. Это мы говорим, и это совершенная правда. Мы говорим, что демократическая республика с современным равенством, это—ложь, обман, что равенство там не соблюдается и его там быть не может, и то, что мешает пользоваться этим равенством,—это есть собственность на средства производства, на деньги, на капитал. Можно отнять сразу собственность на богатые здания, можно отнять сравнительно скоро капитал и орудия производства, но возьмите собственность на деньги.

Деньги—ведь это сгусток общественного богатства, сгусток общественного труда, деньги—свидетельство на получение дани со всех трудящихся, деньги, это—остаток вчерашней эксплоатации. Вот что такое деньги. Можно ли как-нибудь сразу их уничтожить? Нет. Еще до социалистической революции и социалисты писали, что деньги отменить сразу нельзя, и мы своим опытом можем это подтвердить. Нужно очень много технических и, что гораздо труднее и гораздо важнее, организационных завоеваний, чтобы уничтожить деньги, а до тех пор приходится оставаться при равенстве на словах в конституции и при том положении, когда каждый, имеющий деньги, имеет фактическое право на эксплоатацию. И мы не могли отменить денег сразу, мы говорим: пока деньги остаются и довольно долго останутся в течение переход-

ного времени от старого капиталистического общества к новому социалистическому. Равенство есть обман, если оно противоречит интересам освобождения труда от гнета капитала.

Энгельс был тысячу раз прав, когда писал: понятие равенства, помимо уничтожения классов, есть глупейший и вздорный предрассудок. Буржуазные профессора за понятие равенства пытались нас изобличить в том, что мы хотим одного человека сделать равным другому. В этой бессмыслице, которую они сами придумали, они пытались обвинить социалистов. Но они не знали по своему невежеству, что социалисты—и именно основатель современного научного социализма Маркс—говорили: «Равенство есть пустая фраза, если под равенством не понимать уничтожения классов. Классы мы хотим уничтожить, в этом отношении мы стоим за равенство. Но претендовать на то, что мы всех людей сделаем равными друг другу, это пустейшая фраза и выдумка интеллигента, который иногда добросовестно кривляется, вывертывает слова, а содержания нет—пусть он называет себя писателем, иногда ученым и еще кем бы то ни было!».

(Ленин. „Об обмане народа лозунгами свободы и равенства". Собрание сочинений. Гиз 1925 г. Т. XVI, стр. 202—209).

§ 7. КОАЛИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОЛЕТАРИАТА ПОЛИТИЧЕСКИМ САМОУБИЙСТВОМ.

Требовать от социал-демократии участия в коалиционной или блоковой политике именно теперь, когда понятие «реакционные массы» стало действительностью, значит требовать от нее политического самоубийства. Желать, чтобы социал-демократия связала себя блоковой политикой с буржуазными партиями именно теперь, когда они проституировали себя и компрометировали себя глубочайшим образом, желать, чтобы социал-демократия связалась с ними для поощрения этой проституции—значит требовать от социал-демократии морального самоубийства.

Заботливые друзья боятся, чтобы социал-демократия путем революции не пришла преждевременно к государственной власти. Но если возможно для нас преждевременное достижение государственной власти, то это будет приобретением призрака власти перед революцией, т.-е. раньше, чем пролетариат завоевал действительную политическую власть. Пока это не удалось, социал-демократия может принять участие в государственной власти лишь продавая свою политическую силу буржуазному правительству. Пролетариат, как класс, при этом никогда не может выиграть; в лучшем случае могут выиграть только парламентарии, которые заключили торговую сделку.

Тот, для кого социал-демократия представляет собой средство для освобождения пролетариата, должен самым решительным образом воспротивиться подобному участию его партии в господ-

ствующей коррупции. Если есть средство, чтобы похитить у нас доверие всех честных элементов масс, навлечь на нас презрение всех способных и готовых к борьбе пролетариев и замедлить наше восхождение, то это есть участие социал-демократии в блоковой политике. Преуспевать при этом будут лишь те элементы, для которых наша партия представляет собой не что иное, как лестницу, чтобы самому забраться повыше, т.-е. карьеристы, гоняющиеся за должностями. Чем меньше мы притягиваем таких элементов, чем больше мы их от себя отталкиваем, тем лучше для нашей борьбы.

(Каутский. „Путь к власти".)

§ 8. УЧАСТВОВАТЬ ЛИ В БУРЖУАЗНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ?

Немецкие «левые» коммунисты с величайшим пренебрежением—и с величайшим легкомыслием—отвечают на этот вопрос отрицательно. Их доводы? В приведенной выше цитате мы видели:

> «...со всей решительностью отклонить всякое возвращение к исторически и политически изжитым формам борьбы парламентаризма...».

Это сказано претенциозно до смешного и явно неверно. «Возвращение» к парламентаризму! Может быть, в Германии уже существует Советская республика? Как будто бы нет! Как же можно говорить тогда о «возвращении»? Разве это не пустая фраза?

«Исторически изжит» парламентаризм. Это верно в смысле пропаганды. Но всякий знает, что от этого до практического преодоления еще очень далеко. Капитализм уже много десятилетий тому назад можно было, и с полным правом, объявить «исторически изжитым», но это нисколько не устраняет необходимости очень долгой и очень упорной борьбы на почве капитализма. «Исторически изжит» парламентаризм в смысле всемирно-историческом, т.-е. эпоха буржуазного парламентаризма кончена, эпоха диктатуры пролетариата началась. Это бесспорно. Но всемирно-исторический масштаб считает десятилетиями. На 10—20 лет раньше или позже, это с точки зрения всемирно-исторического масштаба безразлично, это—с точки зрения всемирной истории—мелочь, которую нельзя даже приблизительно учесть. Но именно поэтому в вопросе практической политики ссылаться на всемирно-исторический масштаб есть теоретическая неверность самая вопиющая.

«Политически изжит» парламентаризм? Вот это другое дело. Если бы это было верно, позиция у «левых» была бы прочная. Но это надо доказать серьезнейшим анализом, а «левые» не умеют даже и подступиться к нему. В «тезисах о парламентаризме», напечатанных в № 1 «Бюллетеня Временного Амстердамского Бюро Коммунистического Интернационала» («Bulletin of the Provisional Bureau in Amsterdam of the Communist International». February

1920) и явно выражающих голландски-левое или лево-голландское устремление, анализ тоже, как увидим, из рук вон плох.

Во-первых, немецкие «левые», как известно, еще в январе 1919 года считали парламентаризм «политически изжитым», вопреки мнению таких выдающихся политических руководителей, как Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Известно, что «левые» ошиблись. Одно уже это сразу и в корень разрушает положение, будто парламентаризм «политически изжит». На «левых» падает обязанность доказать, почему их тогдашняя бесспорная ошибка теперь перестала быть ошибкой. Ни тени доказательства они не приводят и привести не могут. Отношение политической партии к ее ошибкам есть один из важнейших и вернейших критериев серьезности партии и исполнения ею на деле ее обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины, проанализировать обстановку, ее породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку—вот это признак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это—воспитание и обучение класса, а затем и массы. Не выполняя этой своей обязанности, не относясь с чрезвычайным вниманием, тщательностью, осторожностью к изучению своей явной ошибки, «левые» в Германии (и в Голландии) как раз этим доказывают, что они не партия класса, а кружок, не партия масс, а группа интеллигентов и повторяющих худшие стороны интеллигентщины немногочисленных рабочих.

Во-вторых, в той же брошюре франкфуртской группы «левых», из которой мы привели подробные цитаты выше, мы читаем:

> «...миллионы рабочих, идущих еще за политикой центра (католической партии «Центра»), контр-революционны. Сельские пролетарии выставляют легионы контр-революционных войск» (стр. 3 вышеназванной брошюры).

По всему видно, что сказано чересчур размашисто и преувеличенно. Но основной факт, изложенный здесь, бесспорен, и признание его «левыми» особенно наглядно свидетельствует об их ошибке. Как же это можно говорить, будто «парламентаризм изжит политически», если «миллионы» и «легионы» пролетариев стоят еще не только за парламентаризм вообще, но и прямо «контр-революционны»?! Явно, что парламентаризм в Германии еще не изжит политически. Явно, что «левые» в Германии приняли свое пожелание, свое идейно-политическое отношение за объективную действительность. Это—самая опасная ошибка для революционеров. В России, где сугубо дикий и свирепый гнет царизма особенно долго и в особенно разнообразных формах порождал революционеров разных толков, революционеров удивительной преданности, энтузиазма, героизма, силы воли, в России эту ошибку революционеров мы особенно близко наблюдали, особенно внимательно изучали, особенно хорошо знаем, и потому нам она особенно ясно видна и на других. Для коммунистов в Германии парламентаризм, конечно, «изжит политически», но дело

как раз в том, чтобы не принять изжитого для нас за изжитое для класса, за изжитое для масс. Как раз тут мы опять видим, что «левые» не умеют рассуждать, не умеют вести себя как партия класса, как партия масс. Вы обязаны не опускаться до уровня масс, до уровня отсталых слоев класса. Это бесспорно. Вы обязаны говорить им горькую правду. Вы обязаны называть их буржуазно-демократические и парламентарные предрассудки предрассудками. Но вместе с тем вы обязаны трезво следить за действительным состоянием сознательности и подготовленности именно всего класса (а не только его коммунистического авангарда), именно всей трудящейся массы (а не только ее передовых людей).

Если не только «миллионы» и «легионы», но хотя бы просто довольно значительное меньшинство промышленных рабочих идет за католическими попами,—сельских рабочих за помещиками и кулаками (Grossbauern),—то отсюда уже с несомненностью вытекает, что парламентаризм в Германии еще не изжит политически, что участие в парламентских выборах и в борьбе на парламентской трибуне обязательно для партии революционного пролетариата именно в целях воспитания отсталых слоев своего класса, именно в целях пробуждения и просвещения неразвитой, забитой, темной деревенской массы. Пока вы не в силах разогнать буржуазного парламента и каких угодно реакционных учреждений иного типа, вы обязаны работать внутри них именно потому, что там есть еще рабочие, одураченные попами и деревенскими захолустьями, иначе вы рискуете стать просто болтунами.

В-третьих, «левые» коммунисты очень много хорошего говорят про нас, большевиков. Иногда хочется сказать: поменьше бы нас хвалили, побольше бы вникали в тактику большевиков, побольше бы знакомились с ней! Мы участвовали в выборах в российский буржуазный парламент, в Учредительное Собрание, в сентябре—ноябре 1917 года. Верна была наша тактика или нет? Если нет, надо ясно сказать и доказать это: это необходимо для выработки правильной тактики международным коммунизмом. Если да, надо сделать отсюда известные выводы. Разумеется, о приравнивании условий России к условиям Западной Европы не может быть и речи. Но по вопросу специально о том, что значит понятие: «парламентаризм политически изжит», обязательно точно учесть наш опыт, ибо без учета конкретного опыта подобные понятия слишком легко превращаются в пустые фразы. Не имели ли мы, русские большевики, в сентябре—ноябре 1917 года, больше, чем какие угодно западные коммунисты, права считать, что в России парламентаризм политически изжит? Конечно имели, ибо не в том ведь дело, давно или недавно существуют буржуазные парламенты, а в том, насколько готовы (идейно, политически, практически) широкие массы трудящихся принять советский строй и разогнать или допустить разгон буржуазно-демократического пар-

ламента. Что в России в сентябре—ноябре 1917 года рабочий класс городов, солдаты и крестьяне были, в силу ряда специальных условий, на-редкость подготовлены к принятию советского строя и к разгону самого демократического буржуазного парламента, это совершенно бесспорный и вполне установленный исторический факт. И, тем не менее, большевики не бойкотировали Учредительного Собрания, а участвовали в выборах и до и после завоевания пролетариатом политической власти. Что эти выборы дали чрезвычайно ценные (и для пролетариата в высокой степени полезные) политические результаты, это я, смею надеяться, доказал в статье, подробно разобравшей данные о выборах в Учредительное Собрание в России.

Вывод отсюда совершенно бесспорный: доказано, что даже за несколько недель до победы Советской республики, даже после такой победы, участие в буржуазно-демократическом парламенте не только не вредит революционному пролетариату, а облегчает ему возможность доказать отсталым массам, почему такие парламенты заслуживают разгона, облегчают успех их разгона, облегчают «политическое изживание» буржуазного парламентаризма. Не считаться с этим опытом и претендовать в то же время на принадлежность к Коммунистическому Интернационалу, который должен интернационально вырабатывать свою тактику (не как узко или односторонне национальную, а именно как интернациональную тактику), значит делать глубочайшую ошибку и как раз отступать от интернационализма на деле, при признании его на словах.

Взглянем теперь на «голландски-левые» доводы в пользу неучастия в парламентах. Вот перевод (с английского) важнейшего из названных выше «голландских» тезисов, тезиса 4-го:

> «Когда капиталистическая система производства сломлена и общество находится в состоянии революции, парламентская деятельность постепенно теряет значение по сравнению с действиями самих масс. Когда, при таких условиях, парламент становится центром и органом контр-революции, а, с другой стороны, рабочий класс строит орудия своей власти в виде советов,—может оказаться даже необходимым отказаться от всякого и какого бы то ни было участия в парламентской деятельности».

Первая фраза явно неверна, ибо действие масс—например, крупная стачка—важнее парламентской деятельности всегда, а вовсе не только во время революции или при революционной ситуации. Этот явно несостоятельный, исторически и политически неверный, довод показывает только с особенной наглядностью, что авторы абсолютно не учитывают ни общеевропейского (французского, перед революциями 1848, 1870 годов; германского 1878—1890 годов, и т. п.) ни русского опыта относительно важности соединения легальной и нелегальной борьбы. Этот вопрос имеет громаднейшее значение, как вообще, так и специ-

ально потому, что во всех цивилизованных и передовых странах быстро приближается время, когда такое соединение все более и более становится—частью уже стало—обязательным для партии революционного пролетариата в силу нарастания и приближения гражданской войны пролетариата с буржуазией, в силу бешеных преследований коммунистов республиканскими и вообще буржуазными правительствами, идущими на всяческие нарушения легальности (чего стоит один пример Америки) и т. д. Этот важнейший вопрос голландцами и левыми вообще совершенно непонят.

Вторая фраза, во-первых, неверна исторически. Мы, большевики, участвовали в самых контр-революционных парламентах, и опыт показал, что такое участие было не только полезно, но и необходимо для партии революционного пролетариата как раз после первой буржуазной революции в России (1905) для подготовки второй буржуазной (II, 1917) и затем социалистической (X, 1917) революции. Во-вторых, эта фраза поразительно нелогична. Из того, что парламент становится органом и «центром» (на деле «центром» он никогда не бывал и быть не может, но это мимоходом) контр-революции, а рабочие создают орудия своей власти в виде советов, из этого вытекает то, что рабочим надо подготовляться—подготовляться идейно, политически, технически—к борьбе советов против парламента, к разгону парламента советами. Но из этого вовсе не вытекает, что такой разгон затрудняется или не облегчается присутствием советской оппозиции внутри контр-революционного парламента. Мы ни разу не замечали во время своей победоносной борьбы с Деникиным и Колчаком, чтобы существование у них советской, пролетарской, оппозиции было безразлично для наших побед. Мы прекрасно знаем, что разгон нами учредилки 5/I 1918 был не затруднен, а облегчен тем, что внутри разгоняемой контр-революционной учредилки была как последовательная, большевистская, так и непоследовательная, лево-эсеровская, советская оппозиция. Авторы тезиса совершенно запутались и забыли опыт целого ряда, если не всех, революций, свидетельствующий о том, как особенно полезно во время революций соединение массового действия извне реакционного парламента с сочувствующей революции (а еще лучше: прямо поддерживающей революцию) оппозициею внутри этого парламента. Голландцы и «левые» вообще рассуждают здесь, как доктринеры революции, никогда в настоящей революции не участвовавшие или в историю революций не вдумавшиеся или наивно принимающие субъективное «отрицание» известного реакционного учреждения за действительное его разрушение совместными силами целого ряда объективных факторов. Самое верное средство дискредитировать новую политическую (и не только политическую) идею и повредить ей состоит в том, чтобы, во имя защиты ее, довести ее до абсурда. Ибо всякую истину, если ее сделать «чрезмерной» (как говорил Дицген-отец), если ее преувеличить, если ее распро-

странить за пределы ее действительной применимости, можно довести до абсурда, и она даже неизбежно, при указанных условиях, превращается в абсурд. Именно такую медвежью услугу оказывают голландские и немецкие левые новой истине о превосходстве Советской власти над буржуазно-демократическими парламентами. Разумеется, кто стал бы говорить по-старому и вообще, что отказ от участия в буржуазных парламентах ни при каких условиях недопустим, тот был бы неправ. Пытаться дать здесь формулировку условий, при которых бойкот полезен, я не могу, ибо задача этой статьи гораздо более скромная: учесть русский опыт в связи с некоторыми злободневными вопросами интернациональной коммунистической тактики. Русский опыт дал нам одно удачное и правильное (1905), другое ошибочное (1906) применение бойкота большевиками. Анализируя первый случай, мы видим: удалось **не допустить созыва** реакционной властью реакционного парламента в обстановке, когда с исключительной быстротой нарастало внепарламентское (в частности, стачечное) революционное действие масс, когда никакой поддержки ни единый слой пролетариата и крестьянства реакционной власти оказывать не мог, когда влияние на широкие отсталые массы революционный пролетариат обеспечивал себе стачечной борьбой и аграрным движением. Совершенно очевидно, что к европейским современным условиям **этот** опыт неприменим. Совершенно очевидно также,— на основании изложенных выше доводов,—что защита, хотя бы условная, отказа от участия в парламентах голландцами и «левыми» в корне неправильна и вредна для дела революционного пролетариата.

В Западной Европе и Америке парламент сделался особенно ненавистным передовикам-революционерам из рабочего класса. Это бесспорно. Это вполне понятно, ибо трудно себе представить нечто более гнусное, подлое, изменническое, чем поведение гигантского большинства социалистических и социал-демократических депутатов в парламенте за время войны и после нее. Но было бы не только неразумно, а прямо преступно поддаваться этому настроению при решении вопроса, **как** следует бороться с общепризнанным злом. Во многих странах Западной Европы революционное настроение является теперь, можно сказать, «новинкой» или «редкостью», которой слишком долго, тщетно, нетерпеливо ждали, и, может быть, поэтому так легко уступают настроению. Конечно, без революционного настроения в массах, без условий, способствующих росту такого настроения, революционной тактике не претвориться в действие, но мы в России слишком долгим, тяжелым, кровавым опытом убедились в той истине, что на одном революционном настроении строить революционной тактики нельзя. Тактика должна быть построена на трезвом, строго-объективном учете **всех** классовых сил данного государства (и окружающих его государств, и всех государств, в мировом масштабе), а также на учете опыта революционных движений. Проявить свою «рево-

люционность» одной только бранью по адресу парламентского оппортунизма, одним только отрицанием участия в парламентах очень легко, но именно потому, что это слишком легко, это—не решение трудной и труднейшей задачи. Создать действительно революционную парламентскую фракцию в европейских парламентах—гораздо труднее, чем в России. Но это есть лишь частное выражение той общей истины, что России в конкретной, исторически чрезвычайно оригинальной ситуации 1917 года было легко начать социалистическую революцию, тогда как продолжать ее и довести ее до конца России будет труднее, чем европейским странам. Мне еще в начале 1918 года пришлось указывать на это обстоятельство, и двухлетний опыт после того вполне подтвердил правильность такого соображения. Таких специфических условий, как: 1) возможность соединить советский переворот с окончанием, благодаря ему, империалистской войны, невероятно измучившей рабочих и крестьян; 2) возможность использовать на известное время смертельную борьбу двух всемирно могущественных групп империалистских хищников, каковые группы не могли соединиться против советского врага; 3) возможность выдержать сравнительно долгую гражданскую войну, отчасти благодаря гигантским размерам страны и худым средствам сообщения; 4) наличность такого глубокого буржуазно-демократического революционного движения в крестьянстве, что партия пролетариата взяла революционные требования у партии крестьян (с.-р. партии, резко враждебной, в большинстве своем, большевизму) и сразу осуществила их благодаря завоеванию политической власти пролетариатом;—таких специфических условий в Западной Европе теперь нет, и повторение таких или подобных условий не слишком легко. Вот почему, между прочим,—помимо ряда других причин,—начать социалистическую революцию Западной Европе труднее, чем нам. Пытаться «обойти» эту трудность, «перескочив» через трудное дело использования в революционных целях реакционных парламентов, есть чистейшее ребячество. Вы хотите создать новое общество? и вы боитесь трудностей при создании хорошей парламентской фракции из убежденных, преданных, героических коммунистов в реакционном парламенте! Разве же это не ребячество? Если Карл Либкнехт в Германии и З. Хеглунд в Швеции умели даже без массовой поддержки снизу дать образцы действительно революционного использования реакционных парламентов, то как же это быстро растущая массовая революционная партия, в обстановке послевоенного разочарования и озлобления масс, не в силах выковать себе коммунистической фракции в худших парламентах?! Именно потому, что отсталые массы рабочих и—еще более—мелких крестьян в Западной Европе гораздо сильнее, чем в России пропитаны буржуазно-демократическими и парламентскими предрассудками, именно поэтому только изнутри таких учреждений, как буржуазные парламенты, могут (и должны) коммунисты вести длительную, упорную, ни перед какими трудностями

не останавливающуюся борьбу разоблачения, рассеяния, преодоления этих предрассудков.

Немецкие «левые» жалуются на плохих «вождей» их партии и впадают в отчаяние, договариваясь до смешного «отрицания» «вождей». Но в условиях, когда часто приходится прятать «вождей» в подполье, выработка хороших, надежных, испытанных, авторитетных «вождей» дело особенно трудное, и успешно преодолеть этих трудностей нельзя без соединения легальной и нелегальной работы, без испытания вождей, между прочим, и на парламентской арене. Критику—и самую резкую, беспощадную, непримиримую критику—следует направлять не против парламентаризма или парламентской деятельности, а против тех «вождей», которые не умеют—и еще более тех, кои не хотят—использовать парламентских выборов и парламентской трибуны по-революционному, по-коммунистически. Только такая критика, соединенная, конечно, с изгнанием вождей негодных и с заменой их пригодными,—будет полезной и плодотворной революционной работой, воспитывающей одновременно и «вождей», чтобы они были достойны рабочего класса и трудящихся масс, и массы, чтобы они научились разбираться правильно в политическом положении и понимать нередко очень сложные и запутанные задачи, которые из этого положения вытекают [1]).

(Ленин. „Детская болезнь „левизны" в коммунизме". Собрание сочинений. Гиз 1925 г. Т. XVII, стр. 146—154).

§ 9. УНИЧТОЖЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.

«Коммуна,—писал Маркс,—должна была быть не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы»...

---

[1]) Я имел слишком мало возможности ознакомиться с „левым" коммунизмом в Италии. Несомненно, тов. Бордига и его фракция „коммунистов-бойкотистов" (Communista astensionista) неправы, защищая неучастие в парламенте. Но в одном пункте он, мне кажется, прав — насколько можно судить по двум номерам его газеты „Совет" („Il Soviet", №№ 3 и 4, 18/I и 1/II 1920), по четырем книжкам прекрасного журнала тов. Серрати: „Коммунизм" („Communismo", №№ 1—4, 1/X—30/XI 1919) и по отрывочным номерам итальянских буржуазных газет, с которыми мне удалось ознакомиться. Именно, тов. Бордига и его фракция правы в нападках на Турати и его единомышленников, которые остаются в партии, признавшей Советскую власть и диктатуру пролетариата, остаются членами парламента и продолжают свою вреднейшую, старую оппортунистическую политику. Конечно, терпя это, тов. Серрати и вся итальянская социалистическая партия делает ошибку, которая грозит таким же глубоким вредом и опасностью, как в Венгрии, где венгерские господа Турати саботировали изнутри и партию и Советскую власть. Такое ошибочное, непоследовательное или бесхарактерное отношение к оппортунистам-парламентариям, с одной стороны, порождает „левый" коммунизм, с другой стороны, до известной степени оправдывает его существование. Тов. Серрати явно неправ, обвиняя в „непоследовательности" депутата Турати („Communismo", № 3), тогда как непоследовательна именно итальянская социалистическая партия, терпя таких оппортунистов-парламентариев, как Турати и К°.

«Вместо того, чтобы один раз в три или в шесть лет решать, какой член господствующего класса должен представлять и подавлять (ver-und zertreten) народ в парламенте, вместо этого всеобщее избирательное право должно было служить народу, организованному в коммуны, для того чтобы подыскивать для своего предприятия рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров, как индивидуальное избирательное право служит для этой цели всякому другому работодателю».

Эта замечательная критика парламентаризма, данная в 1871 г., тоже принадлежит теперь, благодаря господству социал-шовинизма и оппортунизма, к числу «забытых слов» марксизма. Министры и парламентарии по профессии, изменники пролетариату и «деляческие» социалисты наших дней предоставили критику парламентаризма всецело анархистам, и на этом удивительно-разумном основании объявили в с я к у ю критику парламентаризма «анархизмом»! Ничего нет странного, что пролетариат «передовых» парламентских стран, испытывая омерзение при виде таких «социалистов», как Шейдеманы, Давиды, Легины, Самба, Ренодели, Гендерсоны, Вандервельды, Стаунинги, Брантинги, Биссолати и К°, все чаще отдавал свои симпатии анархо-синдикализму, несмотря на то, что это был родной брат оппортунизма.

Но для Маркса революционная диалектика никогда не была той пустой модной фразой, побрякушкой, которой сделали ее Плеханов, Каутский и пр. Маркс умел беспощадно рвать с анархизмом за неумение использовать даже «хлев» буржуазного парламентаризма, особенно когда заведомо нет налицо революционной ситуации,—но в то же время он умел и давать действительно революционно-пролетарскую критику парламентаризма.

Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте,—вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках.

Но если ставить вопрос о государстве, если рассматривать парламентаризм как одно из учреждений государства, с точки зрения задач пролетариата в э т о й области, то где же выход из парламентаризма? Как же можно обойтись без него?

Опять и опять приходится сказать: уроки Маркса, основанные на изучении Коммуны, настолько забыты, что современному «социал-демократу» (читай: современному предателю социализма) прямо-таки непонятна иная критика парламентаризма, кроме анархической или реакционной.

Выход из парламентаризма, конечно, не в уничтожении представительных учреждений и выборности, а в превращении представительных учреждений из говорилен в «работающие» учреждения. «Коммуна должна была быть не парламентским учреждением, а работающим, в одно и то же время законодательствующим и исполняющим законы».

«Не парламентское, а работающее» учреждение, это сказано не в бровь, а в глаз современным парламентарпям и парламентским «комнатным собачкам» социал-демократии! Посмотрите на любую парламентскую страну, от Америки до Швейцарии, от Франции до Англии, Норвегии и пр.: настоящую «государственную» работу делают за кулисами и выполняют департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болтают со специальной целью надувать «простонародье». Это до такой степени верно, что даже в русской республике, буржуазно-демократической республике, раньше чем она успела создать настоящий парламент, сказались уже тотчас все эти цели парламентаризма. Такие герои гнилого мещанства, как Скобелевы и Церетели, Черновы и Авксентьевы, сумели и Советы испоганить по типу гнуснейшего буржуазного парламентаризма, превратив их в пустые говорильни. В Советах господа «социалистические» министры надувают доверчивых мужичков фразерством и резолюциями. В правительстве идет перманентный кадриль, с одной стороны, чтобы по очереди сажать «к пирогу» доходных и почетных местечек побольше «эсеров и меньшевиков», с другой стороны, чтобы занять внимание народа. А в канцеляриях, в штабах «работают» «государственную» работу!

«Дело Народа», орган правящей партии «социалистов-революционеров», недавно в редакционной передовице признался,—с бесподобной откровенностью людей из «хорошего общества», в котором «все» занимаются политической проституцией,—что даже в тех министерствах, кои принадлежат «социалистам» (извините за выражение!), даже в них весь чиновничий аппарат остается в сущности старым, функционирует по-старому, саботирует революционные начинания вполне «свободно»! Да если бы не было этого признания, разве фактическая история участия эсеров и меньшевиков в правительстве не доказывает этого? Характерно тут только то, что, находясь в министерском обществе с кадетами, господа Черновы, Русановы, Зензиновы и прочие редакторы «Дела Народа» настолько потеряли стыд, что не стесняются публично, как о пустячке, рассказывать, не краснея, что «у них» в министерствах все по-старому!! Революционно-демократическая фраза—для одурачения деревенских Иванушек, а чиновничья канцелярская волокита—для «ублаготворения» капиталистов—вот вам с у т ь «честной» коалиции.

Продажный и прогнивший парламентаризм буржуазного общества Коммуна заменяет учреждениями, в коих свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман, ибо парламентарии должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями. Представительные учреждения остаются, но парламентаризма как особой системы, как разделения труда законодательного и исполнительного, как привилегированного положения для депутатов, здесь н е т. Без представительных учрежде-

ний мы не можем себе представить демократии, даже и пролетарской демократии, без парламентаризма—можем и должны, если критика буржуазного общества для нас не пустые слова, если стремление свергнуть господство буржуазии есть наше серьезное и искреннее стремление, а не «избирательная» фраза для уловления голосов рабочих, как у меньшевиков и эсеров, как у Шейдеманов и Легинов, Самба и Вандервельдов.

Крайне поучительно, что, говоря о функциях того чиновничества, которое нужно и Коммуне, и пролетарской демократии, Маркс берет для сравнения служащих «всякого другого работодателя», т.-е. обычное капиталистическое предприятие с «рабочими, надсмотрщиками и бухгалтерами».

У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал «новое» общество. Нет, он изучает, как естественно-исторический процесс, рождение нового общества из старого, переходные формы от второго к первому. Он берет фактический опыт массового пролетарского движения и старается извлечь из него практические уроки. Он «учится» у Коммуны, как все великие революционные мыслители не боялись учиться у опыта великих движений угнетенного класса, никогда не относясь к ним с педантскими «нравоучениями» (вроде плехановского: «не надо было браться за оружие» или церетелевского: «класс должен самоограничиваться»).

Об уничтожении чиновничества сразу, повсюду, до конца не может быть речи. Это—утопия. Но разбить сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать строить новую, позволяющую постепенно сводить на-нет всякое чиновничество, это не утопия, это—опыт Коммуны, это прямая, очередная задача революционного пролетариата.

Капитализм упрощает функции «государственного» управления, позволяет отбросить «начальствование» и свести все дело к организации пролетариев (как господствующего класса), от имени всего общества нанимающей рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров.

Мы не утописты. Мы не «мечтатели» о том, как бы сразу обойтись без всякого управления, без всякого подчинения; эти анархистские мечты, основанные на непонимании задач диктатуры пролетариата, в корне чужды марксизму и на деле служат лишь оттягиванию социалистической революции до тех пор, пока люди будут иными. Нет, мы хотим социалистической революции с такими людьми, как теперь, которые без подчинения, без контроля, без «надсмотрщиков и бухгалтеров» не обойдутся.

Но подчиняться надо вооруженному авангарду всех эксплоатируемых и трудящихся—пролетариату. Специфическое «начальствование» государственных чиновников можно и должно тотчас же, с сегодня на завтра, начать заменять простыми функциями «надсмотрщиков и бухгалтеров», функциями, которые уже теперь вполне доступны уровню развития горожан вообще и вполне выполнимы за «заработную плату рабочего».

Организуем крупное производство, исходя из того, что уже создано капитализмом, сами мы, рабочие, опираясь на свой рабочий опыт, создавая строжайшую, железную дисциплину, поддерживаемую государственной властью вооруженных рабочих, сведем государственных чиновников на роль простых исполнителей наших поручений, ответственных, сменяемых, скромно оплачиваемых «надсмотрщиков и бухгалтеров» (конечно, с техниками всех сортов, видов и степеней),—вот наша пролетарская задача, вот с чего можно и должно начать при совершении пролетарской революции. Такое начало, на базе крупного производства, само собою ведет к постепенному «отмиранию» всякого чиновничества, к постепенному созданию такого порядка,—порядка без кавычек, порядка, не похожего на наемное рабство,—такого порядка, когда все более упрощающиеся функции надсмотра и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут затем становиться привычкой и, наконец, отпадут, как особые функции особого слоя людей.

Один остроумный немецкий социал-демократ 70-х годов прошлого века назвал почту образцом социалистического хозяйства. Это очень верно. Теперь почта есть хозяйство, организованное по типу государственно-капиталистической монополии. Империализм постепенно превращает все тресты в организации подобного типа. Над «простыми» трудящимися, которые завалены работой и голодают, здесь стоит та же буржуазная бюрократия. Но механизм общественного хозяйничанья здесь уже готов. Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплоататоров, сломать бюрократическую машину современного государства—и перед нами освобожденный от «паразита» высоко технически оборудованный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединенные рабочие, нанимая техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу всех их, как и всех вообще «государственных» чиновников, заработной платой рабочего. Вот задача конкретная, практическая, осуществимая тотчас по отношению ко всем трестам, избавляющая трудящихся от эксплоатации, учитывающая опыт, практически уже начатый (особенно в области государственного строительства) Коммуной.

Все народное хозяйство, организованное, как почта, с тем, чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и все должностные лица, получали жалованье не выше «заработной платы рабочему», под контролем и руководством вооруженного пролетариата,—вот наша ближайшая цель. Вот какое государство, вот на какой экономической основе нам необходимо. Вот что даст уничтожение парламентаризма и сохранение представительных учреждений, вот что избавит трудящиеся классы от проституирования этих учреждений буржуазией.

(Ленин. „Государство и революция". Собрание сочинений. Гиз 1924 г. Т. XIV, ч. 2, стр. 332—337).

IX. О ВСЕОБЩЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ.

§ 1. ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО НЕ ОБЛАДАЕТ ЧУДОДЕЙСТВЕННОЙ СИЛОЙ УСТРАНИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В КЛАССОВОМ ОБЩЕСТВЕ.

4 мая открылось Национальное Собрание, избранное прямой и всеобщей подачей голосов. Всеобщее избирательное право не проявило той магической силы, которую ему приписывали старомодные республиканцы. Во всей Франции — или, по крайней мере, в большинстве французов — они видели граждан (citoyens) с одинаковыми интересами, взглядами и т. д. Таков был у них культ народа. Но вместо их воображаемого народа выборы в ярком освещении показали настоящий народ, т.-е. представителей различных классов, на которые он распадается. Мы видели, почему крестьяне и мелкие буржуа должны были выбирать под руководством воинственно-настроенной буржуазии жаждущих реставрации крупных землевладельцев. Но если всеобщее избирательное право не оказалось тем волшебным жезлом, каким его считали простодушные республиканцы, то его заслуга была несравненно выше: оно сбрасывало все путы с классовой борьбы, заставляло различные промежуточные слои мелкобуржуазного общества быстро пережить и изжить свои иллюзии разочарования, одним взмахом бросало все фракции эксплоатирующего класса на вершину государственной власти и таким образом срывало с них обманчивую личину, тогда как монархия с своим цензом вела к тому, что она скомпрометировала только определенные, отдельные фракции буржуазии, а остальные скрывались за кулисами, окруженные ореолом общей оппозиции.

* * *

Но основное противоречие этой конституции заключается в следующем: посредством всеобщего избирательного права она вводит во владение политической властью пролетариат, крестьян, мелких буржуа, т.-е. те классы, социальное рабство которых она стремится увековечить. А у того класса, старую общественную власть которого она санкционирует, у буржуазии,

она отнимает политические гарантии этой власти. Она втискивает его политическое господство в демократические условия, которые каждый момент содействуют победе враждебных буржуазии классов и ставят под вопрос самые основы буржуазного общества. От одних конституция требует, чтобы они от политической эмансипации не переходили к социальной, от других — чтобы от социальной реставрации не возвращались к политической.

(Маркс. „Борьба классов во Франции в 1848—1850 г.г.")

§ 2. ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО—ОСНОВА БУРЖУАЗНОГО ГОСПОДСТВА.

Господство буржуазии, вытекающее из всеобщего избирательного права, являющееся его результатом, выражением верховной воли народа,— вот смысл буржуазной конституции. Но какой же смысл в конституции с того момента, как содержанием этого избирательного права, этой верховной воли, уже не является господство буржуазии! Разве не долг буржуазии урегулировать избирательное право таким образом, чтобы оно впредь желало только разумного, только ее собственного господства? Всеобщее избирательное право беспрестанно уничтожает существующую государственную власть и снова создает ее из себя. Разве оно не подрывает таким образом всякую устойчивость, не ставит ежеминутно на карту все существующие власти, не уничтожает авторитет, не грозит возвести анархию на степень авторитета? Кто может еще сомневаться в этом после 10 марта 1850 г.?

Буржуазия, отвергая избирательное право, в которое до сих пор драпировалась и из которого почерпала свое всемогущество, откровенно признается: «Наша диктатура основывалась до сих пор на воле народа, теперь она должна быть утверждена вопреки его воле». И, оставаясь последовательной, она ищет себе опоры не во Франции, а вне ее, на чужбине, в нашествии.

«Всеобщая подача голосов до сих пор служила народу для выбора каждые три года или шесть лет какого-нибудь члена господствующего класса, который представлял и подавлял народ в парламенте».

(Маркс. „Гражданская война во Франции".)

§ 3. ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО МОЖЕТ СТАТЬ ОРУДИЕМ УГНЕТЕНИЯ МАСС.

Луи Наполеон был теперь кумиром европейской буржуазии. Не только за свое «спасение общества» 2 декабря 1851 года, когда он, правда, уничтожил политическую власть буржуазии, но лишь для того, чтобы спасти ее классовое господство. Не только потому, что он показал, как всеобщее избирательное право

при благоприятных условиях можно превратить в орудие угнетения масс; не только потому, что в его царствование промышленность и торговля, т.-е. спекуляция и биржевое мошенничество, достигли небывалых размеров. Но прежде всего потому, что буржуазия признала в нем первого «великого государственного человека», который был плотью от ее плоти, костью от ее кости. Он был выскочкой, как и всякий истый буржуа.

(Энгельс, „Сила и экономика в образовании Германской империи". Изд. „Красная Новь", 1923 г., стр. 24.)

§ 4. В КАКОЙ МЕРЕ ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТАКТИКИ ПРИНЦИПАМИ ЛЕГАЛЬНОЙ БОРЬБЫ?

И если бы всеобщее избирательное право не давало другой выгоды, кроме той, что позволяет нам каждое трехлетие подсчитывать свои ряды; что, регулярно отмечая неожиданно быстрое увеличение числа голосов, оно в одинаковой степени повышает как уверенность рабочих в победе, так и ужас противников и, следовательно, становится лучшим нашим средством для пропаганды; что, давая точные сведения о наших собственных силах, равно как и о силах всех неприятельских партий, оно этим самым дает нам единственный в своем роде масштаб для соразмерения наших действий и заставляет нас одинаково удерживаться как от несвоевременной робости, так и от безрассудной отваги, — если бы это было единственной выгодой, получаемой нами от избирательного права, уже и этого было бы более чем достаточно. Но оно дало несравненное средство для того, чтобы приходить в соприкосновение с далеко от нас стоящими народными массами и принудить все партии перед лицом всего народа защищать свои взгляды и действия от наших падений. Кроме того, всеобщее избирательное право предоставило нашим представителям в рейхстаге трибуну, с которой они несравненно более авторитетно и свободно, чем в печати и на собраниях, могут обращаться как к своим противникам в парламенте, так и к массам вне его. Какую помощь могут оказать правительству и буржуазии их закон против социалистов, когда избирательная агитация и социалистические речи, произносившиеся в рейхстаге, беспрестанно пробивали в нем бреши.

Но такое успешное пользование всеобщим избирательным правом вызвало к жизни совсем новый способ борьбы пролетариата, быстро получивший дальнейшее развитие. Оказалось, что государственные учреждения, в которых организуется господство буржуазии, тоже могут послужить орудием для борьбы рабочего класса против этих самых учреждений. Было решено принимать участие в выборах в ландтаги отдельных государств, в городские думы, промысловые суды. У буржуазии оспаривали каждый пункт, при замещении которого принимает участие достаточная

часть пролетариата. Благодаря этому правительство и буржуазия стали страшиться легальных действий рабочей партии гораздо больше, чем нелегальных, и результатов выборов больше, чем результатов восстания.

*
* *

...Само собою разумеется, что наши заграничные товарищи не отказываются от своего права на революцию. Ведь право на революцию является вообще единственным действительно «историческим правом», единственным, на котором основаны все без исключения современные государства; на нем же, кстати сказать, построен и Мекленбург, дворянская революция которого окончилась в 1755 г. посредством «наследственного договора», знаменитого письменного засвидетельствования феодализма, еще и по сие время не потерявшего силы закона. Право на революцию настолько прочно вошло в общее сознание, что даже генерал Богуславский только из этого народного права и выводит право на государственный переворот, которое он признает за своим императором.

*
* *

...Ирония всемирной истории все ставит на голову. Мы, «революционеры», «разрушители», мы несравненно более преуспеваем, пользуясь легальными средствами, чем при нелегальных средствах, непосредственно направленных к перевороту. Партии порядка, как они себя именуют, погибают от ими самими созданного легального положения. В отчаянии они кричат вместе с Одилоном Барро: La légalité nous tue! Законность нас убивает! Между тем как мы при этой законности приобретаем крепкие мускулы и румяные щеки и выглядим как вечная жизнь. А так как мы не столь безумны, чтобы в угоду этим партиям позволить заманить себя в уличную борьбу, то им, наконец, ничего другого не остается, как уничтожить эту самую роковую для них законность.

(Энгельс. «Введение к «Классовой борьбе во Франции в 1848—1850 г.г.» К. Маркса».)

§ 5. ОТКАЗАЛСЯ ЛИ ЭНГЕЛЬС НА СКЛОНЕ ЛЕТ ОТ ПРИНЦИПОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ С КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬЮ?

Пытаются, между прочим, обвинить меня в противоречии с Фридрихом Энгельсом. Последний, будучи раньше всегда очень революционно настроен, незадолго перед смертью, якобы, «по-

умнел», сознал несостоятельность своей революционной точки зрения и признал это.

Правда, что Энгельс в 1895 году в своем известном предисловии к марксовой «Классовой борьбе во Франции» указал, как сильно изменились условия революционной борьбы по сравнению с 1848 годом. Для того, чтобы победить, мы должны были иметь за собою большие массы, которые знают, что «надо делать», и мы, революционеры-низвергатели, успели бы гораздо больше, применяя законные средства, чем при незаконных средствах и насильственном перевороте. Но не надо забывать, что Энгельс относил это только к тогдашней ситуации. Кто хочет знать, как надо понимать положения Энгельса, должен их сравнить с его письмами, на которые я недавно указал в «Neue Zeit» (XXVII, I, стр. 7). Из этих писем явствует, что Энгельс энергично протестовал против изображения его «покладистым поклонником законности во что бы то ни стало». Я писал в указанном выше месте в «Neue Zeit» следующее:

«Введение к марксовой «Классовой борьбе» датировано 6 марта 1895 г. Несколько недель спусти книга эта появилась в свет. Я просил Энгельса разрешить мне напечатать это введение в «Neue Zeit» до выхода книги в свет».

На это он мне 25 марта ответил:

«На твою телеграмму я тотчас же ответил: «с удовольствием».

Корректурный оттиск текста следует под заголовком: «Введение Ф. Э. к новому изданию марксовой «Классовой борьбы во Франции в 1848—1850 годах». В тексте сказано, что содержание книги представляет собой перепечатку старых статей из обозрений «N. Rhein. Z.» («Новой Рейнской Газеты»). Мой текст несколько пострадал вследствие советов наших берлинских друзей на почве опасений, возникших вследствие законопроекта о «низвергателях» (Umsturzvorlage),—советов, с которыми я при настоящих обстоятельствах должен был считаться.

(Каутский. «Путь к власти». Гиз 1923 г., стр. 41.)

* * *

Нам скажут, может быть, что сам Энгельс под конец жизни настоятельно советовал социалистическим партиям всех стран избегать насильственных действий и оставаться на почве мирной борьбы законными средствами[1]). На это мы ответим вот что:

Энгельс дал этот свой ответ, основываясь на трех соображениях: 1) на том, что социалистическая революция предполагает

[1]) См. его (помеченное мартом 1895 г.) предисловие к сочинению Маркса «Классовая борьба во Франции в 1848—1850 г.г.».

высокое развитие сознания рабочей массы, для которого нужно время[1]); 2) на том, что немецкие охранители всеми силами стараются теперь толкнуть немецкую социал-демократию на восстание, надеясь разбить ее и тем положить конец ее непрерывным успехам[2]), и 3) на том, что современное вооружение войска делает безнадежными всякие попытки уличных восстаний[3]).

Первые два из этих соображений не нуждаются ни в каких «поправках» и ни в каких комментариях. Они изложены так ясно и так очевидно справедливы, что против них не станут возражать ни те, которые действительно умеют критиковать учение Маркса и Энгельса, ни даже те, которые годны только на то, чтобы красоваться «под знаком критики». Но эти два соображения осуждают не насильственные действия вообще, а только преждевременные насильственные действия, и потому не имеют ничего общего с доводами сторонников мирного развития quand même.

Что касается третьего соображения, то при внимательном анализе смысл его оказывается не совсем таким, каким он представляется на первый взгляд.

Развивая это соображение, Энгельс говорит, что до 1848 г. уличные битвы нередко приводили к победе инсургентов, но что это обусловливалось действием весьма различных причин. В Париже, в июле 1830 и в феврале 1848 года, и в большинстве испанских уличных битв дело решалось национальной гвардией, которая обескураживала регулярное войско своим нерешительным поведением или даже прямо переходила на сторону восставших. Там же, где она сразу и решительно выступала против инсургентов, восстания оканчивались неудачей. Так было, например, в Париже в июне 1848 г. Во всяком случае инсургенты побеждали только там и только тогда, где и когда им удавалось поколебать нравственную твердость войска. Даже в классическое время уличной битвы баррикады имели более нравственное, чем материальное значение. Затрудняя движение войска, они давали инсургентам время подействовать на его нравственное настроение. Но если войско не поддавалось влиянию инсургентов, оно оставалось победителем.

Если это так, если даже в классическое время уличной борьбы исход восстания всецело определялся нравственным настроением войска, то интересующий нас здесь вопрос сводится к следующему: могли ли бы в настоящее время инсургенты

[1]) «Die Zeit der Ueberrumpelungen, der von kleinen bewussten Minoritäten an der Spitze bewusstloser Massen durchgeführten Revolutionen, ist vorbei. Wo es sich um eine vollständige Umgestaltung der gesellschaftlichen Organisation handelt, da müssen die Massen selbst dabei sein, selbst schon begriffen haben, worum sich handelt, für was sie eintreten sollen. Damit aber die Massen verstehen, was zu thun ist, dazu bedarf es langer, ausdauernder Arbeit» etc. «Die Klassenkämpfen in Frankreich». Vorwort, S. 16.

[2]) Ibid., S. 17.

[3]) Ibid., S. S. 14—15.

повлиять на войско в благоприятном для себя смысле? На этот вопрос Энгельс отвечает категорическим «нет». Он говорит, что восставшие не могли бы рассчитывать теперь, как в 1848 году, на сочувствие всех слоев населения, и что хотя на их сторону могло бы теперь стать больше людей, обученных военному делу, но им гораздо труднее было бы достать себе подходящее оружие. Прибавляя к этому, что с 1848 года в больших городах выросли новые кварталы, совершенно неудобные для постройки баррикад, Энгельс спрашивает: «Понимает ли теперь читатель, почему господствующие классы во что бы то ни стало хотят толкнуть нас туда, где стреляют ружья и рубят сабли? Почему нас называют теперь трусами за то, что мы не хотим, очертя голову, выходить на улицу, где нас ждет верное поражение. Почему нас так настоятельно уговаривают выступить, наконец, в роли пушечного мяса? Но напрасны просьбы этих господ. Мы не такие дураки»[1]).

Все это сказано очень решительно и, повидимому, не оставляет никакого сомнения насчет взгляда Энгельса. Но заметьте, что все рассуждение его ведется в виду нынешнего положения немецкой социал-демократии, которая в самом деле поступила бы очень опрометчиво, поддавшись коварным провокациям господствующих классов. Рассуждение, которое, казалось, имело общий характер, получает особенный, частный смысл; читателю начинает казаться, что Энгельс имел в виду только нынешнее положение немецкой социал-демократии. Это впечатление значительно подкрепляется следующими словами Энгельса: «Как бы там ни было с другими странами, немецкая социал-демократия находится в особом положении и потому имеет, по крайней мере в ближайшее время, особую задачу»[2]). Далее объясняется, почему германской партии именно теперь невыгодно было бы прибегать к насильственным действиям. Ввиду этого естественно является предположение, что мысль об особенностях современного положения немецкой партии придала специфическую окраску всему рассуждению Энгельса об открытой борьбе рабочего класса с его эксплоататорами. Это предположение уступает место уверенности при чтении того места в конце предисловия, где Энгельс говорит, что ввиду постоянных успехов социал-демократии германское правительство может, пожалуй, решиться на отмену конституции и на возвращение к абсолютизму. Он намекает здесь на то, что такая попытка приведет к народному восстанию, о которое разобьются силы реакционеров. Выходит, значит, что, по мнению Энгельса, не всякое народное восстание безнадежно и в настоящее время. Этот неизбежный вывод еще более подкрепляется заключительными строками предисловия, переносящими мысль читателя за 1600 лет

---

[1]) «Die Klassenkämpfen in Frankreich», S. 15.
[2]) Ibid., S. 17.

назад, ко времени борьбы христианства с язычеством. Языческий мир третировал христиан, как подрывателей основ, и жестоко преследовал их. В течение долгого времени они могли работать на пользу своего дела лишь тайно, лишь в подпольях. Но мало-по-малу их учение распространилось так сильно, что у них оказались сторонники даже в войске: «целые легионы обратились в христианство» (курсив наш). И когда им приходилось по обязанностям службы присутствовать при религиозных церемониях языческой церкви, эти воины, пропитанные духом нового учения, украшали крестом свои каски. Обычные дисциплинарные взыскания оказывались бессильными перед их дерзостью. Император Диоклетиан вступил в решительную борьбу с ними, издав «закон против социалистов, то, бишь, против христиан». Собрания потрясателей основ были объявлены незаконными, те помещения, где они происходили, были заперты, ношение крестов запрещено и т. д., и т. д. Триста третий год ознаменовался сильнейшим гонением на христиан. Но это гонение было последним в своем роде. «Его действие было так сильно, что по прошествии семнадцати лет армия состояла преимущественно из христиан», и Константин объявил христианство господствующей религией [1]).

Если эти строки имеют какой-нибудь смысл, — а они, разумеется, не бессмысленны, — то именно тот, что социалисты восторжествуют тогда, когда революционные идеи проникнут в армию и когда «легионы» нашего времени заразятся социалистическим духом, а до тех пор социалистической партии следует избегать открытых столкновений с войсками. Как видит читатель, это не совсем тот вывод, какой обыкновенно делают из этого рассуждения Энгельса.

Но возможно ли проникновение социалистических идей в армию? Не только возможно, а прямо неизбежно. Современная организация военного дела требует всеобщей воинской повинности, а всеобщая воинская повинность несет в армию те идеи, которые распространяются в народе. Чем шире будут распространяться в массах социалистические идей, тем более будут расти шансы успехов инсургентов: ведь мы уже знаем от Энгельса, что исход уличной борьбы всегда определяется настроением войска [2]).

Нет никакого сомнения в том, что не скоро «легионы» поддадутся нашему влиянию. Но то, что отсрочено, еще не потеряно, как говорят французы. Рано или поздно социалистические идеи все-таки проникнут в войско, и тогда мы посмотрим, что останется от воинственного настроения реакционеров и не перестанут ли они вызывать нас на улицу...

---

[1]) «Die Klassenkämpfen in Frankreich», S. 19.

[2]) Считаем не лишним заметить, что баррикады представляют собою лишь частный случай борьбы открытой силой.

Если мы сопоставим только что анализированное нами рассуждение Энгельса с знаменитыми заключительными строками «Манифеста Коммунистической Партии»[1]), то мы увидим, что к концу своей жизни Энгельс значительно изменил свой взгляд на роль открытых восстаний в освободительной борьбе пролетариата. Между тем как в эпоху опубликования «Манифеста» он и Маркс считали открытое восстание неизбежным условием победы рабочего класса, Энгельс к концу своей жизни признал, что при известных обстоятельствах легальный путь тоже может привести к победе, а на восстание стал смотреть как на такой способ действия, который при современной технике военного дела сулит социалистам не победу, а жестокое поражение, и не перестанет сулить его до тех пор, пока сама армия не проникнется социалистическим духом.

Этот новый взгляд Энгельса заслуживает, разумеется, полного внимания и уважения, но он нимало не противоречит тому, что мы сказали выше о возможном значении насильственных действий в революционной борьбе рабочего класса. Он только выясняет нам условия, необходимые для успешности такого рода действий[2]).

К этому надо прибавить, что иное дело диктатура данного класса и иное дело насильственные действия, предпринимаемые этим классом в своем стремлении к диктатуре. Во время реставрации, Гизо и его единомышленники чрезвычайно энергично и вполне сознательно стремились к установлению диктатуры «среднего класса», но никто из них не думал о насильственных

---

[1]) «Коммунисты считают позорным скрывать свои воззрения и стремления. Они открыто объявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь посредством насильственного ниспровержения всего современного общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетарии ничего не могут в ней потерять, кроме своих цепей. Приобретут же они целый мир». «Манифест», стр. 39.

[2]) В 1892 году в статье «Der Sozialismus in Deutschland» («Neue Zeit», X Jahrg., I B., S. 583) Энгельс, прямо указывая на быстрое проникновение социалистических идей в армию, восклицал: «Как часто буржуа уговаривали нас отказаться от употребления насильственных средств и не выходить из пределов законности... К сожалению, мы не можем доставить буржуа это удовольствие (курсив наш — *Г. П.*)... Но это не мешает нам понимать, что в настоящее время «законность» убивает не нас, а кого-то другого. Нам она, напротив, так полезна теперь, что мы были бы дураками, если бы нарушили ее». Это как раз та самая мысль, которую мы нашли в предисловии; только в предисловии ей придано умышленно-неясное выражение. И это сделано по настоянию друзей, которые на основании практических соображений считали неудобным ясное ее выражение (об этом см. в ст. Каутского «Bernstein und Dialektik», «Neue Zeit» XVII Jahrg., II B., S. 47). Энгельс уступил совету своих друзей-практиков и этим подал повод к неправильному теоретическому истолкованию его взгляда. А это неправильное теоретическое истолкование уже теперь причинило массу практических неудобств, гораздо более чувствительных, чем все те неудобства, которые могли бы явиться в результате ясного и недвусмысленного изложения его мысли. Урок слишком уступчивых теоретиков: они должны твердо помнить, что там, где речь идет о выражении теоретических взглядов, практики всегда очень непрактичны.

действиях вообще и об уличном восстании в частности. Гизо, наверное, резко осудил бы тогда всякий план такого восстания. Но это не мешало ему быть революционером, потому что он ни на минуту не переставал развивать в умах людей «среднего класса» сознание враждебной противоположности их интересов с интересами аристократии и доказывать им, что всякая мысль о примирении с ней есть вредная химера. Совершенно такими же революционерами (только стоявшими на точке зрения другого класса) явились Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической Партии», и совершенно такими же революционерами остались они до последнего своего издыхания. В этом отношении взгляды их не изменились ни на волос, вопреки уверениям тех «критиков», которые целиком состоят, по выражению Маркса, из «с одной стороны» и «с другой стороны», которым очень хотелось бы освободить пролетариат, не обидев при этом буржуазии, и о которых можно сказать словами Ницше: Selig sind diese Schläfrigen denn sie sollen bald einnicken.

Вот все, что нам хотелось сказать об основной мысли «Манифеста» и о выводах, непосредственно из нее вытекающих. Отдельные его положения будут, как сказано, рассмотрены нами в брошюре «Критика наших критиков». Мы увидим там, были ли правы, и если да, то в какой мере были правы Маркс и Энгельс, когда они говорили, что производительные силы буржуазного общества переросли современные ему производственные отношения, и что это противоречие между производительными силами, с одной стороны, и производственными отношениями, с другой—является глубокой социальной основой революционного движения современного рабочего класса.

(Плеханов. «Предисловие к «Коммунистическому Манифесту» Маркса и Энгельса». Сочинения. Гиз 1925 г. Т. XI, стр. 321—326.)

*
* *

Известно, какая горячая дискуссия возникла в связи с знаменитым «Введением» Энгельса к «Классовой борьбе во Франции от 1848 г. до 1850 г.» К. Маркса. Э. Бернштейн в своих «Предпосылках социализма» сделал попытку превратить это «Введение» в политическое завещание Энгельса, в котором один из основоположников «самого революционного учения, какое только знало XIX столетие», отрекался от своего революционного прошлого и завещал своим ученикам всеми силами избегать сделанных им и Марксом ошибок.

Каутский сейчас же выступил с решительным протестом против такого извращения слов Энгельса, но в то же время он признал, что действительный текст, как он вышел из-под пера

Энгельса, несколько отличался от напечатанного текста. Если его революционное мировоззрение не проявляется в «Введении» с надлежащей яркостью и отчетливостью, то «виноват не Энгельс, а немецкие друзья, которые убедили его выбросить заключение, так как оно было слишком революционно. Они думали, что предисловие и без того достаточно ясно написано. Мы видим теперь, что это не совсем так». И Каутский делает Бернштейну следующее предложение:

«Бернштейн имеет у себя оставшиеся после Энгельса рукописи. Если среди них имеется и оригинал предисловия с вычеркнутым заключением, то я приглашаю его опубликовать это заключение, которое Энгельсом было опущено только в силу внешних условий, а не по внутреннему побуждению. Мы тогда увидим, как мало имел Бернштейн права ссылаться на Энгельса»[1]).

Бернштейн не ответил на этот вызов, — вероятно, потому, что не мог найти оригинал «Введения»,—но продолжал упорно и во всех новых изданиях своей книги и в других статьях повторять, что он является только верным исполнителем последних заветов Энгельса.

Пришлось обратиться к свидетельству самого Энгельса. Оказалось, что он успел еще при жизни очень резко протестовать против ревизионистского толкования его «Введения».

Так, Лафарг опубликовал следующий отрывок из письма к нему Энгельса от 3 апреля 1895 г.

«X сыграл со мною недурную штуку. Из моего «Введения» к статьям Маркса о Франции 1848—1850 г.г. он взял все, что могло послужить ему для защиты во что бы то ни стало мирной и противонасильственной тактики, которую ему с некоторого времени угодно проповедывать, особенно в настоящий момент, когда в Берлине подготовляются исключительные законы. Между тем я рекомендую эту тактику только для Германии настоящего времени, да и то с существенными оговорками. Во Франции, Бельгии, Италии, Австрии этой тактике нельзя следовать в ее целом, а в Германии она может стать неприемлемой завтра[2]).

Новое свидетельство, что Энгельс был не очень доволен тем употреблением, которое сделано было из его «Введения», мы находим в статье Каутского, которую он после перепечатал в книжке «Der Weg zur Macht».

Каутский просил у Энгельса разрешения напечатать его предисловие в «Neue Zeit» до его появления в отдельном издании. Соглашаясь на это «с удовольствием», Энгельс писал ему: «Текст мой пострадал несколько благодаря опасениям наших берлинских друзей, ссылавшихся на подготовляемый закон про-

---

[1]) Kautsky. «Bernstein und die Dialektik». «Neue Zeit», XVII, 2, S. S. 46—47.
[2]) «Le Socialiste», 24 Novembre 1900.

тив революционных стремлений (Umsturzvorlage). При этих условиях я вынужден был с ними считаться».

Проект нового закона против социалистов внесен был 5 декабря 1894 г. в рейхстаг, который передал его 14 января 1895 г. комиссии, где он обсуждался до 25 апреля.

Ситуация была очень серьезна, и только этим объясняется, почему Энгельс согласился смягчить некоторые выражения.

«Но когда «Vorwärts», — пишет Каутский, — позволил себе, для того, чтобы повлиять на работы парламентской комиссии в благоприятном направлении, вырвать из контекста предисловия несколько мест и опубликовать их в таком виде, что действительно создавалось впечатление в духе позднейших ревизионистов, Энгельс страшно рассердился. В письме от 1 апреля он писал мне:

«К моему величайшему изумлению я нахожу сегодня в «Vorwärts» извлечение из моего «Введения», напечатанное без моего ведома и таким образом скомпанованное, что я превращаюсь в мирного поклонника законности quand même. Тем более хотел бы я, чтобы все «Введение» целиком появилось в «Neue Zeit» и это позорное впечатление стерлось. Я очень определенно выскажу свое мнение на этот счет Либкнехту, а также и тем, которые — кто бы они ни были — дали ему повод исказить мое мнение».

С тех пор прошло пятнадцать лет, но, несмотря на ноябрьскую революцию 1918 г., «Введение» Энгельса к «Классовой борьбе» все еще не опубликовано целиком, а Бернштейн даже в «новом, улучшенном и дополненном издании» своих «Предпосылок социализма» продолжает повторять без всяких изменений все, что он говорил о перемене взглядов Энгельса в 1899 г.

Ему так и не удалось найти манускрипт Энгельса. К счастью, я нашел его среди бумаг, переданных Бернштейном в архив немецкой социал-демократии. Мы можем теперь восстановить все места, выкинутые по настоянию Центрального Комитета немецкой социал-демократии в 1895 г.

Сравнение оригинального текста с напечатанным показывает, что Каутский ошибался, думая, что пострадало только заключение. Вернее было бы сказать, что редакторский карандаш особенно усердно прошелся по последним пяти страницам «Введения».

Если мы возьмем более доступное теперь издание 1911 г. с предисловием Бебеля[1]), который, кстати сказать, совершенно обходит вопрос, каким изменениям подвергалось «Введение» Энгельса, и сравним его с оригиналом, то окажется, что вплоть до 18-й страницы мы не найдем никаких существенных отличий, кроме стилистических мелочей. Другое дело, начиная с указанной страницы.

---

[1]) Karl Marx. «Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848—1850». Mit Einleitung von F. Engels und einem Vorwort von August Bebel. Berlin 1911.

Чтобы не перепечатывать всего «Введения», мы ниже даем каждый измененный абзац в его настоящем виде и ограничиваемся тем, что печатаем курсивом все выброшенные места.

Страница 18-я немецкого издания.

«Итак, даже в классическое время уличной борьбы баррикада действовала более морально, чем материально. Она была средством поколебать стойкость армии. Удавалось ей продержаться до тех пор, пока эта цель была достигнута — победа была одержана; не удавалось — борьба кончалась поражением. В этом именно заключается существенный пункт, на который нужно обратить особенное внимание, даже если мы будем исследовать шансы всякой возможной в будущем уличной борьбы»[1].

Итак, речь идет не об отказе от уличной борьбы, даже от баррикад, а только о более тщательном взвешивании их шансов.

Показав дальше, что условия уличной борьбы с 1849 г. сильно изменились, как на стороне народа, так и на стороне армии, Энгельс заканчивает в напечатанном тексте этот абзац следующими словами (страница 19-я немецкого издания):

«Наконец, прямые, широкие и длинные улицы в нововыстроенных после 1848 г. кварталах больших городов как бы нарочно приспособлены для действия новых орудий и ружей. Сумасшедшим должен был бы быть тот революционер, который по своей воле выбрал бы для постройки баррикад новые рабочие кварталы на северной и восточной стороне Берлина». Но осторожные редакторы вычеркнули заключение этого абзаца. Вот оно:

«Значит ли это, что в будущем уличная борьба не будет уже играть никакой роли? Нисколько. Это значит только, что условия с 1848 г. стали более неблагоприятными для гражданских инсургентов, более благоприятными для армии. Всякая будущая уличная борьба может, таким образом, победить только в том случае, если этот минус ситуации будет компенсирован другими моментами. Она будет иметь место реже в первой фазе социальной революции, чем в дальнейшем ходе ее, и должна будет вестись при помощи более значительных сил. Но последние предпочтут тогда, как и во время всей Великой французской революции, или 4 сентября и 31 октября в Париже, открытое наступление пассивной баррикадной тактике»[2].

---

[1] «Es ist dieses der Hauptpunkt, der im Auge zu halten ist, auch wenn man die Chancen... künftiger Strassenkämpfe untersucht».

[2] «Heisst das, dass in Zukunft der Strassenkampf keine Rolle mehr spielen wird? Durchaus nicht. Es heisst nur, dass die Bedingungen seit 1848 weit ungünstiger für die Civilkämpfer, weit günstiger für das Militär geworden sind. Ein künftiger Strassenkampf kann also nur siegen, wenn diese Ungunst der Lage durch

Энгельс как бы предвидел опыт Октябрьской революции. Напомним, что еще в 1854 г. в одной из статей, написанных для «Нью-Йоркской Трибуны», Энгельс, в связи с испанским восстанием 1854 г., пишет:

«Во-вторых, мы имели зрелище успешной баррикадной борьбы. Всюду, где со времени июньских дней 1848 г. пробовали строить баррикады, они оказывались недействительными. Казалось, что баррикады, как форма сопротивления, оказываемого населением большого города армии, потеряли всякое значение. Эта неблагоприятная оценка опровергнута фактами.

Мы имеем снова победоносные неприступные баррикады. отлучение снято с них»[1]).

На странице 20-й сделано такое маленькое изменение:

«И в романских странах начинают все больше понимать, что старая тактика должна быть пересмотрена. Всюду неподготовленные выступления отступили на задний план[2]), всюду немецкий пример использования избирательного права, завоевания всех доступных позиций, находит подражание».

На странице 21-й имеется вставка, сделанная самим Энгельсом в корректуре:

«Мы можем уже теперь рассчитывать на $2^1/_4$ миллиона избирателей. Если это будет так продолжаться, то к концу столетия мы завоюем большинство среди средних классов общества, мелкой буржуазии и мелкого крестьянства и вырастем в решающую силу в стране, перед которой волей-неволей должны будут склониться все другие силы».

Непосредственно за этими словами следует фраза, в которой вычеркнуты подчеркнутые нами слова:

«Способствовать, не покладая рук, этому росту, пока он не перерастет через голову господствующей правительственной системы, не дать этой с каждым днем укрепляющейся массовой силе убывать в передовых схватках, а сохранять ее в неприкосновенности до решающего дня — вот наша главная задача»[3]).

На той же странице — там, где Энгельс говорит о возможности кровавых репрессий со стороны господствующих классов — в заключительной фразе вычеркнуто одно замечание:

---

andere Momente aufgewogen wird. Er wird daher seltener im Anfang einer grossen Revolution vorkommen, als im weiteren Verlauf einer solchen, und wird mit grössern Kräften unternommen werden müssen. Diese aber werden dann wohl wie in der ganzen französischen Revolution, am 4 September und 31 Oktober 1870 in Paris, den offenen Angriff der passiven Barrikadentaktik vorziehen».

[1]) Статья перепечатана в изданных мною на немецком языке «Gesammelte Schriften von K. Marx und F. Engels», Zweiter Band, S. 54.

[2]) «Ueberall ist das unvorbereitete Losschlagen in den Hintergrund getreten».

[3]) «Diesen sich täglich verstärkenden Gewalthaufen nicht in Vorhutkämpfen aufreiben, sondern ihn intakt zu erhalten, bis zum Tage der Entscheidung».

«Нельзя стереть с лица земли миллионную партию, для этого нехватит всех магазинных ружей Европы и Америки. Но это задержало бы нормальный ход развития, массовая сила в критический (самим Энгельсом зачеркнуто: решающий) момент, быть может, не находилась бы в нашем распоряжении, решающая битва (в напечатанном тексте: решение) была бы отсрочена и стоила бы более тяжелых жертв»[1]).

Если последние изменения могли принадлежать самому Энгельсу, то следующий «отрезок», на странице 22-й, несомненно произведен партийной цензурой.

Приглашая прусских реакционеров «действовать», Энгельс продолжает:

«Но не забывайте, что Германская империя, как и все мелкие государства и вообще все современные государства, есть продукт договора: во-первых, договора между государями, во-вторых, договора между государями и народом. Если одна сторона нарушает договор, то этим самым уничтожается весь договор, и другая сторона также освобождается от всех своих обязательств. Это великолепно продемонстрировал нам Бисмарк в 1866 г. Если вы таким образом нарушите имперскую конституцию, то социал-демократия тоже освобождается от обязательства и может поступать с вами, как ей угодно. Но что именно она сделает тогда, — эту тайну она вряд ли вам поведает теперь»[2]).

* * *

Даже такой эзоповский оборот оказался чересчур сильным для Центрального Комитета.

Мы видим, что Энгельс имел все причины негодовать, когда, основываясь на его «Введении» в «Классовую борьбу во Франции», т.-е. в ту работу Маркса, которая дает самое яркое обоснование революционной диктатуры пролетариата, делали попытку превратить его в «мирного поклонника законности». В особенности, когда это делали те его друзья, которые прекрасно знали, что они играют при этом краплеными картами.

(Д. Рязанов. «Введение Энгельса к «Классовой борьбе во Франции». «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», 1924 г., книга первая, стр. 257—261.)

---

[1]) «Der Gewalthaufe wäre vielleicht im kritischen («entscheidenden» durchgestrichen) Moment nicht verfügbar, der Entscheidungskampf».

[2]) «Wie uns das Bismark 1866 so schön vorgemacht hat. Brechen sie also die Reichsverfassung, so ist die Social-demokratie frei, kann Ihnen gegenüber thun und lassen was sie will. Was sie aber dann thun wird—das bindet sie Ihnen heute schwerlich auf die Nase».

§ 6. РЕВОЛЮЦИОННО-ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА.

Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, что salus populi suprema lex. В переводе на язык революционеров это значит, что успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежащих к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов, подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить лишь с точки зрения правила: salus revolutiae suprema lex. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент—своего рода Chambre introuvable,—то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели. (Рукоплескания, на некоторых скамьях шиканье, голоса: «Вы не должны шикать». Плеханов: «Почему же нет. Я очень прошу товарищей не стесняться». Егоров встает и говорит: «Раз такие речи вызывают рукоплескания, то я обязан шикать».)

(Плеханов. «Речи на 2 съезде РСДРП». Сочинения. Гиз 1924 г. Т. XII, стр. 418—419.)

X. ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ И ЕГО РОЛЬ В СОЗДАНИИ И РАЗРУШЕНИИ ГОСУДАРСТВА.

§ 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КЛАССОВОГО ГОСПОДСТВА И ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ Е. ДЮРИНГА.

«Отношение общей политики к формам хозяйственного права определено в моей системе столь решительно и вместе с тем так своеобразно, что специальное указание на него будет нелишним для более легкого изучения этого вопроса. Формы политических отношений представляют собою исторический фундамент, хозяйственные же зависимости суть только их следствие или частный случай, а потому всегда являются фактами вторичного порядка. Некоторые из новейших социалистических систем выставляют руководящим принципом кажущееся и бросающееся в глаза совершенно обратное взаимоотношение, выводя из экономических условий формы политического подчинения. Бесспорно, что эти действия вторичного характера существуют как таковые и в настоящее время особенно резко чувствуются; но первичный фактор все-таки следует искать в непосредственном политическом насилии, а не в косвенном влиянии экономической мощи». То же говорится и в другом месте, где г. Дюринг «исходит из того положения, что политические условия являются решающей причиной экономического положения и что обратное отношение представляет лишь отраженное действие вторичного порядка... Если кто-нибудь делает политическую группировку исходным пунктом не ради нее самой, а рассматривает ее исключительно как средство для кормовых целей, то какими бы радикально-социалистическими и революционными ни казались на первый взгляд его воззрения, они все же будут заключать в себе в скрытом виде добрую долю реакционности».

Такова теория г. Дюринга. И здесь и во многих других местах она просто выставляется, так сказать, декретируется; во всех трех толстых томах мы не находим даже малейшей попытки ее доказательства или опровержения противоположного взгляда. Но если бы даже доказательства были дешевле грибов, то г. Дюринг не видел бы надобности давать их. Ведь вопрос уже решен знаменитым грехопадением Робинзона, поработившего

Пятницу. Это был акт насилия, стало быть — деяние политическое. А так как это порабощение, составляя исходный пункт и основной факт всей истории до наших дней, прививает ей первородный грех несправедливости, ибо в позднейшие периоды истории оно было лишь смягчено и «заменено более косвенными формами экономической зависимости»; так как на этом же первом акте порабощения покоится вся господствующая до сих пор «насильственная собственность», то ясно, что все экономические явления должны быть объясняемы политическими причинами, а именно — насилием. Если же кто-нибудь не удовлетворяется этим объяснением, то он — скрытый реакционер.

Прежде всего заметим, что надо обладать самовлюбленностью г. Дюринга, чтобы считать это воззрение настолько «своеобразным», каковым оно на деле вовсе не является. Представление, будто главным фактором в истории являются громкие государственно-политические деяния, столь же старо, как и сама историография. Оно было главной причиной того, что у нас сохранилось так мало сведений о бесшумном и действительно прогрессивном развитии народов, происходившем на заднем плане этих шумных выступлений. Охарактеризованное представление господствовало во всем прежнем понимании истории и впервые было поколеблено французскими буржуазными историками времен реставрации; «своеобразно» в данном случае лишь то, что г. Дюринг опять-таки ничего не знает обо всем этом.

Далее, если бы мы даже допустили на минуту правильность утверждения г. Дюринга, что вся история до наших дней может быть сведена к порабощению человека человеком, то это еще далеко не выяснило бы нам сути дела. Напротив, прежде всего является вопрос: каким образом Робинзон пришел к мысли поработить Пятницу? Просто ради удовольствия? Отнюдь нет. Напротив, мы видим, что Пятница «как раб или простое орудие принуждается к хозяйственной службе, и его содержат именно только как орудие». Робинзон порабощает Пятницу только для того, чтобы Пятница работал на Робинзона. А каким образом Робинзон может извлечь для себя пользу из труда Пятницы? Только потому, что Пятница производит своим трудом больше жизненных средств, чем сколько Робинзон принужден давать ему для того, чтобы сохранить его трудоспособность. Следовательно, вопреки прямому предписанию г. Дюринга, Робинзон сделал созданную порабощением Пятницы «политическую группировку исходным пунктом не ради нее самой», а отнесся к ней «исключительно как к средству для кормовых целей», и теперь ему надо хорошо подумать над тем, как оправдаться перед своим господином и хозяином Дюрингом.

Таким образом детский пример, изобретенный г. Дюрингом нарочито для доказательства того, что насилие есть «исторически фундаментальный» фактор, показывает, напротив, что насилие есть только средство, целью же является в действитель-

ности экономическая выгода. Насколько цель «фундаментальнее» средства, примененного для ее достижения, настолько же экономическая сторона данного отношения является в истории более основной, чем сторона политическая. Следовательно, приведенный пример доказывает как раз противоположное тому, что он должен был доказать. И точно так же, как с Робинзоном и Пятницей, дело обстоит во всех случаях господства и порабощения, которые имели место до сих пор. Подчинение всегда было, употребляя изящное выражение г. Дюринга, «средством для кормовых целей» (понимая эти цели в самом широком смысле слова), но никогда и нигде оно не являлось политической группировкой, введенной «ради нее самой». Надо быть г. Дюрингом, чтобы вообразить, будто налоги представляют в государстве только «следствия второго порядка», или что современная политическая группировка на господствующую буржуазию и подчиненный пролетариат существует «ради нее самой», а не ради «кормовых целей» господствующих буржуа, ради наживания барышей и накопления капитала.

Возвратимся, однако, к нашим двум индивидуумам. Робинзон «со шпагой в руке» обращает Пятницу в своего раба. Но, чтобы успеть в этом, Робинзон нуждается еще кое в чем, кроме шпаги. Не всякому раб приносит пользу. Чтобы быть в состоянии пользоваться им, нужно располагать вещами двоякого рода: во-первых, орудиями и объектами для приложения труда раба; во-вторых, средствами для поддержания его скудного существования. Следовательно, прежде чем станет возможным рабство, должна уже быть достигнута известная ступень в развитии производства и известная ступень неравенства в распределении. А для того, чтобы рабский труд стал господствующим способом производства целого общества, требуется еще гораздо более значительный рост производства, торговли и накопления богатств. В древних, естественно выросших общинах, с общей собственностью на землю, рабство либо вовсе не встречается, либо играет лишь весьма второстепенную роль. Так было и в первоначально крестьянском городе Риме; когда же он стал «всемирным городом» и италийская поземельная собственность стала все более и более переходить в руки малочисленного класса колоссально богатых владельцев, тогда крестьянское население было вытеснено населением, состоявшим из рабов. Если во времена греко-персидских войн число рабов в Коринфе достигало 460.000, а в Эгине — 470.000, и на каждую душу свободного населения приходилось 10 рабов, то для этого требовалось нечто большее, чем «насилие», а именно — требовалась наличность высоко-развитой художественной и ремесленной промышленности и обширной торговли. Невольничество в Американских Соединенных Штатах покоилось гораздо меньше на насилии, чем на английской хлопчато-бумажной промышленности; в местностях, где не произрастал хлопок, или которые не занимались

подобно пограничным штатам разведением рабов для продажи в штаты, занимающиеся хлопководством, рабство вымерло само собой, без применения насилия, просто потому, что оно не было выгодно.

Если, следовательно, г. Дюринг называет современную собственность насильственной собственностью и определяет ее как «такую форму господства, в основе которой лежит не только отстранение ближнего от пользования естественными средствами, необходимыми для существования, но, что еще важнее, пригнетение человека к холопской службе», — то он переворачивает вверх дном действительное соотношение фактов. Подчинение человека холопской службе во всех ее формах предполагает на стороне подчиняющего обладание средствами для приложения труда, с помощью которых он только и может использовать порабощенного, а при невольничестве, сверх того, и распоряжение жизненными средствами, необходимыми для содержания раба. Во всех этих случаях предполагается, таким образом, обладание известным, превышающим средний уровень, имуществом. Но как возникло последнее? Конечно, оно могло быть награблено, следовательно, основываться на насилии, но это вовсе не представляется необходимым. Оно могло быть добыто также трудом, украдено, нажито торговлей, обманом. Оно даже должно быть добыто трудом, раньше чем может вообще быть награбленным.

Вообще, частная собственность появляется в истории отнюдь не как результат грабежа и насилия. Напротив, она существует уже, хотя и распространяясь только на известные предметы, в первобытной, естественно выросшей общине всех культурных народов. Уже в пределах этой общины, раньше всего в процессе обмена с чужеземцами, объекты частной собственности начинают принимать форму товара. Чем больше продукты общины принимают товарную форму, т.-е. чем меньшая часть их производится для собственного потребления производителя и чем большая — для целей обмена, чем больше обмен вытесняет и внутри общины первоначальное, естественно сложившееся разделение труда, — тем более неравным становится также имущественное положение отдельных членов общины, тем глубже подрывается старое общинное владение землей, тем быстрее община идет навстречу своему разложению и превращается в деревню, состоящую из мелких землевладельцев-крестьян. Восточный деспотизм и сменявшееся господство завоевателей-кочевников в течение тысячелетий не были в силах причинить никакого вреда этим старым общинам; напротив, постепенное разрушение их естественно выросшей домашней промышленности вследствие конкуренции продуктов крупной индустрии все больше и больше приводит к их разложению. О насилии здесь можно говорить так же мало, как и при ныне еще происходящем разделе общинных угодий в так называемых Gehöferschaften, лежащих на

Мозеле и в Гохвальде: крестьяне просто считают выгодной для себя замену общинной собственности на полевую землю частной собственностью. Даже образование естественно выросшей аристократии, как она возникла на почве общинного землевладения у кельтов, германцев и в индийском Пятиречье, — даже оно покоится ближайшим образом не на насилии, а на добровольном начале и привычке. Повсюду, где образуется частная собственность, это происходит вследствие изменения условий производства и обмена, в интересах повышения производства и развития торговли, следовательно, по экономическим причинам. Насилие не играет при этом никакой роли. Ведь ясно, что институт частной собственности должен существовать, прежде чем грабитель может присвоить себе чужое добро; что, следовательно, насилие, хотя и может переменить лицо владельца, но не может создать частную собственность как таковую.

Но и для того, чтобы объяснить «наложение» на человека ярма холопской службы» в самой современной его форме наемного труда, мы также не можем ссылаться на насилие или на насильственную собственность. Мы уже упомянули, какую роль играет при разложении старых общин, следовательно, при прямом или косвенном распространении частной собственности, превращение продуктов труда в товары, т.-е. производство их не для собственного потребления, а для обмена. Между тем Маркс, с недопускающей сомнений ясностью, показал в «Капитале» (и г. Дюринг остерегается хотя бы словечком заикнуться об этом), что на известной стадии развития товарное производство превращается в капиталистическое производство и что на этой ступени «закон присвоения или закон частной собственности, покоящийся на товарном производстве и товарном обращении, превращается, вследствие собственной, внутренней, неизбежной диалектики, в свою противоположность: обмен эквивалентов, бывший первоначальной операцией, повернулся так, что теперь обмен происходит только видимый, поскольку, во-первых, обмениваемая на рабочую силу часть капитала сама представляет только часть продукта чужого труда, присвоенного без отдачи эквивалента, а, во-вторых, поскольку эта часть капитала должна быть не просто только возмещена ее производителем, рабочим, а возмещена еще с избытком... Первоначально собственность явилась перед нами основанной на собственном труде... Теперь (т.-е. в конце процесса, исследованного Марксом) собственность является на стороне капиталиста как право на присвоение чужого неоплаченного труда, на стороне же рабочего — как фактор, лишающий его возможности присвоить себе свой собственный продукт. Разобщение между собственностью и трудом становится необходимым последствием закона, который, казалось, исходил из их тождества». Другими словами, если мы даже исключим возможность всякого грабежа, насильственного действия и обмана, если мы допустим, что вся частная собственность покоилась

первоначально на личном труде собственника, и что во всем дальнейшем ходе вещей обменивались друг на друга только равноценности, то мы все-таки при дальнейшем развитии производства и обмена неизбежно приходим к современному капиталистическому способу производства, т.-е. к монополизации орудий производства и необходимых предметов потребления в руках одного, малочисленного класса, к низведению другого класса, составляющего громадное большинство, до положения неимущих пролетариев, к периодической смене спекулятивного производства и торговых кризисов и ко всей нынешней анархии производства. Весь процесс объясняется чисто экономическими причинами, и для понимания его нет решительно никакой необходимости ссылаться на грабеж, насилие, государственное или какое-либо иное политическое вмешательство. «Насильственная собственность» оказывается и в этом случае просто хвастливой фразой, которая должна прикрыть недостаток понимания действительного хода вещей.

Этот процесс, выражаясь исторически, есть история развития буржуазии. Если «политические условия являются решающей причиной экономического положения», то современная буржуазия должна была бы развиться не в борьбе с феодализмом, а быть его добровольно рожденным, любимым детищем. Всякий знает, однако, что дело происходило как раз наоборот. Представляя из себя первоначально угнетенное сословие, обязанное оброками господствующему феодальному дворянству и вербовавшееся из всякого рода крепостных людей, буржуазия в непрерывной борьбе с дворянством отвоевывала одну позицию за другой, пока, наконец, не стала в наиболее развитых странах господствующим вместо него классом: во Франции — прямо свергнув дворянство, в Англии — все более обуржуазив его и включив его в свой состав в качестве декоративной верхушки. И каким образом она достигла этого? Только путем изменения «экономического положения», за которым, рано или поздно, добровольно или после тщательного сопротивления, последовало также изменение политических условий. Борьба буржуазии с феодальным дворянством есть борьба города против деревни, промышленности против землевладения, денежного хозяйства против натурального, и решающим оружием буржуа в этой борьбе была их экономическая мощь, которая непрерывно возрастала благодаря развитию промышленности, сначала ремесленной, а позднее превратившейся в мануфактуру, и благодаря расширению торговли. В течение всей этой борьбы политическая сила была на стороне дворянства, за исключением одного периода, когда королевская власть пользовалась буржуазией в своей борьбе с дворянством, чтобы держать в страхе одно сословие при помощи другого; однако с того момента, как буржуазия, политически все еще бессильная, начала благодаря росту своего экономического могущества становиться опасной, королевская власть вновь вступила

в союз с дворянством и вызвала этим сначала в Англии, а потом во Франции буржуазную революцию. «Политические условия» оставались во Франции неизменными, между тем как «экономическое положение» переросло их. В политическом отношении дворянство было всем, буржуа — ничем; по социальному положению буржуазия была теперь важнейшим классом в государстве, тогда как дворянство утратило все свои социальные функции и продолжало только получать доходы в качестве вознаграждения за эти исчезнувшие функции. Мало того, буржуазия во всей сфере своего производства оставалась втиснутой в феодальные политические формы средневековья, которые это производство — не только мануфактура, но даже ремесло — давно переросло; развитие ее стеснялось бесчисленными цеховыми привилегиями, обратившимися в источник придирок и в путы для производства, стеснялось местными и провинциальными таможенными рогатками. Буржуазная революция положила этому конец. Но она это сделала не приспособлением экономического положения к политическим условиям, согласно принципу г. Дюринга, — именно это в течение долгого времени тщетно пытались сделать дворянство и монархия, — а, наоборот, отбросив старый, гнилой политический хлам и создав такие политические условия, в которых могло бы существовать и развиваться новое «хозяйственное положение». И в этой новой, подходящей для нее политической и правовой атмосфере буржуазия блестяще развилась, — так блестяще, что она уже не далека теперь от того положения, которое дворянство занимало в 1789 г.: она все более становится не только в общественном смысле излишней, но и помехой для социального развития, она все более и более отходит от производственной деятельности и становится, как в свое время дворянство, классом, только получающим доходы. И это коренное изменение своего собственного положения и создание нового класса, пролетариата, буржуазия осуществила без всяких насильственных фокусов, чисто экономическим путем. Более того, буржуазия отнюдь не желала такого результата своей собственной деятельности, напротив: он был осуществлен с непреодолимой силой против ее воли и вопреки ее намерениям; ее собственные производительные силы переросли ее руководительство и как бы с естественной необходимостью гонят все буржуазное общество навстречу либо к гибели либо к коренному преобразованию. И если буржуа апеллируют теперь к власти, чтобы охранить от крушения рушащееся «экономическое положение», то они лишь доказывают этим, что разделяют заблуждение г. Дюринга, будто «политический строй является решающей причиной экономического положения», т.-е. воображают, совершенно так же, как г. Дюринг, что при помощи «первичного фактора», «непосредственной политической силы», они могут переделать эти «факты второго порядка», т.-е. экономическое положение и его неотвратимое развитие; что они могут, следова-

тельно, при помощи крупповских пушек и маузеровских ружей стереть с лица земли экономические результаты паровой машины и современного механического производства, приводимого ею в действие, стереть с земли результаты мировой торговли и нынешней банковой и кредитной системы.

Речь идет именно о том, как объяснить возникновение классов и отношений господства, и если у г. Дюринга имеется на этот предмет всегда одно только слово «насилие», то такое объяснение ни на шаг не подвигает нас вперед. Одного того факта, что угнетенные и эксплоатируемые были во все времена гораздо многочисленнее угнетателей и эксплоататоров и, следовательно, действительная сила всегда была на стороне первых,—уже этого факта достаточно, чтобы показать нелепость всей теории насилия. Следовательно, для отношений господства и рабства необходимо найти иное объяснение.

Они возникли двояким путем.

Выйдя первоначально из животного мира (в тесном смысле слова), люди и в историю вступают еще полуживотными, грубыми, бессильными перед силами природы, не сознавшими собственных сил и потому столь же бедными, как животные, и едва ли более производительными, чем они. Между ними господствует известное равенство материального положения, а для глав семейств также своего рода равенство общественного положения, по крайней мере — отсутствие общественных классов, продолжающее существовать в естественно-выросших земледельческих общежитиях позднейших культурных народов. В каждом таком обществе существуют с самого начала известные общие интересы, охрану которых приходится возложить на отдельных членов, хотя бы и под общим контролем: разрешение споров и подавление правонарушений со стороны отдельных лиц; надзор за водами, особенно в жарких странах; наконец, при первобытности условий, некоторые религиозные функции. Подобные должности встречаются в первобытных общинах во все времена— так, например, в древнейших германских марках и еще теперь в Индии. Они облечены, понятно, известными полномочиями и представляют зародыш государственной власти. Постепенно производительные силы растут; увеличение плотности населения создает в одних случаях общность, в других — столкновение интересов между отдельными общинами; группировка последних в более крупное целое вызывает опять-таки новое разделение труда и учреждение новых органов для охраны общих и для отражения противодействующих интересов. Эти органы, которые в качестве представителей общих интересов целой группы занимают уже по отношению к каждой отдельной общине особое, подчас даже антагонистическое положение, становятся вскоре еще более самостоятельными, отчасти благодаря наследственности общественных должностей, которая устанавливается почти сама собою в мире, где все происходит стихийно, отчасти же бла-

годаря растущей необходимости в такой власти при учащающихся конфликтах с другими группами. Вдаваться в вопрос, каким образом эта самостоятельность общественной функции по отношению к обществу превратилась со временем в господство над обществом; каким образом первоначальный слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно превращался в господина; как господин этот выступал, смотря по обстоятельствам, то в качестве восточного деспота или сатрапа, то как греческий родовой князек или как кельтский глава клана и т. д., в какой мере он при этом превращении пользовался также силой, и как, наконец, отдельные господствующие лица сплотились в господствующий класс, — в этот вопрос нам здесь не приходится вдаваться. Нам важно только установить здесь, что в основе политического господства повсюду лежало отправление общественной службы и что политическое господство сохранялось надолго лишь в том случае, когда оно эту общественную свою службу выполняло. Каждая из многочисленных восточных деспотий, последовательно расцветавших и склонявшихся к упадку в Персии и Индии, знала очень хорошо, что она прежде всего является главной предпринимательницей по орошению речных долин, без чего там было немыслимо и самое земледелие. Только просвещенные англичане сумели проглядеть это обстоятельство в Индии; они запустили оросительные каналы и шлюзы, и лишь теперь, благодаря регулярно повторяющимся голодовкам, начинают соображать, что они пренебрегли единственной деятельностью, которая могла бы сделать их господство в Индии правомерным, хотя бы в такой степени, в какой им было господство их предшественников.

Но на-ряду с этим способом образования классов наблюдается еще и другой. Естественное разделение труда внутри земледельческой семьи давало на известной ступени благосостояния возможность привлечь одну или несколько посторонних рабочих сил. Это особенно имело место в таких странах, где старое общинное владение землей уже распалось или, по крайней мере, где прежняя совместная обработка уступила место индивидуальной обработке земельных наделов соответствующими семьями. Производство развилось уже настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести теперь больше, чем требовалось для простого существования ее; средства для содержания большего количества рабочих сил имелись налицо, имелись также средства для приложения этих сил. Таким образом рабочая сила получила ценность. Но собственная община и союз, к которому она принадлежала, еще не выделяли из своей среды свободных, излишних рабочих сил. Зато их доставляла война, а война была явлением столь же старым, как одновременное существование по соседству нескольких общественных групп. До тех пор не знали, что делать с военнопленными, и потому их умерщвляли, а еще раньше их просто съедали. Но на достигнутой теперь

ступени «хозяйственного положения» они получили известную ценность; их начали поэтому оставлять в живых и стали пользоваться их трудом. Таким образом насилие, вместо того, чтобы господствовать над хозяйственным положением, было вынуждено, наоборот, пойти на службу к хозяйственным целям: было изобретено рабство. Оно сделалось скоро господствующей формой производства у всех народов, развившихся дальше старой общины, но, в конце концов, оно стало одной из главных причин их упадка. Только рабство сделало возможным разделение труда в более или менее крупном масштабе между земледелием и промышленностью и таким путем сделало возможным цвет древнего мира, греческую культуру. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки: без рабства не было бы и Римской империи, а без фундамента греческой культуры и Римской империи не было бы и современной Европы. Мы никогда не должны забывать, что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имело своим предварительным условием такой строй, в котором рабство было столь же необходимым, сколько общепризнанным элементом. В этом смысле мы вправе сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма.

Очень легко разражаться общими фразами и высоконравственным гневом по поводу рабства и тому подобных позорных явлений. К сожалению, этим негодованием выражается лишь то, что известно всякому, а именно, — что эти античные учреждения не отвечают больше нашим современным условиям и нашим чувствам, определяемым этими условиями. Но такое отношение не дает еще никакого материала для уяснения того, как возникли эти порядки, почему они существовали и какую роль они сыграли в истории. И если уж касаться этого вопроса, то мы должны сказать, — как бы противоречиво и еретично это ни звучало, — что введение рабства при тогдашних условиях было крупным прогрессом. Ведь все-таки факт таков, что человечество начало свое развитие с состояния животного, а потому ему требовались и варварские, почти зверские средства, чтобы подняться из варварского состояния. Старые общины, там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий опору грубейшей государственной формы, восточной деспотии, от Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами вперед по пути развития, и ближайший экономический прогресс их состоял в увеличении и развитии производства посредством рабского труда. Ясно одно: пока человеческий труд был еще так мало производителен, что давал лишь ничтожный излишек над необходимыми средствами существования, до тех пор подъем производительных сил, расширение обмена, развитие государства и права, создание искусств и наук — все это было возможно лишь при помощи усиленного разделения труда, имевшего своим базисом основное разделение

труда между массой, на которую возлагается простая ручная работа, и немногими привилегированными лицами, которые руководят работами, занимаются торговлей, государственными делами, а позднее также наукой и искусством. Наиболее простой, естественно сложившейся формой этого разделения труда именно и было рабство. При исторических условиях древнего, в частности — греческого мира, переход к основанному на классовых противоречиях обществу мог совершиться только в форме рабства. Даже для самих рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых вербовалась масса рабов, оставлялись теперь, по крайней мере, в живых вместо того, чтобы, как прежде, подвергаться умерщвлению или, еще раньше, быть изжаренными.

Заметим кстати, что все существовавшие до сих пор исторические противоположности между эксплоатирующими и эксплоатируемыми, господствующими и угнетаемыми классами, находят свое объяснение в той же относительно неразвитой производительности человеческого труда. Пока действительно трудящееся население настолько поглощено своим необходимым трудом, что у него не остается времени для общественных дел — для руководства работами, для государственных дел, отправления правосудия, занятия искусствами и науками и проч., — до тех пор всегда должен был существовать особый класс, который, будучи свободен от действительного труда, заботился бы обо всех этих предметах, при чем он никогда не упускал случая наваливать на трудящиеся массы в своих интересах все бóльшую работу. Только достигнутый крупной промышленностью громадный рост производительных сил позволяет распределить труд между всеми без исключения членами общества и таким путем ограничить рабочее время каждого, так чтобы для всех оставалось достаточно досуга для участия в делах, касающихся всего общества, как теоретических, так и практических. Следовательно, лишь теперь всякий господствующий и эксплоатирующий класс стал не только чем-то излишним, но и прямой помехой для общественного развития; только теперь он будет неумолимо устранен, сколько бы он ни имел в своем распоряжении «непосредственной силы».

Если, следовательно, г. Дюринг задирает нос перед греческим миром на том основании, что тот был основан на рабстве, то с таким же правом он может поставить в упрек грекам, что они не имели паровых машин и электрических телеграфов. И если он утверждает, что наше современное наемное рабство представляет лишь несколько видоизмененное и смягченное наследие прежнего рабства и не может быть объяснено из себя самого (т.-е. из экономических законов современного общества), то это утверждение либо означает, что наемный труд, как и рабство, представляет форму подчиненного положения и классового господства — обстоятельство, известное каждому ребенку, либо же оно ложно, ибо с таким же правом можно было бы сказать,

что наемный труд является только смягченной формой людоедства, которое, как в настоящее время положительно установлено, было везде первоначальным способом использования побежденных врагов.

Отсюда ясно, какую роль играет в истории насилие по отношению к экономическому развитию. Во-первых, всякая политическая сила основывается первоначально на какой-нибудь экономической общественной функции и растет по мере того, как члены общества превращаются, вследствие разложения первоначальных общин, в частных производителей и становятся, благодаря этому, еще более отчужденными от лиц, выполняющих функции, касающиеся всего общества. Во-вторых, после того, как политическая сила стала самостоятельной по отношению к обществу и из слуги его стала госпожей, она может работать в двояком направлении. Либо она действует в духе и направлении закономерного экономического развития; тогда между этими двумя факторами не происходит никакого конфликта, и самое экономическое развитие идет ускоренным темпом. Либо же она действует наперекор этому развитию, и тогда она, за немногими исключениями, терпит обыкновенно поражение пред экономическим развитием. Этими немногими исключениями являются те единичные случаи завоеваний, когда более грубые завоеватели истребляли или прогоняли туземное население известной страны и уничтожали его производительные силы или давали им заглохнуть, не умея их использовать. Так поступили, между прочим, христиане мавританской Испании с большей частью оросительных сооружений, на которых покоилось высоко развитое хлебопашество и садоводство мавров. Каждое завоевание более грубым народом прерывает, разумеется, экономическое развитие и уничтожает многочисленные производительные силы. Но при длительном завоевании менее культурный завоеватель вынужден в громадном большинстве случаев приспособиться к высшему «хозяйственному положению» завоеванной страны в том виде, каким оно оказывается после завоевания; он ассимилируется завоеванными туземцами и большей частью усваивает даже их язык. Если мы оставим, однако, в стороне случаи завоевания, то всюду, где внутренняя государственная власть какой-либо страны вступала в антагонизм с ее экономическим развитием, как это на известной ступени развития бывало до сих пор почти со всякой политической властью, — там борьба всякий раз оканчивалась низвержением политической власти. Всегда, без исключения, экономическое развитие беспощадно пролагало себе путь; последний, наиболее разительный в этом отношении пример представляет собой, как мы уже видели, Великая французская революция. Если бы экономическое положение, а вместе с ним и экономический строй какой-либо страны зависели, согласно учению г. Дюринга, от политической силы, то нельзя понять, почему Фридриху Вильгельму IV не удалось после 1848 года,

несмотря на все его «доблестное войско», привить средневековое цеховое устройство и прочие романтические причуды железнодорожному делу, паровым машинам и начавшей как раз в это время развиваться крупной промышленности своей страны; или почему русский царь, пользующийся еще гораздо большей политической властью, не только не в состоянии платить своих долгов, но не может даже сохранить свою власть иначе, как беспрерывно прибегая к новым займам у «экономического положения» Западной Европы.

Для г. Дюринга насилие представляет собой абсолютно злое начало; первый акт насилия является в его глазах грехопадением, и все его изложение представляет скорбную проповедь на тему о происшедшем отсюда заражении всей прежней истории первородным грехом, о постыдной фальсификации всех естественных и социальных законов из-за этого дьявольского исчадия— насилия. Что насилие играет еще и другую роль, роль революционную, что оно, по выражению Маркса, облегчает муки родов всякого старого общества, чреватого новым, что она есть-то орудие, при помощи которого общественное движение пробивает себе путь и разбивает застывшие, омертвевшие политические формы, — об этом мы не находим у г. Дюринга ни слова. Лишь со вздохом и стоном он допускает возможность, что для низвержения эксплоататорского хозяйства потребуется, может быть, применение насилия, — к сожалению, потребуется, ибо всякое применение насилия деморализует, мол, того, кто его применяет. И все это говорится, несмотря на высокий нравственный и умственный подъем, который бывал до сих пор результатом всякой победоносной революции. Говорится притом в Германии, где насильственное столкновение, которое может быть, конечно, навязано народу, имело бы, по крайней мере, ту хорошую сторону, что вытравило бы из национального сознания дух лакейства, проникший в него в результате унижений тридцатилетней войны. И это тусклое, лишенное всякой жизненной энергии, пасторское направление мысли имеет претензию навязать себя самой революционной партии, какую только знает история!

(Энгельс. «Анти-Дюринг».)

§ 2. РОЛЬ НАСИЛИЯ В РАЗРЕШЕНИИ КОРЕННОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ.

Г. Прудон неизбежно должен был оказаться доктринером. Историческое движение, потрясающее современный мир, разрешается для него в задачу открыть истинное равновесие, синтез двух буржуазных мыслей. Таким образом путем лукавых мудрствований ловкий малый открывает сокровенную мысль бога, единство двух изолированных мыслей, потому лишь и являющихся изолированными, что г. Прудон изолировал их, отделив от практической жизни, от современного производства, представляющего

сочетание выражаемых ими реальностей. На место великого исторического движения, рождающегося из столкновения между уже достигнутыми производительными силами людей и общественными их отношениями, которые уже не соответствуют этим производительным силам; на место страшных войн, которые готовятся между различными классами одной нации и между различными нациями; на место практической деятельности масс; на место насилия, которое одно лишь сможет разрешить эти столкновения, — на место этого обширного, длительного и сложного движения г. Прудон ставит причудливое движение своей головы. Таким образом, оказывается, историю творят ученые, люди, способные вырвать у бога его интимную мысль. А меньшей братии остается лишь применять их откровения. Вы понимаете теперь, почему г. Прудон является таким заклятым врагом всякого политического движения. Решение задач современности заключается для него не в общественной деятельности, а в диалектических коловращениях внутри его головы. Так как движущими силами для него являются категории, то не следует изменять практической жизни, чтобы изменить категории. Совсем наоборот. Стоит лишь изменить категории, и изменение реального общества произойдет само собою, как следствие этого.

В своем желании примирить противоречия г. Прудон даже не ставит себе вопроса о том, не следует ли разрушить самое основание этих противоречий. Он во всем походит на политического доктринера, который хочет представить и короля, и палату депутатов, и палату перов, как интегральные части общественной жизни, как вечные категории. Он ищет лишь новую формулу для уравновешения этих властей, которых равновесие как раз и состоит в современном движении, при чем одна из этих властей является то победительницей другой, то ее рабой. Точно так же и в XVIII веке масса посредственностей ломала себе голову над изысканием истинной формулы для уравновешения общественных сословий дворянства, короля, парламентов и т. д., а на следующий день не оказалось ни короля, ни парламента, ни дворянства. Истинным равновесием среди всех этих антагонизмов и было ниспровержение всех общественных отношений, служивших основой для этих феодальных учреждений и для антагонизма между ними.

Но все они[1]) пользуются государственной властью, т.-е. концентрированным и организованным общественным насилием, чтобы облегчить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический и сократить его переходные стадии. Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая потенция.

(Маркс. «Письмо к Анненкову».)

---

[1]) Методы первоначального накопления. (*Я. Р.*)

§ 3. ОБ ОДНОЙ ПОПЫТКЕ (КАУТСКОГО) ЛИШИТЬ НАСИЛИЕ РОЛИ ПОВИВАЛЬНОЙ БАБКИ ПРИ РОЖДЕНИИ НОВОГО ОБЩЕСТВА.

Не совсем так отнесся он[1]) к вопросу о завоевании пролетариатом политической власти.

Решение, принятое им на этот счет, предложено было Каутским и гласит так:

«В современном демократическом государстве завоевание политической власти пролетариатом не может быть достигнуто просто путем какого-нибудь насильственного действия (eines blossen Handstreichs), но может явиться лишь результатом длинной и трудной работы в области политической и экономической организации пролетариата, а также результатом его физического и нравственного возрождения и постепенного проникновения избранных им представителей в муниципальные советы и законодательные собрания.

Но где правительственная власть централизована, там ее завоевание не может совершиться по частям. Вступление отдельного социалиста в буржуазное министерство не может считаться нормальным началом завоевания политической власти и должно быть рассматриваемо как временный и исключительный прием в борьбе с трудными обстоятельствами.

Находятся ли налицо в отдельном случае эти трудные обстоятельства, — это вопрос тактики, а не принципа. Он не подлежит рассмотрению конгресса. Однако, во всяком случае, этот опасный опыт может быть полезен лишь тогда, когда его одобряет значительное большинство организованной социалистической партии, и когда социалистический министр является и остается уполномоченным этой партии.

Где социалистический министр действует независимо от своей партии, где он перестает быть ее уполномоченным, там его вступление в министерство превращается из средства, способствующего усилению пролетариата, в средство, содействующее его ослаблению, и из средства, способствующего завоеванию политической власти, в средство, препятствующее этому завоеванию».

В этом решении прежде всего поражает его первая часть, указывающая на то, что завоевание политической власти не может быть простым делом какого-нибудь акта насилия, а предполагает длинную и трудную подготовительную работу. Мысль, выраженная здесь, совершенно справедлива. Но зачем понадобилось конгрессу высказывать эту мысль? Разве на конгрессе были люди, отрицавшие ее справедливость? Нет, таких людей на конгрессе не было. Или, может быть, в социалисти-

---

[1]) Речь идет о Парижском междун. социалистическом конгрессе, заседавшем в 1901 г.

ческой литературе цивилизованных стран стали выступать «критики», доказывающие, что для завоевания политической власти пролетариатом достаточно одного удалого «coup de main»? Нет, о таких критиках тоже ничего не было слышно, а было, наоборот, очень много слышно о критиках, оспаривавших правильность того неоспоримого положения Маркса, что сила всегда была повивальной бабкой старого общества, беременного новым [1]). Марксист, взявшийся выработать проект решения, должен был прежде всего выразить свое отрицательное отношение к этим критикам и только уже после этого перейти к указанию тех,— лишь постепенно возникающих,— экономических, социальных и политических условий, при которых сила рабочего класса может сыграть свою роль повивальной бабки в капиталистическом обществе. Ему надо было держаться наступательного образа действий. Каутский поступил не так. Он вспомнил, что «критики» упрекают нас в «бланкизме», и, желая оборониться от критиков, он пригласил конгресс высказаться против людей, думающих, что одного акта насилия достаточно для завоевания пролетариатом политической власти.

Такая тактика была и неуместна и недостаточна. Неуместна потому, что предлагаемое Каутским решение могло быть — и отчасти в самом деле было — истолковано как камень, брошенный им в огород французских бланкистов, нападать на которых было по меньшей мере не нужно. А недостаточна эта тактика была потому, что вносила слишком много мягкости в отношение к «критикам», против которых следовало высказаться решительно и резко [2]).

Когда я прочитал разбираемую здесь часть решения, я заметил Каутскому, что точка зрения эволюции нимало не исключает взгляда на насилие, как на один из факторов завоевания пролетариатом политической власти. Он ответил мне указанием на слова: «Завоевание политической власти не может быть достигнуто просто путем какого-нибудь насильственного действия (в немецком проекте решения: eines blossen Handstreichs). Он был прав: сказать, что для данной цели недостаточно действия одного фактора, не значит отрицать возможность или уместность действия. Но, как говорят французы, музыку делает тон. А мне казалось, что «тон» предложенного Каутским проекта

---

[1]) Как видно из писем Энгельса к Лафаргу, недавно обнародованных в Парижском «Socialiste», неизменный друг и верный единомышленник Маркса до самой смерти своей не сомневался в правильности этого положения. Замечу мимоходом, что эти письма вполне подтверждают верность моего «истолкования знаменитого предисловия Энгельса к книге Маркса: «Die klassenkämpfe in Frankreich» (см. мое предисловие к женевскому изданию «Коммунистического Манифеста».)

[2]) Притом же Каутский забыл прибавить, что «современное демократическое государство», которое он имел в виду, существует не во всех странах Западной Европы — обстоятельство, не могущее остаться без сильнейшего влияния на тактику социалистов.

способен был вызвать много недоразумений. Опыт показал, к моему крайнему сожалению, что я был прав.

В французском переводе этого проекта вместо слов: не может быть достигнуто «просто путем какого-нибудь насильственного действия» оказались слова: «не может быть достигнуто путем какого-нибудь насильственного действия», и благодаря этому устранению одного, очень «простого» словечка, акушерская роль силы была объявлена совершенно излишней в применении к «современному демократическому обществу». Я не знаю, по чьей вине (или по чьей инициативе) произошло это искажение немецкого подлинника, но что оно было как нельзя более на руку сторонникам «нового метода», в этом мы убедились менее, чем через две недели после конгресса.

(Плеханов. «Несколько слов о последнем Парижском международном социалистическом конгрессе». Сочинения. Гиз 1924 г. Т. XII, стр. 108—111.)

§ 4. О «ВНЕЭКОНОМИЧЕСКОМ» НАСИЛИИ.

Организация развитого капиталистического производственного процесса сламывает всякое сопротивление; постоянное создание относительного перенаселения удерживает закон спроса на труд и предложение труда, а следовательно, и заработную плату в границах, соответствующих потребности капитала в самовозрастании; слепой гнет экономических отношений укрепляет господство капиталистов над рабочими. Внеэкономическое непосредственное насилие, правда, еще продолжает применяться, но лишь в виде исключения. При обычном ходе дел рабочего можно предоставить власти «естественных законов производства», т.-е. зависимости от капитала, которая создается самими условиями производства, ими гарантируется и увековечивается. Иное видим мы в ту историческую эпоху, когда капиталистическое производство только еще возникало. Нарождающейся буржуазии нужна государственная власть, и она действительно применяет государственную власть, чтобы «регулировать заработную плату», т.-е. принудительно удерживать ее в границах, благоприятствующих выколачиванию прибавочной стоимости, чтобы удлинять рабочий день и таким образом удерживать самого рабочего в нормальной зависимости от капитала. В этом существенный момент так называемого первоначального накопления.

(Маркс. «Капитал». Гиз 1923 г. Т. I, стр. 730.)

§ 5. ФЕТИШИЗМ ПРАВОВОЙ ПОЧВЫ И ДИАЛЕКТИКА РЕВОЛЮЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ.

В глазах короны мартовская революция была грубым, насильственным фактом. Один насильственный акт может быть уничтожен только другим таким же актом. Кассировав новые выборы,

произведенные на основе апрельского закона 1848 г., правительство отвергло свою ответственность, кассировало тот самый суд, перед которым оно было ответственно. Таким образом апелляция от Национального Собрания к народу с самого начала превратилась в пустой призрак, в фикцию, в обман. Изобретя первую палату, построенную на цензе, в качестве составной части законодательного собрания, министерство разорвало органические законы, покинуло почву права, фальсифицировало народные выборы, отняло у народа всякую возможность вынести свой приговор о «спасительном акте» короны.

Итак, милостивые государи, невозможно отрицать факты, и ни один будущий историк не станет их отрицать: корона совершила революцию, она ниспровергла существовавший правовой порядок, — она не может апеллировать к законам, которые сама она так постыдно уничтожила. Если успешно совершают революцию, можно перевешать своих противников, — но нельзя предавать их суду. Их можно устранить с своего пути, как побежденных врагов, но нельзя судить их, как преступников. Совершив революцию или контр-революцию, нельзя применять ниспровергнутые законы против защитников этих самых законов. Перед нами трусливое лицемерие законности, которого вы, милостивые государи, не санкционируете своим приговором.

Я сказал вам, милостивые государи, что правительство фальсифицировало приговор народа над «спасительным актом короны». И, однако, народ уже высказался против короны, за Национальное Собрание. Выборы во вторую палату — единственно законные, потому что только они и происходили на основании закона 8 апреля 1848 года. И почти все, принявшие постановление об отказе в налогах, переизбраны во вторую палату, многие по два, по три раза, и даже мой сопроцессник, Шнейдер 2-й, — депутат от Кельна. Следовательно, народ фактически уже решил вопрос о праве Национального Собрания принимать постановление об отказе в налогах. Но оставим в стороне этот высший приговор. Все вы, милостивые государи, согласитесь со мною, что здесь нет преступления в обычном смысле слова, что перед вашим форумом в данном случае вообще не какой-либо конфликт с законом. При обычных условиях общественная власть—исполнительница существующих законов. Преступник— тот, кто нарушает эти законы или силой противодействует общественной власти в их проведении. В нашем случае закон нарушен общественной властью; об этом заявила другая общественная власть, — безразлично какая. Борьба между двумя государственными властями не укладывается в рамки ни гражданского права, ни уголовного права.

Вопрос, кто был прав: корона или Национальное Собрание, это — исторический вопрос. Его не могли бы решить все жюри, все суды Пруссии, взятые вместе. Существует только одна сила,

которая решит его: это—история. Поэтому я совершенно не понимаю, как могли на основании Code pénal (уголовного уложения) посадить нас на скамью подсудимых.

Что здесь идет борьба между двумя властями, и решить исход борьбы двух властей может только сила, — об этом, милостивые государи, в равной мере заявляла и революционная и контр-революционная пресса. Даже один правительственный орган возвестил об этом незадолго до исхода борьбы. Это превосходно видела «Новая Прусская Газета» («Neue Preussische Zeitung»), орган теперешнего министерства. За несколько дней до кризиса она говорила приблизительно так: дело теперь уже не в праве, а в силе, и мы увидим, что у старой королевской власти милостию божией еще есть сила. «Новая Прусская Газета» правильно поняла положение. Сила против силы. Победа должна была решить спор между ними. Контр-революция победила, — но закончен только первый акт драмы. В Англии борьба продолжалась более 20 лет. Карл I несколько раз был победителем, но, в конце концов, он взошел на эшафот. И кто поручится вам, милостивые государи, за то, что теперешние министры и эти чиновники... не будут осуждены, как государственные изменники теперешней палатой или ее преемницами?

Милостивые государи, министерство старалось обосновать свое обвинение законами 6-го и 8-го апреля. Я вынужден был показать вам, что как раз эти законы оправдывают нас. Но я не стану скрывать от вас, что я никогда не признавал этих законов, никогда не признаю их. Они никогда не имели силы для депутатов, вышедших из народных выборов; и еще того менее могли бы они предписывать путь для мартовской революции.

Как возникли законы 6-го и 8-го апреля? Посредством соглашения правительства с соединенным ландтагом. Таким способом хотели установить преемственную связь с прежним законным порядком и затушевать революцию, которая устранила как раз этот порядок. Такие люди, как Кампгаузен и т. п., считали важным спасти видимость законного прогресса. А как спасали они эту видимость? Путем ряда очевидных и пошлых противоречий. Станем, милостивые государи, на одну минуту на точку зрения этой прежней законности! Самое существование министра Кампгаузена, ответственного министра, министра без чиновничьей карьеры, — разве это не было незаконностью? Положение Кампгаузена, ответственного министра-президента, было незаконное положение. Этот законно не существующий чиновник созывает соединенный ландтаг, чтобы тот принял законы, на проведение которых этот самый ландтаг законно не был уполномочен. И эту-то игру в формулы, которые уничтожают сами себя и самим себе бьют в лицо, называли законным прогрессом, утверждением правовой почвы.

Но не будем останавливаться на формальной стороне дела, милостивые государи! Что такое был соединенный ландтаг? Пред-

ставитель старых изжитых общественных отношений. Революция как раз и была вызвана этими отношениями. И представителям побежденного общества предлагают законы, которые должны признать, урегулировать, организовать революцию, направленную против этого старого общества. Какое нелепое противоречие! Ландтаг был ниспровергнут вместе со старою королевскою властью. Пользуясь этим случаем, приглядимся поближе, милостивые государи, что такое представляет так называемая правовая почва. Я тем более вынужден остановиться на этом пункте, что мы по справедливости считаемся врагами правовой почвы, и что законы 6-го и 8-го апреля обязаны своим существованием чисто формальному признанию правовой почвы. Ландтаг был прежде всего представителем крупного землевладения. Крупное же землевладение было реальным фундаментом средневекового, феодального общества.

Напротив, современное буржуазное общество, наше общество, основывается на промышленности и торговле. Самое землевладение утратило все прежние условия своего существования, оно сделалось зависимым от торговли и промышленности. Поэтому земледелие в настоящее время ведется промышленным способом, и прежние феодальные сеньоры опустились до положения фабрикантов скота, шерсти, зерна, свекловичных бураков, водки и т. д., до положения людей, которые ведут торговлю этими промышленными продуктами, как всякий другой торговец! Как бы ни цеплялись они за свои старые предрассудки, на практике они превращаются в буржуа, которые производят возможно много с наивозможно малыми издержками, закупают, где можно купить всего дешевле, и продают, где удается продать дороже всего. Следовательно, уже характер существования, способ производства и доходы этих господ изобличают всю ложь их традиционных высокомерных фантазий. Землевладение в качестве господствующего общественного элемента предполагает средневековый способ производства и сношений. Соединенный ландтаг был представителем этого средневекового способа производства и обращения, который давно перестал существовать, и представители которого, как бы ни цеплялись они за старые привилегии, столь же хорошо умеют использовать и эксплоатировать выгоды нового общества. Новое буржуазное общество, построенное на совершенно иных основах, на изменившемся способе производства, должно захватить и политическую власть; оно должно вырвать ее из рук, защищающих интересы разрушившегося общества: политическую власть, вся организация которой вытекала из совершенно иных материальных общественных отношений. Отсюда революция. Поэтому революция точно так же была направлена против абсолютной королевской власти, высшего политического выражения старого общества, как и против сословного представительства, которое было представительством обществен-

ного строя, давным-давно уничтоженного современной промышленностью, или, самое большее, представительством надменных обломков разложившихся сословий, каждый день все больше опережаемых буржуазным обществом и оттесняемых на задний план. Каким же образом напали на мысль заставить соединенный ландтаг, представителя старого общества, диктовать законы новому обществу, домогающемуся своего права посредством революции?

На словах — для того, чтобы утвердить правовую почву. Но, милостивые государи, что же понимаете вы под утверждением правовой почвы?

Утверждение законов, которые относятся к прошлой эпохе общества, которые созданы представителями погибших или погибающих общественных интересов, и, следовательно, превращают в закон только эти интересы, стоящие в противоречии с общими потребностями.

Но общество основывается не на законе. Это — фантазия юристов. Напротив, закон должен основываться на обществе, он, в противовес произволу отдельного индивидуума, должен быть выражением его общих интересов и потребностей, проистекающих из данного способа материального производства. Не Code Napoléon (Кодекс Наполеона), который я сейчас держу в руках, породил современное буржуазное общество. Напротив, возникшее в XVIII веке, в XIX веке дальше развившееся буржуазное общество в этом кодексе лишь находит для себя юридическое выражение. Когда он уже не будет соответствовать общественным отношениям, он превратится в простую груду бумаги. Вы не можете сделать старые законы основой нового общественного развития точно так же, как и прежние состояния общества созданы не этими старыми законами. Они возникли из этих прежних состояний, — и вместе с ними они должны погибнуть. Они необходимо изменяются вместе с изменяющимися жизненными отношениями. Утверждение старых законов вопреки новым потребностям и запросам общественного развития по существу есть не что иное, как ханжеская защита особых интересов, для которых отошло время, против современного общего интереса.

Это утверждение правовой почвы стремится сделать такие особые интересы господствующими, в то время как они уже не господствуют; оно стремится навязать обществу законы, которые осуждены жизненными отношениями этого общества, его способом существования, его обменом, его материальным производством; оно стремится удержать в должностях законодателей, которые преследуют лишь сепаратные интересы, оно стремится злоупотребить государственной властью, чтобы интересы большинства подчинить интересам меньшинства. Следовательно, во всякий момент оно впадает в противоречие с существующими потребностями, оно тормозит обмен, промышленность, оно подготовляет общественные кризисы, которые

прорываются в политических революциях. Вот в чем истинный смысл привязанности к правовой почве и утверждения правовой почвы. И вот на эту-то пустую фразу о правовой почве, построенную на сознательном обмане или бессознательном самообмане, опирались при созыве соединенного ландтага и заставляли этот ландтаг фабриковать законы для Национального Собрания, которое сделалось необходимым благодаря революции и было порождено революцией. И по этим законам хотели судить Национальное Собрание.

Национальное Собрание представляло современное буржуазное общество в противоположность феодальному обществу, представленному соединенным ландтагом. Оно было избрано народом для того, чтобы самостоятельно установить конституцию, которая соответствовала бы жизненным отношениям, вступившим в конфликт с существовавшей до того времени политической организацией и существовавшими до того времени законами. Поэтому оно с самого начала было суверенным, учредительным собранием. Если же оно опустилось как бы до точки зрения соглашения, то это была чисто формальная любезность по отношению к короне, чистая церемония. Мне нет необходимости останавливаться здесь на том, дал ли народ Собранию право становиться на точку зрения соглашательства. По его мнению, коллизию с короной могла бы предотвратить добрая воля обеих сторон. Но одно несомненно: законы 6-го и 8-го апреля, относительно которых пришли к соглашению с соединенным ландтагом, формально были недействительны. В материальном же отношении они имели значение лишь постольку, поскольку обрисовали и установили условия, при которых Национальное Собрание становилось действительным выражением народного суверенитета. Законодательство соединенного ландтага было только формой, которая избавила корону от унижения возвестить: меня победили!

(Маркс. «Речь перед судом присяжных в Кельне». «Исторические работы», стр. 355—360.)

§ 6. ИСКЛЮЧАЕТ ЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ НЕОБХОДИМОСТЬ НАСИЛИЯ?

Минье говорил, что только силою можно добиться признания своих прав, и что до сих пор нет другого верховного владыки, кроме силы. Это было как нельзя более справедливо в наше время борьбы пролетариата с буржуазией. Если бы мы вздумали уверять рабочих, что в буржуазном обществе сила уже не имеет того значения, какое она имела при старом «порядке», то мы сказали бы им явную и вопиющую неправду, которая, как и всякая неправда, только удлинила бы и увеличила бы «мучения родов».

Правда, сила и насилие совсем не одно и то же. В международных политических отношениях значение каждого государ-

ства определяется его силой, но из этого вовсе не следует, что признание прав сильного в каждом отдельном случае предполагает насильственные действия. То же и в междуклассовых отношениях. Значение каждого данного класса всегда определяется его с и л о й, но для признания его значения далеко не всегда нужно н а с и л и е. Роль насилия иногда суживается, иногда расширяется в зависимости от политического устройства данной страны. Г. Бернштейн думает, что в современных демократических странах рабочий класс для достижения своих целей не имеет надобности в насилии. Это слишком оптимистический взгляд, внушенный нашему «критику» его постоянной заботой о том, чтобы не испугать буржуазных демократов. Современная Франция обладает демократической конституцией, и, однако, никто из людей, знакомых с внутренней жизнью этой страны, не поручится за то, что ее пролетариат не будет вынужден сопротивляться открытой силой насилию, испытываемому им со стороны буржуазии. Более того. Всякий, знакомый с конституцией Франции, скажет, что в этой стране к восстанию пролетариата легко может привести сама логика избирательного права [1]). Или возьмите хоть Соединенные Штаты Северной Америки. Это — тоже демократическая страна. Но в этой демократической стране освобождение негров могло быть куплено лишь ценою междоусобия, и нельзя поручиться за то, что американскому пролетариату не придется н а с и л и е м расчищать себе путь к своему экономическому освобождению. По мнению г. Бернштейна, «вся практическая деятельность социал-демократии сводится к тому, чтобы создать такие обстоятельства и условия, которые сделали бы возможным и необходимым переход современного общественного строя в высший без конвульсивных потрясений» [2]). В этих его словах есть доля истины. Социал-демократия действительно заинтересована в том, чтобы переход в высший общественный порядок совершился без потрясений. Но значит ли это, что она должна отказаться от диктатуры пролетариата? Совсем нет. Идя в Пекин, союзные европейско-американско-японские войска были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы занятие китайской столицы совершилось без пролития крови, но, тем не менее, они ни на минуту не покидали мысль об ее занятии. Никакая цель не может измениться от того, что люди стремятся достигнуть ее с наименьшими усилиями. Но когда люди твердо решили во что бы то ни стало достигнуть данной цели, выбор средств зависит уже не от них самих, а от обстоятельств. И именно поэтому, что социал-демократия не в состоянии предвидеть все те обстоятельства, при которых рабочему классу придется завоевывать свое г о с п о д с т в о [3]),

[1]) Ср. I. I a u r è s. «Le socialisme français» в «Cosmopolis». Janvier, 1889, p. p. 119—121.

[2]) Там же, стр. 158.

[3]) Мы уже сказали раньше, зачем нужно пролетариату такое господство.

она не может принципиально отказываться от насильственного способа действий. Она должна помнить старое, испытанное правило: если хочешь мира, готовься к войне.

(Плеханов. «Предисловие к «Коммунистическому Манифесту». Сочинения. Гиз 1925 г. Т. XI, стр. 319—321.)

* *

Чтобы не «угрожать» буржуазии «ужасами насильственной революции», г. Бернштейн восстал против диалектики и ополчился против им же самим сфабрикованной «Zusammenbruchstheorie». В то же самое время и все с тою же целью он выступил Пиндаром демократии. «Демократия,—говорит он,—является в принципе уничтожением классового господства, если не фактическим уничтожением самих классов» (стр. 225). Мы прекрасно понимаем все преимущества демократии и все те выгоды, которые она дает рабочему классу. Но мы не хотим искажать истину даже ради демократии, точно так же, как мы не станем ломать стулья даже ради Александра Македонского. Что демократия уничтожает классовое господство, это есть не более, как выдумка г. Бернштейна. Она оставляет его существовать в той области, к какой собственно и относится понятие о классе, т.-е. к области экономической. Она уничтожает только политические привилегии высших классов. А именно потому, что она не уничтожает экономического господства одного класса над другим, — буржуазии над пролетариатом, — она не устраняет также ни взаимной борьбы пролетариата с буржуазией, ни необходимости для пролетариата бороться всеми теми средствами, какие только могут в данное время оказаться целесообразными. Рассуждая «по человечеству», всякий неповрежденный человек согласится с тем, что «ужасы насильственной революции», взятые сами по себе, ничего желательного в себе не заключают. Но всякий, не ослепленный антиреволюционными тенденциями человек, должен также признать, что демократическая конституция совсем не обеспечивает от такого обострения классовой борьбы, которое может сделать неизбежными революционный взрыв и революционную диктатуру. И напрасно г. Бернштейн пугает революционеров тем соображением, что классовая диктатура явилась бы признаком более низкой культуры. Великий общественный вопрос нашего времени, вопрос об уничтожении экономической эксплоатации человека человеком, может быть решен, — как решались великие общественные вопросы прежнего времени,— только силой. Правда, сила еще не значит насилие: насилие есть лишь одна из форм проявления силы. Но выбор той формы, в которой пролетариату придется проявлять свою революционную силу, зависит не от его

доброй воли, а от обстоятельств. Та форма лучше, которая вернее и скорее ведет к победе над неприятелем. И если бы «насильственная революция» оказалась в данной стране и при данных обстоятельствах наиболее целесообразным способом действий, то жалким доктринером, — если не изменником, — оказался бы тот, кто выставил бы против нее принципиальные соображения вроде тех, которые мы встречаем у Бернштейна: «низкая культура», «политический атавизм» и т. п. Рукопашная борьба является, если хотите, зоологическим «атавизмом» всюду, где она ни происходит: ведь два борющихся человека напоминают собою двух борющихся зверей. Но кто, кроме «толстовцев», принципиально осудить всякое сопротивление злу посредством рукопашного боя? И разве хоть один серьезный человек может взять всерьез те доводы, с помощью которых «толстовцы» принципиально осуждают насилие? Для всякого мыслящего человека очевидно, что эти доводы представляют собою неумышленную карикатуру на мышление по любезной г. Бернштейну формуле: «да — да и нет — нет», совершенно тождественной, как мы уже знаем, с гегелевским «отвлеченным» или — или (насилие есть или зло или добро). «Ужасы насильственной революции» всегда более или менее «ужасны». Это так. Этого никто не оспаривает, но г. Бернштейн избрал очень плохой путь для их избежания: ему следовало бы обратиться к буржуазии и показать тем ее элементам, которые еще не погрязли в классовом эгоизме, что стараться замедлять современное социалистическое движение значит совершать самый тяжкий грех против гуманности и культуры. В той мере, в какой его проповедь выходила бы удачной, она ослабляла бы сопротивление, оказываемое буржуазией движению пролетариата, и тем ослабляла бы возможность «ужасов насильственной революции». Г. Бернштейн предпочел действовать иначе. Он стал затемнять классовое сознание рабочих, выступив с проповедью марксизма, «пересмотренного» им со специальной целью успокоения буржуазии. Этот прием оказался удачным в том смысле, что значительная часть образованной буржуазии хорошо поняла, до какой степени выгодно для нее распространение «марксизма», «пересмотренного» г. Бернштейном, на счет старого, революционного учения Маркса. Эта часть буржуазии приветствовала г. Бернштейна, как своего рода мессию. Но для социализма он умер и, конечно, никогда уже не воскреснет, как бы громко ни кричал он о том, что социалисты его не поняли и что, в сущности, он мало изменился сравнительно с тем, чем был. Вот оно, усердие не по разуму!

(Плеханов. «Cant против Канта». Сочинения. Гиз 1925 г. Т. XI, стр. 55—57.)

XI. ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА.

§ 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА.

Февральская республика действительно не была и не могла быть чем-либо иным, как только буржуазной республикой, но мы видели также, как временное правительство под непосредственным давлением пролетариата вынуждено было возвестить о ней, как о республике с социальными учреждениями, мы видели, что парижский пролетариат еще не был способен перешагнуть через буржуазную республику иначе как в идее, в мечте, и что всякий раз, когда он приступал к каким-либо действиям, они клонились к выгоде буржуазной республики; мы видели, как сделанные ему обещания превратились в невыносимую опасность для новой республики, и как весь жизненный процесс временного правительства свелся к непрерывной борьбе против требований пролетариата.

В Национальном Собрании вся Франция явилась для суда над парижским пролетариатом. Оно немедленно покончило с социальными иллюзиями февральской революции и без обиняков провозгласило буржуазную республику, ничего, кроме буржуазной республики. Немедленно исключило оно из назначенной им исполнительной комиссии представителей: Луи Блана и Альбера. Оно отвергло предложение учредить особое министерство труда и бурными криками одобрения встретило заявление министра Трела: «Все дело заключается в том, чтобы вернуть труд к старым условиям».

Но этого было мало. Февральская республика была завоевана рабочими при пассивном содействии буржуазии. Пролетарии с полным правом смотрели на себя, как на февральских победителей, и предъявляли высокомерные притязания победителя. Их необходимо победить на улице, им следует показать, что их победят, как только они станут сражаться не вместе с буржуазией, а против нее. Как февральская республика с ее социалистическими уступками потребовала битвы от пролетариата, соединившегося с буржуазией против монархии, так и вторая битва требовалась для того, чтобы отделить республику от социалистических уступок, чтобы официально обеспечить господство буржуазной республике. С оружием в руках должна была буржуазия отвергнуть требования

пролетариата. И настоящим моментом рождения буржуазной республики является не февральская победа, а июньское поражение.

Пролетариат ускорил решение, ворвавшись 15 мая в Национальное Собрание и сделав безуспешную попытку возвратить свое революционное влияние; он только отдал своих энергичных вождей в руки тюремщиков буржуазии. Il faut en finir![1]).

Подобное положение должно прекратиться. В этом возгласе выразилось решение Национального Собрания довести пролетариат до окончательной борьбы. Исполнительная комиссия издала ряд вызывающих декретов, как, например, воспрещение скопищ народа и т. д. С трибуны Учредительного Национального Собрания рабочих открыто провоцировали, бесчестили, осмеивали. Но центральным пунктом для нападения, как мы видели, послужили национальные мастерские. На них Учредительное Собрание повелительно указало исполнительной комиссии, которая только и дожидалась, чтобы ее собственный план получил форму приказа Национального Собрания.

Исполнительная комиссия начала с того, что стала затруднять поступление в национальные мастерские, заменять поденную плату сдельной и под предлогом земляных работ отправлять в провинцию тех рабочих, которые не были уроженцами Парижа. Эти земляные работы были лишь риторической фигурой, которой прикрывалось изгнание, как об этом оповестили своих товарищей разочарованные рабочие, возвращавшиеся обратно.

Наконец, 21 июня в «Moniteur'е» появился декрет, который приказывал насильственно изгнать из национальных мастерских всех неженатых рабочих или же завербовать их в армию.

Рабочим не оставалось выбора, они должны были умереть голодной смертью или вступить в бой. 22 июня они ответили грандиозным восстанием—первой битвой между двумя классами, раскалывающими современное общество. Это была борьба за сохранение или уничтожение буржуазного строя. Покрывало, скрывавшее республику, разорвалось.

Известно, как рабочие с беспримерным мужеством и гениальностью, без вождей, без общего плана, без средств, по большей части без оружия, в продолжение пяти дней боролись против армии, летучей гвардии, парижской национальной гвардии, а также против национальной гвардии, нахлынувшей из провинции. Известно, как буржуазия неслыханным зверством вознаградила себя за испытанный ею смертельный страх и перебила более 3.000 пленных.

Официальные представители французской демократии до такой степени были во власти республиканской идеологии, что они лишь несколько недель спустя стали догадываться о смысле июньской борьбы. Они были как бы ошеломлены пороховым дымом, в котором исчезла их фантастическая республика.

Читатель позволит нам изобразить словами «Новой Рейнской

[1]) Необходимо с этим покончить.

Газеты» то непосредственное впечатление, какое произвела на нас весть об июньском поражении.

«Последний официальный остаток февральской революции—исполнительная комиссия—растаяла подобно миражу перед значительностью события. Блестящие искры Ламартина превратились в бомбы Кавеньяка. Fraternité, братство противоположных классов, из которых один эксплоатирует другой, эта fraternité, возвещенная в феврале и крупными буквами написанная на челе Парижа, на каждой тюрьме, на каждой казарме, в ее истинном, неподдельном, в ее прозаическом выражении есть не что иное, как гражданская война, гражданская война в ее ужаснейшей форме, война труда и капитала. Это братство пылало перед всеми окнами Парижа вечером 25 июня, когда Париж буржуазии был иллюминован, в то самое время как Париж пролетариата сгорал, истекал кровью, исходил стонами. Братство продолжалось лишь до тех пор, пока интересы буржуазии братались с интересами пролетариата. Педанты старой революционной традиции 1793 года, социалистические систематики, которые просили у буржуазии милостыню для народа и которым разрешалось держать длинные проповеди и компрометировать себя до тех пор, пока необходимо было усыплять и убаюкивать пролетарского льва; республиканцы, желавшие сохранения всего старого буржуазного строя за вычетом коронованной головы; династическая оппозиция, которой случай подсунул вместо изменения министерства падение династии; легитимисты, которые не сбросили своей ливреи, а лишь изменили ее покрой,—вот те союзники, с которыми народ совершил свой февраль. Февральская революция была красивая революция общих симпатий, потому что противоречия, которые выразились в ней, как борьба против июльской монархии, оставались еще в неразвитом состоянии и мирно дремали одно возле другого, а социальная борьба, составлявшая их подоплеку, приобрела лишь воздушное существование, существование фразы, слова. Июньская революция, напротив,—некрасивая, отталкивающая революция, потому что на место фразы выступило дело, потому что республика обнажила главу у чудовища, сбив с него защищавшую и прикрывавшую его корону.—Порядок!—таков был лозунг Гизо. Порядок!—кричит гизотинец Себастьяни, когда Варшава сделалась русской. Порядок!—кричит Кавеньяк, грубое эхо французского национального собрания и республиканской буржуазии. Порядок!—гремела его картечь, разрывая тело пролетариата. Ни одна из многочисленных революций французской буржуазии с 1789 г. не была покушением на порядок, потому что все они оставляли неприкосновенным классовое господство, все они оставляли рабство рабочего, все они оставляли неприкосновенным буржуазный строй, как бы ни видоизменялись политические формы этого господства и этого рабства. Июнь посягнул на этот порядок. Горе июню!» («Neue Rheinische Zeitung», 29 июня 1848 года).

Горе июню! — звучит в ответ европейское эхо.

Буржуазия принудила парижский пролетариат к июньскому восстанию. Уже это было залогом его неудачи. Ни непосредственно сознанные потребности не побуждали его к борьбе с целью насильственного ниспровержения буржуазии, ни сам он не вырос достаточно для этой задачи. «Moniteur» официально разъяснил пролетариату, что прошло то время, когда республике приходилось почтительно относиться к его иллюзиям, а понесенное им поражение впервые убедило его в той истине, что даже самое ничтожное улучшение его положения в рамках буржуазной республики является утопией,—утопией, которая превращается в преступление при первой же попытке воплотиться в действительность. На место его высокопарных по форме, но мелких и все еще буржуазных по содержанию требований, к удовлетворению которых он хотел принудить февральскую республику, выступает смелый революционный боевой лозунг: Низвержение буржуазии! Диктатура рабочего класса!

Превратив свою могилу в место рождения буржуазной республики, пролетариат заставил ее в то же время выступить в ее неприкрашенном виде, в виде государства, признанной целью которого является увековечение господства капитала, рабства труда. Освобожденное от всех пут, постоянно имея перед собой покрытого рубцами, непримиримого и непобедимого врага,— непобедимого потому, что существование пролетариата является непременным условием жизни самой буржуазии,—буржуазное господство должно было тотчас же превратиться в буржуазный террор. Как только пролетариат был удален со сцены и буржуазная диктатура получила официальное признание, промежуточные слои буржуазного общества, мелкая буржуазия и крестьянство, стали все более примыкать к пролетариату, по мере того как их положение становилось все невыносимее и противоположность их интересов с интересами буржуазии все более обострялась. Как раньше они видели причину своей нищеты в том, что пролетариат поднялся, так теперь они должны были увидеть ее в его поражении.

(Маркс. «Борьба классов во Франции в 1848—1850 г.г.». «Исторические работы», стр. 47—52.)

*
* *

Мало-по-малу крестьяне, мелкие буржуа, вообще средние сословия становились рядом с пролетариатом, быстро приводились к открытому антагонизму с официальной республикой, трактовались ею как противники. Протест против диктатуры буржуазии, потребность в изменении общества, сохранение демократически-республиканских учреждений, как органов движения общества, груп-

цировка вокруг пролетариата, как вокруг решающей революционной силы,—вот общие характерные черты так называемой партии социал-демократии, партии красной республики. Эта партия анархии, как окрестили ее противники, представляет из себя такую же коалицию различных интересов, как и партия порядка. Крайние точки, являющиеся исходной и конечной точкой партии «анархии», так же далеки друг от друга, как самая ничтожная реформа старого общественного беспорядка—и низвержение старого общественного порядка, как буржуазный либерализм и революционный терроризм.

Уничтожение охранительных пошлин, это—социализм! Ведь оно посягает на монополию промышленной фракции партии порядка. Урегулирование бюджета—тоже социализм! Ведь оно посягает на монополию финансовой фракции партии порядка. Свободный пропуск из-за границы мяса и хлеба—социализм! Ведь он посягает на монополию третьей фракции партии порядка—крупного землевладения. Требования партии фритредеров, т.-е. прогрессивнейшей из английских буржуазных партий, тоже представляются во Франции социалистическими требованиями. Вольтерьянство—социализм! Ведь оно нападает на четвертую фракцию партии порядка—католическую. Свобода печати, право ассоциаций, всеобщее народное образование—социализм! Социализм! Они нападают на общую монополию партии порядка.

Ход революции так быстро выяснил положение, что друзья реформы всех оттенков, что скромнейшие требования средних классов были вынуждены сгруппироваться вокруг знамени крайней партии переворота, вокруг красного знамени.

Однако как ни разнороден был социализм различных важных членов партии анархии,—в зависимости от экономических условий и вытекающих из них общих революционных потребностей их класса или фракции класса,—в одном пункте сходились все члены: социализм провозглашает себя средством эмансипации пролетариата, а эмансипацию его—своей целью. Умышленный обман одних, самообман других, именно тех, кто выдает мир, преобразованный согласно их потребностям, за лучший мир для всех, за осуществление всех революционных требований, за разрешение всех революционных коллизий.

Под звучащими довольно одинаково общими социалистическими фразами «партии анархии» скрывается социализм «National'я», «Presse'ы» и «Siècle'я»,—социализм, который более или менее последовательно хочет низвергнуть господство финансовой аристократии и освободить промышленность и обращение от их старых оков. Это — социализм промышленности, торговли и земледелия, вожди которых, примкнувшие к партии порядка, нарушают интересы промышленности, торговли и земледелия, поскольку последние не совпадают с их частными монополиями. От этого буржуазного социализма,—который, как и всякий ублюдочный

вид социализма, разумеется, отчасти привлек и рабочих и мелких буржуа,—отличается собственно мелкобуржуазный социализм, социализм par excellence. Капитал затравливает класс мелкой буржуазии, главным образом как кредитор,—этот социализм требует учреждений для кредита. Капитал давит этот класс конкуренцией,—он требует ассоциаций с поддержкой от государства. Капитал побеждает его концентрацией,—социализм требует прогрессивных налогов, ограничений наследования, выполнения государством крупных работ, требует других мероприятий, которые насильственно задерживают рост капитала. Так как этот класс мечтает о мирном проведении своего социализма, не ставя в счет какую-нибудь краткую вторую февральскую революцию, то естественно, что грядущий исторический процесс представляется ему приложением систем, которые выдумывают или выдумали мыслители общества: целые компании или отдельные изобретатели. Таким образом здесь вырабатываются эклектики или адепты существующих социалистических систем, доктринерского социализма, который был теоретическим выражением пролетариата, пока последний еще не доразвился до самостоятельного, свободного исторического движения.

Таким образом, утопия, доктринерский социализм подчиняет все движение одному из его моментов, подставляет на место коллективного, общественного производства мозговую деятельность отдельного педанта и, главное, революционную борьбу классов во всей ее необходимости устраняет в своей фантазии маленькими фокусами и большими сентиментальностями. Этот доктринерский социализм в сущности только идеализирует современное общество, снимает с него портрет без теней и хочет провести свой идеал наперекор действительности общества. И вот в то время как этот социализм отступает от пролетариата к мелкой буржуазии, в то время как борьба различных социалистических главарей между самими собой обнаруживает в каждой из их так называемых систем просто претенциозное закрепление одного из переходных пунктов социального переворота в противоположность другим,—в это время пролетариат все решительнее группируется вокруг революционного социализма, вокруг коммунизма, для которого сама буржуазия изобрела имя Бланки. Этот социализм есть провозглашение непрерывной революции, провозглашение классовой диктатуры пролетариата как необходимого переходного пункта к уничтожению классовых различий вообще, к уничтожению всех производственных отношений, на которых основаны эти различия, к уничтожению всех общественных отношений, соответствующих этим производственным отношениям, к перевороту во всем мире идей, возникающих из этих общественных отношений.

(Маркс. «Борьба классов во Франции в 1848—1850 г.г.». «Исторические работы», стр. 107—109.)

§ 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАРКСА В ДЕЛЕ ОБОСНОВАНИЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА.

Что касается меня, то мне не принадлежит ни заслуга открытия классов в современном обществе, ни заслуга открытия их борьбы между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы, а буржуазные экономисты—экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими формами борьбы, свойственными развитию производства, 2) что классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к установлению общественного строя, в котором не будет места делению на классы.

(Маркс. Письмо к Вейдемейру от 5/III 1852 г. Маркс и Энгельс. «Письма».)

*
* *

Государственная власть есть всегда орган классового господства. Но классовые противоречия между пролетариатом и имущими классами настолько сильны, что пролетариат никогда не может править в государстве совместно с одним из имущих классов. Имущий класс постоянно будет добиваться, чтобы государственная власть продолжала держать пролетариат в порабощении. Напротив того, пролетариат будет постоянно требовать с правительства, в котором участвует его собственная партия, чтобы государственная власть приходила ему на помощь в его борьбе с капиталом. Поэтому всякое пролетарско-буржуазное правительство должно потерпеть крушение.

Пролетарская партия в буржуазном коалиционном правительстве будет постоянно ответственна за действия, направленные к угнетению пролетариата. Эти действия, заставив пролетариат отвернуться от нее, все же не принесут ей доверия ее буржуазных братьев по блоку и сделают невозможной всякую плодотворную работу. Подобная политика может привести не к усилению пролетариата—на это не пойдет ни одна буржуазная партия,—она может только скомпрометировать пролетарскую партию, а пролетариат сбить с толку и расколоть.

Как раз тот момент, который, начиная с 1848 г., постоянно выдвигала революция—политическое небытие буржуазной демократии,—он-то и исключает всякое успешное совместное выступление с нею для завоевания и общего пользования политической властью. И как ни стояли Маркс и Энгельс за то, чтобы использовать разногласия между буржуазными партиями для успехов пролетарского дела, как они ни боролись против самого понятия

«реакционная масса», все же они выковали понятие диктатуры пролетариата, которую Энгельс в 1891 году, незадолго до своей смерти, упорно отстаивал,—понятие о политическом единовластии пролетариата как единственной форме, в которой он может осуществлять государственную власть.

(Каутский. «Путь к власти». Гиз 1923 г., стр. 17—18.)

§ 3. ПАРИЖСКАЯ КОММУНА КАК ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ.

«Тайна ее (Коммуны) заключается в том, что она по существу своему была правительством рабочего класса, результатом борьбы между классом производящим и классом присваивающим, той давно искомой политической формой, в которой могло бы совершиться экономическое освобождение труда».

(Маркс. «Гражданская война во Франции». Гиз 1919 г., стр. 52.)

* * *

«В последнее время немецкий филистер опять начинает испытывать спасительный ужас при словах: диктатура пролетариата. Хотите ли знать, милостивые государи, что такое эта диктатура? Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это была диктатура пролетариата».

(Энгельс. «Введение к «Гражданской войне во Франции» Маркса». Гиз 1919 г., стр. 14.)

§ 4. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА—ЦЕЛЬ БОРЬБЫ ВСЯКОЙ ИСТИННО-ПРОЛЕТАРСКОЙ ПАРТИИ.

Так как всякая политическая партия стремится завоевать государственную власть, то, следовательно, германская социал-демократическая рабочая партия неизбежно добивается своего господства, господства рабочего класса, т.-е. «классового господства». Впрочем, для всякой истинно-пролетарской партии, начиная с английских чартистов, всегда первым условием является классовая политика, организация в самостоятельную политическую партию, и ближайшей целью борьбы—диктатура пролетариата.

(Энгельс. «Жилищный вопрос». Гиз 1922 г., стр. 51.)

§ 5. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА КАК ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП К КОММУНИСТИЧЕСКОМУ СТРОЮ.

Хотя прудонисты играли в ней [1]) большую роль, все же не было сделано ни малейшей попытки ликвидировать, сообразно предложению Прудона, старое общество или организовать эконо-

[1]) В Парижской Коммуне. Примеч. ред.

мические силы. Напротив, высшую похвалу следует воздать Коммуне именно за то, что при всех ее экономических мероприятиях ее «живую душу» составляли не какие-либо принципы, а прочная практическая потребность. Потому-то эти мероприятия—отмена ночного труда пекарей, запрещение денежных штрафов на фабриках, конфискация закрытых фабрик и мастерских и предоставление их рабочим ассоциациям—соответствуют не духу Прудона, а духу немецкого научного социализма. Единственное социальное мероприятие, проведенное прудонистами, это—отказ от конфискации французского банка, который был одной из причин гибели Коммуны. Точно так же так называемые бланкисты при своей попытке из чисто-политических революционеров превратиться в социалистическую рабочую фракцию с определенной программой, как это выразилось в манифесте, выпущенном в Лондоне бланкистами-беглецами—Internationale et Révolution—провозгласили не принципы прудоновского плана спасения общества, а, притом почти буквально, воззрения немецкого научного социализма о необходимости политической борьбы пролетариата и его диктатуры как перехода к отмене классов, а вместе с ними и государства, что много раз провозглашалось в «Коммунистическом Манифесте» и других произведениях научного социализма.

(Энгельс. «Жилищный вопрос», стр. 50.)

* * *

Если политическая борьба рабочего класса,—писал Маркс, высмеивая анархистов с их отрицанием политики,—принимает революционные формы, если рабочие на место диктатуры буржуазии ставят свою революционную диктатуру, то они совершают ужасное преступление оскорбления принципов, ибо для удовлетворения своих жалких, грубых потребностей дня, для того, чтобы сломить сопротивление буржуазии, рабочие придают государству революционную и преходящую форму вместо того, чтобы сложить оружие и отменить государство.

(Маркс. «Политический индиферентизм». «Neue Zeit, 1913—1914, год 32. Т. I, стр. 40. Цит. по Ленину: «Госуд. и рев.». Собрание сочинений. Гиз 1924 г. Т. XIV, стр. 345).

* * *

Прежде всего, согласно отдела II, немецкая рабочая партия добивается «свободного государства».

Свободное государство—что это такое?

Никоим образом не является целью рабочих, которые отрешились от ограниченного разума подданных, сделать государство свободным. В Германской империи «государство» почти так же свободно, как в России. Свобода состоит в том, чтобы сделать

государство из стоящего над обществом в совершенно ему подчиненный орган, и государственные формы являются теперь свободными в той самой мере, в какой они ограничивают «свободу» государства.

Немецкая рабочая партия, по крайней мере, если она принимает разбираемую программу, показывает тем, как неглубоко сидят в ней социалистические идеи. Вместо того, чтобы рассматривать существующее общество (и это имеет силу для всякого будущего) как основу существующего государства (или будущее общество как основу будущего государства), видят в государстве самостоятельную сущность, обладающую своими собственными духовными, нравственными свободными основами.

Посмотрим теперь, как злоупотребляет программа словами «нынешнее государство», «нынешнее общество» и какое неразумие она проявляет относительно государства, к которому обращает свои требования.

«Нынешнее общество» есть капиталистическое общество; оно существует во всех культурных странах, более или менее свободное от наследия средних веков, в более или менее измененном особенностями исторического развития каждой страны виде, более или менее развитое. Напротив, «нынешнее государство» меняется с границами страны. В Прусско-Германской империи оно иное, чем в Швейцарии, в Англии—иное, чем в Соединенных Штатах. «Нынешнее государство» есть таким образом фикция. Однако различные государства различных культурных стран, несмотря на пестрое разнообразие своих форм, имеют все то общее, что они стоят на почве нового буржуазного общества, только более или менее развившегося капиталистически.

Поэтому они имеют известные существенные общие черты. В этом смысле можно говорить о «нынешнем государстве» в противоположность будущему, когда его теперешние корни, буржуазное общество, отомрут.

Спрашивается теперь, какое превращение испытает государство в коммунистическом обществе? Другими словами, какие останутся общественные функции, аналогичные нынешним государственным функциям? На этот вопрос может ответить только наука, и к проблеме не подойдешь ни на блошиный скачок ближе, тысячекратно сочетая слово «народ» со словом «государство».

Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного преобразования одного в другое. Ему соответствует и политический переходный период, в котором государство не может быть не чем иным, как революционной диктатурой пролетариата.

Программа не занимается ни последней, ни будущим государством коммунистического общества.

Ее политические требования не содержат ничего, кроме старой демократической литании: всеобщее избирательное право, прямое законодательство, народный суд, народное ополчение и пр. Они—

простое эхо буржуазной народной партии, «Лиги Мира и Свободы».

Эти громкие требования, поскольку они не переходят в фантастические представления, уже осуществлены, только государство, к которому они относятся, лежит не внутри границ Германской империи, а в Швейцарии, Соединенных Штатах и пр. Этого рода «государство будущего» есть современное государство, хотя и существующее «вне рамок» Германской империи.

Но забыли об одном. Так как немецкая рабочая партия ясно заявляет, что она движется «внутри современного национального государства», значит, своего государства, Прусско-Германской империи,—иначе ее требования были бы в большей своей части бессмысленны, так как требуют только того, чего не имеют,—то она не могла забывать главного, а именно, что все эти прекрасные вещи зиждутся на признании так называемого верховенства народа, что потому они уместны только в демократической республике.

Раз (нельзя) требовать демократической республики,—и благоразумно, потому что положение предписывает осторожность, с чем считались французские рабочие программы при Луи-Филиппе и Луи-Наполеоне,—то не следовало прибегать к увертке—требовать вещей, возможных только в демократической республике, от государства, которое есть не что иное, как подбитый парламентскими формами с феодальными придатками, уже находящийся под влиянием буржуазии, бюрократически-канцелярский, полицейски-охраняемый военный деспотизм...

Даже вульгарная демократия, которая видит в демократической республике тысячелетнее царствие и не имеет никакого предчувствия о том, что именно в этой последней государственной форме классовая борьба будет окончательно разыграна,—даже она стоит горою выше такого рода демократизма в границах полицейски-дозволенного и логически недозволительного.

Что под «государством» действительно понимают правительственную машину или государство, поскольку оно чрез разделение труда образует обособленный от общества собственный организм,—показывают уже слова: «немецкая рабочая партия требует, как экономической основы государства, единого прогрессивного подоходного налога» и проч. Налоги—экономическая основа правительственной машины и ничего иного. В существующем в Швейцарии «государстве будущего» это требование почти выполнено. Подоходный налог предполагает различные источники доходов различных общественных классов, следовательно, капиталистическое общество. Потому нет ничего удивительного, что ливерпульский «Союз Финансовой Реформы»—буржуа с братом Гладстона во главе—выставляет то же самое требование, что и программа.

(Маркс. «Критика Готской программы». Гиз 1923 г., стр. 67—71.)

§ 6. О БЕССМЫСЛЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «СВОБОДНОЕ НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО».

...В-пятых, совсем не говорится об организации рабочего класса, как класса, при посредстве профессиональных союзов. А это очень существенный пункт, так как это—подлинная классовая организация пролетариата, в которой он ведет повседневную борьбу с капиталом, в которой он получает выучку и с которой теперь при самой худшей реакции (как в Париже в настоящее время) нельзя более покончить. При той важности, какой достигла эта организация и в Германии, по нашему мнению, безусловно необходимо упомянуть о ней в программе и по возможности оставить ей место в организации партии.

Все это наши сделали в угоду лассальянцам. А чем поступились те? Тем, что в программе фигурирует куча довольно путаных чисто демократических требований, из которых некоторые просто дело моды, — например, «народное законодательство», которое существует в Швейцарии и приносит больше вреда, чем пользы, если вообще дает какие-нибудь результаты. Народное управление—вот это было бы уже нечто. Точно так же отсутствует первое условие всякой свободы: что все должностные лица за все свои должностные деяния по отношению ко всякому гражданину отвечают пред обыкновенными судами и по обыкновенному праву. О том, что такие требования, как свобода науки, свобода совести, фигурируют в любой либеральной буржуазной программе и здесь выглядят странновато—распространяться не буду.

Свободное народное государство превратилось в свободное государство. С точки зрения грамматики, свободное государство, это—такое, которое свободно по отношению к гражданам, т.-е. государство с деспотическим правительством. Следовало бы выкинуть все разговоры о государстве, особенно со времени Коммуны, которая уже не была государством в подлинном смысле. Анархисты тычут нам в зубы «народное государство», надоедая им до тошноты, хотя уже брошюра Маркса против Прудона и позднее «Коммунистический Манифест» прямо говорят, что с введением социалистического общественного строя государство само собою растворяется и исчезает. А так как государство—только преходящее учреждение, которым пользуются в борьбе, при революции для подавления силою своих противников, то чистая бессмыслица говорить о свободном народном государстве: пока пролетариат еще пользуется государством, он пользуется им не в интересах свободы, но для подавления своих противников, а коль скоро может быть речь о свободе, государство перестает существовать как таковое. Поэтому мы предложили бы везде поставить взамен государства—«общину», хорошее старое немецкое слово, весьма хорошо передающее французское слово «коммуна».

«Устранение всякого социального и политического неравен-

ства»—также весьма сомнительное выражение вместо: «уничтожение всяких классовых различий». Между отдельными странами, областями, местностями всегда будет существовать *известное* неравенство в житейских условиях, которое можно будет свести к минимуму, но никак не уничтожить совсем. Горцы всегда будут иметь иную житейскую обстановку, нежели жители равнин. Представление о социалистическом обществе как царстве равенства есть одностороннее французское представление, примыкающее к старому девизу: «свобода, равенство, братство»; это представление имело в свое время и на своем месте оправдание как *ступень развития*, но теперь должно быть преодолено, как и все односторонности прежних социалистических школ, так как вызывает только путаницу в умах и так как найдены более точные представления о деле.

(*Энгельс*. Письма к Бебелю. К. *Маркс*. «Критика Готской программы». Гиз 1923 г., стр. 88—90.)

§ 7. О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДИКТАТУРЕ И «СВОБОДНОЙ, ЗАКОННОИ И МИЛОСТИВОЙ» РЕСПУБЛИКЕ.

Поль Жанэ сочувственно относится ко всем партиям, стоявшим поочередно во главе движения, кроме монтаньяров. На них сосредоточивает он все свое негодование, для них приберегает он все крепкие слова и бранные эпитеты.

Между этими злодеями и «мужественной, великодушной Жирондой» Жанэ проводит следующую интересную параллель: «Как одни, так и другие хотели республики»... Но жирондисты хотели республики свободной, законной, милостивой. Монтаньяры желали республики деспотической и ужасной. Не заботясь о свободе, монтаньяры дорожили только равенством. И те и другие стояли за верховную власть народа; но жирондисты справедливо понимали под народом всех; для монтаньяров же, по злоупотреблению, которое продолжается и до сих пор, народом был лишь трудящийся класс, люди, живущие работой своих рук; поэтому одним этим людям и должно было, по мнению монтаньяров, принадлежать господство.

Итак, политическая программа жирондистов сильно отличалась от политической программы монтаньяров. Откуда происходило это различие? Сам Поль Жанэ недурно объясняет его происхождение. Оно обусловливалось тем, что монтаньяры иначе, чем жирондисты, смотрели на взаимное отношение тогдашних общественных классов. Жирондисты «понимали под словом народ всех», в представлении монтаньяров народ составлял лишь трудящийся класс. Другие классы, очевидно, не были в их глазах «народом». Почему же не были? Вероятно потому, что монтаньярам казалось, будто интересы этих классов шли вразрез с интересами класса трудящихся. Ведь в сущности и сами жирондисты понимали под словом «народ» не «всех», т.-е. не всю тогдашнюю фран-

цузскую нацию, а только одно третье сословие. Входила ли в их понятие о народе аристократия? Входило ли высшее духовенство? Вовсе нет. Аббат Сиэйес никогда не шел так далеко, как жирондисты, а между тем и он в своей брошюре «Qu'est-ce que le tiers état?» прямо противополагает «народ», т.-е. третье сословие, кучке «привилегированных», т.-е. дворянству и высшему духовенству. Неужели жирондисты не одобрили бы подобного противопоставления? Конечно, одобрили бы. Они еще горячее восставали против «привилегированных». Но если за всем тем они все-таки расходились с монтаньярами в своих представлениях о «народе», то не зависело ли это от того, что монтаньяры шли дальше и смотрели, как на привилегии, на такие общественные учреждения, которые казались жирондистам священными и необходимыми? Если это было так, то естественно, что классы, извлекавшие пользу из таких учреждений, не должны были причисляться монтаньярами к народу, потому что никто из революционеров не причислял тогда к народу «привилегированных».

Спор возможен был только относительно того, какие именно классы следует причислить к привилегированным. Монтаньяры считали за народ только трудящийся класс, людей, живущих работой рук своих. Так не относили ли они к «привилегированным» таких людей и такие сословия, которые хотя и живут тоже «работой рук», но рук чужих, а не своих собственных? Не так ли было дело? Поль Жанэ заставляет думать, что так.

Теперь для нас кое-что уже выяснено, неясно только одно: почему люди, отстаивавшие дело трудящегося класса, склонялись к республике «деспотической и ужасной». Почему не явились они, напротив, сторонниками «республики законной, свободной и милостивой»? На это могли быть двоякого рода причины: во-первых, внешние, во-вторых, внутренние. Начнем с внешних причин, т.-е. с тогдашних отношений революционной Франции к другим государствам.

Положение Франции в то время, когда Гора взяла в свои руки диктатуру, было отчаянно, почти безнадежно. «Иностранные войска вступили с четырех сторон во французскую территорию: с севера—англичане и австрийцы, в Эльзасе—пруссаки, в Дофине и Лионе—пьемонтцы, в Руссильоне—испанцы. И это в такое время, когда гражданская война свирепствовала в четырех различных пунктах: в Нормандии, в Вандее, в Лионе и Тулоне». К открытым врагам надо прибавить рассыпанных по всей Франции тайных сторонников старого порядка, готовых тайком помогать неприятелю.

У правительства, взявшего на себя борьбу с бесчисленными внешними и внутренними врагами, не было ни денег, ни достаточного войска—ничего, кроме безграничной энергии, горячей поддержки со стороны революционных элементов страны и громадной смелости принимать все меры для спасения родины, как бы произвольны, беззаконны и суровы они ни были. Призвавши к ору-

жию всю молодежь Франции и не имея ни малейшей возможности вооружить и содержать свои армии на ничтожные средства, которые давали налоги, монтаньяры прибегали к реквизициям, конфискациям, насильственным займам, принудительному курсу ассигнаций, словом, заставили запуганные ими имущие классы содействовать спасению страны денежными пожертвованиями рядом с народом, отдавшим для этого спасения свою кровь. Эти насильственные меры были безусловно необходимы, если только было необходимо спасение Франции. Значительных материальных пожертвований нельзя было ждать от доброй воли частных лиц: это признает сам Жанэ. Необходима была железная энергия правительства, доводившая до величайшего напряжения все живые силы Франции. Жанэ признает и это. Он желал бы только, чтобы диктатура досталась не отвратительным якобинцам, а благородной умеренной Жиронде. Если бы в своей борьбе с Горой жирондисты остались победителями, говорит наш автор, они очутились бы точь в точь в том же положении, как и сами монтаньяры: им тогда пришлось бы бороться с роялистскими восстаниями, подавлять партию монтаньяров, отражать внешнее нашествие, и сомнительно, чтобы они могли справиться со всеми этими бедствиями без диктатуры. Но эта диктатура была бы менее кровавой и более уважала бы право и свободу.

Но на какие же элементы могли опереться умеренные и аккуратные жирондисты? Когда, побежденные в Париже монтаньярами, они бросились в департаменты, то встретили там лишь пассивное сочувствие «медлительного и вялого», по выражению Жанэ, среднего класса да коварную поддержку роялистов, от которой сами отказались. Не такую ли же точно поддержку дали бы им их сторонники в борьбе с внешним неприятелем? Нужно помнить, что низший, самый революционный слой населения—в особенности парижского населения—не сочувствовал и не мог сочувствовать Жиронде. У него, очевидно, были другие понятия о «народе» и его интересах, чем у жирондистов, умиляющих Жанэ широтой своих воззрений. Именно это обстоятельство и причинило падение жирондистов и торжество Горы. Таким образом они могли рассчитывать почти исключительно на «медлительный и вялый» средний класс. Многого ли можно было ожидать от него? Нет, не по силам было умеренной и либеральной Жиронде вывести Францию из того критического положения, в какое попала она в 1793 году.

Итак, по внешним причинам необходима была диктатура и именно диктатура монтаньяров. Но ведь когда речь заходит о диктатуре, то смешно и говорить о республике «свободной, законной и милостивой». Революционная диктатура поневоле была так же строга и немилостива, как строги и немилостивы были вызвавшие ее к жизни внешние враги республики. Вспомните манифест герцога Брауншвейгского. Подумайте, чем грозила реакционная Европа революционной Франции.

Перейдем к внутренним причинам, помешавшим монтаньярам

склониться к республике «свободной, законной и милостивой». Здесь прежде всего мы попросим читателя обратить внимание на знаменитые права человека и гражданина. В числе этих прав много было таких, которые совершенно совпадали с интересами низшего класса населения. Но было между ними одно, к которому он с самого начала должен был стать в странное, полное противоречий, отношение. Мы говорим о провозглашенном тогда праве человека на собственность. Как должен был понимать это право, например, парижский санкюлот? Самое название его показывает, что собственности у него ровно никакой не было, а между тем он имел на нее право. Как же мог он воспользоваться этим превосходным правом? За примером было ходить недалеко. Буржуазия порядочно-таки пощипала имущества дворянства и духовенства. Не пощипать ли ему имущества буржуазии? Почему бы нет. Санкюлоту жилось тогда из рук вон плохо, хотя и очень весело. Он часто голодал в буквальном смысле этого слова, а голод, как известно, очень вкрадчивый советник. И вот наш бедняк начинает обнаруживать большую бесцеремонность по отношению к буржуазным имуществам. Буржуазия защищается, как может. Понятно, каким образом эта социальная борьба должна была отражаться на политической жизни. «Чернь» сплачивается в особую партию и выносит на своих плечах монтаньяров. В то время «чернь» умела постоять за себя и скоро достигла господства. Тогда ей оставалось, повидимому, только воспользоваться своей политической властью и завести такие социальные учреждения, благодаря которым право человека на собственность не было бы уже по отношению к ней горькой насмешкой. Для тогдашнего, как и для современного, пролетариата это возможно было только при одном условии: при полном уничтожении частной собственности на средства производства и при организации производства на общественных началах. Но это совершенно было немыслимо тогда по двум причинам, которые стояли, впрочем, в тесной связи одна с другой: ни сам пролетариат не был достаточно развит для этого, ни тогдашние средства производства не удовлетворяли элементарнейшим требованиям общественной его организации. Поэтому и мысль о нем не приходила в голову ни тогдашней черни, ни ее образованным представителям. Правда, еще до революции в французской литературе существовало две-три коммунистических утопии, но они, по указанным причинам, и сами не отличались состоятельностью и никого не могли увлечь за собою. Что же оставалось делать при таких условиях восторжествовавшей на время «черни»? Если нельзя было завести общественного производства, то частная собственность по необходимости должна была существовать, и для голодающего народа возможны были только случайные, насильственные вторжения в ее область. Он и делал такие вторжения, за что его до сих пор продолжают поносить все буржуазные историки. Но при насильственных вторжениях в область частной собственности республика не могла быть «законной», потому что

закон обещал охранять частную собственность. Не могла быть она и «милостивой», потому что ведь имущие слои общества не сидели сложа руки при таком обращении с их имуществом: они усердно искали удобного случая положить предел господству бесцеремонной «черни». Борьба между тогдашним пролетариатом и имущим классом по роковой, неотвратимой необходимости должна была принять террористический характер. Только террором и мог отстаивать пролетариат свое господство в своем тогдашнем положении, полном самых неразрешимых экономических противоречий. Если бы пролетариат обладал тогда большею развитостью, если бы в тогдашней экономической жизни существовали условия, необходимые для обеспечения его благосостояния, то ему не было бы никакой надобности прибегать к террористическим мерам. Посмотрите на буржуазию, которую все историки хвалят за ее тогдашнее стремление к «законности». Положим, и она не давала спуску своим врагам и не отступала в решительные минуты перед решительными мерами. Но ее дело стояло тогда так прочно, что ему не могли в сущности повредить никакие противники. Добившись господства в эпоху своей «славной революции» 1789 года, буржуазия без больших усилий учредила нужный ей общественный порядок и придала ему такую прочность, что самые заклятые реакционеры едва ли могли серьезно задумываться об его уничтожении, а если бы и попытались уничтожить его, то увидали бы, что это невозможно. При таких условиях хорошо было бы буржуазии говорить о «законности». Когда ваше дело выиграно, а дело ваших врагов проиграно навсегда, когда «законным» порядком стал выгодный для вас порядок, тогда с какой стати станете вы прибегать к беззаконному способу действий? Вы имеете все основания думать, что закон вполне оградит все ваши преимущества. Буржуазия стремилась к законности в политике, потому что историческое развитие совершенно обеспечило ее торжество в экономии. На ее месте и пролетариат не стал бы поступать иначе. Что представители «черни», монтаньяры, в принципе не менее жирондистов стояли за свободу и законность,—доказывает выработанная ими конституция, самая свободная из всех, когда-либо написанных во Франции. Этой конституцией вводилось прямое народное законодательство, и права исполнительной власти были сведены до минимума. Но по указанным внешним и внутренним причинам монтаньяры не имели возможности привести ее в действие.

Вообще, можно принять за правило, не допускающее исключений, что чем меньше шансов имеет данный общественный класс, или слой, отстоять свое господство, тем более склонности обнаруживает он к террористическим мерам [1]). В XIX веке буржуазия воочию увидела, что шансы ее отстоять свое господство над про-

---

[1]) Непрекращающийся белый террор, свирепствующий ныне во всех «великих демократиях», является лучшим показателем того, что дни господства капиталистических классов сочтены. Прим. ред.

летариатом все более и более уменьшаются,—и вот она все более и более стремится терроризировать пролетариат. С июньскими инсургентами она расправлялась гораздо свирепее, чем с лионскими ткачами, восставшими в 1831 году, а с «коммунарами» 1871 года еще свирепее, чем с июньскими инсургентами. Террор, практикованный буржуазией над пролетариатом, далеко, бесконечно далеко оставляет за собою все (страшно преувеличенные реакционерами) ужасы якобинского террора. Робеспьер является просто ангелом в сравнении с Тьером, а Марат—чудом доброты и кротости в сравнении с буржуазными строчилами времен знаменитых майских расправ. Внимательно вдумываясь во французскую историю нынешнего столетия, приходится совершенно согласиться с Герценом, который после июньских дней писал, что нет и не может быть правительства свирепее правительства осерчалых лавочников.

Именно благодаря свирепости лавочников не могла надолго укрепиться и политическая свобода во Франции. На буржуазию, и только на буржуазию, падает ответственность за все те частые уклонения в сторону реакции, какими ознаменовалась французская история нынешнего века. Даже во время реставрации торжество реакционеров в значительной степени и долго было облегчаемо тем, что, труся перед рабочими, буржуазия долго не хотела вовлекать их в борьбу.

Возвращаясь к вопросу о якобинском терроре конца прошлого века, мы скажем в утешение буржуазным писателям, содрогающимся при одном воспоминании о нем, следующую, как нам кажется, бесспорную истину.

Предстоящий теперь в цивилизованных странах «великий бунт» рабочего сословия, наверное, не будет отличаться жестокостью. Торжество рабочего дела до такой степени обеспечено теперь самой историей, что ему не будет надобности в терроре. Конечно, буржуазные реакционеры хорошо сделают, если постараются не попадаться в железные объятия победоносного пролетариата. Они поступят благоразумно, если не будут подражать монархическим заговорщикам первой революции. A la guerre comme à la guerre, справедливо говорит пословица, и в разгаре борьбы заговорщикам может приттись плохо.

(Плеханов. «Столетие Великой Революции». Сочинения. Гиз 1923 г. Т. IV, стр. 58—64.)

§ 8. УСТАНОВЛЕНИЕ ТАК НАЗ. ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА НЕ УСТРАНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТИ БОРЬБЫ ЗА ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА.

Но необходимое политическое условие этой революции составляет, по нашему мнению, диктатура пролетариата.

Так как мысль о диктатуре пролетариата имеет дар очень не нравиться «критикам» Маркса, и так как их доводы против этой

мысли не остались без некоторого влияния даже на вполне надежных товарищей наших в разных странах, то полезно будет сказать здесь несколько слов в защиту нашего мнения, категорически выраженного в нашем проекте.

Под диктатурой пролетариата мы понимаем завоевание им «такой политической власти, которая сделает его господином положения и даст ему возможность подавить всякое сопротивление эксплоататоров». Вопрос заключается в том, стало быть, нужна ли пролетариату такая власть для того, чтобы он мог совершить свою социальную революцию?

Когда буржуазия боролась с аристократией, стремясь заменить феодальные производственные отношения капиталистическими, ее теоретики много раз очень горячо и очень красноречиво высказывали то убеждение, что только сила может дать ей победу, и что в обществе, опирающемся на насилие, нет другого верховного владыки, кроме силы. Руководимая этим убеждением, она не останавливалась перед самыми «крайними» средствами, если только они были целесообразны. Она сознательно искала политического господства, понимая, что без него не могут осуществиться ее социальные стремления. Наконец, ее продолжительные и упорные усилия увенчались решительным успехом: она добилась политического господства. Как же она воспользовалась им? Во-первых, она окончательно разбила сопротивление аристократии и сделала его невозможным на будущее время, а во-вторых, позаботилась о том, чтобы обезопасить свой общественный порядок от всяких посягательств со стороны пролетариата. В своем стремлении к этой последней цели она, как это известно всем и каждому, тоже не останавливалась перед крайними средствами и не колеблясь апеллировала, если это казалось ей нужным, к верховному владыке всякого общества, разделенного на классы, т.-е. к силе. Одним словом, она понимала, что ее диктатура составляет необходимое политическое условие ее социального освобождения и ее господства. А теперь, когда это господство не только достигнуто, но уже клонится к упадку; теперь, когда созданный ею общественный порядок все сильнее и сильнее колеблется под революционным напором пролетариата,—она, крепко держась за ту политическую власть, которая еще остается у нее в руках, объявляет классовую диктатуру злостным измышлением узких «догматиков», нелепой выдумкой революционных «доктринеров». Это, по меньшей мере, так же странно, как странно было бы,—по известному латинскому выражению,—слышать, что Гракх говорит против возмущения. Что же изменилось с тех пор, как знамя общественного прогресса перешло из белых рук буржуазии в мозолистые руки пролетариата? Почему диктатура, бывшая полезной и необходимой в руках одного класса, стала бы ненужной и нецелесообразной в руках другого? Изменилось только отношение буржуазии к общественному прогрессу. Прежде она

защищала его и была проникнута революционными стремлениями; теперь она противится ему и как огня боится всего, что носит на себе печать таких стремлений. Поэтому ее идеологи, некогда так красноречиво рассуждавшие о «войне классов» и о революционной роли силы, теперь так вкрадчиво толкуют о «социальном мире» и о бесполезности классовой диктатуры для «решения социального вопроса». Но «что враг советует, то верно худо». Если против мысли о диктатуре пролетариата восстают защитники нынешнего общественного порядка и находящиеся под их влиянием мелко-буржуазные «критики» Маркса, то это происходит именно потому, что эта диктатура представляет собою необходимое политическое условие социальной революции. Ссылки на то, что передовые капиталистические страны все более и более приближаются к демократическому режиму, совсем не убедительны. Такой режим еще не устраняет классов, а следовательно, и классовой борьбы, а следовательно, и необходимости для угнетенного класса добиться политического господства, чтобы устранить социальную причину своего угнетения. Кто хотя отчасти разделяет то мнение, что современные демократические конституции делают излишней диктатуру рабочего класса, тот сознательно или бессознательно склоняется к той мысли, что «социальный вопрос» может быть «решен» без нарушения существенных интересов эксплоататоров, т.-е. что дело обойдется без социальной революции. Но такой мысли, разумеется, не может разделять никто из тех, которые причисляют себя к революционной социал-демократии. И вот почему все сторонники этой социал-демократии обязаны разъяснять пролетариату, что ему надо стремиться к диктатуре, если он хочет устранить капиталистические производственные отношения и заменить их социалистическими. В программу политического воспитания рабочих непременно должно войти усвоение ими идеи будущего политического господства их класса, каким бы путем ни привела их к нему история: насильственным, или мирным.

Заботливо и не без «ортодоксального» умысла оттенили мы в нашем проекте роль социал-демократии, как передового отряда рабочей армии и вместе ее руководителя. Она организует рабочий класс в самостоятельную партию, противостоящую всем партиям эксплоататоров, разоблачает перед ним непримиримую противоположность интересов этих последних с интересами эксплоатируемых и вообще всеми зависящими от нее средствами старается ускорить развитие классового самосознания пролетариата и выяснить ему необходимость и характер предстоящей социальной революции. С точки зрения правильно понятого марксизма все это разумеется само собою. Но «критическая» смута и сюда напустила густого туману, благодаря которому русские социал-демократы «экономического» направления вообразили, будто обязанность социал-демократии состоит не в том, чтобы безустанно и как можно

скорее двигать вперед классовое самосознание пролетариата, а единственно в том, чтобы выражать то, что уже сознано им без какой бы то ни было помощи со стороны «революционной бациллы». Не совершая самоубийства, социал-демократия никогда не может согласиться на эту смешную и позорную роль пятого колеса в телеге.

(Плеханов. «Комментарий к проекту программы РСДРП». Сочинения. Гиз 1924 г. Т. XII, стр. 226—228.)

§ 9. ПРОТИВ БЕРНШТЕЙНОВСКОЙ «РЕВИЗИИ» ИДЕИ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА.

Г. Бернштейн критикует не только историческую теорию Маркса и Энгельса, но также и их учение о борьбе классов. По его словам, борьба классов ставит в настоящее время перед пролетариатом уже не те практические задачи, на какие указывали авторы «Манифеста». Борьба пролетариата с буржуазией в наиболее развитых странах цивилизованного мира не может повести теперь к диктатуре пролетариата, и потому разговоры о ней становятся простым фразерством. Но пусть лучше говорит сам г. Бернштейн.

«Имеет ли, например, смысл повторять фразу о диктатуре пролетариата в такое время, когда во всевозможных учреждениях представители социал-демократии практически становятся на почву парламентской борьбы, пропорционального представительства и народного законодательства, противоречащих диктатуре? Она в настоящее время настолько пережита, что иначе нельзя согласить ее с действительностью, как путем отнятия у слова «диктатура» его истинного значения и придания ему какого-нибудь смягченного смысла».

Во второй половине 80-х годов у нас появился особый вид «социалиста», главная и, можно сказать, мучительная забота которого заключалась в том, чтобы не испугать либерала. Призрак испуганного либерала до такой степени пугал социалистов этого вида, что вносил несказанную путаницу во все их теоретические рассуждения. Г. Бернштейн очень напоминает таких «социалистов». Его главная забота состоит в том, чтобы как-нибудь не испугать демократическую буржуазию. Если он отказывается от материализма и рекомендует вернуться к Канту, то единственно потому, что кантианизм оставляет место для религиозного суеверия, а г. Бернштейну не хочется шокировать религиозные суеверия современного буржуа. Если г. Бернштейн восстает против материалистического учения о необходимости, то лишь потому, что, будучи применено к общественным явлениям, это учение не оставляет никакого места для упований пролетариата на благожелательность буржуазии, а, следовательно, и для взаимного сближения этих двух классов. Наконец, если г. Бернштейн не любит «фразы» насчет диктатуры пролетариата, то это опять-таки единственно потому, что она неприятно режет слух даже самой «демократиче-

ской» буржуазии. Но людям, не пугающимся призрака испуганных буржуа, вопрос о диктатуре пролетариата представляется совсем не в том свете, в каком видит его г. критик.

Диктатура всякого данного класса означает,—как это прекрасно знал еще Минье,—господство этого класса, позволяющее ему распоряжаться организованной силой общества для защиты своих интересов и для прямого или косвенного подавления всех тех общественных движений, которые нарушают эти интересы. В этом смысле можно сказать, что, например, французская буржуазия добилась диктатуры еще в эпоху первого Учредительного Собрания и затем, с некоторыми перерывами, продолжала пользоваться ею вплоть до наших дней, когда даже так называемый Жоресом социалистический министр Мильеран не может воспрепятствовать расстреливанию рабочих, осмеливающихся не повиноваться капиталистам. При таком положении дела задача французского пролетариата состоит прежде всего в том, чтобы устранить «условия возможности» этой диктатуры буржуазии. К числу важнейших из этих условий принадлежит неразвитость классового самосознания производителей, значительная часть которых до сих пор еще находится под влиянием эксплоататоров. Одна из важнейших практических задач партии заключается поэтому в просвещении непросвещенных, в подталкивании отсталых, в доразвитии неразвитых. Парламентская и всякая другая легальная политическая деятельность представителей социал-демократии содействует осуществлению этой важной задачи и потому заслуживает всякого уважения и одобрения. Но она хороша тем, что устраняет духовные «условия возможности» диктатуры буржуазии и создает духовные «условия возможности» будущей диктатуры пролетариата. Она не противоречит диктатуре пролетариата; она подготовляет ее. Называть фразой указание рабочим на необходимость диктатуры их класса может только тот, кто утратил всякое представление об «окончательной цели» (Endziel) и думает лишь о «движении» (Bewegung)... в сторону буржуазного социализма.

Но, по словам г. Бернштейна, классовая диктатура принадлежит к более низкой культуре, «и... надобно признать за шаг назад, за политический атавизм мысль о том, будто переход из капиталистического общества в социалистическое должен непременно совершиться под формами развития эпохи, которой еще незнакомы были или знакомы были лишь в самой несовершенной форме современные методы пропаганды и проведения законов и недоставало необходимых к тому органов».

Диктатура данного класса есть, как мы сказали, господство этого класса, позволяющее ему распоряжаться организованной силой общества для защиты своих интересов и для подавления всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих этим интересам. Спрашивается, можно ли назвать политическим атавизмом стремление к такому господству того или другого класса со-

временного общества? Нет, нельзя. В этом обществе существуют классы. Там, где существуют классы, неизбежна классовая борьба. Там, где есть классовая борьба, необходимо и естественно стремление каждого из борющихся классов к полной победе над своим противником и к полному над ним господству. Буржуазия и ее идеологи могут осуждать—во имя «нравственности» и «справедливости»—такое стремление всякий раз, когда пролетариат обнаруживает его с заметной силой. Но мы знаем, что уже в январе 1848 г. Гизо называл классовую борьбу стыдом и горем Франции. Но мы знаем также, что это осуждение классовой борьбы и завоевательных стремлений рабочего класса было подсказано буржуазии лишь инстинктом самосохранения, и что классовая диктатура представлялась ей совсем в другом свете, когда она еще вела свою многовековую тяжбу с аристократией и была твердо убеждена в том, что ее корабль не потопит никакая буря. Рабочему классу не может и не должна импонировать та, будто бы, нравственность и та, якобы, справедливость, к которым взывают буржуа времен упадка[1]).

(Плеханов. «Предисловие к «Коммунистическому Манифесту». Сочинения. Гиз 1925 г. Т. XI, стр. 317—319.)

* * *

Бернштейн с негодованием отвергает мысль о диктатуре пролетариата. Но мне кажется весьма сомнительным, чтобы можно было освободиться от элементов, вроде прусских юнкеров, разных Штуммов и Кюнеманов, Рокфеллеров и Джей-Гульдов, бандитов высшего и низшего ранга, группирующихся вокруг французского генерального штаба, и других молодцов, жаждущих «политики пресечения», оставаясь на точке зрения полнейшего уважения к их личности. И при этом ведь ничто не дает основания заключить, что социальные контрасты смягчаются и сглаживаются. Наоборот, я не буду утверждать с уверенностью, что классовое господство пролетариата неизбежно должно принять форму классовой диктатуры. Но чтобы одни лишь демократические формы сделали излишним классовое господство пролетариата в целях его освобо-

---

1) И это тем более, что диктатура пролетариата положит конец существованию классов, а следовательно, их борьбе со всеми вызываемыми ею и теперь неизбежными страданиями. Но буржуазия не хочет и, по своему общественному положению, не может понять этого. Она стремилась к диктатуре и находила ее необходимым и вполне позволительным средством достижения цели во время своей борьбы с аристократией. Но она стала осуждать это средство и находит его излишним с тех самых пор, как зашла речь о диктатуре рабочего класса. Это напоминает дикаря, следующим образом пояснившего различие между добром и злом: «Добро — это когда я что-нибудь отниму у других, а зло — это когда у меня что-нибудь отнимут». И нужно иметь много доброй воли, чтобы, подобно г. Бернштейну, находить убедительными доводы буржуазии, пугающейся мысли о диктатуре пролетариата.

ждения, этого никоим образом не доказывают ни опыт прошлого, ни основанные на нем заключения насчет возможного будущего.

Я не желаю, чтобы меня превратно поняли. Я не хочу отрицать того, что, при прочих равных условиях, демократия с ее вольностями и явственно видимым соотношением сил различных партий и классов способна больше всякой другой формы политического устройства устранить излишнее обострение политической борьбы: это всегда признавалось нашей партией. Но здесь дело не в этом; мы должны разрешить вопрос: может ли демократия в такой степени противодействовать обострению классовых противоречий, необходимо вытекающему из экономического развития, чтобы сделать излишним классовое господство пролетариата? Как теория, так и практика отвечают на этот вопрос отрицательно.

Решение проблемы диктатуры пролетариата мы можем спокойно предоставить будущему. И в этом вопросе нам не зачем связывать себе руки [1]). Однако он имеет значение и для настоящего,— поскольку сохранение нами самостоятельной классовой организации пролетариата зависит от того, ожидаем ли мы от демократии прекращения классового господства или нет.

(Каутский. «Анти-Бернштейн».)

§ 10. КРИТИКА КАУТСКИАНСКОЙ РЕВИЗИИ МАРКСОВА УЧЕНИЯ О ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА.

Основной вопрос, затрагиваемый Каутским в его брошюре, есть вопрос о коренном содержании пролетарской революции, именно—о диктатуре пролетариата. Это вопрос, имеющий важнейшее значение для всех стран, особенно для передовых, особенно для воюющих, особенно в настоящее время. Можно сказать без преувеличения, что это—самый главный вопрос всей пролетарской классовой борьбы. Поэтому необходимо на нем внимательно остановиться.

Каутский ставит вопрос таким образом, что «противоположность обоих социалистических направлений» (т.-е. большевиков и небольшевиков) есть «противоположность двух в корне различных методов: демократического и диктаторского» (стр. 3).

Отметим мимоходом, что, называя не-большевиков в России, т.-е. меньшевиков и эсеров, социалистами, Каутский руководится их названием, т.-е. словом, а не тем действительным местом, которое они занимают в борьбе пролетариата с буржуазией. Великолепное понимание и применение марксизма! Но об этом подробнее ниже.

Сейчас надо взять главное: великое открытие Каутского о «коренной противоположности» «демократического и диктаторского

---

[1]) В этих словах Каутского звучат нотки будущего ренегата революционного марксизма. Примеч. ред.

методов». В этом гвоздь вопроса. В этом вся суть брошюры Каутского. И это—такая чудовищная теоретическая путаница, такое полное отречение от марксизма, что Каутский, надо признать, далеко опередил Бернштейна.

Вопрос о диктатуре пролетариата есть вопрос об отношении пролетарского государства к буржуазному государству, пролетарской демократии к буржуазной демократии. Казалось бы, это ясно, как день. Но Каутский, точно какой-то учитель гимназии, засохший на повторении учебников истории, упорно поворачивается задом к XX веку, лицом к XVIII и в сотый раз, невероятно скучно, в целом ряде параграфов жует и пережевывает старье об отношении буржуазной демократии к абсолютизму и средневековью.

Поистине, точно во сне мочалку жует.

Ведь это же значит решительно не понять, что к чему! Ведь только улыбку вызывают потуги Каутского представить дело так, будто есть люди, «проповедующие презрение к демократии» (стр. 11) и т. п. Такими пустячками приходится затушевывать и запутывать вопрос Каутскому, ибо он ставит вопрос по-либеральному, о демократии вообще, а не о буржуазной демократии, он избегает даже этого точного, классового понятия, а старается говорить о «досоциалистической» демократии. Почти треть брошюры, 20 страниц из 63, занял наш водолей болтовней, которая очень приятна для буржуазии, ибо равняется подкрашиванию буржуазной демократии и затушевывает вопрос о пролетарской революции.

Но ведь заглавие брошюры Каутского есть все же «диктатура пролетариата». Что в этом именно суть учения Маркса, это общеизвестно. И Каутскому пришлось, после всей болтовни не на тему, привести слова Маркса о диктатуре пролетариата.

Как это проделал «марксист» Каутский, это уже прямая комедия. Слушайте:

«На одно слово Карла Маркса опирается тот взгляд» (который Каутский объявляет презрением к демократии), так буквально значится на стр. 20. А на стр. 60 это повторено даже в такой форме, что (большевики) «вспомнили во-время словечко» (буквально так das Wörtchen) о диктатуре пролетариата, употребленное Марксом однажды в 1875 году в письме.

Вот это «словечко» Маркса:

«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть не чем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата».

Во-первых, назвать это знаменитое рассуждение Маркса, подводящее итог всему его революционному учению, «одним словом» или даже «словечком»—значит издеваться над марксизмом, значит отрекаться от него полностью. Нельзя забывать, что Каутский знает Маркса почти наизусть, что, судя по всем писаниям Каут-

ского, у него в письменном столе или в голове помещен ряд деревянных ящичков, в которых все написанное Марксом распределено аккуратнейшим и удобнейшим для цитирования образом. Каутский не может не знать, что и Маркс и Энгельс и в письмах и в печатных произведениях говорили о диктатуре пролетариата многократно, и до и после Коммуны. Каутский не может не знать, что формула «диктатура пролетариата» есть лишь более исторически-конкретное и научно-точное изложение той задачи пролетариата «разбить» буржуазную государственную машину, о которой (задаче) и Маркс и Энгельс, учитывая опыт революции 1848 и еще более 1871 года, говорят с 1852 до 1891 года, в течение сорока лет.

Как объяснить это чудовищное извращение марксизма начетчиком в марксизме Каутским? Если говорить о философских основах данного явления, то дело сведется к подмене диалектики эклектицизмом и софистикой. Каутский—великий мастер такой подмены. Если говорить практически-политически, то дело сведется к лакейству перед оппортунистами, т.-е., в конце концов, перед буржуазией. С начала войны прогрессируя все быстрее, Каутский дошел до виртуозности в этом искусстве быть марксистом на словах, лакеем буржуазии на деле.

Еще более убеждаешься в этом, когда рассматриваешь, как замечательно «истолковал» Каутский «словечко» Маркса о диктатуре пролетариата. Слушайте:

«Маркс, к сожалению, упустил указать подробнее, как он представляет себе эту диктатуру»... (Насквозь лживая фраза ренегата, ибо Маркс и Энгельс дали именно ряд подробнейших указаний, которые умышленно обходит начетчик в марксизме Каутский.) «Буквально» слово диктатура означает уничтожение демократии. Но, разумеется, взятое буквально, это слово означает также единовластие одного отдельного лица, не связанного никакими законами,—единовластие, которое отличается от деспотизма тем, что оно мыслится не как постоянное государственное учреждение, а как преходящая мера крайности.

«Выражение «диктатура пролетариата», следовательно, не диктатура одного лица, а одного класса, уже исключает, что Маркс имел в виду при этом диктатуру в буквальном смысле слова».

«Он говорил здесь не о форме правления, а о состоянии, которое по необходимости должно наступить повсюду там, где пролетариат завоевал политическую власть. Что Маркс здесь не имел в виду формы правления, это доказывается уже тем, что он держался взгляда, что в Англии и в Америке переход может совершиться мирно, следовательно, путем демократическим».

Мы нарочно привели полностью все это рассуждение, чтобы читатель мог ясно видеть, какими приемами оперирует «теоретик» Каутский.

Каутский пожелал подойти к вопросу таким образом, чтобы начать с определения «слова» диктатура.

Прекрасно. Подойти любым образом к вопросу—священное право всякого. Надо только отличать серьезный и честный подход к вопросу от нечестного. Кто хотел бы серьезно отнестись к делу при данном способе подхода к вопросу, тот должен бы дать *свое определение* «слова». Тогда вопрос был бы поставлен ясно и прямо. Каутский этого не делает. «Буквально,—пишет он,—слово диктатура означает уничтожение демократии».

Во-первых, это не определение. Если Каутскому угодно уклоняться от дачи определения понятию «диктатура», к чему было выбирать данный подход к вопросу?

Во-вторых, это явно неверно. Либералу естественно говорить о «демократии» вообще. Марксист никогда не забудет поставить вопрос: «для какого класса». Всякий знает, например,—и «историк» Каутский знает это тоже,—что восстания или даже сильные брожения рабов в древности сразу обнаруживали сущность античного государства как *диктатуры рабовладельцев*. Уничтожала ли эта диктатура демократию *среди рабовладельцев, для них*? Всем известно, что нет.

«Марксист» Каутский сказал чудовищный вздор и неправду, ибо «*забыл*» о классовой борьбе...

Чтобы из либерального и лживого утверждения, данного Каутским, сделать марксистское и истинное, надо сказать: диктатура не обязательно означает уничтожение демократии для того класса, который осуществляет эту диктатуру над другими классами, но она обязательно означает уничтожение (или существеннейшее ограничение, что тоже есть один из видов уничтожения) демократии для того класса, над которым или против которого осуществляется диктатура.

Но как ни истинно это утверждение, а определения диктатуры оно не дает.

Рассмотрим следующую фразу Каутского:

...«Но, разумеется, взятое буквально, это слово означает также единовластие одного отдельного лица, не связанного никакими законами».

Подобно слепому щенку, который случайно тычет носом то в одну, то в другую сторону, Каутский нечаянно наткнулся здесь на *одну* верную мысль (именно, что диктатура есть власть, не связанная никакими законами), но определения диктатуры *все же не дал* и сказал, кроме того, явную историческую неправду, будто диктатура означает власть одного лица. Это и грамматически неверно, ибо диктаторствовать может и кучка лиц, и олигархия, и один класс и т. д.

Дальше Каутский указывает отличие диктатуры от деспотизма, но, хотя его указание явно неверно, останавливаться на нем мы не будем, ибо это совершенно не относится к интересующему нас вопросу. Известна склонность Каутского от XX века поворачиваться к XVIII, а от XVIII к античной древности, и мы надеемся, что, добившись диктатуры, немецкий пролетариат учтет эту склон-

ность, посадив, скажем, Каутского гимназическим учителем древней истории. От определения диктатуры пролетариата отлынивать посредством умствований о деспотизме есть либо крайняя глупость либо весьма неискусное мошенничество.

В итоге мы получаем, что, взявшись говорить о диктатуре, Каутский наговорил много заведомой неправды, но никакого определения не дал. Он мог бы, не полагаясь на свои умственные способности, прибегнуть к своей памяти и выложить из «ящичков» все случаи, когда Маркс говорит о диктатуре. Он получил бы, наверное, либо следующее либо по существу совпадающее с ним определение:

Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами.

Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами.

И вот эту-то простую истину, истину ясную как божий день для всякого сознательного рабочего (представителя массы, а не верхушечного слоя подкупленной капиталистами мещанской сволочи, каковой являются социал-империалисты всех стран), эту очевидную для всякого представителя эксплоатируемых, борющихся за свое освобождение, эту бесспорную для всякого марксиста истину приходится «войной отвоевывать» и ученейшего господина Каутского. Чем объяснить это? Тем духом лакейства, которым пропитались вожди II Интернационала, ставшие презренными сикофантами на службе у буржуазии.

Сначала Каутский совершил подтасовку, заявив явный вздор, будто буквальный смысл слова «диктатура» означает единоличного диктатора, а потом он, на основании этой подтасовки, заявляет, что у Маркса, значит, слова о диктатуре класса имеют не буквальный смысл (а такой, при котором диктатура не означает революционного насилия, а «мирное завоевание большинства при буржуазной»,—это заметьте,—демократии).

Надо отличать, видите ли, «состояние» от «формы правления». Удивительно глубокомысленное различие, совсем вроде того, как если бы мы отличали «состояние» глупости у человека, рассуждающего неумно, от «формы» его глупостей!

Каутскому нужно истолковать диктатуру как «состояние господства» (это выражение буквально употреблено у него на следующей же 21 странице), ибо тогда исчезает революционное насилие, исчезает насильственная революция. «Состояние господства» есть состояние, в котором бывает любое большинство при... «демократии»... Таким мошенническим фокусом революция благополучно исчезает.

Но мошенничество слишком грубое, и Каутского оно не спасет. Что диктатура предполагает и означает «состояние» неприятного для ренегатов революционного насилия одного класса над другим, этого «шила в мешке не утаишь». Вздорность

различения «состояния» и «формы правления» всплывает наружу. О форме правления говорить здесь втройне глупо, ибо всякий мальчик знает, что монархия и республика—разные формы правления. Господину Каутскому нужно доказывать, что обе эти формы правления, как и все переходные «формы правления» при капитализме, суть лишь разновидности буржуазного государства, т.-е. диктатуры буржуазии!

Говорить о формах правления, наконец, есть не только глупая, но и аляповатая фальсификация Маркса, который яснее ясного говорит здесь о форме или типе государства, а не о форме правления.

Пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения буржуазной государственной машины и замены ее новою, которая, по словам Энгельса, «не является уже в собственном смысле государством».

Каутскому все это надо замазать и изолгать—этого требует его ренегатская позиция. Посмотрите, к каким жалким увертками он прибегает.

Увертка первая: «Что Маркс не имел тут в виду формы правления, доказывается тем, что он считал возможным в Англии и Америке мирный переворот, т.-е. демократическим путем»...

Форма правления тут решительно не при чем, ибо бывают монархии не типичные для буржуазного государства, например, отличающиеся отсутствием военщины, и бывают республики вполне типичные, например, с военщиной и бюрократией. Это общеизвестный исторический и политический факт, и Каутскому не удастся его фальсифицировать.

Если бы Каутский хотел серьезно и честно рассуждать, он бы спросил себя: бывают ли исторические законы, касающиеся революции и не знающие исключения? Ответ был бы: нет, таких законов нет. Такие законы имеют в виду лишь типичное, то, что Маркс однажды назвал «идеальным» в смысле среднего, нормального, типичного капитализма.

Далее. Было ли в 70-х годах нечто такое, что делало из Англии и Америки исключение в рассматриваемом отношении? Всякому сколько-нибудь знакомому с требованием науки в области исторических вопросов очевидно, что этот вопрос необходимо поставить. Не поставить его—значит фальсифицировать науку, значит играть в софизмы. А поставив этот вопрос, нельзя сомневаться в ответе: революционная диктатура пролетариата есть насилие против буржуазии; необходимость же этого насилия в особенности вызывается, как подробнейшим образом и многократно объясняли Маркс и Энгельс (особенно в «Гражданской войне во Франции» и в предисловии к ней), тем, что существуют военщина и бюрократия. Как раз этих учреждений, как раз в Англии и в Америке, как раз в 70-х годах XIX века, когда Маркс делал свое замечание, не было. (А теперь они и в Англии и в Америке есть).

Каутскому приходится буквально мошенничать на каждом шагу, чтобы прикрывать свое ренегатство.

И заметьте, как он показал здесь нечаянно свои ослиные уши, он написал: «мирно, т.-е. демократическим путем»!!..

При определении диктатуры Каутский изо всех сил старался спрятать от читателя основной признак этого понятия, именно: революционное насилие. А теперь правда вылезла наружу: речь идет о противоположности мирного и насильственного переворота. Здесь зарыта собака. Все увертки, софизмы, мошеннические фальсификации для того и нужны Каутскому, чтобы отговориться от насильственной революции, чтобы прикрыть свое отречение от нее, свой переход на сторону либеральной рабочей политики, т.-е. на сторону буржуазии. Здесь зарыта собака.

«Историк» Каутский так бесстыдно фальсифицирует историю, что забывает основное: домонополистический капитализм—а апогеем его были именно 70-е годы XIX века—отличался в силу экономических его коренных свойств, которые в Англии и Америке проявились особенно типично, наибольшим сравнительно миролюбием и свободолюбием. А империализм, т.-е. монополистический капитализм, окончательно созревший лишь в XX веке, по экономическим его коренным свойствам отличается наименьшим миролюбием и свободолюбием, наибольшим и повсеместным развитием военщины. «Не заметить» этого при рассуждении о том, насколько типичен или вероятен мирный или насильственный переворот, значит опуститься до самого дюжинного лакея буржуазии.

Увертка вторая. Парижская Коммуна была диктатурой пролетариата, а выбрана она была всеобщим голосованием, без лишения буржуазии ее избирательных прав, «демократически». И Каутский торжествует: ...«Диктатура пролетариата была, для Маркса (или по Марксу), «состоянием, которое с необходимостью вытекает из чистой демократии, если пролетариат составляет большинство» (bei überwiegendem Proletariat. S. 21).

Этот довод Каутского настолько забавен, что поистине испытываешь настоящее embarras des richesses (затруднение от обилия возражений). Во-первых, известно, что цвет, штаб, верхи буржуазии бежали из Парижа в Версаль. В Версале был «социалист» Луи Блан, что, между прочим, показывает лживость утверждения Каутского, будто в Коммуне участвовали все «направления» социализма. Не смешно ли изображать «чистой демократией» с «всеобщим голосованием» разделение жителей Парижа на два воюющих лагеря, один из которых сконцентрировал всю боевую, политически активную буржуазию?

Во-вторых, Коммуна боролась с Версалем, как рабочее правительство Франции против буржуазного. При чем же тут «чистая демократия» и «всеобщее голосование», когда Париж решал судьбу Франции? Когда Маркс находил, что Коммуна сде-

лала ошибку, не взяв банка, который принадлежал всей Франции, то не исходил ли Маркс из принципов и практики «чистой демократии»?

Право же, видно, что Каутский пишет в такой стране, в которой полиция запрещает людям «скопом» смеяться, иначе Каутский был бы убит смехом.

В-третьих. Позволю себе почтительно напомнить наизусть знающему Маркса и Энгельса господину Каутскому следующую оценку Коммуны Энгельсом с точки зрения... «чистой демократии»:

«Видали ли когда-нибудь революцию эти господа (антиавторитаристы)? Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, т.-е. средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве она продержалась бы дольше одного дня? Не вправе ли мы, наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом»?

Вот вам и «чистая демократия»! Как бы осмеял Энгельс того пошлого мещанина, «социал-демократа» (во французском смысле 40-х годов и в общеевропейском 1914—1918 годов), который вздумал бы вообще говорить о «чистой демократии» в обществе, разделенном на классы!

Но довольно! Перечислить все отдельные нелепости, до которых договаривается Каутский, вещь невозможная, ибо у него в каждой фразе бездонная пропасть ренегатства.

Маркс и Энгельс подробнейшим образом анализировали Парижскую Коммуну, показали, что ее заслугой была попытка р а з б и т ь, с л о м а т ь «готовую государственную машину». Маркс и Энгельс этот вывод считали столь важным, что т о л ь к о эту поправку внесли в 1872 году к «устарелой» (частями) программе «Коммунист. Манифеста». Маркс и Энгельс показали, что Коммуна уничтожала армию и чиновничество, уничтожала п а р л а м е н т а р и з м, разрушала «паразитический нарост—государство» и т. д.; а премудрый Каутский, надев ночной колпак, повторяет то, что тысячу раз говорили либеральные профессора,—сказки про «чистую демократию».

Недаром сказала Роза Люксембург 4 августа 1914 г., что немецкая социал-демократия теперь есть с м е р д я щ и й т р у п.

Увертка третья: «Если мы говорим о диктатуре, как форме правления, то мы не можем говорить о диктатуре класса. Ибо класс, как мы уже заметили, может только господствовать, но не управлять»... Управляют же «организации» или «партии».

Путаете, безбожно путаете, господин «путаницы советник»! Диктатура не есть «форма правления», это смешной вздор. И Маркс

говорит не о форме правления, а о форме или типе государства. Это совсем не то, совсем не то. Совершенно неверно также, что не может управлять класс, такой вздор мог сказать только «парламентский кретин», ничего не видящий, кроме буржуазного парламента, ничего не замечающий, кроме «правящих партий». Любая европейская страна покажет Каутскому примеры управления ее господствующим классом, например, помещиками в средние века, несмотря на их недостаточную организованность.

Итог: Каутский извратил самым неслыханным образом понятие диктатуры пролетариата, превратив Маркса в дюжинного либерала, т.-е. докатился сам до уровня либерала, который болтает пошлые фразы о «чистой демократии», прикрашивая и затушевывая классовое содержание буржуазной демократии, чураясь всего более революционного насилия со стороны угнетенного класса. Когда Каутский «истолковал» понятие «революционной диктатуры пролетариата» таким образом, что исчезло революционное насилие со стороны угнетенного класса над угнетателями, то в деле либерального искажения Маркса был побит всемирный рекорд. Ренегат Бернштейн оказался щенком по сравнению с ренегатом Каутским.

(Ленин. «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Собрание сочинений. Гиз 1925 г. Т. XV, стр. 415—424.)

* * *

Каутский рассуждает следующим образом:

1) «Эксплоататоры составляли всегда лишь небольшое меньшинство населения» (стр. 14 книжки Каутского).

Это бесспорная истина. Как следует рассуждать, исходя из этой истины? Можно рассуждать по-марксистски, социалистически; тогда надо взять за основу отношение эксплоатируемых к эксплоататорам. Можно рассуждать по-либеральному, буржуазно-демократически; тогда надо взять за основу отношение большинства к меньшинству.

Если рассуждать по-марксистски, то приходится сказать: эксплоататоры неминуемо превращают государство (а речь идет о демократии, т.-е. об одной из форм государства) в орудие господства своего класса, эксплоататоров, над эксплоатируемыми. Поэтому и демократическое государство, пока есть эксплоататоры, господствующие над большинством эксплоатируемых, неизбежно будет демократией для эксплоататоров. Государство эксплоатируемых должно коренным образом отличаться от такого государства, должно быть демократией для эксплоатируемых и подавлением эксплоататоров, а подавление класса означает неравенство этого класса, изъятие его из «демократии».

Если рассуждать по-либеральному, то придется сказать: боль-

шинство решает, меньшинство повинуется. Неповинующихся наказывают. Вот и все. Ни о каком классовом характере государства вообще, «чистой демократии» в частности, рассуждать не к чему; к делу это не относится, ибо большинство есть большинство, а меньшинство есть меньшинство. Фунт мяса есть фунт мяса, и баста.

Каутский рассуждает именно так:

2) «По каким бы причинам надо было господству пролетариата принимать и необходимо принимать такую форму, которая несовместима с демократией?» (стр. 21). Следует пояснение того, что пролетариат имеет на своей стороне большинство, пояснение весьма обстоятельное и весьма многословное, и с цитатой из Маркса и с цифрами голосов в Парижской Коммуне. Вывод: «Режим, который так сильно коренится в массах, не имеет ни малейшего повода посягать на демократию. Он не всегда сможет обойтись без насилия, в тех случаях, когда насилие пускается в ход, чтобы подавить демократию. На насилие можно отвечать только насилием. Но режим, который знает, что за ним массы, будет применять насилие лишь для того, чтобы *охранять* демократию, а не для того, чтобы *уничтожать* ее. Он совершил бы прямо-таки самоубийство, если бы захотел устранить свою самую надежную основу, всеобщее избирательное право, глубокий источник могучего морального авторитета» (стр. 22).

Вы видите: отношение эксплоатируемых к эксплоататорам из аргументации Каутского исчезло. Осталось только большинство вообще, меньшинство вообще, демократия вообще, уже знакомая нам «чистая демократия».

Заметьте, что это говорится *в связи с Парижской Коммуной*! Приведем же для наглядности, как Маркс и Энгельс говорили о диктатуре *в связи с коммуной*:

Маркс: ...«Если рабочие на место диктатуры буржуазии ставят свою революционную диктатуру, ...чтобы сломить сопротивление буржуазии..., рабочие придают государству революционную и преходящую форму»...

Энгельс: «Победившая» (в революции) «партия по необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве она продержалась бы дольше одного дня? Не в праве ли мы, наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом?».

Он же: «Так как государство есть лишь преходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица: пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих против-

ников, а когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство, как таковое, перестает существовать».

Между Каутским и Марксом с Энгельсом расстояние как небо от земли, как между либералом и пролетарским революционером. Чистая демократия и просто «демократия», о которой говорит Каутский, есть лишь пересказ того же самого «свободного народного государства», т.-е. чистая бессмыслица. Каутский с ученостью ученейшего кабинетного дурака или с невинностью 10-летней девочки вопрошает: зачем бы это нужна была диктатура, ежели есть большинство? А Маркс и Энгельс разъясняют:

— Затем, чтобы сломить сопротивление буржуазии.

— Затем, чтобы внушить реакционерам страх.

— Затем, чтобы поддержать авторитет вооруженного народа против буржуазии.

— Затем, чтобы пролетариат мог насильственно подавить своих противников.

Каутский этих разъяснений не понимает. Влюбленный в «чистоту» демократии, не видящий ее буржуазности, он «последовательно» стоит на том, что большинству, раз оно большинство, не нужно «ломать сопротивления» меньшинства, не нужно «насильственно подавлять» его,—достаточно подавлять случаи нарушения демократии. Влюбленный в «чистоту» демократии, Каутский нечаянно совершает ту самую маленькую ошибку, которую всегда делают все буржуазные демократы: именно, он формальное равенство (насквозь лживое и лицемерное при капитализме) принимает за фактическое! Мелочь!

Эксплоататор не может быть равен эксплоатируемому.

Эта истина, как она ни неприятна Каутскому, составляет существеннейшее содержание социализма.

Другая истина: действительного, фактического равенства не может быть, пока совершенно не уничтожена всякая возможность эксплоатации одного класса другим.

Эксплоататоров можно разбить сразу, при удачном восстании в центре или возмущении войска. Но, за исключением разве совсем редких и особенных случаев, эксплоататоров нельзя уничтожить сразу. Нельзя сразу экспроприировать всех помещиков и капиталистов сколько-нибудь большой страны. Далее, одна экспроприация, как юридический или политический акт, далеко не решает дела, ибо нужно фактически сместить помещиков и капиталистов, фактически заменить их другим, рабочим управлением фабриками и имениями. Не может быть равенства между эксплоататорами, которые в течение долгих поколений выделялись и образованием и условиями богатой жизни и навыками,—и эксплоатируемыми, масса коих даже в самых передовых и наиболее демократических буржуазных республиках забита, темна, невежественна, запугана, разрознена. Эксплоататоры на долгое время после переворота сохраняют неизбежно ряд громадных фактических преимуществ: у них остаются деньги (уничтожить деньги

сразу нельзя), кое-какое движимое имущество, часто значительное, остаются связи, навыки организации и управления, знание всех «тайн» (обычаев, приемов, средств, возможностей) управления, остается более высокое образование, близость к технически высшему (по-буржуазному живущему и мыслящему) персоналу, остается неизмеримо больший навык в военном деле (это очень важно) и так далее, и так далее.

Если эксплоататоры разбиты только в одной стране—а это, конечно, типичный случай, ибо одновременная революция в ряде стран есть редкое исключение—то они остаются **все же сильнее** эксплоатируемых, ибо международные связи эксплоататоров громадны. Что часть эксплоатируемых из наименее развитых средне-крестьянских, ремесленных и т. п. масс идет и способна итти за эксплоататорами, это показывали до сих пор **все** революции, Коммуна в том числе (ибо среди версальских войск, о чем «забыл» ученейший Каутский, были и пролетарии).

При таком положении вещей предполагать, что при сколько-нибудь глубокой и серьезной революции решает дело просто-напросто отношение большинства к меньшинству, есть величайшее тупоумие, есть самый глупенький предрассудок дюжинного либерала, есть **обман масс**, сокрытие от них заведомой исторической правды. Эта историческая правда состоит в том, что **правилом** является при всякой глубокой революции **долгое, упорное, отчаянное** сопротивление эксплоататоров, сохраняющих в течение ряда лет крупные фактические преимущества над эксплоатируемыми. Никогда—иначе как в сладенькой фантазии сладенького дурачка Каутского—эксплоататоры не подчиняются решению большинства эксплоатируемых, не испробовав в последней, отчаянной битве, в ряде битв своего преимущества.

Переход от капитализма к коммунизму есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплоататоров неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта **надежда** превращается в **попытки** реставрации. И после первого серьезного поражения свергнутые эксплоататоры, которые не ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной страстью, с ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой за возвращение отнятого «рая», за их семьи, которые жили так сладко и которые теперь «простонародная сволочь» осуждает на разорение и нищету (или на «простой» труд...) А за эксплоататорами-капиталистами тянется широкая масса мелкой буржуазии, про которую десятки лет исторического опыта всех стран свидетельствуют, что она шатается и колеблется, сегодня идет за пролетариатом, завтра пугается трудностей переворота, впадает в панику от первого поражения или полупоражения рабочих, нервничает, мечется, хныкает, перебегает из лагеря в лагерь... как наши меньшевики и эсеры.

И при таком положении вещей, в эпоху отчаянной, обостренной войны, когда историей ставятся на очередь дня вопросы о

бытии или небытии вековых и тысячелетних привилегий,—толковать о большинстве и меньшинстве, о «чистой демократии», о пенадобности диктатуры, о равенстве эксплоататора с эксплоатируемым! Какая бездна тупоумия, какая пропасть филистерства нужна для этого!

Но десятилетия сравнительно «мирного» капитализма, 1871—1914 г.г., накопили в прилаживающихся к оппортунизму социалистических партиях авгиевы конюшни филистерства, узколобия, ренегатства...

Читатель заметил, вероятно, что Каутский в приведенной выше цитате из его книги говорит о посягательстве на всеобщее избирательное право (называя его—в скобках будь замечено—глубоким источником могучего морального авторитета, тогда как Энгельс по поводу той же Парижской Коммуны и по поводу того же вопроса о диктатуре говорит об авторитете вооруженного народа против буржуазии; характерно сравнить взгляд филистера и революционера на «авторитет»...).

Надо заметить, что вопрос о лишении эксплоататоров избирательного права есть чисто-русский вопрос, а не вопрос о диктатуре пролетариата вообще. Если бы Каутский, не лицемеря, озаглавил свою брошюру: «Против большевиков», тогда это заглавие соответствовало бы содержанию брошюры и тогда Каутский имел бы право говорить прямо об избирательном праве. Но Каутский захотел выступить прежде всего как «теоретик». Он озаглавил свою брошюру: «Диктатура пролетариата» вообще. Он говорит о советах и о России специально лишь во второй части брошюры, начиная с 5-го параграфа ее. В первой же части (из которой мною и взята цитата) речь идет о демократии и диктатуре вообще. Заговорив об избирательном праве, Каутский выдал себя как полемиста против большевиков, ни в грош не ставящего теорию.—Ибо теория, т.-е. рассуждение об общих (а не национально-особых) классовых основах демократии и диктатуры, должна говорить не о специальном вопросе, вроде избирательного права, а об общем вопросе: может ли быть демократия сохранена и для богатых и для эксплоататоров в исторический период свержения эксплоататоров и замены их государства государством эксплоатируемых?

Так и только так может ставить вопрос теоретик.

Мы знаем пример Коммуны, мы знаем все рассуждения основателей марксизма в связи с нею и по поводу нее. На основании этого материала я разбирал, например, вопрос о демократии и диктатуре в своей брошюре «Государство и революция», написанной до Октябрьского переворота. Об ограничении избирательного права я не говорил ни слова. И теперь надо сказать, что вопрос об ограничении избирательного права есть национально-особый, а не общий вопрос диктатуры. К вопросу об ограничении избирательного права надо подходить, изучая особые условия русской революции, особый путь ее развития. В дальнейшем изложении это и будет сделано. Но было бы ошибкой

заранее ручаться, что грядущие пролетарские революции в Европе непременно дадут, все или большинство, ограничение избирательного права для буржуазии. Это может быть так. После войны и после опыта русской революции это, вероятно, будет так, но это необязательно для осуществления диктатуры, это не составляет необходимого признака логического понятия диктатуры, это не входит необходимым условием в историческое и классовое понятие диктатуры.

Необходимым признаком, обязательным условием диктатуры является насильственное подавление эксплоататоров как класса и, следовательно, нарушение «чистой демократии», т.-е. равенства и свободы, по отношению к этому классу.

Так и только так может быть поставлен вопрос теоретически. И Каутский тем, что он не поставил так вопроса, доказал, что выступает против большевиков не как теоретик, а как сикофант оппортунистов и буржуазии.

В каких странах, при каких национальных особенностях того или иного капитализма будет применено (исключительно или преимущественно) то или иное ограничение, нарушение демократии для эксплоататоров,—это вопрос о национальных особенностях того или иного капитализма, той или иной революции. Теоретический вопрос стоит иначе, он стоит так: возможна ли диктатура пролетариата без нарушения демократии по отношению к классу эксплоататоров?

Каутский именно этот, теоретически единственно важный и существенный, вопрос обошел. Каутский приводил всякие цитаты из Маркса и Энгельса, кроме тех, которые относятся к данному вопросу и которые приведены мной выше.

Каутский разговаривал обо всем, что угодно, обо всем, что приемлемо для либералов и буржуазных демократов, что не выходит из их круга идей,—кроме главного, кроме того, что пролетариат не может победить, не сломив сопротивления буржуазии, не подавив насильственно своих противников, и что там, где есть «насильственное подавление», где нет «свободы», конечно, нет демократии.

Этого Каутский не понял.

Перейдем к опыту русской революции и к тому расхождению между совдепами и учред. собранием, которое (расхождение) привело к роспуску учредилки и к лишению буржуазии избирательного права.

(Ленин. «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Собрание сочинений. Гиз 1925 г. Т. XV, стр. 430—436.)

§ 11. О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ЧИСТОЙ ДЕМОКРАТИИ» И ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЕ.

Немногочисленные номера берлинского «Красного Знамени» и венского «Клича» (Weckruf), органа коммунистической партии немецкой Австрии, дошедшие до Москвы, показывают нам, что пре-

датели социализма, поддерживающие войну хищников-империалистов, все эти Шейдеманы и Эберты, Австерлицы и Реннеры [1]) встречают достойный отпор от истинных представителей революционных пролетариев Германии и Австрии. Мы горячо приветствуем оба органа, знаменующие жизненность и рост III Интернационала.

Повидимому, главным вопросом революции и в Германии, и в Австрии является теперь вопрос: учредительное собрание или власть советов? Представители обанкротившегося II Интернационала, все от Шейдемана до Каутского, стоят за первое и называют свою точку зрения защитой «демократии» (Каутский даже договорился до «чистой демократии») в противоположность диктатуре. Взгляды Каутского я разобрал подробно в только что вышедшей в Москве и Петрограде брошюре «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Попытаюсь вкратце изложить суть спорного вопроса, который стал теперь практически на очередь для всех передовых капиталистических стран.

Шейдеманы и Каутские говорят о «чистой демократии» или о «демократии» вообще, чтобы обмануть массы и скрыть от них буржуазный характер современной демократии. Пусть буржуазия продолжает сохранять в своих руках весь аппарат государственной власти, пусть горстка эксплоататоров продолжает пользоваться прежней, буржуазной государственной машиной. Выборы, производимые при таких условиях, буржуазия, понятное дело, любит называть «свободными», «равными», «демократическими», «всенародными», ибо эти слова служат для сокрытия правды, для сокрытия того, что собственность из средства производства и политическая власть остаются у эксплоататоров, что поэтому о действительной свободе, о действительном равенстве для эксплоатируемых, т.-е. для громадного большинства населения, не может быть и речи. Буржуазии выгодно и необходимо скрывать от народа буржуазный характер современной демократии, изображать ее демократией вообще или «чистой демократией», и Шейдеманы, а также Каутские, повторяя это, на деле покидают точку зрения пролетариата и переходят на сторону буржуазии.

Маркс и Энгельс, когда они последний раз вдвоем подписывали предисловие к «Коммунистическому Манифесту» (это было в 1872 году), считали необходимым особо обратить внимание рабочих на то, что пролетариат не может просто овладеть готовой (т.-е. буржуазной) государственной машиной и пустить ее в ход для своих целей, что он должен сломать, разбить ее. Ренегат Каутский написал целую брошюру о «Диктатуре пролетариата», скрыв от рабочих эту важнейшую марксистскую истину, извратив в корне марксизм, и понятно, что похвалы, которые господа Шейдеманы и К° расточали этой брошюре, были вполне заслужены,

[1]) Германские и австрийские меньшевики. Прим. ред.

как похвалы агентов буржуазии тому, кто переходит на сторону буржуазии.

Говорить о «чистой демократии» вообще, о равенстве, о свободе, о всенародности, когда рабочие и все трудящиеся голодны, раздеты, разорены, измучены не только капиталистическим наёмным рабством, но и 4-летней грабительской войной, а капиталисты и спекулянты продолжают владеть своей награбленной «собственностью» и «готовым» аппаратом государственной власти, это значит издеваться над трудящимися и эксплоатируемыми.

Это значит бить в лицо основным истинам марксизма, который учил рабочих: вы должны использовать буржуазную демократию как громадный исторический прогресс по сравнению с феодализмом, но ни на минуту не забывайте буржуазного характера этой «демократии», ее исторической условности и ограниченности, не разделяйте «суеверной веры» в «государство», не забывайте, что государство и при самой демократической республике, а не только при монархии, есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим.

Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной властью» или демократией вообще, или чистой демократией—буржуазную демократическую республику, на деле представляющую из себя диктатуру буржуазии, диктатуру эксплоататоров над трудящимися массами. Шейдеманы и Каутские, Австерлицы и Реннеры (теперь, к сожалению, при помощи Фридриха Адлера) поддерживают эту ложь и это лицемерие. А марксисты, коммунисты, разоблачают его и говорят рабочим и трудящимся массам прямую и открытую правду: на деле демократическая республика, учредительное собрание, всенародные выборы и т. п. есть диктатура буржуазии и для освобождения труда от ига капитала нет иного пути, как смена этой диктатуры д и к т а т у р о й п р о л е т а р и а т а.

Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала, от лжи, фальши, лицемерия буржуазной демократии, этой демократии д л я б о г а т ы х, в состоянии установить демократию д л я б е д н ы х, т.-е. сделать блага демократии доступными ф а к т и ч е с к и для рабочих и беднейших крестьян, тогда как теперь (даже и при самой демократической—б у р ж у а з н о й—республике) эти блага демократии ф а к т и ч е с к и недоступны громадному большинству трудящихся.

Возьмем, например, свободу собраний и свободу печати. Шейдеманы и Каутские, Австерлицы и Реннеры уверяют рабочих, что теперешние выборы в учредительное собрание в Германии и в Австрии происходят «демократически». Это—ложь, ибо н а д е л е капиталисты, эксплоататоры, помещики, спекулянты держат в своих руках девять десятых лучших зданий, которые пригодны для собраний и девять десятых запаса бумаги, типографий и проч. Рабочий в городе, батрак и поденщик в деревне н а д е л е отстранены от демократии как этим «священным правом собственности» (охраняемым господами Каутскими и Реннерами,

к которым перешел, к сожалению, и Фридрих Адлер), так и буржуазным аппаратом государственной власти, т.-е. буржуазными чиновниками, буржуазными судьями и проч. Теперешняя «свобода собраний и печати» в «демократической» (буржуазно-демократической) республике немецкой есть ложь и лицемерие, ибо на деле это есть свобода для богачей покупать и подкупать прессу, свобода богачей спаивать народ сивухой, буржуазной газетной лжи, свобода богачей держать в своей «собственности» помещичьи дома, лучшие здания и т. п.

Диктатура пролетариата отнимает у капиталистов в пользу трудящихся помещичьи дома, лучшие здания, типографии, склады бумаги.

Это будет замена «всенародной», «чистой» «демократии» «диктатурой одного класса»—вопят Шейдеманы и Каутские, Австерлицы и Реннеры вместе с их заграничными единомышленниками—Гомперсами, Хендерсонами, Реноделями, Вандервельдами и К°.

Неправда—ответим мы. Это будет заменой фактической «диктатуры буржуазии» (каковую диктатуру лицемерно прикрывают формы демократической буржуазной республики) диктатурой пролетариата. Это будет заменой демократии для богатых демократией для бедных. Это будет заменой свободы собраний и печати для меньшинства, для эксплоататоров, свободой собраний и печати для большинства населения, для трудящихся.

Это будет гигантским всемирно-историческим расширением демократии, превращением ее из лжи в правду, освобождением человечества от оков капитала, искажающего и урезывающего всякую даже самую «демократическую» и республиканскую буржуазную демократию. Это будет заменой буржуазного государства пролетарским государством, каковая замена есть единственный путь к отмиранию государства вообще.

Почему же нельзя достигнуть такой цели без диктатуры одного класса? Почему нельзя прямо перейти к «чистой» демократии?—спрашивают лицемерные друзья буржуазии или наивные клейнбюргеры и филистеры, одураченные ею.

Мы отвечаем: потому, что во всяком капиталистическом обществе решающее значение могут иметь либо буржуазия либо пролетариат, а мелкие хозяйчики неизбежно остаются колеблющимися, бессильными, глупыми мечтателями о «чистой», т.-е. внеклассовой или надклассовой демократии. Потому, что из общества, в котором один класс угнетает другой, нельзя выйти иначе, как диктатурой угнетенного класса. Потому, что победить буржуазию, свергнуть ее в состоянии только пролетариат, ибо это единственный класс, который объединен и «вышколен» капитализмом и который в состоянии увлечь за собой колеблющуюся массу трудящихся, живущих по-мелкобуржуазному—увлечь ее за собой или, по крайней мере, «нейтрализовать» ее. Потому, что только сладенькие мещане и филистеры могут мечтать, обманывая этими мечтами и себя и рабочих, о свержении ига капитала без долгого

и трудного подавления сопротивления эксплоататоров. В Германии и Австрии это сопротивление пока еще не развернулось открыто, ибо пока еще не началась экспроприация экспроприаторов. Это сопротивление будет отчаянным, бешеным, когда такая экспроприация начнется. Скрывая это от себя и от рабочих, Шейдеманы и Каутские, Австерлицы и Реннеры совершают предательство интересов пролетариата, переходят в самый решительный момент от позиции классовой борьбы и свержения ига буржуазии на позицию соглашения пролетариата с буржуазией, на позицию «социального мира» или примирения эксплоататоров с эксплоатируемыми.

Революция—локомотив истории,—говорил Маркс. Революции быстро учат. Рабочие городов, батраки деревень Германии и Австрии быстро поймут измену делу социализма со стороны Шейдеманов и Каутских, Австерлицов и Реннеров. Пролетариат отбросит прочь этих «социал-предателей», социалистов на словах, предателей социализма на деле, как отбросил он в России таких же мелких буржуа и филистеров, меньшевиков и «социалистов-революционеров».

Пролетариат увидит,—тем скорее, чем полнее будет господство названных «вождей»,—что только замена буржуазного государства, будь то самая демократическая буржуазная республика, государством типа Парижской Коммуны (о которой так много говорил Маркс, искаженной и преданной Шейдеманами и Каутскими) или государством типа Советов в состоянии открыть дорогу к социализму. Диктатура пролетариата избавит человечество от ига капитала и от войны.

(Ленин. «О демократии» и диктатуре». Собрание сочинений. Гиз 1925 г. Т. XV, стр. 564—567.)

*
* * *

1. Рост революционного движения пролетариата во всех странах вызвал в среде буржуазии и ее агентов в рабочих организациях судорожные усилия найти идеально-политические аргументы для оправдания власти эксплоататоров. Среди этих аргументов в особенности выделяется отказ от диктатуры и защита демократии. Лживость и лицемерие подобного аргумента, который на тысячу ладов повторяется и капиталистической прессой и заседавшей в Берне в феврале 1919 года конференцией желтого Интернационала, ясны каждому, кто не хочет стать предателем принципов социализма.

2. Аргументация эта прежде всего оперирует с понятием «демократия вообще» и «диктатура вообще», не ставя вопроса о классах. Подобная постановка вопроса с вне- или над-классовой точки зрения, как бы с точки зрения всего народа, является

прямой насмешкой над основным учением социализма, а именно—над учением о классовой борьбе, которая забывается на деле, но признается на словах перешедшими в лагерь буржуазии социалистами. Ни в одной цивилизованной капиталистической стране не существует «демократии вообще», а существует лишь буржуазная демократия, и нет речи о «диктатуре вообще», а лишь диктатуре угнетенного класса, т.-е. пролетариата, над угнетателями и эксплоататорами, т.-е. буржуазией, для преодоления сопротивления, которое оказывают эксплоататоры в борьбе за власть.

3. История нас учит, что еще никогда угнетенный класс не получал и не мог получить власти без предшествовавшего периода диктатуры, т.-е. без завоевания политической власти и насильственного прекращения самого отчаянного, дикого, не отступающего ни пред каким преступлением сопротивления, которое эксплоататоры всегда оказывают. Сама буржуазия, власть которой теперь защищается социалистами, высказывающимися против «диктатуры вообще» и душой и телом стоящими за «демократию вообще», получила свою власть в цивилизованных странах благодаря целому ряду восстаний, гражданских войн, насильственному свержению королевской власти, феодальных рабовладельцев и подавлению попыток реставрации. Социалисты всех стран разъясняли народу классовый характер этой буржуазной революции тысячи, миллионы раз в своих книгах, брошюрах, резолюциях своих конгрессов, в агитационных речах. Поэтому теперь защита «буржуазной демократии» в речах, в крикливых выпадах за «демократию вообще» и против диктатуры пролетариата, «диктатуры вообще», есть прямое предательство социализма, фактический переход в лагерь буржуазии, отрицание права пролетариата на свою пролетарскую революцию, защита буржуазного реформизма как раз в тот исторический момент, когда буржуазный реформизм потерпел крушение во всем мире и когда война создала революционную ситуацию.

4. Все социалисты, разъясняя классовый характер буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, выражали мысль, которую когда-то с величайшей научной точностью высказали Маркс и Энгельс, говоря, что самая демократическая из буржуазных республик представляет собой не что иное, как машину для угнетения рабочего класса буржуазией, трудящихся масс—горсточкой капиталистов. Нет хотя бы одного такого марксиста из поднимающих ныне вопль против диктатуры и за демократию, который не клялся бы всеми святыми перед рабочими, что он признает эту основную истину социализма; теперь же, когда среди революционного пролетариата началось брожение и движение, направленное на уничтожение этого аппарата угнетения и на завоевание диктатуры пролетариата, эти предатели социализма рисуют дело в таком виде, как будто бы буржуазия принесла трудящимся в дар чистую «демократию», как будто бы буржуазия отказалась от сопротивления и готова подчиниться большинству

трудящихся, как будто бы в демократической республике не существовал и не существует государственный аппарат для подчинения рабочих капиталу.

5. Парижская Коммуна, которая на словах прославляется всеми, желающими считаться социалистами и знающими, что рабочие массы питают к ней большую и искреннюю симпатию,— особенно ясно показала нам невысокую ценность буржуазного парламентаризма и буржуазной демократии, которые, конечно, по сравнению со средними веками, представляют собой учреждения прогрессивные, но в период пролетарской революции требуют неизбежных и коренных изменений. Именно Маркс, который особенно ценил историческое значение Коммуны, в своем анализе выяснил эксплоататорский характер буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, которые дают угнетенному классу право решать один раз в течение многих лет, кто из делегатов имущих классов будет в парламенте представлять народ и предавать его интересы. Как раз теперь, когда движение в пользу советов, охватывающее весь мир, является в глазах всех продолжением дела Коммуны, предатели социализма забывают опыт, практику и конкретное учение Парижской Коммуны и повторяют старую буржуазную сказку про «демократию вообще». Коммуна не была парламентским учреждением.

6. Значение Коммуны заключается далее в том, что она предприняла попытку разбить буржуазный государственный аппарат, а также аппараты—чиновничий, судейский, военный и полицейский, разрушить их до основания и заменить их самоуправляющейся массовой организацией рабочих, без разделения власти законодательной и исполнительной. Все буржуазно-демократические республики нашего времени, среди них и германская, которую, в насмешку над истиной, социал-предатели называют «пролетарской», сохраняют этот буржуазный государственный аппарат. Все это опять с ясностью и точностью подтверждает, что вопль о защите «демократии вообще» является не чем иным, как защитой буржуазии и ее эксплоататорских привилегий.

7. Примером требования «чистой демократии» может служить «свобода собраний». Всякий сознательный рабочий, который не порвал со своим классом, сразу поймет, что было бы нелепостью обещать эксплоататорам право свободы собраний в такой момент и при таком положении, когда они могут противодействовать своему низвержению и защищать свои привилегии. Буржуазия, когда она была революционной, не разрешала ни в Англии в 1648 г. ни во Франции в 1793 г. монархистам и дворянам свободно собираться, когда они призывали в страну иноземные войска и «собирались», чтобы организовать попытку реставрации. Если теперешняя буржуазия, давно уже ставшая реакционной, требует у пролетариата, чтобы он заранее поручился, что эксплоататорам, не взирая на то, каким образом капиталисты будут сопротивляться при отчуждении их имущества, будет дарована «свобода собраний»,

то рабочие будут лишь насмехаться над таким лицемерием буржуазии.

С другой стороны, рабочие отлично знают, что «свобода собраний» является пустым звуком даже в самых демократических буржуазных республиках, так как в распоряжении богачей имеются лучшие общественные и частные здания, имеется и достаточное количество свободного времени, и они пользуются защитой буржуазного аппарата власти. У городских и сельских пролетариев, равно как и у мелких крестьян, т.-е. у подавляющего большинства населения, нет ни того, ни другого, ни третьего. Пока дело обстоит таким образом, «равенство», т.-е. «чистая демократия», является обманом. Чтобы завоевать настоящее равенство, чтобы дать трудящимся осуществить действительную демократию, необходимо сначала отнять у эксплоататоров все общественные и частные дворцы, дать сперва работающим досуг, и необходимо, чтобы свободу их собраний защищали вооруженные рабочие, а не дворянские сынки или офицеры из капиталистических кругов с помощью запуганных солдат.

Лишь после такой перемены можно будет говорить о свободе собраний и равенстве, не издеваясь над рабочими, трудовым народом и беднотой. Но осуществить эту перемену может только авангард трудового народа—пролетариат, который свергнет эксплоататоров, буржуазию.

8. «Свобода печати» также служит одним из главных лозунгов «чистой демократии». Тем не менее, рабочие знают, а социалисты всех стран признавали это миллионы раз, что эта свобода—обман до тех пор, пока лучшие типографии и самые большие запасы бумаги будут находиться в руках капиталистов, а власть капитала будет продолжать царить над прессой, та власть, которая проявляется во всем мире тем яснее, резче и циничнее, чем более развитым оказываются демократизм и республиканский режим, как, например, в Америке. Чтобы завоевать для рабочих масс, рабочих и крестьян, настоящее равенство, необходимо сначала лишить возможности капиталистов пользоваться услугами писателей, скупать издательские фирмы и подкупать газеты. А для этого необходимо свергнуть иго капитала, разбить угнетателей и сломить их сопротивление. Капиталисты всегда называли «свободой» свободу извлекать прибыли для богатых и свободу умирать с голоду для бедных. Капиталисты под свободой печати подразумевают свободу подкупа прессы богачами, свободу употреблять богатство для фабрикации и подделки так называемого общественного мнения. Защитники «чистой демократии» на деле опять-таки оказываются защитниками самой грязной и самой продажной системы господства богатых над средствами просвещения масс; эти обманщики народа отвлекают его громкими, но насквозь лживыми фразами от конкретной исторической задачи освобождения печати от капитала. Настоящую свободу и равенство даст тот строй, который устанавливают коммунисты, при котором нельзя будет обогащаться

за чужой счет, не будет объективной возможности прямо или косвенно подчинить прессу могуществу денег, не будет препятствий для рабочих (или безразличной, столь многочисленной группы рабочих) осуществлять право пользования принадлежащими обществу типографиями и бумагой.

9. История XIX и XX веков, еще до войны, показала нам, что представляет собой на самом деле хваленая «чистая демократия» при капитализме. Марксисты всегда утверждали, что чем развитее, чем «чище» демократия, тем более неприкрытой, грубой и беспощадной становится классовая борьба, и тем очевиднее гнет капитала и диктатура буржуазии. Дело Дрейфуса в республиканской Франции, кровавые расправы вооруженной капиталистами армии наемников над бастующими рабочими свободной и демократической Американской республики,—эти и тысячи других подобных фактов раскрывают правду, которую буржуазия напрасно старается скрыть, а именно ту правду, что в самых демократических республиках царят террор и диктатура буржуазии, проявляющиеся открыто каждый раз, когда власть капитала начинает как будто терять почву под ногами.

10. Империалистическая война 1914—1918 г.г. раз навсегда доказала, даже отсталым рабочим, в самых свободных республиках, что настоящая буржуазная демократия носит характер диктатуры буржуазии. Для обогащения немецких и английских миллионеров и миллиардеров десятки миллионов людей были убиты, а в самых свободных республиках была установлена военная диктатура буржуазии. Эта военная диктатура продолжает существовать в странах Антанты и после победы над Германией. Именно война раскрыла рабочим глаза более, чем что-либо другое; она сорвала с буржуазной демократии ложные прикрасы и открыла народу всю бездну спекуляции и погони за наживой, которые проявились во время войны и в связи с нею. Во имя свободы и равенства вела буржуазия эту войну, во имя свободы и равенства невероятно обогатились военные поставщики. Никакие усилия желтого бернского Интернационала не помогут скрыть от масс теперь окончательно вскрытый эксплоататорский характер буржуазной свободы, буржуазного равенства и буржуазной демократии.

11. В капиталистически наиболее развитой стране континентальной Европы, а именно в Германии, первые месяцы полной республиканской свободы, которую принесла с собой победа над империалистической Германией, показали немецким рабочим и всему миру, в чем заключается истинная классовая сущность буржуазно-демократической республики. Убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург представляется событием мирового, исторического значения не только потому, что трагически погибли лучшие люди и вожди настоящего пролетарского Коммунистического Интернационала, но и потому, что в нем окончательно выявился классовый характер европейского капиталистического и, можно без преувеличения сказать, первого государства во всем мире. Если

арестованные, т.-е. люди, принятые под покровительство государственной власти, могли безнаказанно быть убиты офицерами и капиталистами при правительстве социал-патриотов, то, значит, правильно утверждение, что в той демократической республике, в которой нечто подобное могло случиться, царила диктатура буржуазии. Люди, негодующие по поводу убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, но не понимающие этой истины, доказывают тем самым лишь свое тупоумие или лицемерие. В одной из самых свободных и передовых республик мира—в Германской республике—существует «свобода» убивать безнаказанно арестованных вождей пролетариата. Иначе и быть не может до тех пор, пока капитализм одерживает верх, так как развитие демократизма не ослабляет, а обостряет классовую борьбу, которая теперь, как следствие войны и под влиянием войны и ее последствий, достигла точки кипения.

Во всем культурном мире происходят теперь высылки, преследования и аресты большевиков, как, например, в одной из самых свободных буржуазных республик—в Швейцарии; также в Америке имеют место большевистские погромы и т. п. С точки зрения «демократии вообще» или «чистой демократии» прямо смешно, чтобы передовые, культурные, демократические, вооруженные до зубов государства боялись присутствия нескольких десятков людей из отсталой, голодной, разоренной России, которую буржуазные газеты, выходящие в миллионах экземпляров, называют дикой и преступной. Ясно, что общественный строй, который может породить такое вопиющее противоречие, представляет из себя на самом деле диктатуру буржуазии.

12. При подобном положении вещей диктатуру пролетариата не только можно вполне оправдать как средство для свержения ига угнетателей и подавления их сопротивления, но и признать вполне необходимою для всей массы трудящихся в качестве единственной защиты против диктатуры буржуазии, которая привела к войне и готовит новые войны.

Чего прежде всего не понимают социалисты и в отношении чего проявляется их теоретическая близорукость, их зависимость от буржуазных предрассудков, их политическое предательство по отношению к пролетариату, это—то, что в капиталистическом обществе, при обострении лежащей в его основе классовой борьбы, не может быть чего-либо среднего, находящегося между диктатурой буржуазии и диктатурой пролетариата. Всякая мечта о чем-то третьем есть реакционная, мелкобуржуазная ламентация. Об этом свидетельствует опыт более чем столетнего развития буржуазной демократии и рабочего движения во всех прогресивных странах и в особенности опыт последних пяти лет. В пользу этого говорит и все учение политической экономии, все содержание марксизма, который объясняет экономическую необходимость диктатуры буржуазии при существовании всякого товарного хозяйства,—диктатуры, которая может быть устранена только тем клас-

сом, который, благодаря развитию капитализма, сам все более развивается, увеличивается, объединяется и крепнет,—классом пролетариев.

13. Вторая теоретическая и политическая ошибка социалистов заключается в их непонимании того, что формы демократии изменялись за тысячелетия, начиная с ее зачатков в древности, по мере того, как один господствующий класс сменял другой. В республиках древней Греции, в городах средних веков, в передовых капиталистических государствах демократия имела разные формы и различный объем. Было бы величайшей нелепостью предположить, что самая глубокая революция в истории человечества, первый переход власти из рук меньшинства эксплоататоров в руки большинства эксплоатируемых произойдет в рамках старой, буржуазной, парламентарной демократии без величайших потрясений, без создания новых форм демократии, новых установлений, новых условий их применения и т. д.

14. Диктатура пролетариата подобна диктатуре других классов в том отношении, что она, как всякая другая диктатура, вызывается необходимостью подавить силою сопротивление того класса, который теряет свою политическую власть. Основное различие между диктатурой пролетариата и диктатурой других классов—диктатурой крупных землевладельцев в средние века, диктатурой буржуазии во всех цивилизованных капиталистических странах—состоит в том, что диктатура крупных землевладельцев и буржуазии представляла собой насильственное подавление сопротивления большинства населения, а именно трудящихся масс, между тем как, в противоположность этому, диктатура пролетариата есть насильственное подавление сопротивления эксплоататоров, т.-е. явного меньшинства населения—крупных помещиков и капиталистов.

Отсюда опять-таки следует, что диктатура пролетариата должна неизбежно повлечь за собой, вообще говоря, не только изменение формы и установление демократии, но и такое их изменение, которое привело бы к еще невиданному в мире распространению действительного использования демократизма на порабощенные капитализмом трудящиеся классы.

И в самом деле, форма диктатуры пролетариата, которая фактически уже выработана, т.-е. Советская власть в России, система Советов в Германии, «Shop Stewards Committees» [1]) и другие аналогичные советские установления в других странах, все они позволяют трудящимся классам, т.-е. подавляющему большинству населения, осуществлять пользование демократическими правами и свободами, каковой возможности еще никогда не бывало, хотя бы в приблизительной степени, в лучших демократических буржуазных республиках.

Сущность Советской власти заключается в том, что массовая

---

[1]) Комитеты фабричных старост.

организация именно тех классов, которые были угнетаемы капиталистами, т.-е. рабочих и полупролетариев (крестьян, которые не эксплоатируют чужого труда и которые принуждены постоянно продавать хотя бы часть произведений своего труда), является постоянной и единственной основой всей государственной власти, всего государственного аппарата. Именно те массы, которые даже в самых демократических буржуазных республиках были по закону равноправны, а на деле при помощи разных средств и ухищрений отстранялись от участия в политической жизни и от использования демократических прав и свобод, ныне привлекаются к постоянному, беспрепятственному и при этом решающему участию в демократическом управлении государством.

15. То равенство граждан, без различия пола, вероисповедания, национальности, которое буржуазная демократия всегда и везде обещала, но нигде не выполняла, и вследствие господства капитализма и не могла выполнить,—Советская власть, или диктатура пролетариата, осуществила сразу и вполне, так как только власть рабочих, которая не заинтересована в частной собственности на орудия производства и в борьбе за их раздел и распределение, могла это осуществить.

16. Старая, т.-е. буржуазная, демократия и парламентаризм были так организованы, что именно трудящиеся классы были более всего далеки от правительственного аппарата. Советская же власть, т.-е. диктатура пролетариата, так организована, что она приближает рабочие массы к правительственному аппарату. Той же цели служит объединение законодательной и исполнительной властей в советской организации государства и замена территориальных выборных округов производственными единицами —заводами, фабриками.

17. Армия служила аппаратом для угнетения не только в монархии—она оставалась таковым и во всех буржуазных, даже самых демократических, республиках. Только Советская власть, как единственная постоянная государственная организация угнетаемых капиталистами классов, в состоянии избавить армию от подчинения буржуазному командованию и действительно спаять пролетариат с армией; она может вооружить пролетариат и разоружить буржуазию, без нее победа социализма невозможна.

18. Советская организация государства приноровлена к тому, чтобы пролетариат, как класс наиболее сплоченный под влиянием капитализма и наиболее сознательный, занял руководящую роль в государстве. Опыт всех движений угнетенных классов, опыт социалистического мирового движения нас учит, что только пролетариату дано соединить воедино рассеянные и отсталые слои трудящегося и эксплоатируемого населения и повести его за собой.

19. Только Советская организация государства может разрушить—сразу и окончательно—старый, т.-е. буржуазно-чиновничий и судейский аппарат, который продолжал существовать и должен был продолжать существовать при капитализме даже в самых

демократических республиках, и фактически служивший самым большим препятствием для рабочих и трудящихся масс при осуществлении ими демократизма. Парижская Коммуна сделала на этом пути первый всемирно-исторический шаг, а Советская власть — второй.

20. Все социалисты, среди них и во главе их Маркс, поставили себе целью уничтожение государственной власти. Без осуществления этой цели настоящий демократизм, т.-е. свобода и равенство, не достижимы. К этой цели ведет, однако, на деле лишь Советская власть, или пролетарская демократия, ибо она сейчас же начинает подготовлять полное отмирание всякой государственности, привлекая массовые организации трудящегося народа к постоянному и безусловному участию в государственном управлении.

21. Полнейший крах социалистов, собравшихся в Берне, полное отсутствие у них понимания новой, т.-е. пролетарской, демократии в особенности видны из следующего: 10 февраля 1919 г. Брантинг объявил закрытым международный съезд желтого Интернационала в Берне. 11 февраля 1919 года участники его обнародовали в Берлине в газете «Freiheit» воззвание независимых к пролетариату. В этом воззвании признается буржуазный характер шейдемановского правительства, ему бросается упрек, что оно желает отменить советы, которые там называются «носителями и хранителями революции», и делается предложение легализовать советы, придать им государственно-правовой характер, а также дать им право приостанавливать постановления Национального Собрания, которые в этих случаях должны подлежать народному голосованию.

Такое предложение свидетельствует о полной духовной несостоятельности теоретиков, которые, защищая демократию, не поняли ее буржуазного характера. Смешная попытка соединить систему советов, т.-е. диктатуру пролетариата, с Национальным Собранием, т.-е. с диктатурой буржуазии, окончательно обнаруживает бездарность желтых социалистов и социал-демократов, их реакционно-мещанскую политику, равно их боязливые уступки неудержимо растущим силам новой пролетарской демократии.

22. Большинство желтого бернского Интернационала, осуждающее большевизм, но из боязни перед рабочими массами не дерзнувшее голосовать формально за соответствующую резолюцию, с классовой точки зрения поступило правильно. Как раз это большинство вполне солидарно с русскими меньшевиками, социал-революционерами и шейдемановцами в Германии. Русские меньшевики и эсеры, которые жалуются на преследования большевиков, стараются скрыть то обстоятельство, что преследования вызваны участием меньшевиков и эсеров в гражданской войне на стороне буржуазии против пролетариата. Точно так же шейдемановцы и их партия участвовали в Германии в гражданской войне на стороне буржуазии.

Вполне естественно поэтому, что большинство участников бернского желтого Интернационала высказалось за осуждение большевиков. В этом, однако, нашла себе выражение не защита «чистой демократии», а самозащита тех, которые сознавали, что в гражданской войне они стоят на стороне буржуазии против пролетариата.

Исходя из этих оснований, следует признать постановление большинства желтого Интернационала с классовой точки зрения правильным. Но пролетариат не должен бояться правды, а смотреть ей прямо в лицо, а затем делать свои политические выводы.

(Ленин. «Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата». Собрание сочинений. Гиз 1925 г. Т. XVI, стр. 36—46.)

XII. ПРОБЛЕМА УНИЧТОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВА.

§ 1. ПОСЛЕДНИЙ АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

Мы уже видели выше, что первым шагом рабочей революции должно быть возвышение пролетариата на степень господствующего класса, завоевание демократии.

Пролетариат воспользуется своим политическим господством, чтобы постепенно отнять у буржуазии весь капитал, чтобы централизовать все орудия труда в руках государства, т.-е. организованного в качестве господствующего класса пролетариата, и по возможности скорее увеличить массу производительных сил.

Конечно, сначала это может совершиться только путем деспотических вторжений в право собственности и в буржуазные условия производства, следовательно, путем мероприятий, которые с экономической точки зрения кажутся недостаточными и ненадежными, но которые в ходе движения перерастут самих себя и неизбежны как средства для преобразования всего способа производства...

Когда в процессе развития будут уничтожены различия классов, и все производство сосредоточится в руках ассоциированных индивидуумов, общественная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть, в собственном смысле этого слова, есть организованная сила одного класса, имеющая целью подчинение другого класса. Если пролетариат в борьбе против буржуазии необходимо объединяется как класс, путем революции становится господствующим классом, и, как господствующий класс, насильственно уничтожает старые условия производства, то вместе с последними он уничтожает также и условия существования антагонизма классов, классы вообще, а тем самым и собственное классовое господство.

Место старого буржуазного общества, с его классами и антагонизмом классов, займет ассоциация, в которой свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех.

(Маркс и Энгельс. «Коммунистический Манифест». Гиз 1924 г., стр. 87—88. См. также «Анти-Дюринг», стр. 317.)

§ 2. КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ— УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЯКОГО ГОСУДАРСТВА.

Читатель заметит, что во всех этих статьях, и особенно в последней, я везде называю себя не социал-демократом, а коммунистом. Это объясняется тем, что в те времена в различных странах социал-демократами называли себя такие люди, которые вовсе не выставляли на своем знамени перехода всех средств производства в руки общества. Во Франции под социал-демократами разумели демократов-республиканцев с более или менее искренними, но всегда неопределенными симпатиями к рабочему классу, т.-е. людей вроде Ледро-Роллена 1848 г., и пропитанных прудонизмом «радикальных социалистов» 1874 г. В Германии социал-демократами называли себя лассальянцы; но, хотя большинство их все более и более проникалось сознанием необходимости обобществления средств производства, однако единственным открыто признанным пунктом их программы оставались специфически лассалевские производительные товарищества с пособием от государства. Ввиду этого для обозначения нашей специальной точки зрения мы с Марксом положительно не могли выбрать такое растяжимое выражение. Теперь положение дел изменилось, и это слово может быть принято, как ни мало еще оно подходит для партии, экономическая программа которой не только вообще социалистическая, но и прямо коммунистическая, и политическая конечная цель которой заключается в устранении всякого государства, а следовательно, и демократического. Но названия действительных политических партий никогда не соответствуют вполне тому, что они обозначают; партии развиваются, названия остаются прежними.

(Энгельс. «Предисловие к его «Статьям 1871—1875 г.г.»)

§ 3. БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРУШЕНО. (Опыт Парижской Коммуны).

Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, достигнув власти, не может пользоваться для своих целей старой государственной машиной; что если этот класс не хочет потерять только что завоеванное господство, он должен, во-первых, устранить весь старый, направлявшийся до сих пор против него самого, механизм угнетения, с другой — обезопасить себя со стороны своих собственных служащих и уполномоченных, обезопасить тем, чтобы их можно было в любое время и всех без исключения смещать.

(Энгельс. «Введение к «Гражданской войне» Маркса». Изд. ВЦИК Советов Р. С. К. и К. Депутатов. Москва 1919 г., стр. 11.)

*
* *

Но рабочий класс не может просто завладеть готовой государственной машиной и заставить ее служить своим собственным целям.

Централизованная государственная власть со своими вездесущими органами, основанными на принципе систематического и иерархического разделения труда: регулярной армией, полицией, бюрократией, духовенством и судьями, — существует со времен абсолютной монархии, когда она служила сильным оружием нарождавшемуся буржуазному обществу в борьбе его с феодализмом. Но поместные и дворянские прерогативы, местные привилегии, городские и цеховые монополии и провинциальные уложения — весь этот средневековый хлам задерживал ее развитие. Исполинская метла французской революции XVIII столетия смела весь отживший сор давно минувших веков и очистила, таким образом, общественную почву от последних помех для сооружения здания современного государства. Это здание воздвигнуто было при Первой Империи, вызванной, с своей стороны, к жизни коалиционными войнами старой полуфеодальной Европы с новой Францией.

При дальнейшем развитии форм господства правительство было подчинено парламентскому контролю, т.-е. непосредственному контролю имущих классов. С другой стороны, оно превратилось в рассадник неисчислимых государственных долгов и тяжелых налогов, оно стало яблоком раздора между конкурирующими фракциями и авантюристами господствующих классов, которых влекли к нему его административная сила, его доходы и должности, которыми оно располагало; с другой стороны, под влиянием экономических изменений в обществе изменился и его политический характер. По мере того, как прогресс современной промышленности развивал, расширял и углублял классовую противоположность между капиталом и трудом, государственная власть все в большей степени приобретала характер общественной силы, служащей для порабощения рабочего класса, характер орудия для классового господства. После каждой революции, являющейся шагом вперед, в классовой борьбе характер государственной власти, как орудия только угнетения, выступает все определеннее. Революция 1830 года отняла власть у поземельных собственников и отдала ее капиталистам, т.-е. из рук более отдаленных врагов рабочего класса передала ее более непосредственным врагам их. Республиканцы-буржуа именем февральской революции захватили государственную власть и употребили ее на то, чтобы устроить июньскую бойню; они этой бойней доказали рабочему классу, что «социальная» республика есть не что иное, как социальное порабощение его республикою;

а буржуа-роялистам и поземельным собственникам, — что они могут беспрепятственно предоставить буржуа-республиканцам заботы и денежные выгоды управления. Но после июньского подвига буржуа-республиканцы должны были перейти из первых рядов «партии порядка» в последние ряды этой коалиции, образовавшейся из всех враждующих фракций и партий имущих классов, ставших теперь в открытую противоположность к классам производительным. Самой подходящей формой для их совместного управления оказалась парламентская республика с Луи Бонапартом, как президентом, во главе; это было правительство неприкрытого классового террора и умышленного оскорбления «подлой черни». По словам Тьера, парламентская республика была такой формой правления, которая меньше всех других разделяла различные фракции господствующего класса, но зато она открыла пропасть между этим немногочисленным классом и всем общественным организмом, жившим вне его. Если при прежних правительствах раздоры внутри этого класса возлагали известные ограничения на государственную власть, то теперь, благодаря объединению имущего класса, эти ограничения отпали. Ввиду угрожавшего восстания пролетариата объединившийся имущий класс стал бессовестно и нагло пользоваться государственной властью как национальным оружием капитала против труда. Но его крестовый поход против массы производителей заставил, с одной стороны, давать исполнительной власти все больше и больше прав по подавлению сопротивления, с другой — постепенно отнимать у парламентской твердыни — Национального Собрания — все его средства обороны против исполнительной власти; и Луи Бонапарт, представлявший собой эту исполнительную власть, разогнал представителей имущего класса. Вторая Империя явилась естественным следствием республики «партии порядка».

Империя, которой государственный переворот служил метрикой, всеобщая подача голосов — санкцией, а сабля — скипетром, заявляла притязание на то, что опирается на крестьян, на эту обширную массу производителей, которая не участвовала непосредственно в борьбе между капиталом и трудом. Империя выдавала себя за спасительницу рабочего класса на том основании, что она разрушила парламентаризм, а вместе с ним и неприкрытое подчинение правительства имущим классам на том основании, что она поддержала их экономическое господство над рабочим классом. И, наконец, она заявила притязание на объединение всех классов вокруг вновь ожившего призрака национальной славы. В действительности Империя была единственной возможной формой правления в такое время, когда буржуазия уже потеряла способность управлять народом, а рабочий класс еще не приобрел этой способности. Весь мир приветствовал Империю как спасительницу общества. Под господством ее буржуазное общество, освобожденное от политических забот, достигло такой

высокой степени развития, о которой оно не могло мечтать. Промышленность и торговля разрослись в необъятных размерах; биржевая спекуляция праздновала свои космополитические оргии; нищета масс резко выступала рядом с нахальным блеском беспутной роскоши, нажитой надувательством и преступлением. Государственная власть, стоявшая, повидимому, высоко над обществом, была в действительности самым вопиющим скандалом этого общества, рассадником всяческой мерзости. Штыки Пруссии, жаждавшие перенести центр тяжести этой системы управления из Парижа в Берлин, обнажили всю гнилость этой государственной власти и гнилость спасенного ею общества. Империализм есть самая проституированная и самая последняя форма той государственной власти, которая была создана зарождавшимся буржуазным обществом как орудие его освобождения от феодализма, и которую буржуазия, когда она вполне развилась, превратила в орудие порабощения труда капиталом.

Коммуна была прямой противоположностью Империи. Крик: «Да здравствует социальная республика!», которым парижский пролетариат приветствовал февральскую революцию, выражал лишь неясное стремление к такой республике, которая не только уничтожила бы монархическую форму классового господства, но и самое классовое господство. Коммуна и явилась именно определенной формой такой республики.

Париж, бывший резиденцией и центром старой правительственной власти, а вместе с тем и общественным центром французского рабочего класса, — Париж восстал с оружием в руках против попытки Тьера и его помещичьей палаты восстановить и увековечить эту старую правительственную власть, оставшуюся в наследство от Империи. Париж мог сопротивляться Версалю только потому, что осада освободила его от армии, место которой заняла национальная гвардия, комплектовавшаяся большей частью из рабочих. Этот факт надо было превратить в прочное учреждение, и потому первым декретом Коммуны был декрет об уничтожении регулярного войска и о замене его вооруженным народом.

Коммуна была образована из муниципальных советников (городских гласных), выбранных парижскими округами посредством всеобщей подачи голосов. Члены ее были ответственны и сменяемы в любое время. Большинство их было, как это само собою разумеется, рабочими или известными представителями рабочего класса. Коммуна должна была быть не парламентским учреждением, а деловой коллегией, соединявшей в себе как исполнительную, так и законодательную власть. У полиции, бывшей до сих пор под орудием государственного правительства, были немедленно отняты все ее политические функции, и она была превращена в ответственное и во всякое время сменяемое орудие Коммуны. Та же судьба постигла чиновников и другие отрасли правления. Начиная с членов Коммуны и до самых низов, обще-

ственные должности оплачивались жалованьем в размере заработной платы. Привилегии и оклады на представительство, которыми пользовались высшие сановники, исчезли вместе с ними. Общественные должности перестали быть частной собственностью креатур центрального правительства. Не только городское управление, но и вся инициатива, принадлежавшая доселе государству, перешла к Коммуне.

Уничтожив регулярную армию и полицию — эти орудия материальной силы старого правительства, — Коммуна приступила немедленно к сокрушению власти духовенства—этого орудия духовного порабощения; она декретировала распущение и экспроприацию всех церквей, поскольку они были корпорациями, владевшими имуществом. Священники должны были вернуться к скромной жизни честных людей и, подобно их предшественникам—апостолам, жить милостыней верующих. Все учебные заведения, поставленные вне влияния церкви и государства, стали бесплатными для всех. Таким образом школьное образование сделалось доступным всем; с науки были сняты оковы, наложенные классовыми предрассудками и правительственной властью.

Судей лишили той мнимой независимости, которая только скрывала их подчиненность поочередно сменявшимся правительствам; они каждому правительству приносили присягу на верность и каждому изменяли. Как и прочие должностные лица общества, они были сделаны выборными, ответственными и сменяемыми.

Парижская Коммуна должна была служить естественным образцом всем большим промышленным центрам Франции. Если бы Коммуна водворилась в Париже и второстепенных центрах, старое централизованное правительство уступило бы место самоуправлению производителей и в провинциях. В кратком очерке национальной организации, который Коммуна не успела подробно разработать, прямо говорится, что Коммуна должна стать политической формой самых маленьких деревушек, и что постоянное войско должно быть заменено по всей стране народной милицией с самым кратким сроком службы. Собрание уполномоченных, заседающих в главном городе округа, должно было заведывать общими делами всех сельских общин каждого округа, а эти окружные собрания, в свою очередь, должны были посылать уполномоченных в Национальное Собрание, заседающее в Париже; уполномоченные должны были строго придерживаться инструкций своих избирателей и могли быть сменены во всякое время. Немногие, но важные функции, оставшиеся еще у центрального правительства, должны были быть не уничтожены, как ложно говорили враги Коммуны, а лишь переданы коммунальным чиновникам, т.-е. таким, которые были строго ответственны. Коммунальное устройство не разрушало, а, напротив, организовывало единство нации; это единство должно было превратиться в нечто действительное с уничтожением государственной власти, считавшейся воплощением этого единства, претендовавшей стоять

выше нации и независимо от нее, а на деле бывшей только паразитом на организме нации. Уничтожая те органы старой правительственной власти, которые служили только для угнетения, Коммуна вырывала из рук этой власти, претендовавшей стоять выше общества, ее законные функции и отдавала их ответственным слугам общества. Всеобщая подача голосов до сих пор служила народу для выбора каждые три года или шесть лет какого-нибудь члена господствующего класса, который представлял и подавлял народ в парламенте; теперь она должна была служить народу, организованному в коммуны, точно так же, как служит индивидуальное право голоса каждому работодателю при приискании рабочих, надзирателей и бухгалтеров для своего предприятия. Ведь общества, точно так же, как и отдельные лица, всегда умеют найти для своих практических предприятий подходящих людей, а если иногда ошибаются, то умеют очень скоро поправить свою ошибку. С другой стороны, Коммуна, по самому существу своему, была безусловно враждебна замене всеобщей подачи голосов иерархическою инвеституpою.

Все новые исторические формы общества принимаются обыкновенно за осколок с более старых, отживших форм общественной жизни, на которые они сколько-нибудь походят. Точно так же и новую Коммуну, сломившую современную государственную власть, принимали за возрождение коммун средних веков, предшествовавших возникновению этой государственной власти и составивших основу ее. Коммунальное устройство ошибочно считали попыткой заменить союзом маленьких государств (о котором мечтали Монтескье и жирондисты) то единство великих народов, которое хотя и создано было насилием, но стало теперь могущественным фактором общественного производства. Антагонизм Коммуны с государственной властью ошибочно считали преувеличением старой борьбы против чрезмерной централизации. В некоторых странах полному развитию той буржуазной формы правительства, образцом которой является Франция, мешали некоторые особые исторические условия; эти условия создали, например, то, что в Англии главные центральные государственные органы дополняются продажными приходскими собраниями (vestries), корыстолюбивыми членами городских советов, свирепыми попечителями о бедных в городах и фактически наследственными мировыми судьями в деревнях. Все те силы, которые до сих пор общественный организм терял благодаря «государству», этому паразиту, питающемуся соками общества и мешающему ему свободно двигаться, все эти силы вновь отдало бы ему коммунальное устройство. Уже одним этим оно способствовало бы возрождению Франции.

Буржуазия провинциальных городов видела в Коммуне попытку восстановить то господство над деревней, которым она пользовалась при Луи Филиппе и которое при Луи Бонапарте было вытеснено мнимым господством деревень над городами.

В действительности Коммуна хотела подчинить сельских производителей умственному руководству окружных городов и обеспечить им в городских рабочих естественных представителей их интересов. Уже из факта существования Коммуны естественно вытекало местное самоуправление, но это местное самоуправление не должно было больше служить противовесом государственной власти, становившейся совершенно излишней. Только какому-нибудь Бисмарку, употребляющему все время, свободное от интриг, в которых на первом месте всегда кровь и железо, своему старинному, более всего подходящему к его умственным способностям, сотрудничанью в «Kladderadatsch'е», — только такому человеку могло притти в голову, что Парижская Коммуна в сущности стремилась к прусскому городскому устройству, — карикатуре на французское городское устройство 1791 года, превращающей городские советы во второстепенные колеса прусского государственного полицейского механизма.

Уничтожив две крупнейшие статьи расходов: армию и чиновничество, Коммуна осуществила собою идеал всех буржуазных революций — дешевое правительство. Самое существование ее было отрицанием монархии, которая является в Европе, по крайней мере, обычным балластом и неизбежной маской классового господства. Коммуна создала для республики фундамент действительно демократических учреждений. Но ни дешевое правительство ни «истинная республика» не были конечной целью ее; и то и другое явилось само собой, между прочим.

Различные толкования значения Коммуны, разнообразные интересы, которые она выражала, доказывают, что она была весьма растяжимою государственною формою, меж тем как все прежние формы правительства были по существу своему формами угнетения. Тайна ее заключается в том, что она, по существу своему, была *правительством рабочего класса*, результатом борьбы между классом производящим и классом присваивающим, той давно искомой политической формой, в которой могло бы совершиться экономическое освобождение труда.

Без этого последнего условия Коммуна немыслима, без него она — пустой призрак. Политическое господство производителей не может существовать рядом с увековечением их социального рабства. Коммуна должна была поэтому служить орудием ниспровержения тех экономических устоев, на которых зиждется самое существование классов, а следовательно, и классовое господство. Раз труд освобожден, все станут рабочими, и производительный труд перестанет быть особенностью известного класса.

Странная вещь: стоит только рабочим где-нибудь взять дело в свои руки, и тотчас, — несмотря на все, что за последние 60 лет писалось и говорилось об освобождении труда, — начинают раздаваться хвалебные гимны защитников современного общества с его двумя противоположными полюсами: капиталом и рабством наемного труда (земельные собственники являются те-

перь лишь безгласными компаньонами капиталистов). Как будто бы капиталистическое общество пребывало еще в девственной чистоте и непорочности! Как будто бы не развиты были еще его основы, не вскрыты его самообманы, не разоблачена вся его проституированная действительность! Коммуна, говорят они, хочет уничтожить собственность, основу всей цивилизации! Да, милостивые государи, Коммуна хотела уничтожить эту классовую собственность, которая превращает труд многих в богатство немногих. Она хотела экспроприировать экспроприаторов. Она хотела создать индивидуальную собственность взаправду, превратив средства производства, землю и капитал, служащие в настоящее время прежде всего орудиями порабощения и эксплоатации труда, в орудие свободного и объединенного труда.

Но ведь это коммунизм, «невозможный» коммунизм! Однако нашлись же среди господствующих классов люди, — и их немало, — которые поняли, что настоящее положение вещей не может долго существовать; они стали назойливыми и крикливыми апостолами кооперативного производства. А если кооперативное производство не звук пустой и не обман, если оно должно вытеснить капиталистическую систему, если ассоциации организуют национальное производство по общему плану, возьмут его в свое заведывание и этим прекратят постоянную анархию и периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве, — не будет ли это, спрашиваем мы вас, милостивые государи, коммунизмом, «возможным» коммунизмом?

Рабочий класс не требовал чудес от Коммуны. Он не думает осуществлять посредством народного решения готовых и законченных утопий. Он знает, что для того, чтобы добиться своего освобождения и достигнуть той высшей формы жизни, к которой неудержимо стремится современное общество в силу собственного своего экономического развития, ему придется выдержать упорную борьбу, пережить целый ряд исторических процессов, которые совершенно изменят и людей и обстоятельства. Рабочему классу предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, а лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развились в недрах разрушающегося буржуазного общества.

Вполне сознавая свое историческое призвание, полный геройской решимости стоять на высоте этого призвания, рабочий класс может ответить презрительной улыбкой на пошлую ругань газетчиков-лакеев и на ученые назидания благонамеренных буржуа-доктринеров, которые тоном непогрешимого оракула изрекают свои лживые общие места и преподносят свои высиженные рецепты.

Когда Парижская Коммуна взяла на себя руководство революцией, когда простые рабочие впервые решились посягнуть на привилегию своего «естественного начальства»—имущих классов, именно: на привилегию управления,—они взялись за работу при неслыханно тяжелых условиях и исполняли ее скромно, добро-

совестно и успешно; высший размер их вознаграждения не превышал одной пятой части жалованья, получаемого, по словам известного авторитета в науке (проф. Гексли), секретарем лондонского школьного совета. Старый мир скорчило от бешенства, когда он увидел красное знамя над городской ратушей — символ республики труда.

(Маркс. «Гражданская война во Франции». Издание ВЦИК Советов Р. С. К. и К. Депутатов. Москва 1919 г., стр. 41—48.)

* * *

Великим социальным мероприятием Коммуны было ее собственное существование, ее работы. Отдельные меры, предпринимавшиеся ею, могли обозначить только направление, в котором развивается управление народа посредством самого народа. К числу их принадлежали: запрещение ночной работы пекарей; запрещение, под страхом наказания, понижать заработную плату наложением штрафов на рабочих под всевозможными предлогами — обычный прием работодателей, которые, соединяя в своем лице законодательную, судебную и исполнительную власти, кладут штрафные деньги себе в карман. Подобной же мерой была и передача рабочим товариществам всех мастерских и фабрик, владельцы которых бежали или приостановили работы, с предоставлением им права на вознаграждение.

Финансовые меры Коммуны отличались расчетливостью и умеренностью; она должна была ограничиться только мерами, совместимыми с осадным положением города. Под управлением Османа [1]) Париж так обкрадывали банкирские компании и предприниматели построек, что Коммуна имела значительно бо́льшие права конфисковать их имущества, чем Луи Бонапарт имущество Орлеанов. Гогенцоллерны и английские олигархи, бо́льшая часть богатств которых состоит из награбленных церковных имуществ, были сильно возмущены Коммуной, которая получила от конфискации церковных имуществ всего только 8.000 франков.

Версальское правительство, как только оно немного приободрилось и окрепло, стало принимать против Коммуны самые насильственные меры; оно давило во всей Франции всякое свободное выражение мнений, запретило даже собрания делегатов больших городов, оно завело шпионов в Версале и во всей Франции и притом в более широких размерах, чем при Второй Империи; его жандармы-инквизиторы сжигали все издававшиеся в Париже газеты, вскрывали все письма из Парижа и в Париж; Национальное Собрание на самую робкую попытку сказать слово

---

[1]) Барон Осман (Haussmann) был во время Второй Империи префектом Сенского департамента, т.-е. города Парижа. Провел ряд работ по проложению новых улиц и пр. в целях облегчения борьбы с рабочими восстаниями. Прим. ред., русс. перев.

в защиту Парижа отвечало неистовым воем, неслыханным даже в помещичьей палате — Chambre introuvable 1816 года. Версальцы не только вели кровожадную войну против Парижа, но еще старались подкупами и заговорами проникнуть в него. Могла ли Коммуна, при таких условиях, не изменяя позорно своему призванию, соблюдать, как при глубоком мире, условные формы либерализма? Если бы правительство Коммуны было таково же по духу, как и правительство Тьера, то не было бы причин запрещать газеты «партии порядка» в Париже и газеты Коммуны в Версале.

Естественно, что депутаты «помещичьей палаты» бесились, когда, в то время как они объявляли единственным средством для спасения Франции возвращение в лоно церкви, неверующая Коммуна раскрывала тайны женского монастыря Пикпуса и церкви св. Лаврентия. Разве это не было едкой сатирой на Тьера, сыпавшего кресты Почетного Легиона на генералов Бонапарта за их отличное уменье проигрывать сражения, подписывать капитуляции и делать папиросы в Вильгельмсгее, что Коммуна сменяла и арестовывала своих генералов при малейшем подозрении в небрежном исполнении своих обязанностей? Разве это не было пощечиной фабриканту фальшивых документов — Жюлю Фавру, министру иностранных дел Франции, продавшему ее Бисмарку, диктовавшему приказы несравненному бельгийскому правительству, если Коммуна сменила и арестовала одного из членов своих, который вкрался в нее под вымышленным именем после 6-ти дней ареста в Лионе за банкротство? Но Коммуна зато не претендовала на непогрешимость, как это делали все старые правительства без исключения. Она опубликовывала все речи своих заседаний, оглашала все свои действия; она посвящала публику во все свои несовершенства.

(Маркс. «Гражд. война во Франции», стр. 50—52.)

* * *

Если ты просмотришь последнюю главу «18-го Брюмера», ты увидишь, что, по моему мнению, ближайший подъем французской революции будет попыткой не передать бюрократически-военную машину из одних рук в другие, как это было до сих пор, а разрушить эту машину. Именно таково предварительное условие всякой действительно народной революции на континенте. Такова как раз попытка наших геройских парижских товарищей. Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность самопожертвования у этих парижан! После шестимесячного голодания и разорения, вызванного гораздо более внутренней изменой, чем внешним врагом, они восстают под прусскими штыками, как будто войны между Францией и Германией и не было, как будто бы враг не стоял еще у ворот Парижа. История не знает еще примера подобного героизма.

Если они окажутся побежденными, виной будет не что иное, как их «великодушие». Надо было сейчас же итти на Версаль, как только Винуа, а вслед за ним и реакционная часть парижской национальной гвардии бежали из Парижа. Момент был упущен из-за совестливости. Не хотели начинать гражданской войны, как будто чудовищный выродок Тьер не начал ее уже своей попыткой обезоружить Париж. Вторая ошибка — Центральный Комитет слишком рано сложил свои полномочия, чтобы уступить место Коммуне. Опять-таки благодаря «честности», доведенной до мнительности. Как бы там ни было, теперешнее парижское восстание, — если оно даже и будет подавлено волками, свиньями и подлыми псами старого общества, — является славнейшим подвигом нашей партии со времени июньского восстания. Пусть сравнят с этими парижанами, готовыми штурмовать небо, холопов германско-прусской священной Римской империи с ее допотопными маскарадами, отдающими запахом казармы, церкви, юнкерства и, больше всего, филистерства.

(Маркс. Письмо к Кугельману от 12/IV 1871 г. Маркс и Энгельс. «Письма».)

* *

Ввиду громадного развития крупной промышленности за последнее 25-тилетие и связанных с ним успехов партийной организации рабочего класса, ввиду практического опыта, во-первых, февральской революции и еще более Парижской Коммуны, где в первый раз политическая власть находилась в продолжение двух месяцев в руках пролетариата, упомянутая практическая программа[1]) местами устарела. Именно Парижская Коммуна доказала, что «рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и воспользоваться ею для своих собственных целей».

(Маркс и Энгельс. «Предисловие к немецк. изд. «Коммунистического Манифеста», 1872 г.)

* *

Почему антиавторитаристы не ограничиваются тем, чтобы кричать против политического авторитета, против государства. Все социалисты согласны в том, что государство, а вместе с ним и политический авторитет исчезнут вследствие будущей социальной революции, т.-е. что общественные функции потеряют свой по-

[1]) Речь идет о практическо йпрограмме «Коммунист. Манифеста», выдвинутой еще в 1847 г. Что же касается теоретической части, то о ней мы читаем в названном предисловии, что «как ни сильно изменились условия в течение последнего 25-летия, но развитые в этом «Манифесте» общие положения в целом сохранили все свое значение и по настоящее время». *Я. Р.*

литический характер и превратятся в простые административные функции, наблюдающие за социальными интересами. Но антиавторитаристы требуют, чтобы политическое государство было отменено одним ударом еще раньше, чем будут отменены те социальные отношения, которые породили его. Они требуют, чтобы первом актом социальной революции была отмена авторитета.

Видали ли они когда-нибудь революцию, эти господа? Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, т.-е. средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве она продержалась бы дольше одного дня. Не вправе ли мы, наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом. Итак, или авторитаристы не знают сами, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь путаницу, или они это знают, и в этом случае они изменяют делу пролетариата. В обоих случаях они служат только реакции.

(Энгельс. «Принципы авторитета». Цитировано у Ленина: «Государство и революция». Собрание сочинений. Гиз 1924 г. Т. XIV, ч. 2., стр. 347.)

§ 4. ПРОЛЕТАРСКОЕ ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПОСТЕПЕННО ОТМИРАТЬ.

Превращая все большую массу населения в пролетариев, капиталистический способ производства создает и силу, которая принуждена совершить этот переворот под страхом собственной гибели. Толкая все более и более к превращению крупных, обобществленных средств производства в государственную собственность, он сам указывает путь к осуществлению этого переворота. Пролетариат овладевает государственной властью и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность. Но этим самым он прекращает свое собственное существование в виде пролетариата, уничтожает все классовые различия и классовые противоположности, а следовательно, и государство как таковое. Прежнее общество, основанное на классовых противоречиях, нуждалось в государстве как в организации, созданной эксплоатирующим классом каждой эпохи для поддержания внешних условий его производства, следовательно, прежде всего — для насильственного сдерживания эксплоатируемого класса в условиях угнетения, диктуемых данным способом производства (рабство, крепостное состояние, наемный труд). Государство было

официальным представителем всего общества, формой его сплочения в видимое для всех целое, но оно играло такую роль лишь постольку, поскольку было государством того класса, который сам в данное время представлял собою все общество: в древние времена — государством граждан-рабовладельцев, в средние века — государством феодального дворянства, в наше время — государством буржуазии. Когда же оно действительно станет, наконец, представителем всего общества, то само сделает себя излишним. Как скоро не будет больше ни одного общественного класса, который надо держать в угнетенном положении, как скоро с классовым господством, с коренящейся в современной анархии производства борьбой за личное существование и вытекающими отсюда коллизиями и эксцессами будет покончено, — как скоро это произойдет, подавлять больше нечего будет, и, следовательно, не будет никакой надобности в особой репрессивной силе, государстве. Первый акт, в котором государство явится действительным представителем всего общества, завладев средствами производства от имени общества,—он будет в то же время и его последним самостоятельным актом, как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения сделается излишним в одной области за другой и само собой прекратится. На место правления над личностями станет управление вещами и руководство процессами производства. Государство не «упраздняется», оно отмирает. С этой точки зрения и надо оценивать лозунг «о свободном народном государстве», имеющий временное оправдание как агитационное средство, не несостоятельный в конечном научном смысле; она же дает точку опоры для оценки требования анархистов, чтобы государство не сегодня-завтра же было упразднено.

(Энгельс: «Анти-Дюринг».)

§ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТМИРАНИЯ ГОСУДАРСТВА.

Самое обстоятельное разъяснение этого вопроса дано Марксом в его «Критике Готской программы» (письмо к Бракке от 5 мая 1875 г., напечатанное только в 1891 г. в «Neue Zeit», IX, 1, и вышедшее по-русски отдельным изданием). Полемическая часть этого замечательного произведения, состоящая в критике лассальянства, затенила, так сказать, его положительную часть, именно: анализ связи между развитием коммунизма и отмиранием государства.

1. Постановка вопроса Марксом.

При поверхностном сравнении письма Маркса к Бракке от 5 мая 1875 года и письма Энгельса к Бебелю от 28 марта 1875 г. может показаться, что Маркс гораздо более «государственник»

чем Энгельс, и что различие между взглядами обоих писателей на государство очень значительное.

Энгельс предлагает Бебелю вовсе бросить болтовню о государстве, изгнать совершенно слово «государство» из программы, заменив его словом «община»; Энгельс заявляет даже, что Коммуна не была уже государством в собственном смысле. Между тем Маркс говорит даже о «будущей государственности коммунистического общества», т.-е. как будто бы признает необходимость государства даже при коммунизме.

Но подобный взгляд был бы в корне неправилен. Ближайшее рассмотрение показывает, что взгляды Маркса и Энгельса на государство и его отмирание вполне совпадают, а приведенное выражение Маркса относится именно к этой отмирающей государственности.

Ясно, что не может быть и речи об определении момента будущего «отмирания», тем более, что оно представляет из себя заведомо процесс длительный. Кажущееся различие между Марксом и Энгельсом объясняется различием тех задач, которые они себе брали, задач, которые они преследовали. Энгельс ставил задачей наглядно, резко, в крупных штрихах показать Бебелю всю нелепость ходячих (и разделявшихся Лассалем в немалой степени) предрассудков насчет государства. Маркс только мимоходом касается этого вопроса, интересуясь другой темой: развитием коммунистического общества.

Вся теория Маркса есть применение теории развития — в ее наиболее последовательной, полной, продуманной и богатой содержанием форме — к современному капитализму. Естественно, что для Маркса встал вопрос о применении этой теории и к предстоящему краху капитализма, и к будущему развитию будущего коммунизма.

На основании каких же данных можно ставить вопрос о будущем развитии будущего коммунизма?

На основании того, что он происходит из капитализма, исторически развивается из капитализма, является результатом действий такой общественной силы, которая рождена капитализмом. У Маркса нет ни тени попыток сочинять утопии, попустому гадать насчет того, чего знать нельзя. Маркс ставит вопрос о коммунизме, как естествоиспытатель поставил бы вопрос о развитии новой, скажем, биологической разновидности, раз мы знаем, что она так-то возникла и в таком-то определенном направлении видоизменяется.

Маркс прежде всего отметает прочь ту путаницу, которая Готской программой вносится в вопрос о соотношении государства и общества.

> «...Современное общество, — пишет он, — есть капиталистическое общество, которое существует во всех цивилизованных странах, более или менее свободное от примеси средневековья, более или менее видоизмененное особенно-

стями исторического развития каждой страны, более или менее развитое. Напротив того, «современное государство» меняется с каждой государственной границей. В Прусско-Германской империи оно совершенно иное, чем в Швейцарии, в Англии совершенно иное, чем в Соединенных Штатах. «Современное государство» есть, следовательно, фикция.

Однако, несмотря на пестрое разнообразие их форм, различные государства различных цивилизованных стран имеют между собой то общее, что они стоят на почве современного буржуазного общества, более или менее капиталистически развитого. У них есть поэтому некоторые общие существенные признаки. В этом смысле можно говорить о «современной государственности» в противоположность тому будущему, когда отомрет теперешний ее корень, буржуазное общество.

Вопрос ставится затем так: какому превращению подвергнется государственность в коммунистическом обществе? Другими словами: какие общественные функции останутся тогда, аналогичные теперешним государственным функциям? На этот вопрос можно ответить только научно; и сколько бы тысяч раз ни сочетать слово «народ» со словом «государство», это ни капельки не подвинет его разрешения»...

Высмеяв таким образом все разговоры о «народном государстве», Маркс дает постановку вопроса и как бы предостерегает, что для научного ответа на него можно оперировать только твердо установленными научными данными.

Первое, что установлено вполне точно всей теорией развития, всей наукой вообще,—и что забывали утописты, что забывают нынешние оппортунисты, боящиеся социалистической революции,—это то обстоятельство, что исторически, несомненно, должна быть особая стадия, или особый этап *перехода* от капитализма к коммунизму.

2. Переход от капитализма к коммунизму.

«...Между капиталистическим и коммунистическим обществом, — продолжает Маркс, — лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть не чем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата*».

Этот вывод покоится у Маркса на анализе той роли, которую играет пролетариат в современном капиталистическом обществе, на данных о развитии этого общества и о непримиримости противоположных интересов пролетариата и буржуазии.

Раньше вопрос ставился так: чтобы добиться своего освобождения, пролетариат должен свергнуть буржуазию, завоевать политическую власть, установить свою революционную диктатуру.

Теперь вопрос ставится несколько иначе: переход от капиталистического общества, развивающегося к коммунизму, в коммунистическое общество невозможен без «политического переходного периода», и государством этого периода может быть лишь революционная диктатура пролетариата.

Каково же отношение этой диктатуры к демократии?

Мы видели, что «Коммунистический Манифест» ставит просто рядом два понятия: «превращение пролетариата в господствующий класс» и «завоевание демократии». На основании всего изложенного выше можно точнее определить, как изменяется демократия в переходе от капитализма к коммунизму.

В капиталистическом обществе, при условии наиболее благоприятного развития его, мы имеем более или менее полный демократизм в демократической республике. Но этот демократизм всегда сжат тесными рамками капиталистической эксплоатации и всегда остается поэтому, в сущности, демократизмом для меньшинства, только для имущих классов, только для богатых. Свобода капиталистического общества всегда остается приблизительно такой же, какова была свобода в древних греческих республиках: свобода для рабовладельцев. Современные наемные рабы, в силу условий капиталистической эксплоатации, остаются настолько задавленными нуждой и нищетой, что им «не до демократии», «не до политики», что при обычном, мирном течении событий большинство населения от участия в общественно-политической жизни отстранено.

Правильность этого утверждения всего нагляднее, может быть, подтверждается Германией, именно потому, что в этом государстве конституционная легальность продержалась удивительно долго и устойчиво полвека (1871—1914 г.г.), и социал-демократия за это время гораздо больше, чем в других странах, сумела сделать для «использования легальности» и для организации такой высокой доли рабочих в политическую партию, как нигде в свете.

Какова же эта наиболее высокая из наблюдавшихся в капиталистическом обществе доля политически сознательных и деятельных наемных рабов? Один миллион членов партии с.-д. из 15 миллионов наемных рабочих! Три миллиона профессионально организованных из 15 миллионов!

Демократия для ничтожного меньшинства, демократия для богатых, — вот каков демократизм капиталистического общества. Если присмотреться поближе к механизму капиталистической демократии, то увидим везде и повсюду—и в «мелких», якобы, мелких, подробностях избирательного права (ценз оседлости, исключение женщин и т. д.), и в технике представительных учреждений, и в фактических препонах праву собрания (общественные здания не для «нищих»), и в чисто капиталистической организации ежедневной прессы, и так далее, и так далее,— мы увидим ограничения за ограничения демократизма. Эти огра-

ничения, изъятия, исключения, препоны для бедных кажутся мелкими, — особенно на глаз того, кто сам никогда нужды не видал и с угнетенными классами в их массовой жизни близок не был (а таково девять десятых, если не девяносто девять сотых, буржуазных публицистов и политиков), но в сумме взятые эти ограничения исключают, выталкивают бедноту из политики, из активного участия в демократии.

Маркс великолепно схватил эту суть капиталистической демократии, сказав в своем анализе опыта Коммуны: «угнетенным раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их!».

Но от этой капиталистической демократии—неизбежно узкой, тайком отталкивающей бедноту, а поэтому насквозь лицемерной и лживой—развитие вперед не идет просто, прямо и гладко «ко все большей и большей демократии», как представляют дело либеральные профессора и мелкобуржуазные оппортунисты. Нет. Развитие вперед, т.-е. к коммунизму, идет через диктатуру пролетариата и иначе итти не может, ибо сломить сопротивление эксплоататоров-капиталистов больше некому и иным путем нельзя.

А диктатура пролетариата, т.-е. организация авангарда угнетенных в господствующий класс для подавления угнетателей, не может дать просто только расширения демократии. Вместе с громадным расширением демократизма, впервые становящегося демократизмом для бедных, демократизмом для народа, а не демократизмом для богатеньких, диктатура пролетариата дает ряд изъятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплоататорам, капиталистам. Их мы должны подавить, чтобы освободить человечество от наемного рабства, их сопротивление надо сломить силой, — ясно, что там, где есть подавление, есть насилие, нет свободы, — нет демократии.

Энгельс прекрасно выразил это в письме к Бебелю, сказав, что «пролетариат нуждается в государстве не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда можно будет говорить о свободе,—не будет государства».

Демократия для гигантского большинства народа и подавление силой, т.-е. исключение из демократии эксплоататоров, угнетателей народа, — вот каково видоизменение демократии при переходе от капитализма к коммунизму.

Только в коммунистическом обществе, когда сопротивление капиталистов уже окончательно сломлено, когда капиталисты исчезли, когда нет классов (т.-е. нет различия между членами общества по их отношению к общественным средствам производства), — только тогда «исчезает государство и можно говорить о свободе». Только тогда, возможно, и будет осуществлена демократия действительно полная, действительно без всяких изъятий. И только тогда демократия начнет отмирать

в силу того простого обстоятельства, что, избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей, нелепостей, гнусностей капиталистической эксплоатации, люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, без особого аппарата для принуждения, который называется государством.

Выражение «государство отмирает» выбрано очень удачно, ибо оно указывает и на постепенность процесса и на стихийность его. Только привычка может оказать и, несомненно, окажет такое действие, ибо мы кругом себя наблюдаем миллионы раз, как легко привыкают люди к соблюдению необходимых для них правил общежития, если нет эксплоатации, если нет ничего такого, что возмущает, вызывает протест и восстание, создает необходимость подавления.

Итак, в капиталистическом обществе мы имеем демократию урезанную, убогую, фальшивую, демократию только для богатых, для меньшинства. Диктатура пролетариата, период перехода к коммунизму, впервые даст демократию для народа, для большинства, на-ряду с необходимым подавлением меньшинства, эксплоататоров. Коммунизм один только в состоянии дать демократию действительно полную, и чем она полнее, тем скорее она станет ненужной, отомрет сама собой.

Другими словами, при капитализме мы имеем государство в собственном смысле слова, особую машину для подавления одного класса другим и притом большинства меньшинством. Понятно, что для успеха такого дела, как систематическое подавление меньшинством эксплоататоров большинства эксплоатируемых, нужно крайнее свирепство, зверство подавления, нужны моря крови, через которые человечество и ведет свой путь в состоянии рабства, крепостничества, наемничества.

Далее, при переходе от капитализма к коммунизму подавление еще необходимо, но уже подавление меньшинства эксплоататоров большинством эксплоатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления, «государство» еще необходимо, но это уже переходное государство, это уже не государство в собственном смысле, ибо подавление меньшинства эксплоататоров большинством вчерашних наемных рабов — дело настолько сравнительно легкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, крепостных, наемных рабочих, что оно обойдется человечеству гораздо дешевле. И оно совместимо с распространением демократии на такое подавляющее большинство населения, что надобность в особой машине для подавления начинает исчезать. Эксплоататоры, естественное дело, не в состоянии подавить народ без сложнейшей машины для выполнения такой задачи, но народ подавить эксплоататоров может и при очень простой «машине»,

почти что без «машины», без особого аппарата, простой организацией вооруженных масс (вроде Советов Рабочих и Солдатских Депутатов — заметим, забегая вперед).

Наконец, только коммунизм создает полную ненадобность государства, ибо некого подавлять, — «некого» в смысле класса, в смысле систематической борьбы с определенной частью населения. Мы не утописты и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных лиц, а равно необходимости подавлять такие эксцессы. Но, во-первых, для этого не нужна особая машина, особый аппарат подавления, это будет делать сам вооруженный народ с такой же простотой и легкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимает дерущихся или не допускает насилия над женщиной. А, во-вторых, мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплоатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут «отмирать». Мы не знаем, как быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут отмирать. С их отмиранием отомрет и государство.

Маркс, не пускаясь в утопии, определил подробнее то, что можно теперь определить относительно этого будущего, именно: различие низшей и высшей фазы (ступени, этапа) коммунистического общества.

3. Первая фаза коммунистического общества.

В «Критике Готской программы» Маркс опровергает подробно лассалевскую идею о получении рабочим при социализме «неурезанного» или «полного продукта труда». Маркс показывает, что из всего общественного труда всего общества необходимо вычесть и резервный фонд, и фонд на расширение производства, и в возмещение «сношенных» машин и т. п., а затем из предметов потребления—фонд на издержки управления, на школы, больницы, приюты престарелых и т. п.

Вместо туманной, неясной, общей фразы Лассаля («полный продукт труда — рабочему») Маркс дает трезвый учет того, как именно социалистическое общество вынуждено будет хозяйничать. Маркс подходит к конкретному анализу условий жизни такого общества, в котором не будет капитализма, и говорит при этом:

> «Мы имеем здесь дело» (при разборе программы рабочей партии) «не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях: в экономическом, нравственном и умственном, носит еще отпечаток старого общества, из недр которого оно вышло».

Вот это коммунистическое общество, которое только что вышло на свет божий из недр капитализма, которое носит во всех отношениях отпечаток старого общества, Маркс и называет «первой» или низшей фазой коммунистического общества.

Средства производства уже вышли из частной собственности отдельных лиц. Средства производства принадлежат всему обществу. Каждый член общества, выполняя известную долю общественно-необходимой работы, получает удостоверение от общества, что он такое-то количество работы отработал. По этому удостоверению он получает из общественных складов предметов потребления соответственное количество продуктов. За вычетом того количества труда, которое идет на общественный фонд, каждый рабочий, следовательно, получает от общества столько же, сколько он ему дал.

Царствует как будто бы «равенство».

Но когда Лассаль говорит, имея в виду такие общественные порядки (обычно называемые социализмом, а у Маркса носящие название первой фазы коммунизма), что это—«справедливое распределение», что это—«равное право каждого на равный продукт труда», то Лассаль ошибается, и Маркс разъясняет его ошибку.

«Равное право, — говорит Маркс, — мы здесь действительно имеем, но это еще «буржуазное право», которое, как и всякое право, предполагает неравенство. Всякое право есть применение одинакового масштаба к различным людям, которые на деле не одинаковы, не равны друг другу; и потому «равное право» есть нарушение равенства и несправедливость». В самом деле, каждый получает, отработав равную с другим долю общественного труда, — равную долю общественного производства (за указанными вычетами).

А между тем отдельные люди не равны: один сильнее, другой слабее; один женат, другой нет, у одного больше детей, у другого меньше и т. д.

> «...При равном труде, — заключает Маркс, — следовательно, при равном участии в общественном потребительном фонде, один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и т. д. Чтобы избежать всего этого, право вместо того, чтобы быть равным, должно бы быть неравным».

Справедливости и равенства, следовательно, первая фаза коммунизма дать еще не может: различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможна будет эксплоатация человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и пр. в частную собственность. Развивая мелкобуржуазно-неясную фразу Лассаля о «равенстве» и «справедливости» вообще, Маркс показывает ход развития коммунистического общества, которое вынуждено сначала уничтожить только ту «несправедливость», что средства производства захвачены отдельными лицами,

и которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления «по работе» (а не по потребностям).

Вульгарные экономисты, в том числе буржуазные профессора, в том числе «наш» Туган, постоянно упрекают социалистов, будто они забывают о неравенстве людей и «мечтают» уничтожить это неравенство. Такой упрек, как видим, доказывает только крайнее невежество г.г. буржуазных идеологов.

Маркс не только точнейшим образом учитывает неизбежное неравенство людей, он учитывает также то, что один еще переход средств производства в общую собственность всего общества («социализм» в обычном словоупотреблении) не устраняет недостатков распределения и неравенства «буржуазного права», которое продолжает господствовать, поскольку продукты делятся «по работе».

> «...Но эти недостатки, — продолжает Маркс, — неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит, после долгих мук родов, из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества».

Таким образом в первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут социализмом) «буржуазное право» отменяется не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, т.-е. лишь по отношению к средствам производства. «Буржуазное право» признает их частной собственностью отдельных лиц. Социализм делает их общей собственностью. Постольку—и лишь постольку—«буржуазное право» отпадает.

Но оно остается все же в другой своей части, остается в качестве регулятора (определителя) распределения продуктов и распределения труда между членами общества. «Кто не работает, тот не должен есть», — этот социалистический принцип уже осуществлен; «за равное количество труда равное количество продукта» — и этот социалистический принцип уже осуществлен. Однако это еще не коммунизм, и это еще не устраняет «буржуазного права», которое неравным людям за неравное (фактически неравное) количество труда дает равное количество продукта.

Это — «недостаток», — говорит Маркс, — но он неизбежен в первой фазе коммунизма, ибо, не впадая в утопизм, нельзя думать, что, свергнув капитализм, люди сразу научатся работать на общество без всяких норм права, да и экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма не дает сразу.

А других норм, кроме «буржуазного права», нет. И постольку остается еще необходимость в государстве, которое бы,

сохраняя общую собственность на средства производства, охраняло равенство труда и равенство дележа продукта.

Государство отмирает, поскольку капиталистов уже нет, классов уже нет, подавлять поэтому какой бы то ни было класс нельзя.

Но государство еще не отмерло совсем, ибо остается охрана «буржуазного права», освящающего фактическое неравенство. Для полного отмирания государства нужен полный коммунизм.

(Ленин. «Государство и революция». Собрание сочинений. Гиз 1924 г. Т. XIV, ч. 2, стр. 364—374.)

XIII. БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ СИСТЕМУ КАК СОВРЕМЕННУЮ ФОРМУ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ.

§ 1. СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА КАК НОВЫЙ ТИП ГОСУДАРСТВА.

Советы Рабочих, Солдатских, Крестьянских и прочих Депутатов не поняты не только в том отношении, что большинству неясно их классовое значение, их роль в русской революции. Они не поняты еще и в том отношении, что они представляют из себя новую форму, вернее, новый тип государства.

Наиболее современным передовым из буржуазных государств является тип парламентарной демократической республики: власть принадлежит парламенту; государственная машина, аппарат и орган управления обычны: постоянная армия, полиция, чиновничество, фактически несменяемое, привилегированное, стоящее над народом.

Но революционные эпохи, начиная с конца XIX века, выдвигают высший тип демократического государства, такого государства, которое в некоторых отношениях перестает уже, по выражению Энгельса, быть государством, «не является государством в собственном смысле слова». Это — государство типа Парижской Коммуны, заменяющее особую от народа армию и полицию прямым и непосредственным вооружением самого народа. В этом суть Коммуны, которую оболгали и оклеветали буржуазные писатели, которой ошибочно приписывали, между прочим, намерение немедленно «ввести» социализм.

Именно такого типа государство начала создавать русская революция в 1905 и в 1917 г.г. Республика Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и прочих Депутатов, объединенных Всероссийским Учредительным Собранием народных представителей, или Советом Советов и т. п.,—вот что уже входит в жизнь. У нас теперь, в данное время, по инициативе многомиллионного народа, самочинно творящего демократию по-своему, не дожидающегося ни того, как господа профессора-кадеты напишут свои проекты законов для парламентарной буржуазной республики, — ни того, как педанты и рутинеры мелкобуржуазной «социал-демократии», в виде господина Плеханова или Каутского, откажутся от их искажения учения марксизма по вопросу о государстве.

Марксизм отличается от анархизма тем, что признает необ-

ходимость государства и государственной власти в революционный период вообще, в эпоху перехода от капитализма к социализму в частности.

Марксизм отличается от мелкобуржуазного, оппортунистического «социал-демократизма» господ Плеханова, Каутского и К° тем, что признает необходимость для указанных периодов не такого государства, как обычная парламентарская буржуазная республика, а такого, как Парижская Коммуна.

Главные отличия этого последнего типа государства от старого следующие:

От парламентарной буржуазной республики возврат к монархии совсем легок (как и доказала история), ибо остается неприкосновенной вся машина угнетения: армия, полиция, чиновничество. Коммуна и Советы Рабочих, Солдатских, Крестьянских и т. п. Депутатов разбивают и устраняют эту машину.

Парламентская буржуазная республика стесняет, душит самостоятельную политическую жизнь масс, их непосредственное участие в демократическом строительстве всей государственной жизни снизу доверху. Обратное — Советы Рабочих и Солдатских Депутатов.

Последние воспроизводят тот тип государства, какой вырабатывался Парижской Коммуной и который Маркс назвал «открытой, наконец, политической формой, в которой может произойти экономическое освобождение трудящихся».

Обычно возражают: русский народ еще не подготовлен к «введению» Коммуны. Это — довод крепостников, говоривших о неподготовленности крестьян к свободе. Никаких преобразований, не назревших абсолютно и в экономической действительности и в сознании подавляющего большинства народа, Коммуна, т.-е. Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов, не «вводит», не предполагает «вводить» и не должна «вводить». Чем сильнее экономический крах и порождаемый войною кризис, тем настоятельнее необходимость наиболее совершенной политической формы, облегчающей излечение ужасных ран, нанесенных человечеству войной. Чем меньше у русского народа организационного опыта, тем решительнее надо приступать к организационному строительству самого народа, а не одних только буржуазных политиканов и чиновников с «доходными местечками».

(Ленин. «Задачи пролетариата в нашей революции». Собрание сочинений. Гиз. 1924 г. Т. XIV, ч. 1, стр. 46—48.)

§ 2. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ МЕЛКОБУРЖУАЗНОГО СОЦИАЛИЗМА.

Конституционными иллюзиями называется политическая ошибка, состоящая в том, что люди принимают за существующий нормальный правовой, упорядоченный, подзаконный, короче: «кон-

ституционный» порядок, хотя его в действительности не существует. Может показаться на первый взгляд, что в современной России, в июле 1917 г., когда конституции никакой еще не выработано, не может быть и речи о возникновении конституционных иллюзий. Но это — глубокая ошибка. На самом деле весь гвоздь всего современного политического положения России состоит в том, что чрезвычайно широкие массы населения проникнуты конституционными иллюзиями. Нельзя ровно ничего понять в современном политическом положении России, не поняв этого. Нельзя сделать решительно ни одного шага к правильной постановке тактических задач в современной России, не поставив во главу угла систематическое и беспощадное разоблачение конституционных иллюзий, раскрытие всех их корней, восстановление правильной политической перспективы.

Возьмем три мнения, наиболее тяжелых для современных конституционных иллюзий, и разберем их повнимательнее.

Первое мнение: наша страна переживает канун Учредительного Собрания; поэтому все происходящее теперь имеет временный, переходящий, не очень существенный, не решающий характер; все будет вскоре пересмотрено и окончательно установлено Учредительным Собранием. Второе мнение: известные партии, — например, эсеры или меньшевики или союз их,—имеют явное и несомненное большинство в народе или в «влиятельнейших» учреждениях, вроде Советов; поэтому воля этих партий, этих учреждений, как и вообще воля большинства народа, не может быть обойдена, или, тем более, нарушена в республиканской, демократической, революционной России. Третье мнение: известная мера, например, закрытие газеты «Правда», не узаконена ни Временным Правительством, ни Советами; поэтому она является лишь эпизодом, случайным явлением, она никак не может быть рассматриваема как нечто решающее.

Перейдем к разбору каждого из этих мнений.

* * *

Созыв Учредительного Собрания обещан Временным Правительством еще первого состава. Оно признало главной своей задачей доведение страны до Учредительного Собрания. Временное Правительство второго состава назначило срок созыва Учредительного Собрания на 30 сентября. Временное Правительство третьего состава, после 4 июля, торжественнейшим образом подтвердило этот срок.

А между тем 99 шансов из 100 за то, что в этот срок Учредительное Собрание созвано не будет. Будь оно созвано в этот срок, — 99 шансов из ста опять-таки за то, что оно будет столь же бессильно и никчемно, как первая Дума, пока не победит вторая революция в России. Чтобы убедиться в этом, достаточно отвлечься на минуту от той шумихи фраз, обещаний

и мелочей дня, которая засоряет мозги, и поглядеть на основное, на всеопределяющее в общественной жизни: на классовую борьбу.

Что буржуазия в России теснейшим образом слилась с помещиками, это ясно. Вся пресса, все выборы, вся политика партии к.-д. и партий правее их, все выступления «съездов» «заинтересованных» лиц доказывают это.

Буржуазия превосходно понимает то, чего не понимают мелкобуржуазные болтуны из эсеров и «левых» меньшевиков,—именно, что н е л ь з я отменить частную собственность на землю в России—и притом без выкупа—без гигантской экономической революции, без взятия под общенародный контроль банков, без национализации синдикатов, без ряда самых беспощадных революционных мер против капитала. Буржуазия превосходно понимает это. И в то же время она не может не знать, не видеть, не осязать, что громадное большинство крестьян в России не только выскажется теперь за конфискацию помещичьих земель, но и окажется значительно левее Чернова. Ибо буржуазия знает больше нашего как о том, сколько частичных уступочек делал он, Чернов, хотя бы с 6 мая по 2 июля, в вопросах об оттягивании и урезывании различных крестьянских требований, так и о том, сколько труда стоило п р а в ы м эсерам (Чернов ведь считается у эсеров «центром»!) на крестьянском съезде и в Исполнительном Комитете Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов «успокаивать» крестьян и кормить их завтраками.

Буржуазия отличается от мелкой буржуазии тем, что из своего экономического и политического опыта она извлекла понимание условий сохранения «порядка» (т.-е. порабощение масс) при капиталистическом строе.

Буржуа — люди деловые, люди крупного торгового расчета, привыкшие и к вопросам политики подходить строго деловым образом, с недоверием к словам, с умением брать быка за рога.

Учредительное Собрание в современной России даст большинство крестьянам, более левым, чем эсеры. Это буржуазия знает. Зная это, она не может не бороться самым решительным образом против скорого созыва Учредительного Собрания. Вести империалистскую войну в духе тайных договоров, заключенных Николаем II, отстаивать помещичье землевладение или выкуп, все это — невозможное или неимоверно трудное дело при Учредительном Собрании. Война не ждет. Классовая борьба не ждет. Даже короткий промежуток времени с 28 февраля по 21 апреля наглядно показал это.

С самого начала революции наметились два взгляда на Учредительное Собрание. Эсеры и меньшевики, насквозь пропитанные конституционными иллюзиями, смотрели на дело с доверчивостью мелкого буржуа, не желающего знать классовой борьбы: Учредительное Собрание будет, и баста! Что сверх того, то от лукавого.

А большевики говорили: лишь в меру укрепления силы и

власти Советов созыв Учредительного Собрания и успех его обеспечены. У меньшевиков и эсеров центр тяжести переносился на юридический акт: провозглашение, обещание, декларирование созыва Учредительного Собрания.

У большевиков центр тяжести переносился на классовую борьбу: если Советы победят, Учредительное Собрание будет обеспечено, если нет, — оно не обеспечено.

Так и вышло. Буржуазия все время вела то скрытую, то явную, то непрерывную, неуклонную борьбу против созыва Учредительного Собрания. Эта борьба выражалась в желании оттянуть его созыв до окончания войны. Эта борьба выражалась в ряде оттяжек назначенного срока созыва Учредительного Собрания. Когда, наконец, после 18 июля, более месяца спустя после образования каолиционного министерства, был назначен срок созыва Учредительного Собрания, московская буржуазная газета заявила, что это сделано под влиянием агитации большевиков. В «Правде» была приведена точная цитата из этой газеты.

После 4 июля, когда услужливость и запуганность эсеров и меньшевиков дала «победу» контр-революции, в «Речи» проскользнуло краткое, но в высшей степени замечательное выражение: «возможно скорый» созыв Учредительного Собрания!!

А 16 июля в «Воле Народа» и в «Русской Воле» появляется заметка, что кадеты требуют отсрочки созыва Учредительного Собрания под предлогом «невозможности» созвать его в такой «короткий» срок, и лакействующий перед контр-революцией меньшевик Церетели соглашается уже, согласно этой заметке, на отсрочку до 20 ноября.

Нет сомнения, что подобная заметка могла проскользнуть только против воли буржуазии. Ей невыгодны такие «разоблачения». Но шила в мешке не утаишь. Распоясавшаяся после 4 июля контр-революция пробалтывается. Первый же захват власти контр-революционной буржуазией после 4 июля сопровождается немедленно шагом (и очень серьезным шагом) п р о т и в созыва Учредительного Собрания.

Это — факт. И этот факт вскрывает всю пустоту конституционных иллюзий. Без новой революции в России, без отказа народом в доверии партиям эсеров и меньшевиков, партиям соглашательства с буржуазией, Учредительное Собрание либо не будет собрано вовсе, либо будет «франкфуртской говорильней», бессильным, никчемным собранием мелких буржуа, до-смерти запуганных войной и перспективой «бойкота власти» буржуазией, беспомощно мечущихся между потугами править без буржуазии и боязнью обойтись без буржуазии.

Вопрос об Учредительном Собрании п о д ч и н е н вопросу о ходе и исходе классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом. Помнится, «Рабочая Газета» сболтнула однажды, что Учредительное Собрание будет конвентом. Это — один из образцов пустой, жалкой, презренной похвальбы наших меньшевист-

ских лакеев контр-революционной буржуазии. Чтобы не быть «франкфуртской говорильней» или первой Думой, чтобы быть конвентом, для этого надо сметь, уметь, иметь силу наносить беспощадные удары контр-революции, а не соглашаться с нею. Для этого надо, чтобы власть была в руках самого передового, самого решительного, самого революционного для данной эпохи класса. Для этого надо, чтобы он был поддержан всей массой городской и деревенской бедноты (полупролетариев). Для этого нужна решительная борьба с контр-революционной буржуазией прежде всего.

Таковы реальные, классовые, материальные условия конвента. Достаточно точно и ясно перечислить эти условия, чтобы понять, как смешна похвальба «Рабочей Газеты», как бездонно глупы конституционные иллюзии эсеров и меньшевиков насчет Учредительного Собрания в современной России.

* * *

Бичуя мелкобуржуазных «социал-демократов» 1848 г., Маркс особенно жестоко клеймил их безудержное фразерство насчет «народа» и большинства народа вообще. Именно это уместно вспомнить при разборе второго мнения при анализе конституционных иллюзий насчет «большинства».

Чтобы большинство действительно решало в государстве, для этого нужны определенные реальные условия. Именно: должен быть прочно установлен такой государственный порядок, такая государственная власть, которая давала бы возможность решать дела по большинству и обеспечивала превращение этой возможности в действительность. Это—с одной стороны. С другой стороны, необходимо, чтобы это большинство по своему классовому составу, по соотношению тех или иных классов внутри этого большинства (и вне его) *могло* дружно и успешно везти государственную колесницу. Для всякого марксиста ясно, что эти два реальные условия играют решающую роль в вопросе о большинстве народа и о ходе государственных дел, согласно воле этого большинства. А между тем вся политическая литература эсеров и меньшевиков, а еще более все политическое поведение их обнаруживают полнейшее непонимание этих условий.

Если политическая власть в государстве находится в руках такого класса, интересы коего совпадают с интересами большинства, тогда управление государством действительно, согласно воле большинства, возможно.

Если же политическая власть находится в руках класса, интересы коего с интересами большинства расходятся, тогда всякое правление по большинству неизбежно превращается в обман или подавление этого большинства. Всякая буржуазная республика показывает нам сотни и тысячи примеров этого. В России буржуазия господствует и экономически и политически. Инте-

ресы ее, особенно во время империалистской войны, самым резким образом расходятся с интересами большинства. Поэтому весь гвоздь вопроса при материалистической, марксистской, а не формально-юридической постановке его состоит в разоблачении этого расхождения, в борьбе против обмана масс буржуазией.

Наши эсеры и меньшевики, наоборот, вполне доказали и показали свою действительную роль, как орудия обмана масс («большинства») буржуазией, проводников и пособников такого обмана. Как бы искренни ни были отдельные лица эсеров и меньшевиков, их основные политические идеи — будто можно вырваться из империалистической войны к «миру без аннексий и контрибуций», без диктатуры пролетариата и победы социализма, будто возможен переход земли к народу без выкупа и «контроль» над производством в интересах народа без того же самого условия, — эти основные политические (и экономические, конечно) идеи эсеров и меньшевиков представляют из себя объективно именно мелкобуржуазный самообман или, что то же, обман масс («большинства») буржуазией.

Вот наша первая и главная «поправка» к постановке вопроса о большинстве мелкобуржуазными демократами, социалистами луиблановского типа, эсерами и меньшевиками: чего стоит на деле «большинство», когда большинство само по себе есть лишь момент формальный, а материально, в действительности, это большинство есть большинство партий, проводящих в жизнь обман этого большинства буржуазией?

И конечно, — здесь мы подходим ко второй «поправке», ко второму из указанных выше основных обстоятельств,—конечно, этот обман можно правильно понять, лишь выяснив его классовые корни и его классовое значение. Это не личный обман, не «жульничество» (выражаясь грубо), это обманчивая идея, вытекающая из экономического положения класса. Мелкий буржуа находится в таком экономическом положении, его жизненные условия таковы, что он не может не обманываться, он тяготеет невольно и неизбежно то к буржуазии, то к пролетариату. Самостоятельной «линии» у него экономически быть не может.

Его прошлое влечет его к буржуазии, его будущее — к пролетариату. Его рассудок тяготеет к последнему, его предрассудок (по известному выражению Маркса) — к первому. Чтобы большинство народа могло стать действительным большинством в управлении государством, действительным служением интересам большинства, действительной охраной его прав и так далее, для этого нужно определенное классовое условие. Это условие: присоединение большинства мелкой буржуазии, по крайней мере, в решающий момент и в решающем месте, к революционному пролетариату.

Без этого большинство есть фикция, которая может держаться некоторое время, блистать, сверкать, шуметь, пожинать лавры, но которая все же с абсолютной неизбежностью осуждена на

крах. Именно таков, между прочим, крах большинства, имевшегося у эсеров и меньшевиков, обнаружившийся в русской революции в июле 1917 года.

Далее. Революция именно тем и отличается от «обычного положения» дел в государстве, что спорные вопросы государственной жизни решает непосредственно борьба классов и борьба масс вплоть до решительных ее форм, иначе не может быть, раз массы свободны и вооружены. Из этого основного факта вытекает то, что в революционное время недостаточно выявить «волю большинства», — нет, надо **оказаться сильнее** в решающий момент, в решающем месте, надо **победить**. Начиная с средневековой «крестьянской войны» в Германии и продолжая всеми крупными революционными движениями и эпохами вплоть до 1848 и 1871 годов, вплоть до 1905 года мы видим бесчисленные примеры тому, как более организованное, более сознательное, лучше вооруженное меньшинство навязывает свою волю большинству, побеждая его.

Фр. Энгельс особенно подчеркивал урок опыта, объединяющий до известной степени крестьянское восстание XVI века и революцию 1848 года в Германии, именно: разрозненность выступлений, отсутствие централизации у угнетенных масс, связанное с их мелкобуржуазным жизненным положением. И с этой стороны подходя к делу, мы приходим к тому же выходу: простое большинство мелкобуржуазных масс еще ничего не решают и решить не может, ибо организованность, политическую сознательность выступлений, их централизацию (необходимую для победы), — все это в состоянии дать распыленным миллионам сельских мелких хозяев **только** руководство ими либо со стороны буржуазии, либо со стороны пролетариата.

В конце концов, решает, как известно, вопросы общественной жизни классовая борьба в ее самой резкой, самой острой форме, именно в форме гражданской войны. А в этой войне, как и во всякой войне, решает—это тоже известный и никем в принципе не оспариваемый факт — экономика. Крайне характерно и знаменательно, что ни эсеры, ни меньшевики, не отрицая этого «в принципе» и превосходно сознавая капиталистический характер современной России, не решаются трезво посмотреть в лицо правде. Они боятся признать правду, именно—основное деление всякой капиталистической страны, России в том числе, на три коренные, главные силы: буржуазию, мелкую буржуазию и пролетариат. О первой и о третьей говорят все, их признают все. Вторую—то-есть как раз **большинство** по численности!— не хотят трезво оценить ни с экономической, ни с политической, ни с военной точки зрения.

Правда глаза колет — к этому сводится боязнь самопознания эсеров и меньшевиков.

(Ленин. «О конституционных иллюзиях». Собрание сочинений, Гиз 1924 г. Т. XIV, ч. 2, стр. 19—26.)

§ 3. ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ И РЕВОЛЮЦИОННО-ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

Каутский стоит в вопросе об Учредительном Собрании на формальной точке зрения. В тезисах у меня сказано ясно и многократно, что интересы революции стоят выше формальных прав Учредительного Собрания (см. тезисы №№ 16 и 17). Формально-демократическая точка зрения и есть точка зрения буржуазного демократа, который не признает, что интерес пролетариата и пролетарской классовой борьбы стоит выше. Каутский, как историк, не мог бы не признать, что буржуазные парламенты являются органами того или иного класса. Но теперь Каутскому понадобилось (для грязного дела отречения от революции) забыть марксизм, и Каутский не ставит вопроса, органом какого класса было Учредительное Собрание в России. Каутский не разбирает конкретной обстановки, ему не хочется посмотреть на факты, он ни слова не говорит немецким читателям о том, что в тезисах дано не только теоретическое освещение вопроса об ограниченности буржуазной демократии (тезисы №№ 1—3), не только конкретные условия, определившие несоответствие партийных списков половины октября 1917 года с действительностью в декабре 1917 года (тезисы №№ 4—6), но и история классовой борьбы и гражданской войны в октябре—декабре 1917 года (тезисы №№ 7—15). Из этой конкретной истории мы сделали вывод (тезис № 14), что лозунг «вся власть Учредительному Собранию» стал на деле лозунгом кадетов и калединцев и их пособников.

Историк Каутский этого не замечает. Историк Каутский никогда не слыхал о том, что всеобщее избирательное право дает иногда мелкобуржуазные, иногда реакционные и контр-революционные парламенты. Историк-марксист Каутский не слыхал о том, что одно дело — форма выборов, форма демократии, другое дело классовое содержание данного учреждения. Этот вопрос о классовом содержании Учредительного Собрания прямо поставлен и разрешен в моих тезисах. Возможно, что мое разрешение не верно. Ничто не было бы для нас так желательно, как марксистская критика нашего анализа со стороны. Вместо того, чтобы писать совсем глупые фразы (их много у Каутского) насчет того, будто кто-то мешает критике большевизма, Каутскому следовало бы приступить к такой критике. Но в том-то и дело, что критики у него нет. Он даже и не ставит вопроса о классовом анализе Советов, с одной стороны, и Учредительного Собрания, с другой. И поэтому нет возможности спорить, дискутировать с Каутским, а остается только показать читателю, почему нельзя Каутского назвать иначе, как ренегатом.

Расхождение Советов с Учредительным Собранием имеет свою историю, которую не мог бы обойти даже историк, не стоящий на точке зрения классовой борьбы. Каутский и этой фактиче-

ской истории не пожелал коснуться. Каутский скрыл от немецких читателей тот общеизвестный факт (который теперь скрывают лишь злостные меньшевики), что Советы и при господстве меньшевиков, т.-е. с конца февраля до октября 1917 года, расходились с «общегосударственными» (т.-е. буржуазными) учреждениями. Каутский стоит, в сущности, на точке зрения примирения, согласования, сотрудничества пролетариата и буржуазии; как бы Каутский ни отрекался от этого, но такая точка зрения есть факт, подтверждаемый всей брошюрой Каутского. Не надо было разгонять Учредительного Собрания, это и значит: не надо было доводить до конца борьбу с буржуазией, не надо было свергать ее, надо было примириться пролетариату с буржуазией.

Почему же Каутский умолчал о том, что меньшевики занимались этим мало почтенным делом с февраля по октябрь 1917 г. и ничего не достигли? Если было возможно помирить буржуазию с пролетариатом, почему же при меньшевиках примирение не удалось, буржуазия держалась в стороне от Советов, Советы назывались (меньшевиками) «революционной демократией», а буржуазия — «цензовыми элементами»?

Каутский скрыл от немецких читателей, что именно меньшевики в «эпоху» (II—X 1917 г.) своего господства называли Советы революционной демократией, тем самым признавая их превосходство над всеми прочими учреждениями. Только благодаря сокрытию этого факта у историка Каутского вышло так, что расхождение Советов с буржуазией не имеет своей истории, что оно явилось сразу, внезапно, беспричинно, в силу дурного поведения большевиков. А на деле как раз более чем полугодовой (для революции это громадный срок) опыт меньшевистского соглашательства, попыток примирения пролетариата с буржуазией и убедил народ в бесплодности этих попыток и оттолкнул пролетариат от меньшевиков.

Советы — прекрасная, имеющая великое будущее, боевая организация пролетариата, признается Каутский. Раз так, вся позиция Каутского разваливается как карточный домик или как мечтание мелкого буржуа о том, чтобы обойтись без острой борьбы пролетариата с буржуазией. Ибо вся революция есть сплошная и притом отчаянная борьба, а пролетариат есть передовой класс всех угнетенных, фокус и центр всех стремлений всех и всяких угнетенных к своему освобождению. Советы — орган борьбы угнетенных масс — естественно отражали и выражали настроения и перемену взглядов этих масс неизмеримо быстрее, полнее, вернее, чем какие бы то ни было другие учреждения (в этом, между прочим, один из источников того, почему советская демократия есть высший тип демократии).

Советы успели с 28 февраля (старого стиля) по 25 октября 1917 года созвать два Всероссийских Съезда гигантского большинства населения России, всех рабочих и солдат, семи или восьми десятых крестьянства, не считая массы местных уездных,

городских, губернских и областных съездов. За это время буржуазия не успела созвать ни одного учреждения, представляющего большинство (кроме явно поддельного, издевательского, озлобившего пролетариат, «демократического совещания»). Учредительное Собрание отразило то же настроение масс, ту же политическую группировку, что первый (июньский) Всероссийский Съезд Советов. Ко времени созыва Учредительного Собрания (январь 1918 года) состоялся Второй Съезд Советов (октябрь 1917 года) и Третий (январь 1918 года), при чем оба они показали яснее ясного, что массы полевели, революционизировались, отвернулись от меньшевиков и эсеров, перешли на сторону большевиков, то-есть отвернулись от мелкобуржуазного руководства, от иллюзий соглашения с буржуазией и перешли на сторону пролетарской революционной борьбы за свержение буржуазии.

Следовательно, одна уже внешняя история Советов показывает неизбежность разгона Учредительного Собрания и реакционность его. Но Каутский твердо стоит на своем «лозунге»: пусть гибнет революция, пусть буржуазия торжествует над пролетариатом, лишь бы процветала «чистая демократия»! Fiat justitia, pereat mundus!

Вот краткие итоги Всероссийских Съездов Советов в истории русской революции:

Всеросс. Съезды Сов.	Число делегатов	Из них большевиков	% большевиков
I (3/VI 1917 г.) . .	790	103	13
II (25/X 1917 ») . .	675	343	51
III (10/I 1918 ») . .	710	434	61
IV (14/III 1918 ») . .	1.232	795	64
V (4/VII 1918 ») . .	1.164	773	66

Достаточно взглянуть на эти цифры, чтобы понять, почему защита Учредительного Собрания или речи (вроде речей Каутского) о том, что большевики не имеют за собой большинства населения, встречаются у нас только смехом.

(Ленин. «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Собрание сочинений. Гиз 1925 г. Т. XV, стр. 446—449.)

* *

Итог дает (см. таблицу на стр. 379): за эсеров 1.885,1 тыс. голосов, за большевиков—1.671,3 тыс. А если добавить к последним 120 тыс. (приблизительно) от балтийского флота, то получаем за большевиков 1.791,3 тыс. голосов.

Следовательно, большевики получили немногим менее, чем эсеры.

Армия была, следовательно, уже к октябрю—ноябрю 1917 г. на половину большевистской.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ (В ТЫСЯЧАХ), ПОДАННЫХ В НОЯБРЕ 1917 Г. НА ВЫБОРАХ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.

Части армии и флота	За эсеров	За большевиков	За кадетов	За нац. и др. групп	Всего
Северный фронт	240,0	480,0	?	60,0	780,0
Западный »	180,5	653,4	16	125,2	976,0
Юго-западн. »	402,9	300,1	13,7	290,6	1.007,4
Румынский »	679,4	167,0	21,4	260,7	1.128,6
Кавказский »	360,0	60,0	?	—	420,0
Балтийский флот	—	(120,0[1])	—	—	(120,0[1])
Черноморск. »	22,2	10,8	—	19,5[2])	52,5
Итого . . .	1.885,1	1.671,3	51,8	756,0	4.364,5
		+ (120,0[1])	+ ?		+ (120[1])
		1.791,3			4.484,5

Без этого мы не могли бы победить.

Но имея почти половину голосов в армии, вообще мы имели подавляющий перевес на фронтах, ближайших к столицам и вообще расположенных не чрезмерно далеко. Если вычесть кавказский фронт, то у большевиков в общем получается перевес над эсерами. А если взять северный и западный фронты, то у большевиков получается свыше 1 миллиона голосов против 420 тысяч у эсеров.

Следовательно, в армии большевики тоже имели уже к ноябрю 1917 года политический «ударный кулак», который обеспечивал им подавляющий перевес сил в решающем пункте в решающий момент. Ни о каком сопротивлении со стороны армии против Октябрьской революции пролетариата, против завоевания политической власти пролетариатом не могло быть и речи, когда на северном и западном фронтах у большевиков был гигантский перевес, а на остальных фронтах, удаленных от центра, большевики имели время и возможность отвоевать крестьян у эсеровской партии, о чем пойдет речь ниже.

1.

Мы изучили, на основании данных о выборах в Учредительное Собрание, три условия победы большевизма: 1) подавляющее большинство среди пролетариата; 2) почти половина в армии; 3) подавляющий перевес сил в решающий момент в решающих пунктах, именно: в столицах и на фронтах армий, близких к центру.

---

[1]) Цифра приблизительная: выбрано 2 большевика. В среднем Н. В. Святицкий считает по 60.000 голосов на 1 выбранного. Поэтому я беру цифру 120.000. Прим. Н. Ленина.

[2]) О том, какая партия получила 19,5 тыс. голосов от черном. флота, сведений не дано. Остальные же цифры этого столбца относятся, видимо, почти целиком к украинским социалистам, ибо выбрано было 10 украинских социалистов и 1 с.-д. (т.-е. меньшевик). Прим. Н. Ленина.

Но эти условия могли бы дать лишь самую кратковременную и непрочную победу, если бы большевики не могли привлечь на свою сторону большинство непролетарских трудящихся масс, отвоевать их себе у эсеров и прочих мелкобуржуазных партий.

Главное именно в этом.

И главный источник непонимания диктатуры пролетариата со стороны «социалистов» (читай: мелкобуржуазных демократов) II Интернационала состоит в непонимании ими того, что государственная власть в руках одного класса, пролетариата, может и должна стать орудием привлечения на сторону пролетариата непролетарских трудящихся масс, орудием отвоевания этих масс у буржуазии и у мелкобуржуазных партий.

Полные мелкобуржуазных предрассудков, забывшие самое главное в учении Маркса о государстве, господа «социалисты» II Интернационала смотрят на государственную власть как на какую-то святыню, идол или равнодействующую формальных голосований, абсолют «последовательной демократии» (и как там еще подобная ерунда называется). Они не видят в государственной власти просто орудия, которым разные классы могут и должны пользоваться (и уметь пользоваться) в своих классовых целях.

Буржуазия пользовалась государственной властью, как орудием класса капиталистов против пролетариата, против всех трудящихся. Так было при самых демократических буржуазных республиках. Только изменники марксизма «забыли» это.

Пролетариат должен (собрав достаточно сильные политические и военные «ударные кулаки») низвергнуть буржуазию, отнять у нее государственную власть, чтобы это орудие пустить в ход ради своих классовых целей.

А каковы классовые цели пролетариата?

Подавление сопротивления буржуазии.

«Нейтрализация» крестьянства, а по возможности, привлечение его — во всяком случае большинства его трудящейся, неэксплоататорской части — на свою сторону.

Организация крупного машинного производства на экспроприированных у буржуазии фабриках и средствах производства вообще.

Организация социализма на развалинах капитализма.

* * *

Господа оппортунисты, в том числе и каутскианцы, «учат» народ, в издевку над учением Маркса: пролетариат сначала должен завоевать большинство посредством всеобщего избирательного права, потом получить, на основании такого голосования

большинства, государственную власть и затем уже на этой основе «последовательной» (иные говорят «чистой») демократии организовать социализм.

А мы говорим, на основании учения Маркса и опыта русской революции:

Пролетариат должен сначала низвергнуть буржуазию и завоевать себе государственную власть, а потом эту государственную власть, т.-е. диктатуру пролетариата, использовать, как орудие своего класса, в целях приобретения сочувствия большинства трудящихся.

* * *

Каким образом государственная власть в руках пролетариата может стать орудием его классовой борьбы за влияние на непролетарские трудящиеся массы? за привлечение их на сторону пролетариата? за оторвание, отвоевание их от буржуазии?

Во-первых, пролетариат достигает этого тем, что пускает в ход не старый аппарат государственной власти, а ломает его вдребезги, не оставляет в нем камня на камне (вопреки воплям запуганных мещан и угрозам саботажников) и создает новый государственный аппарат. Этот новый государственный аппарат приспособлен к диктатуре пролетариата и к его борьбе против буржуазии за непролетарские трудящиеся массы. Этот новый аппарат не выдуман кем-либо, а вырастает из классовой борьбы пролетариата, из ее распространения вширь и вглубь. Этот новый аппарат государственной власти, новый тип государственной власти, есть советская власть.

Российский пролетариат, завоевав государственную власть, немедленно, через несколько часов, объявил старый государственный аппарат (веками приспособленный, как показал Маркс, к служению классовым интересам буржуазии, хотя бы при самой демократической республике) распущенным и передал всю власть советам. А в советы допускались только трудящиеся и эксплоатируемые, при исключении всех и всяческих эксплоататоров.

Таким путем сразу, одним ударом, немедленно после завоевания государственной власти пролетариатом, пролетариат отвоевывает у буржуазии громадную массу ее сторонников из мелкобуржуазных и «социалистических» партий, ибо эта масса — трудящиеся и эксплоатируемые, которых буржуазия (в том числе ее подпевалы Черновы, Каутские, Мартовы и К°) обманывала и которые, получив советскую власть, получают впервые орудие массовой борьбы за свои интересы против буржуазии.

Во-вторых, пролетариат может и должен сразу или, во всяком случае, очень быстро отвоевать у буржуазии и у мелкобуржуазной демократии их массы, т.-е. массы, шедшие за

ними, — отвоевать посредством революционного удовлетворения их наиболее насущных экономических нужд ценой экспроприации помещиков и буржуазии.

Буржуазия этого сделать не может, хотя бы она обладала какой угодно «могучей» государственной властью.

Пролетариат на другой же день после завоевания им государственной власти это сделать может, ибо он имеет для этого и аппарат (советы), и экономические средства (эксплоатация помещиков и буржуазии).

Именно так российский пролетариат отвоевал у эсеров крестьянство и отвоевал, в сущности, через несколько часов после завоевания пролетариатом государственной власти. Ибо через несколько часов после победы над буржуазией в Петрограде победивший пролетариат издал «декрет о земле» и в этом декрете целиком и сразу, с революционной быстротой, энергией и беззаветностью, осуществил все насущнейшие экономические нужды большинства крестьян, экспроприировал полностью и без выкупа помещиков.

Чтобы доказать крестьянам, что пролетарии хотят не майоризировать их, не командовать ими, а помогать им и быть друзьями их, победившие большевики ни слова своего не вставили в «декрет о земле», а списали его, слово в слово, с тех крестьянских наказов (наиболее революционных, конечно), которые были опубликованы эсерами в эсеровской газете.

Эсеры кипятились, возмущались, негодовали, вопили, что «большевики украли их программу», но над эсерами за это только смеялись: хороша же партия, которую надо было победить и прогнать из правительства, чтобы осуществить все революционное, все полезное для трудящихся из ее программы! Вот этой диалектики никогда не могли понять представители II Интернационала: пролетариат не может победить, не завоевывая на свою сторону большинства населения. Но ограничивать или обусловливать это завоевание приобретением большинства голосов на выборах при господстве буржуазии есть непроходимое скудоумие или простое надувательство рабочих. Чтобы завоевать большинство населения на свою сторону, пролетариат должен, во-первых, свергнуть буржуазию и захватить государственную власть в свои руки; он должен, во-вторых, ввести советскую власть, разбив вдребезги старый государственный аппарат, чем он сразу подрывает господство, авторитет, влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей в среде непролетарских трудящихся масс. Он должен, в-третьих, добить влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди большинства непролетарских трудящихся масс революционным осуществлением их экономических нужд за счет эксплоататоров.

Возможность всего этого дана, разумеется, лишь известной

высотой капиталистического развития. Без этого основного условия не может быть ни выделения пролетариата в особый класс, ни успеха его длительной подготовки, воспитания, обучения, испытания в борьбе на долгих годах стачек, демонстраций, опозорения и изгнания оппортунистов. Без этого основного условия не может быть той экономической и политической роли центров, овладевая которыми, пролетариат овладевает всей государственной властью или, вернее, ее жизненным нервом, сердцевиной, узлом. Без этого основного условия не может быть той родственности, близости, связи между положением пролетариата и положением непролетарских трудящихся масс, которые (родственность, близость, связь) необходимы для влияния пролетариата на эти массы, для успеха его воздействия на них.

(Ленин. «Выборы в Учредительное Собрание и диктатура пролетариата». Собрание сочинений. Гиз 1925 г. Т. XVI, стр. 445—450.)

§ 4. ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ТОРЖЕСТВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

В вопросе о напоре враждебных сил, который, по уверению до смерти запуганной «Новой Жизни», сметет диктатуру пролетариата, есть еще одна чудовищная логическая и политическая ошибка, которую могут не видеть только люди, давшие себя запугать почти до невменяемости.

«Напор враждебных сил сметет диктатуру пролетариата»,— говорите вы. Хорошо. Но ведь вы все экономисты и образованные люди, любезные сограждане. Вы все знаете, что противополагать демократию буржуазии есть бессмыслица и невежество, что это то же самое, как противополагать пуды аршинам. Ибо бывает демократическая буржуазия и недемократические (способные на Вандею) слои мелкой буржуазии.

«Враждебные силы», это — фраза. Классовое же понятие есть б у р ж у а з и я (за которую стоят и помещики).

Буржуазия с помещиками; пролетариат; мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, в первую голову крестьянство, — вот три основные «силы», на которые разделяется Россия, как и в с я к а я капиталистическая страна. Вот три основные «силы», которые давно показаны в каждой капиталистической стране (и в России) не только научным экономическим анализом, но и п о л и т и ч е с к и м о п ы т о м всей новейшей истории в с е х стран, опытом в с е х европейских революций с XVIII века, опытом д в у х русских революций—1905 и 1917 годов.

Итак, вы грозите пролетариям тем, что их власть сметет напор буржуазии? К этому, и только к этому, сводится ваша угроза, больше никакого содержания в ней нет.

Хорошо. Если, например, буржуазия может смести власть рабочих и беднейших крестьян, тогда ничего иного не остается,

кроме «коалиции», т.-е. союза или соглашения мелких буржуа с буржуазией. Ничего иного и мыслить нельзя!!

А ведь коалиция испробована полгода, привела к краху, и вы сами, любезные, но не умеющие думать граждане из «Новой Жизни», от коалиции отреклись.

Что же получается?

Вы так запутались, граждане из «Новой Жизни», так дали запугать себя, что в самом простом рассуждении, в счете даже не до пяти, а только до трех, вы не умеете свести концов с концами.

Либо вся власть буржуазии — этого вы давно не защищаете, и сама буржуазия не смеет даже заикнуться об этом, зная, что уже 20—21 апреля такую власть народ одним движением плеча скинул и скинет теперь втрое решительнее, беспощаднее. Либо власть мелкой буржуазии, т.-е. коалиция (союз, соглашение) ее с буржуазией, ибо самостоятельно и независимо мелкая буржуазия власти не хочет и не может взять, как доказал опыт всех революций, как доказывает и экономическая наука, разъясняющая, что в капиталистической стране можно стоять за капитал, можно стоять за труд, но по середке устоять нельзя. Эта коалиция в России полгода испробовала не десятки способов и провалилась. Либо, наконец, вся власть пролетариям и беднейшим крестьянам против буржуазии, для того, чтобы сломить ее сопротивление. Это еще не испробовано, и это вы, господа из «Новой Жизни», отсоветуете народу, запугивая его вашей собственной запуганностью перед буржуазией.

Ничего четвертого и выдумать нельзя.

Значит, если «Новая Жизнь» боится диктатуры пролетариата и отказывается от нее из-за возможного будто бы поражения пролетарской власти буржуазией, то это равносильно возвращению тайком на позицию соглашательства с капиталистами!!! Ясно, как день, что кто боится сопротивления, кто не верит в возможность сломить это сопротивление, кто учит народ: «бойтесь сопротивления капиталистов, вам не сладить с ним», — тот тем самым призывает опять к соглашательству с капиталистами.

Беспомощно и жалко запуталась «Новая Жизнь», как запутались теперь все мелкобуржуазные демократы, видящие крах коалиции, не смеющие защищать ее открыто и в то же время защищенные буржуазией, боящиеся всевластия пролетариев и беднейшего крестьянства.

*
* * *

Бояться сопротивления капиталистов и в то же время называть себя революционером, желать числиться в социалистах— какой позор! Какое идейное падение испорченного оппортунизмом

всемирного социализма нужно было, чтобы могли появляться такие голоса!

Силу сопротивления капиталистов мы уже видели, весь народ видел, ибо капиталисты сознательнее других классов и сразу поняли значение Советов, сразу напрягли все свои силы до последней степени, пустили в ход все и вся, пустились во все тяжкие, дошли до неслыханных приемов лжи и клеветы, до военных заговоров, чтобы сорвать Советы, свести их на-нет, проституировать их (при помощи меньшевиков и эсеров), превратить их в говорильни, утомить крестьян и рабочих месяцами и месяцами пустейшей словесности и игры в революцию.

А силу сопротивления пролетариев и беднейших крестьян мы еще не видали, ибо эта сила выпрямится во весь свой рост лишь тогда, когда власть будет в руках пролетариата, когда десятки миллионов людей, раздавленные нуждой и капиталистическим рабством, увидят на опыте, почувствуют, что власть в государстве досталась угнетенным классам, что власть помогает бедноте бороться с помещиками и капиталистами, ломает их сопротивление. Только тогда мы сможем увидеть, какие непочатые еще силы отпора капиталистам таятся в народе, только тогда проявится то, что Энгельс называет «скрытым социализмом», только тогда на каждые десять тысяч открытых или прячущихся, проявляющих себя действием или в пассивном упорстве врагов власти рабочего класса, поднимается по миллиону новых борцов, доселе политически спавших, прозябавших в мучениях нужды и в отчаянии, потерявших веру в то, что и они люди, что и они имеют право на жизнь, что и им может служить вся мощь современного централизованного государства, что и их отряды пролетарской милиции с полным доверием зовут к непосредственному ближайшему повседневному участию в деле управления государством.

Капиталисты с помещиками, при благосклонном участии г.г. Плехановых, Брешковских, Церетели, Черновых и К°, сделали все, чтобы испоганить демократическую республику, испоганить ее услужением перед богатством до того, что народом овладевает апатия, равнодушие, ему все равно, ибо голодный не может отличить республики от монархии, озябший, разутый, измученный солдат, гибнущий за чужие интересы, не в состоянии полюбить республики.

А вот, когда последний чернорабочий, любой безработный, каждая кухарка, всякий разоренный крестьянин увидит — не из газет, а собственными глазами увидит, — что пролетарская власть не раболепствует перед богатством, а помогает бедноте, что эта власть не останавливается перед революционными мерами, что она берет лишние продукты у тунеядцев и дает голодным, что она вселяет принудительно бесприютных в квартиры богачей, что она заставляет богатых платить за молоко, но не дает им ни одной капли молока, пока не снабжены им в достаточных

размерах дети всех бедных семей, что земля переходит к трудящимся, фабрики и банки под контроль рабочих, что за укрывательство богатства миллионеров ждет немедленная и серьезная кара, вот когда беднота увидит это и почувствует это,— тогда никакие силы капиталистов и кулаков, никакие силы ворочающего сотнями миллиардов всемирного финансового капитала не победят народной революции, а, напротив, она победит весь мир, ибо во всех странах зреет социалистический переворот.

Наша революция непобедима, если она не будет бояться сама себя, если она вручит всю полноту власти пролетариату, ибо за нами стоят еще неизмеримо большие, более развитые, более организованные всемировые силы пролетариата, временно придавленные войной, но не уничтоженные, а, напротив, умноженные ею.

* * *

Бояться, что власть большевиков, то-есть власть пролетариата, которому обеспечена беззаветная поддержка беднейшего крестьянства, «сметут» господа капиталисты! Какая близорукость, какая позорная боязнь народа, какое лицемерие! Люди, проявляющие эту боязнь, принадлежат к тому «высшему» (по капиталистической мерке, а на деле сгнившему) «обществу», которое произносит слово «справедливость», само не веря в него, по привычке, как фразу, не вкладывая никакого содержания в него.

Вот пример:

Г. Пешехонов — известный полукадет. Более умеренного трудовика, единомышленника Брешковских и Плехановых, не найти. Более услужливого перед буржуазией министра не было. Более горячего сторонника «коалиции», соглашения с капиталистами, не видал мир!

А вот какие речи признания вынужден был делать сей господин в своей речи на «Демократическом» (читай: булыгинском) Совещании, по передаче оборонческих «Известий»:

Есть две программы. Одна, это — программа групповых притязаний, притязаний классовых и национальных. Наиболее откровенно эту программу защищают большевики. Но и другим частям демократии вовсе не легко отказаться от этой программы. Ведь это признание трудовых масс, притязания обойденных и угнетенных национальностей. И не так легко поэтому демократии разрывать с большевиками, отказаться от этих классовых требований прежде всего от того, что эти требования по существу своему справедливы. Но эта программа, за которую мы боролись до революции, ради которой революцию совершали и которую мы при других условиях очень дружно поддерживали бы все, при данных условиях представляет громадную опасность. Теперь опасность еще сильнее потому, что предъявлять эти требования приходится в такой момент, когда удовлетворение их для государства невозможно. Нужно отстоять сначала целое — государство, его спасти от гибели и для этого есть только один путь: не удовлетворение требований, сколько бы справедливыми и сильными они ни представлялись, а, напротив, ограничения, жертвы, которые необходимо приносить со всех сторон („Известия Ц. И. К." от 17 сентября).

Г. Пешехонов не понимает, что, пока капиталисты у власти, он отстаивает не целое, а корыстные интересы русского и «союзного» империалистского капитала. Г. Пешехонов не понимает, что война перестала быть захватной, империалистской, грабительской только после разрыва с капиталистами, с их тайными договорами, с их аннексиями (захватами чужих земель), с их банковыми финансовыми мошенничествами. Г. Пешехонов не понимает, что лишь после этого война стала бы, в случае отказа противника от формально предложенного ему справедливого мира, оборонительной, справедливой войной. Г. Пешехонов не понимает, что обороноспособность страны, свергшей иго капитала, давшей землю крестьянам, поставившей банки и фабрики под рабочий контроль, была бы во много раз выше обороноспособности капиталистической страны.

И главное — г. Пешехонов не понимает, что, будучи вынужден признать справедливость большевизма, признать, что его требования суть требования «трудовых масс», т.-е. большинства населения, он сдает этим всю свою позицию, всю позицию всей мелко-буржуазной демократии.

Вот в чем наша сила. Вот почему наше правительство будет непобедимо: потому, что даже противники вынуждены признать, что большевистская программа есть программа «трудовых масс» и «угнетенных национальностей».

Ведь г. Пешехонов, это — политический друг кадетов, публики из «Единства» и «Дела Народа», Брешковских и Плехановых, это — представитель кулаков и таких господ, жены и сестры которых пришли бы завтра выкалывать зонтиками глаза недобитым большевикам, если бы дошло дело до их поражения войсками Корнилова или (что совершенно одно и то же) войсками Керенского.

И такой господин вынужден признать «справедливость» требований большевиков.

Для него «справедливость» только фраза. Но для масс полупролетариев, для большинства мелкой буржуазии города и деревни, разоренных, истерзанных, измученных войной, это не фраза, а самый острый, самый жгучий, самый большой вопрос о голодной смерти, о куске хлеба. Вот почему нельзя опереть никакой политики на «коалиции», на «соглашении» интересов голодных и разоряемых с интересами эксплоататоров. Вот почему обеспечена поддержка этим массам, в их подавляющем большинстве, большевистского правительства.

Справедливость — пустое слово, говорят интеллигенты и те прохвосты, которые склонны объявлять себя марксистами на том возвышенном основании, что они созерцали заднюю «экономического материализма».

«Идеи становятся силой, когда они овладевают массами». И именно теперь большевики, т.-е. представители революционно-пролетарского интернационализма, своей политикой воплотили ту

идею, которая двигает во всем мире необъятными трудящимися массами.

Одна справедливость, одно чувство возмущенных эксплоатацией масс, никогда не вывела бы их на верный путь к социализму. Но когда вырос, благодаря капитализму, материальный аппарат крупных банков, синдикатов, жел. дорог и т. п., когда богатейший опыт передовых стран скопил запасы чудес техники, применение коих тормозит капитализм, когда сознательные рабочие сплотили партию в 1/4 миллиона, чтобы планомерно взять в руки этот аппарат и пустить его в ход, при поддержке всех трудящихся и эксплоатируемых, — когда есть налицо эти условия, тогда не найдется той силы на земле, которая помешала бы большевикам, если они не дадут себя запугать и сумеют взять власть, удержать ее до победы всемирной социалистической революции.

(Ленин. Удержат ли большевики государственную власть? Собрание Сочинений. Гиз 1924 г., т. XIV, ч. 2, стр. 247—253.)

Библиотека
Института Ленина
при Ц.К. Р.К.П. (б.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

КНИГИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЕРИИ

I. Законодательство Советского Союза.

АРХИПОВ, К. А., проф.—Законодательство по местному управлению союзных республик.
ВОЙТИНСКИЙ, И. С.—Кодекс основных законов о труде СССР.
ИГНАТЬЕВ, В. И.—Конституция Союза ССР в ее возникновении, развитии и изучении. Исследования и материалы. Вступительные статьи Д. И. Курского и А. С. Енукидзе.
ИСАЕВ, М. М., проф.—Уголовное законодательство Союза ССР.
КОВАЛЕНКОВ, М. П., проф.—Основы Советского уголовного судопроизводства. Вступительный очерк и законодательные материалы. Стр. 127. Ц. 90 к.
КОНСТИТУЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК. Под общей редакцией проф. Д. А. Магеровского, в 4-х выпусках:
выпуск 1-й—„РСФСР"—проф. Д. А. Магеровский;
„ 2-й—„УССР"—А. В. Малицкий;
„ 3-й—„БССР"—проф. В. Н. Дурденевский;
„ 4-й—„ЗСФСР"—И. Н. Ананов.
КРЫЛЕНКО, Н. В.—Право и суд в СССР. (Теоретический комментарий к основам судоустройства, судопроизводства и уголовного права, принятым II сессией ЦИК СССР 1924 г.)
РАЕВИЧ, С. И.—Гражданское законодательство Союза ССР.
СОЮЗ ССР и СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ В СТРУКТУРНЫХ СХЕМАХ. Выпуск 1-й: „Союз ССР и РСФСР" (альбом).
СУЛЬКЕВИЧ, С. И.—Административно-политическое строение Союза ССР (материалы о территориальных преобразованиях с 1917 г. по 1 июля 1925 г.). Стр. XVIII+300. Ц. 1 р. 50 к.

II. Проблемы советского права.

АНАНОВ, И. Н.—Очерки федерального управления СССР. (Народные комиссариаты Союза ССР.). Стр. 211. Ц. 1 р. 50 к.
АНАНОВ, И. Н.—Жилищное право РСФСР.
АРХИПОВ, К. А., проф.—Советское местное управление.
АРХИПОВ, К. А., проф.—Закон в советском государстве.
ВЕРХОВСКОЙ, П. В., проф.—Новые формы брака и семьи по советскому законодательству. С приложением проекта нового „Кодекса законов о брачном, семейном и опекунском праве", разработанного Народным Комиссариатом Внутренних Дел. Стр. 54. Ц. 25 к.
ИГНАТЬЕВ, В. И.—Советская волость и стоящие перед ней задачи. Стр. 84. Ц. 35 к.
КУЧКЕЛЬ, А. В.—Брачное, семейное и опекунское право.
МАГЕРОВСКИЙ, Д. А., проф.—Государственная власть и государственный аппарат. 2-е изд.
МАГЕРОВСКИЙ, Д. А., проф.—Государственный строй Союза ССР.

Под общей редакцией проф. Д. А. Магеровского:

БРОДОВИЧ, С. М.—Советское избирательное право. С предисловием проф. Д. А. Магеровского. Стр. 132. Ц. 1 р.
ДАНИЛОВА, Е. Н., проф.—Советское торговое право. Стр. 223. Ц. 1 р. 50 к.
ДАНИЛОВА, Е. Н., проф.—Советское трудовое право.
ДАНИЛОВА, Е. Н., проф.—И. С. ПЕРЕТЕРСКИЙ и С. И. РАЕВИЧ.—Советское хозяйственное право Стр. 216. Ц. 1 р. 60 к.
ДУРДЕНЕВСКИЙ, В. Н., проф.—Равноправие языков в советском строе.
ЕЛИСТРАТОВ, А. И., проф. Административное право РСФСР. Стр. 214. Ц. 2 р.
ИСАЕВ, М. М., проф.—Общая часть уголовного права РСФСР. Стр. 199. Ц. 1 р. 50 к.
КАРАСС, А. В.—Советское промышленное право. (Обзор и материалы.) Стр. 151. Ц. 1 р. 40 к.
КОТЛЯРЕВСКИЙ, С. А., проф.—Финансовое право СССР. Стр. 158. Ц. 1 р. 20 к.
РАЕВИЧ, С. И.—Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретение, авторское право. Стр. 199. Ц. 1 р. 40 к.
СЕРЕБРОВСКИЙ, В. И., проф.—Очерки советского страхового права.
ТРАЙНИН, А. Н., проф.—Уголовное право РСФСР. Часть особенная. Преступления против государства и социального порядка. Стр. 256. Ц. 2 р. 40 к.

3 руб.
У.

Государственное Издательство РСФСР

ЛЕНИН, В. И.

ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ

Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции.

Издание 3-е. Стр. 120. Ц. 35 к.

ЛЕНИН, В. И.

О ГОСУДАРСТВЕ

Статьи и речи

Составил А. Г. ГОЙХБАРГ.

Стр. 394. Ц. 1 р. 35 к.

ЛЕНИН, В. И.

О ПРОЛЕТАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Составили и снабдили предисловием, примечаниями и указателем Вл. ВАГЕР и П. СТУЧКА.

Стр. 400. Ц. 1 р. 75 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА РСФСР.

МОСКВА, Ильинка, Богоявленский пер., 4. Тел.: 1-91-49, 5-04-56, 3-71-37,

ЛЕНИНГРАД, „Дом Книги", Проспект 25 Октября, 28. Тел. 5-49-32,

И ВО ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ И МАГАЗИНЫ ГОСИЗДАТА РСФСР.

ОТДЕЛ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ГОСИЗДАТА

(Москва, проезд Художественного театра, 6)

высылает все книги немедленно по получении заказа почтовыми посылками или бандеролью наложенным платежом.

При высылке денег вперед (до 1 рубля можно почтовыми марками) пересылка бесплатно.